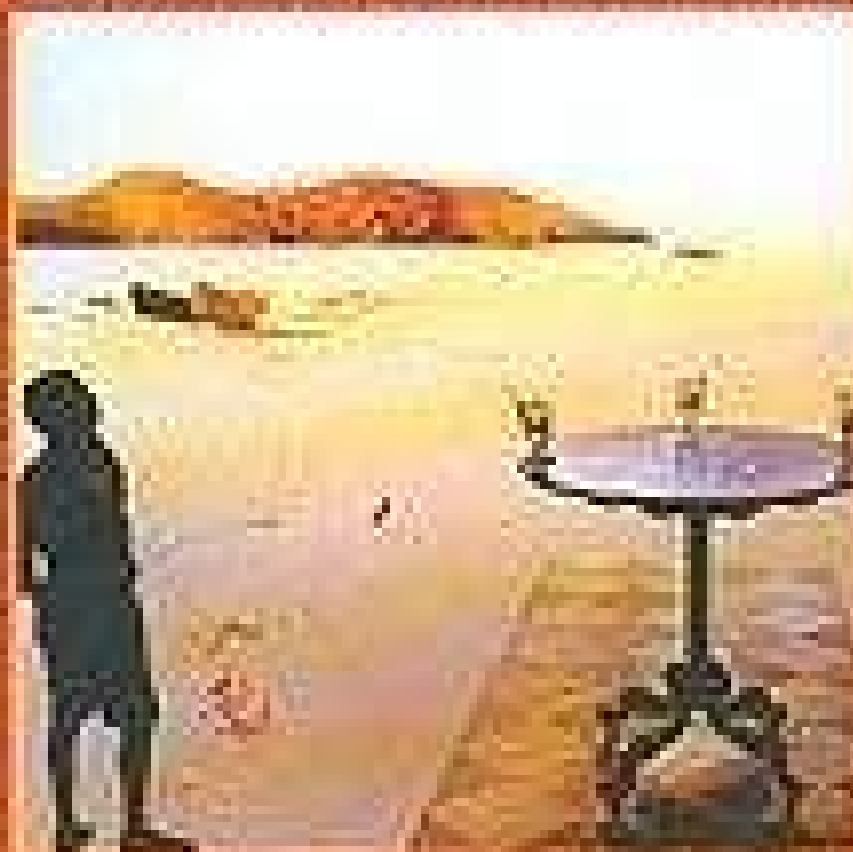


КНИГА НА НОЕ ВОЗМЕНА



Антуан
де СЕНТ-ЭКЗОПЕРИ

ИТАДЕЛЬ

Цитадель

...Хочу закончить свою книгу. Вот и все. Я меняю себя на нее. Мне кажется, что она вцепилась в меня, как якорь. В вечности меня спросят; «Как ты обошелся со своими дарованиями, что сделал для людей?» Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну, а на нечто другое. Кто поможет мне в этом, тот мой друг... Мне ничего не нужно. Ни денег, ни удовольствий, ни общества друзей. Мне жизненно необходим покой. Я не преследую никакой корыстной цели. Не нуждаюсь в одобрении. Я теперь в добром согласии с самим собой. Книга выйдет в свет, когда я умру, потому что мне никогда не довести ее до конца. У меня семьсот страниц. Если бы я просто разрабатывал эти семь сотен страниц горной породы, как для простой статьи, мне и то понадобилось бы десять лет, чтобы довести дело до завершения. Буду работать не мудря, куда хватит сил. Ничем другим на свете я заниматься не стану. Сам по себе я не имею больше никакого значения и не представляю себе, в какие еще раздоры меня можно втянуть. Я чувствую, что мне угрожают, что я уязвим что время мое ограничено; я хочу завершить свое дерево. Гийоме погиб, я хочу поскорей завершить свое дерево. Хочу поскорей стать чем-то иным, не тем, что я сейчас. Я потерял интерес к самому себе. Мои зубы, печень и прочее — все это трухляво и само по себе не представляет никакой ценности. К тому времени, когда придет пора умирать, я хочу превратиться в нечто иное. Быть может, все это банально. Меня не уязвляет, что кому-нибудь это покажется банальным. Быть может, я оболещаюсь насчет своей книги; быть может, это будет всего лишь толстенный посредственный том, мне совершенно все равно — ведь это лучшее из того, чем я могу стать. Я должен найти это лучшее. Лучшее, чем умереть на войне.

...Будь смерть лучшим, на что я теперь способен, — я готов умереть. Но я ощущаю в себе призвание к тому, что кажется мне еще лучше... Теперь я на всех смотрю с точки зрения своего труда и людей делю на тех, кто за меня и против меня. Благодаря войне, а потом и благодаря Гийоме я понял, что рано или поздно умру. Речь идет уже не об абстрактной поэтической смерти, которую ж считаем сентиментальным приключением и призываем в несчастьях. Ничего подобного. Я имею в виду не ту смерть, которую воображает себе шестнадцатилетний юнец, «уставший от жизни». Нет, я говорю о смерти мужчины. О смерти всерьез. О жизни, которая прожита...

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Из письма г-же Н. Перевод Е. В. Баевской

I

...Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается. Но нас поставили над людьми, мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь, мы должны смотреть в глубь человеческого сердца. Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным напоказ, которые

трогают сердобольных женщин, отказываю умирающим и мертвым. И знаю почему.

Были времена в моей юности, когда я жалел гноящихся нищих. Я нанимал им целителей, покупал притирания и мази. Караваны везли ко мне золотой бальзам далекого острова для заживления язв. Но я увидел, мои нищие расковыривают свои болячки, смачивают их навозной жижей, — садовник так унавоживает землю, выпрашивая у нее багряный цветок, — и понял: смрад и зловоние — сокровища попрошаек. Они гордились друг перед другом своими язвами, бахвалились дневным подаянием, и тот, кому досталось больше других, возвышался в собственных глазах как верховный жрец при самой прекрасной из кумирен. Только из тщеславия приходили мои нищие к моему целителю, предвкушая, как поразит его обилие их зловонных язв. Защищая место под солнцем, они трясли изъязвленными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки — поклонением. Но, выздоровев, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь, — бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы. И, вновь сочась гноем, самодовольные и никчемные, выстраивались они с плашками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога.

Во времена моей юности я сочувствовал смертникам. Мне казалось, осужденный мною на смерть в пустыне угасает, изнемогая от безнадежного одиночества. Тогда я не знал, что в смертный час нет одиночества. Не знал и о снисходительности умирающих. Хотя видел, как себялюбец или скупец, прежде громко бранившийся из-за каждого гроша, собирает в последний час домочадцев и с безразличием справедливости оделяет, как детей побрякушками, нажитым добром. Видел, как трус, который прежде при малейшей опасности истошно звал на помощь, получив смертельную рану, молчит, заботясь не о себе — о товарищах. Мы с восхищением говорим: «Какое самоотвержение!» Но в нем я заметил и затаенное небрежение. Я понял, почему умирающий от жажды отдал последний глоток соседу, а умирающий с голоду отказался от корки хлеба. Они успели забыть, что значит жаждать, и в царственном забвении отстранили от себя кость, в которую вгрызутся другие.

Я видел женщин, они плакали о погибших. Они плакали, потому что мы слишком много врани. Ты же знаешь, как возвращаются с войны уцелевшие, сколько они занимают места, как громко похваляются подвигами, какой ужасной изображают смерть. Еще бы! Они тоже могли не вернуться. Но вернулись и гибелью товарищей устрашают теперь всех вокруг. В юности и я любил окружать себя ореолом сабельных ударов, от которых погибли мои друзья. Я приходил с войны, потрясая безысходным отчаянием тех, кого разлучили с жизнью. Но правду о себе смерть открывает только своим избанникам; рот их полон крови, они зажимают распоротый живот и знают: умереть не страшно. Собственное тело для них — инструмент, он пришел в негодность, сломался, стал бесполезным, и, значит, настало время его отбросить. Испорченный, ни на что не годный инструмент. Когда телу хочется пить, умирающий видит: тело томится жаждой, и рад избавиться от тела. Еда, одежда, удовольствия не нужны тому, для кого и тело — незначущая часть обширного имения, вроде осла на привязи во дворе.

А потом наступает агония: прилив, отлив — волны памяти бередают сознание, омывают пережитым, вздымаются, опадают, приносят и уносят камешки воспоминаний, звучащие раковины голосов, дотянулись, раскочакали сердце, и, словно нити водорослей, ожили сердечные привязанности. Но равноденствие уже приготовило последний отлив, пустеет сердце, и волна пережитого отходит к Господу.

Все, кто живы, — я знаю, — боятся смерти. Они заранее напуганы предстоящей встречей. И поверьте, ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий.

Так за что же мне жалеть их? О чем плакать у их изголовья? Мне известно и преимущество мертвых. Как легка была кончина той пленницы. Ее смерть стала для меня откровением в мои шестнадцать лет. Когда ее принесли, она уже умирала, кашляла в платок и, как

загнанная газель, прерывисто, часто дышала. Но не смерть занимала ее, ей хотелось одного — улыбнуться. Улыбка реяла возле ее губ, как ветерок над водой, мановение мечты, белоснежная лебедь. День ото дня улыбка становилась все явственней, все драгоценней, и все труднее становилось удерживать ее, пока однажды лебедь не улетела в небо, оставив след на воде — розовую полоску губ.

А мой отец? Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита. Убийца поседел, его раздавило величие, которое обрела брэнная земная оболочка, прободенная его кинжалом. Не жертва — царственный саркофаг каменел перед ним, и безмолвие, которому сам убийца стал причиной, обессилило и сковало его. На заре в царской опочивальне слуги нашли убийцу, он стоял на коленях перед мертвым царем.

Цареубийца переместил моего отца в вечность, оборвал дыхание, и на целых три дня дыхание затаили и мы. Даже после того, как мы опустили гроб в землю, плечи у нас не расправились и нам не захотелось говорить. Царя не было с нами, он нами не правил, но мы по-прежнему нуждались в нем, и, опуская на скрипучих веревках в землю, мы знали, что заботливо укрываем накопленное, а не хороним покойника. Тяжесть его была тяжестью краеугольного камня храма. Мы не погребали, мы укрепляли землей опору, которой он был и остался для нас.

Что такое смерть, мне тоже рассказал отец. Он заставил меня посмотреть ей в лицо, когда я был совсем юным, ибо и сам никогда не опускал глаз. Кровь орла текла в его жилах.

Случилось это в проклятый год, который назвали потом годом «солнечных пиршеств». Солнце, пируя, растило пустыню. На слепящем глаза раскаленном песке седела верблюжья трава, чернела колючка, белели скелеты, шуршали прозрачные шкурки ящериц. Солнце, к которому прежде тянулись слабые стебли цветов, губило свои творенья и, как ребенок сломанными игрушками, любовалось раскиданными повсюду останками.

Дотянулось оно и до подземных вод, выпило редкие колодцы, высосало желтизну песков, и за мертвенный серебряный блеск мы прозвали эти пески Зеркалом. Ибо и зеркала бесплодны, а мелькающие в них отражения бестелесны и мимолетны. Ибо и зеркала иногда больно спят глаза, будто солончаки.

Сбившись с тропы, караваны попадали в зеркальную ловушку. Ловушку, которая никогда не выпускает добычи. Но откуда им было знать об этом? Вокруг ничего не изменилось, только жизнь превратилась в призрак, в тень, отброшенную беспощадным солнцем. Караван тонул в белом мертвенном блеске и верил, что идет вперед; переселялся в вечность, но считал себя живым. Погонщики погоняли верблюдов, но разве преодолеть им бесконечность? Они шли к колодцу, которого нет, и радовались вечерней прохладе. Они не знали, что прохлада — только отсрочка, которая им ничем не поможет. А они, простодушные дети, верно, жаловались, что долго ждать ночи... Нет, ночи реют над ними, как быстрые взмахи ресниц. Они гортанно негодовали на мелкие трогательные несправедливости, не ведая, что последняя справедливость уже воздана им.

Тебе кажется, караван идет? Вернись посмотреть на него через двадцать столетий!

Отец посадил меня к себе в седло. Он хотел показать мне смерть. И я увидел, что осталось от тех, кого выпило Зеркало: время рассеяло призраки, от них остался песок.

— Здесь, — сказал мне отец, — был когда-то колодец.

Так глубоок был этот колодец, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь закаменела в колодце, и звезда в нем погасла. Смерть звезды на пути каравана губит его вернее, чем вражеская засада.

К узкому жерлу, как к пуповине, тесно прильнули верблюды и люди, тщетно надеясь на животворную влагу земного чрева. Нашлись смельчаки и добрались до дна колодезной бездны, но что толку царапать заскорузлую корку? Бабочка на булавке блекнет, осыпав шелковистое золото пыльцы, выцвел и караван, пригвожденный к земле пустотою колодца: истлела упряжь, развалилась кладь, алмазы рассыпались речной галькой, булыжниками — золотые слитки, и все это припорошил песок.

Я смотрел, отец говорил:

— Ты видел свадебный зал, когда ушли молодые и гости. Что, кроме беспорядка, открыл нам бледный утренний свет? Черепки разбитых кувшинов, сдвинутые с места столы, зола в очаге и пепел говорят, что люди здесь ели, пили и суетились. Но, глядя на послепраздничный беспорядок, что узнаешь ты о любви?

Подержав в руках и перелистав Книгу Пророка, — продолжал отец — посмотрев на буквицы и золото миниатюр, неграмотный миновал главное. Суть Книги не в тщете зримого — в Господней мудрости. И не воск который оставит следы, главное для свечи, — сияние света.

Но меня устрасил пиршественный стол Бога с остатками жертвенной трапезы. И отец сказал:

— О главном не говорят при помощи праха. Не медли над мертвецами. Повозки навек увязли в грязи, потому что их оставил вожатый.

— Но где же искать мне главное? — закричал я отцу. И отец ответил:

— Ты поймешь суть каравана, увидев его в пути. Забудь тщету слов и смотри: на пути каравана пропасть, он обходит ее; скала — он огибает ее; если песок слишком мелок, находит песок плотнее, но всегда он идет туда, куда идет. Верблюды завязли в солончаке, погонщики суеются, вызволяют их, отыскивают почву понадежней, и снова караван идет туда, куда шел. Пал верблюд, караван остановился, погонщик связал узлом лопнувшую веревку, перевязал кладь, нагрузил другого верблюда, и опять караван идет, не изменяя своему пути. Случается, умирает вожатый. Погонщики собираются вокруг него. Выкапывают в песке могилу. Спорят. И выбрав на его место другого, вновь следуют за своей звездой. Своему пути подчиняется караван, направление — вот для него опорный камень на невидимом склоне.

Городские судьи вынесли приговор молодой преступнице: пусть солнце бичует нежную оболочку ее плоти, и преступницу привязали к столбу в пустыне.

— Сейчас ты поймешь, что для человека главное, — сказал мне отец.

И вот я опять у него в седле.

Мы ехали, а солнце, совершая дневной путь, казнило виновную, иссушая кровь, слюну, пот молодого тела. Выпило оно и влажное сияние глаз. Опускалась ночь с мимолетным своим милосердием, когда мы с отцом подъехали к порогу запретной равнины. Там, на темной скале, белела нагота юного тела, словно гибкий стебель в разлуке с питающей влагой вод, так весомо молчащих в земных глубинах. Переплетя руки, точь-в-точь лоза, уже потрескивающая в пламени, — виновная взывала к милосердию Господа.

— Послушай ее, она говорит о главном, — сказал отец. Но я был мал и потому малодушен.

— Как она мучается! — сказал я. — Как ей, наверное, страшно...

— Мучается и страшится стадо, укрытое в хлеве, — ответил отец. — Она превозмогла эти две болезни и теперь постигает истину.

Я вслушался в ее плач. Затерянная в бескрайней ночи, она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг нее, о плотно запертой двери. Одна посреди безликой Вселенной, звала ребенка, которого целовала перед сном и который был для нее средоточием этой Вселенной. Во власти любого прохожего, здесь, на пустынной равнине, славил знакомые, успокоительные шаги мужа, он вернулся к вечеру домой и поднимается по ступеням. Праздная, затерянная в беспредельности, молила вернуть ей будничные тяготы, без которых наступает несуществование: шерстяную кудель для пряжи, грязную миску, чтобы ее вымыть, ребенка, чтобы уложить его спать, ее собственного ребенка, а не чужого. Она взывала к спасительной надежности дома. Она молилась, и ее молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни.

Голова осужденной поникла, и отец посадил меня к себе в седло. Мы помчались.

— Вечером в шатрах ты услышишь ропот и возмущение моей жестокостью, — сказал он мне.
— Но я вобью им обратно в глотки их жалкое возмущение: я кую человека.

Я знал, мой отец добр.

И вот что он говорил:

— Я хочу, чтобы они любили говорливые родники, ровную зелень ячменя, укрывшую растрескавшееся от зноя поле. Хочу, чтобы славил сменяющиеся времена года. И созревали сами, подобно плодам, благодаря тишине и неторопливости. Пусть они долго носят траур и помнят своих усопших: медленно перетекает наследие одного поколения к другому, и я не хочу, чтобы мед расточился в пути. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева

— щедрой оливы. Ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытующий древо на прочность. Господь ведет их вперед и поворачивает вспять: из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потемки, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам.

Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твердая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, — вот что такое дерево. Таков и ты, дитя мое, человек. Бог Рождает тебя, растит, полнит то желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить, а потом возвращает в свое лоно. Но ты не вот этот школьник, и не этот супруг, не вот это дитя, и не этот старец. Осуществление

— вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, неотторжимой от оливы, то и у перемен окажется вкус вечности. Все вокруг тебя обретет незыблемость. Вечен говорливый родник, утолявший жажду праотцев, вечны сияние глаз улыбнувшейся тебе возлюбленной и ночная свежесть. Время покажется тебе не продавцом песка, пускающим все прахом, — жнецом, увязывающим тугой сноп.

II

С самой высокой башни крепости вижу: не нуждаются в жалости страждущие, упокоившиеся в лоне Господа и носящие по ним траур. Усопший, о котором помнят, живее и могущественней живущего. Вижу смятение живущих и сострадаю им.

Их я хочу исцелить от тоски и безнадежности.

Сострадаю тому, кто открыл глаза в праотеческой тьме и поверил, что кровом ему Божьи звезды, и догадался вдруг, что он в пути.

Я запрещаю расспрашивать его, ибо знаю: нет ответа, который истощил бы любопытство. Вопрошающий отверзает бездну.

Глубины сердца ведомы мне, и знаю: избавив вора от нищеты, я не избавлю его от желания воровать, и осуждаю беспокойство, толкающее вора на преступление. Он заблуждается, думая, что зарится на чужое золото. Золото светится, как звезда. Любовь, пусть даже не ведающая, что она — любовь, нуждается только в свете, но не в силах человеческих присвоить себе свет. Мерцание завораживает вора, и он совершает кражу за кражей, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает черную воду родника, чтобы схватить луну. Вор крадет и в мимолетное пламя оргий швыряет прах уворованного. И снова стоит в темноте за углом, бледный, словно перед свиданием, неподвижный из страха спугнуть, надеясь, что именно здесь он отыщет однажды то, что утолит его жажду.

Отпусти я его на свободу, он снова будет служить своему божеству, и завтра же моя стража, если я пошлю ее подстригать деревья, схватит его в чужом саду: с колотящимся сердцем он ждал улыбки фортуны.

Но его первого я укрою своей любовью, потому что усердия у него больше, чем у благоразумного в его лавке. Я строю город. Мою крепость я решил заложить здесь. Я хочу остановить идущий караван. Он был семечком в русле ветра. Ветер расточает семена кедра как аромат. Но я встаю на пути ветра. Я укрываю семя землей, чтобы во славу Божию поднялись и оделись смолистой хвоей кедры.

Любви нужно найти себя. Я спасу того, кто полюбит существующее, потому что такую любовь возможно насытить.

Только поэтому я затворяю женщину в доме мужа и велю бросить камень в неверную. Мне ли не знать томящей ее жажды? Словно в открытой книге, читаю я в сердце той, что в вечерний час, сулящий чудеса, оперлась на перила: своды небесного моря сомкнулись над ней, и собственная нежность — палач для нее.

Как ощутим для меня ее трепет; рыбка трепещет на песке и зовет волну: голубой плащ всадника. В ночь бросает она свой зов. Кто-то по явится и ответит. Но тщетно она будет перебирать плащи, мужчине не насытить ее. Берег, ища обновления, призывает морской прилив, и волны бегут одна за другой. И одна за другой исчезают. Так зачем потворствовать смене мужей: кто любит лишь утро любви, никогда не узнает встречи.

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, — ту, которая полюбила.

Я перечеркиваю тающую в вечернем сумраке и начинаю творить ее заново. Вместо ограды ставлю с ней рядом чайник, жаровню, блестящий поднос из меди, чтобы мало-помалу безликие вещи стали близкими, стали домом и радостью, в которой нет ничего нездешнего. Дом откроет для нее Бога. Заплачет ребенок, прося грудь, шерсть попросится в руки, и угли очага потребуют: раздуй нас. Так ее приручили, и она готова служить. Ведь я сберегаю аромат для вечности и леплю вокруг него сосуд. Я — каждодневность, благодаря которой округляется плод. И если я принуждаю женщину позабыть о себе, то только ради того, чтобы вернуть потом Господу не рассеянный ветром слабый вздох, но усердие, нежность и муки, принадлежащие ей одной...

...Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершённое. Покоем веет от наполненных закров, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу.

И я понял: человек — та же крепость. Вот он ломает стены, мечтая вырваться на свободу, но звезды смотрят на беспомощные руины. Что обрел разрушитель, кроме тоски — обительницы развалин? Так пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец, он углубляется каждый день. Взгляд, перебегающий с одного на другое, теряет из вида Господа. И не та, что изменяла, откликаясь на посулы ночи, — о Боге ведаёт та, что смиренно копила себя, не видя ничего, кроме прялки.

Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце.

Да, на все есть время — время выбирать, что будешь сеять, но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоемов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств... Но я служу Господу и поэтому предпочитаю вечность.

Ненавижу перемены. Обрекаю на смерть того, кто в ночи бросает ветру пророчества. Он — дерево, которого коснулось пламенеющее небесное семя, дерево ломается, трещит, и от леса остается горстка пепла. Меня пугает вмешательство Бога. Неизменному подобает пребывать в вечном. Да, есть время для зачатия нового, но за ним наступает благодатное время традиций.

Наше дело растить, мирить, сглаживать. Я латаю земные трещины и прячу от людских глаз кипящую лаву вулканов. Я — лужайка над пропастью. Хранилище, где дозревает плод. Паром, что принял из рук Господа поколение и переправляет его на другой берег. Из моих рук Господь получит его точно таким же, каким вручил, — может быть, чуть более зрелым, мудрым и искусным в чеканке серебряных кувшинов, — но суть моего народа пребудет неизменной. Я укрыл мой народ своей любовью оберегая потомственных мастеров, что из поколения в поколение трудятся, совершенствуя форму корабля и щита. Оберегая сказителя, поющего на свой лад безымянную песню — наследство праотцев, ошибаясь и обогащая ее даром своей души. Оберегая беременных и кормящих, я люблю умножающиеся стада и времена года, которые непременно возвращаются. Прежде всего я — житель. И я спасу тебя, моя крепость, цитадель моя и обитель, от посягательств бесплодного песка. Я развешу звонкие рога по твоим стенам. Трубя, они предупредят нас о варварах.

III

Великая истина открылась мне. Я узнал: люди

живут. А смысл их жизни в их доме. Дорога, ячменное поле, склон холма разговаривают по-разному с чужаком и с тем, кто здесь родился. Привычный взгляд не дивится выхваченным частностям, он и не видит ничего, родная картина давно легла ему на сердце. В разных мирах живут не ведающие о царстве Божиим и ведающие о нем. Неверы смеются над нами, предпочитая воздушным замкам реальные, осязаемые. Но радуется только неосоздаемое. И если кому-то хочется завладеть лишним стадом овец, то хочется из тщеславия. А утех тщеславия нельзя потрогать.

Вот почему не находят сути моего царства те, кто перебирает то, что в нем есть. «У тебя есть овцы, козы, ячмень, — перечисляют они, — жилища, горы и что еще кроме этого?» Кроме этого нет ничего у них самих, они чувствуют себя несчастными, им холодно. И я понял: они — прозекторы в мертвецкой. «Посмотрите, вот она, жизнь, — говорят они, — кости, мускулы, внутренности, кровь — и ничего больше». Жизнью светились глаза, но света нет в мертвом прахе. И царство мое — вовсе не овцы, не поля, не дома и не горы, оно — то, что объединяет их, превращая в единое целое. Оно то, что питает во мне любовь. Те, кто любят его, как я, счастливы, как я, и мы живем с ними в одном доме.

Дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени. Нехорошо, если быстротечное время истирает нас в пыль и пускает по ветру, лучше, если оно нас совершенствует. Время тоже нужно обжить. Вот я и перехожу от праздника к празднику, от годовщины к годовщине, от жатвы к жатве, как в детстве переходил из зала совета в диванную, следуя по анфиладе покоев в замке моего отца. Каждая комната его замке имела свое назначение, каждый шаг в нем был осмыслен.

Законы служат стенами моей крепости, они определяют устройство моего царства. Безрассудный пришел ко мне и стал просить: «Освободи нас от уз своих запретов, и мы станем великими». Но я знал: вместе со скрепами они потеряют ощущение целостности царства и перестанут его любить; ничего не любя больше, они потеряют самих себя, — и решил обогатить их любовью, пусть даже вопреки их желанию. А они, затосковав по свежему ветру, пожелали разрушить замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла.

Велик был замок моего отца, одно крыло его занимали женщины, во внутреннем двореке бормотал родник. (Я повелеваю: пусть в каждом доме бьется подобие сердца, к нему можно приблизиться, отойти, покинуть и возвратиться. Без сердца нет дома. Небытие не означает, что живешь на свободе.) Возле замка были хлевы, были амбары. Случалось, закрома пустовали. Случалось, в хлеве не было скота. Но никогда отец не позволял сделать амбар хлевом, хлев

— амбаром. «Амбар должен оставаться амбаром, — говорил отец, — ты не дома, если не знаешь, куда попал. Что мне за дело до выгод и невыгод? Человек не скот на откорме, любовь для него важнее пользы. Но как любить дом, если в нем хаос, если, идя по нему, не знаешь, куда придешь?»

Был в замке зал, где принимали важные посольства. Солнце заглядывало в него лишь в те дни, когда пустыня пылила под копытами всадников и ветер надувал знамена на горизонте, как паруса. Но он пустовал, если к нам приезжали мелкие князьки. Был другой зал, где вершилось правосудие, и еще один, куда приносили усопших. И была в замке пустая комната, назначения которой не знал никто. Возможно, оно и было в том, чтобы сохранять вкус тайны, напоминая, что все познать невозможно.

Рабы с подносами, с кувшинами пробегали по коридорам, отодвигали плечом тяжелые завесы, поднимались вверх, открывали двери, спускались вниз, говорили громко и, приближаясь к роднику, — тише, и становились пугливыми тенями, оказавшись возле женской половины, потому что один, пусть нечаянный, шаг в ту сторону грозил им смертью. А женщины замка? Молчаливые, надменные или боязливые, смотря по тому, кем они в нем были.

Я слышу голос безрассудного: «Сколько даром потерянного места, неиспользованных богатств, неудобства, и все из-за нерадения! Разрушим бесполезные стены, уничтожим лишние лестницы, они так мешают ходить, пусть люди почувствуют себя свободными». И отвечаю ему:

«Нет, они почувствуют себя овцами на юру и собьются в стадо, им будет плохо, и с тоски они

напридумывают глупых игр. В них будут правила, и жестокие, но не будет величия. Замок рождает стихи. Но какой поэзии ждать от пошлого аккомпанемента игральные кости? Поначалу люди будут жить призраком замка, читая о нем стихи, но со временем исчезнет и призрак, стихи станут чужими, непонятными... Что тогда будет им в радость?»

Что порадует людей, затерявшихся в мелькании недель, в слепых годах без праздников? Людей, позабывших благородную иерархию, ненавидящих успех соседа и желающих одного, чтобы все вокруг были одинаково несчастны? Люди эти создали смрадное болото, так откуда придет к ним радость?

А я? Я восстанавливаю силовые линии. Строю плотины в горах, удерживаю воды. Я — воплощенная несправедливость и стою на пути естественных склонностей. Я восстанавливаю иерархию там, где люди стали похожи, как капли воды, и растеклись болотом. Я сгибаю полосу в лук. Но несправедливость сегодня окажется справедливостью завтра. Я торю дороги там, где о них постарались забыть и назвали спячку счастьем. Что мне до стоячих вод их справедливости? Я тружусь ради человека, созданного прекрасной несправедливостью. Так облагораживаю я свое царство.

Логика доброжелателей мне знакома. Они в восхищении от человека, который был создан моим отцом. «Можно ли притеснять подобное совершенство?»

— твердят они. И во имя того, кто был создан столькими притеснениями, уничтожают притеснения. Пока сердце помнит запреты, человек жив. Но мало-помалу они забываются. И тот, кого хотели спасти, погибает.

Поэтому я ненавижу издевку — достояние бездельника. Кто, как не бездельник, говорит: «Были у вас и другие обычаи. Почему не переменить и эти?» И еще слова бездельника: «Кто неволит вас держать хлеб в амбаре, овец в хлеву? Можно ведь и наоборот...» Он меняет местами слова, он не знает, что слова это не все, что существует на свете. Ему не понять, что человек живет, а чтобы жить, ему нужен дом. Заслушавшись бездельников, люди теряют из виду дом и разрушают его. Так расточают они самое драгоценное из своих сокровищ

— смысл существующего. В праздник гордятся тем, что свободны от обычая, что презрели традиции, что чужое им дороже своего. Святотатство радует их, пока остается святотатством. Люди попирают то, что пока еще весомо и ощутимо для них. Живут, пока дышит их враг. Тень закона еще так крепко держит их, что они способны ею возмущаться. Но вот и тень исчезла. Радоваться нечему, забыт даже вкус победы. Наступило царство скуки. Вместо замка они на рыночной площади, исчерпав удовольствие хвастливо и высокомерно попирают былое, они не знают, что им делать на этой ярмарке. И тогда просыпаются смутные мечты об огромном доме с тысячей окон, с завесами, падающими на плечи, с прохладными двориками. Мечты о потайной комнатке, которая придает вкус тайны всему жилищу... Сами того не подозревая, они тоскуют о замке моего отца, где каждый шаг был осмыслен, — замке, который они успели позабыть.

Я знаю, что будет, и своим произволом мешаю обнищанию сущего, и не желаю слушать твердящих мне о благодати естественных склонностей. Естественные склонности питают лужи ледниковой водой, истирают скалы в песок, разбивают бегущую к морю реку на сотни разбредаящихся ручейков. Естественные склонности ведут к разделению власти и уравниванию людей. Но веду я, и я выбираю. Перед моими глазами кедр, торжествующий над бегом времени. Время должно было обратить его в прах, но вопреки силе, гнущей ствол к земле, год от года раздвигается гордый храм его кроны. Я — жизнь, я упорядочиваю. Я творю ледники вопреки интересам луж. И пусть лягушки квакают о несправедливости. Я готовлю человека к тому, чтобы он жил.

Не мне обращать внимание на глупого болтуна, упрекающего кедр за то, что он не пальма, и

пальму за то, что она не кедр: книжное несварение тяготеет к хаосу. Для закослелости, позабывшей о жизни, болтун прав: отвлеченно и кедр, и пальма одно и то же и одинаково превратятся в прах. Но жизнь не терпит смешения и борется с естественными склонностями. Из праха она созидает кедр.

Истинность моих законов — в человеке, который порожден ими. Я не считаю, что смысл вот в этом обычае, законе, наречии моего царства. Я знаю другое: складывая камни, творишь тишину, но ничего о ней не узнаешь, разглядывая камни. Знаю, что живит любовь, а бинты и мази только подспорье. Знаю, что ничего не узнает о жизни тот, кто рассечет труп и ощупает печень, сердце, кости. Сами по себе что они значат? Что значат чернила и бумага в книге? Значима мудрость книги, но она вне вещиности, Я отвергаю споры, в них ничего не рождается. Язык моего народа, я хочу сберечь и сохранить тебя. Помню нечестивца, который пришел к моему отцу:

— Ты приказал молиться по четкам из тринадцати бусин. Но что есть число тринадцать? Благодать останется благодатью, хотя число бусин переменится...

И он стал приводить тончайшие доводы в пользу четок из двенадцати бусин. Я был мал, а детство податливо на слова. Я смотрел на отца, я боялся, что ответ его не затмит блеска этих доводов.

— Так объясни мне, — продолжал гость, — чем так дороги тебе тринадцать бусин?

— Дороги платой, за них заплачено не одной головой, — ответил отец. Бог помог нечестивцу, он уверовал.

IV

Дом для людей! Рассудку ли тебя строить? И способен ли кто-нибудь выстроить тебя как цепочку логических заключений? Ты — реальность, но ты — нереальность тоже. Ты есть, и тебя нет. Сущность твоя — разнородность, и для того, чтобы ты появился, нужно тебя сотворить. Тот, кто, желая понять сущность дома, разбирает его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни тишины, ни уюта, ни прохлады, которым служили кирпичные стены и черепичная крыша. Кирпичи, черепица — чему способны они научить, если распался замысел зодчего, который объединил их воедино? Камень нуждается в сердце и душе человека.

Логика привела нас к кирпичу, к черепице, но ничего не сказала ни о душе, ни о сердце, которые соединили их и преобразили в тишину, Душа и сердце вне логики. Они не подчиняются математическим законам. Вот почему необходим я и мой произвол. Я — зодчий. Душа и сердце. Я прихожу и берусь за окружающий меня материал. Все вокруг — глина, и я начинаю трудиться, подчиняя ее творческому замыслу, рожденному во мне Господом, а не логикой. Я творю свое царство, одержимый духом, который воплотится в нем, творю так же, как пишутся стихи, не давая никому отчета, почему переставил запятую, почему заменил слово, — дух, открывшийся сердцу, ищет сказаться и ведет.

Я — правитель. Я предписываю законы, учреждаю празднества, требую жертв. Отары овец и коз, дома и горные кряжи я превращаю в царство, похожее на замок моего отца, где каждый шаг был осмыслен.

Как распорядились бы они без меня доставшейся им кучей кирпича? Перетаскили бы справа налево, чтобы вовсе забыть о порядке? Но я взял в свои руки бразды правления, я

осуществил выбор. Выбрал за всех, и все теперь могут молиться в тишине и прохладе, сотворенных мной из бессмысленной кучи кирпичей. Кирпичей, которые я подчинил замыслу, рожденному моим сердцем.

Я веду. Я — вождь. Я — мастер. Я отвечаю за созидание. И зову всех других себе на помощь. Потому что я понял: вождь не тот, кто способен хранить ведомых; вождь — тот, кто с помощью ведомых способен сохранить себя. Я, и только я, — творец картины, собравшей воедино отары и дома, коз и горные кряжи, — картины, в которую мой народ влюбился, словно в юную богиню, раскрывшую ему на заре объятия, — картины, которой никто еще и никогда не видел. Моему народу полюбили царство, созданное произволом моего творчества. Он полюбил его, а значит, полюбил и меня — зодчего. В статуе любят не глину, не бронзу, не мрамор, — душу ваятеля. Теперь мне хочется, чтобы народ чтит мое царство. Но чтить его он будет только после того, как напитает кровью собственного сердца. Принесет ему жертвы. Новое царство потребует от людей их плоти и крови, чтобы стать выражением их самих. И когда так будет, люди не смогут жить вне Божественной упорядоченности, явленной им как веление сердца зодчего. Вечера их наполнятся усердием. И отец, как только у сына откроются глаза, будет учить малыша различать облик царства, который не так-то легко разглядеть среди дробности мира.

И если я сумею сделать мое царство таким высоким, что и звезды найдут в нем свое место, то народ мой, встречая ночь на пороге, поднимет глаза к небу и возблагодарит Господа за то, что Он мудро ведет Свои корабли. И если мое царство окажется столь протяженным, что его хватит на всю человеческую жизнь, то народ мой будет идти от праздника к празднику, словно от преддверия к преддверию, зная, что будет за дверями, и различая среди дробности мира лик Господа.

Царство мое! Я строил тебя, как корабль. Крепил, оснащал, и теперь ты плывешь в потоке времени, который стал тебе попутным ветром. Корабль людей, без него им не добраться до вечности! Но я вижу, сколько опасностей грозит моему кораблю. Вокруг бушует беспокойное море неведомого. Мне предлагают все новые и новые курсы. Любой путь возможен, потому что всегда возможно разобрать построенный храм и сложить новый. Он не будет лживей старого и не будет истинней, не будет грешней и не будет праведней. Камни не помнят, какой была тишина, поэтому никого не коснется чувство утраты...

Вот почему я забочусь о мидель-шпангоутах моего корабля. Они должны послужить не одному поколению. Никогда не украсит храм, если что ни год возводить новый фундамент.

V

Да, я забочусь о мидель-шпангоутах и хочу, чтобы мой народ всегда помнил о них. Мой корабль хрупок, он — творение человеческих рук. А вокруг слепые стихии, могучие и неведомые. Слишком много покоя окажется у того, кто будет искать его посреди бушующего моря.

Вечным кажется людям доставшееся им царство. Очевидность всегда кажется незыблемой. Обжившись на корабле, люди не замечают моря. Оно для них рама, что обрамляет их корабль. Такова особенность человеческого рассудка. Ему свойственно верить, что море создано для корабля. Но рассудок не прав.

Одному ваятелю видится в камне женское лицо, другому — мужское. Каждый видит свое. Ты убедишься в этом, разглядывая созвездия: вот одно из них — лебедь. Но кто-то скажет тебе: эти звезды напоминают спящую женщину. Да, напоминают, но мы увидели ее слишком

поздно. Нам не избавиться от лебеда. Лебедь — игра фантазии, но он поймал нас и крепко держит. Однако если вдруг забыть, что лебедь лишь прихоть воображения, и счесть, что он существует на самом деле, мы перестанем оберегать его. И я понял, чем опасен для меня безрассудный, чем — фокусник. Им ничего не стоит сотворить множество новых картинок. Главное для них — ловкость собственных рук. Стоит понаблюдать за их жонглерством, и мое царство вскоре тоже покажется пустой игрой. Я приказываю схватить и четвертовать фокусника. Не потому, что мои законники доказали, что картинки его лживы. Нет, не лживы. Но истины в них тоже нет. Я не хочу, чтобы фокусник думал, будто он умнее и справедливее моих законников. Неправота его в том, что он возомнил себя правым. В том, что творения своих рук счел истиной, что ослепил всех эфемерным фейерверком, за которым не стоит ни истории, ни традиций, ни религии. Он соблазняет порядком, которого еще нет. Мой есть. И я убираю фокусника, оберегая мой народ от хаоса.

Позабывший о том, что наше царство — корабль посреди безбрежного моря, обречен на гибель. Он увидит, как волны сметут все глупые игры вместе с кораблем.

Это сравнение пришло ко мне в открытом море, когда я с небольшой частью моего народа отправился на корабле путешествовать.

Вот он, мой народ, — пленник корабля, затерянного посреди моря. Молча и не спеша я обошел корабль. Люди сидели, склонившись над подносами с едой, кормили детей, перебирали четки и молились. Мой народ жил. Царством ему стал корабль.

Но однажды ночью стихия очнулась. В молчании моей любви я пошел посмотреть, что делает мой народ, и увидел: он занят своей жизнью. По-прежнему куются кольца, прядется шерсть, ведутся тихие разговоры, — люди без устали трудятся, чтобы не оборвались связующие их нити, чтобы преодолеть отъединенность и стать единым целым, где смерть одного — потеря для каждого. С молчаливой любовью я слушал их голоса. Я не слушал, о чем они говорят, о чайниках или болезни. Я знаю: смысл вещей не в вещах — в устремлении. И тот, кто с важностью улыбнулся, подарил сам себя, а другой, которого томит тоска, не догадывается, что тоскует оттого, что напуган или оставлен Господом. Вот какими я видел их в молчании моей любви.

А тем временем море, о котором и знать ничего невозможно, не спеша раскачивало нас на своих плечах. Высоко подбрасывало вверх, и на миг мы повисали в пустоте. Корабль сотрясался, словно разваливаясь на части. Исчезала реальность, и люди замолкали, переставали молиться, кормить детей, чеканить тусклое серебро. Оглушительный, похожий на раскат грома треск раздираал деревянную обшивку. Корабль наливался тяжестью и, падая, был готов раздавить сам себя. Его падение выжимало из людей рвоту.

Что же, они так и будут жаться друг к другу в этом скрипучем хлеве при тошнотворном мигании керосиновых ламп? И я, опасаясь, как бы они не отчаялись, сказал:

— Пусть чеканщики вычеканят мне серебряный кувшин. Повара пусть приготовят еду повкуснее. Здоровые позаботятся о больных. А молящиеся за всех помолятся...

И когда я увидел у борта побледневшего как смерть человека, который прислушивался в реве валов к священной песне моря, я сказал ему:

— Спустись в трюм и пересчитай павших овец. Случается, что, перепугавшись, они затаптывают друг друга. Он ответил:

— Бог сызнава лепит море. Я слышу треск мидель-шпангоутов. У них не должно быть голоса, они для нас основа основ, наш костяк и опора. Не должно быть голоса и у опор в глубинах земли, которой мы доверили свои дома, аллеи олив, кротких тонкорунных овец, медленно жующих в хлеву Господнюю траву. Отрадно растить оливы, растить овец, заниматься едой и

любовью у себя в доме. Страшно, когда опасными для тебя становятся собственные стены. Когда завершенное вновь пускают в работу. Вот и сейчас молчаливое обретает голос. Что с нами будет, если забормочут горы? Я слышал их бормотанье, и мне его не забыть.

— Какое бормотанье? — спросил я.

— Господин мой, раньше я жил в деревне, раскинувшейся на покойной спине холма, крепко стоящей на своей земле под своим небом, собиравшейся долго жить и прожившей долго. Шероховатые каменные колодцы, пороги домов, ложе родника благодаря вековому служению обрели благословенную гладкость. Но однажды ночью что-то очнулось в земных глубинах. Мы поняли, что земля ожила у нас под ногами и захотела стать другой. Завершенное вновь поступало в работу. И мы испугались. Не за себя — за плоды многолетних усилий. За то, на что положили жизнь. Я — чеканщик, и жалел чудесный кувшин, над которым трудился два года. Два года бдений стали прекрасным кувшином. Сосед боялся за пушистые ковры, которые ткал с такой радостью. Каждый день он просушивал их на солнце, гордясь, что его заскорузлые руки превратились в эту серебристую зыбь, кажущуюся бездонной. Другой сосед боялся за посаженную им оливковую рощу. Поверь, никто из нас не боялся умереть, но все мы боялись, что погибнут сделанные нами вещи, казалось бы, ничего не значащие и ничтожные. Вот тогда мы поняли: смысл жизни в том, на что она потрачена. Смерть садовника не подкосит дерева. Но сруби плодоносящее дерево, и садовник будет убит. В нашей деревне жил один старик, он знал самые древние легенды пустыни, и в его устах они становились еще прекраснее. Больше никто не знал таких сказок и легенд, а сыновей у него не было. С того мига, как зашевелилась земля, он боялся за свои бедные сказки, которых никто уже не расскажет больше. А земля продолжала жить и искать себе новую форму. Мало-помалу она превратилась в оползающую рыжую хлябь. Скажи, на что можно тратить себя, если все вокруг уничтожается неподвластной тебе стихией? Что можно построить, если все пришло в движение?

Перекосились дома, балки лопались, словно их начинили порохом. Стены дрожали и рассыпались в прах. Мы выжили, но стали ненужными даже самим себе. Кроме сказочника, — он пел и рассказывал что-то, потому что утратил рассудок Зачем ты посадил нас на корабль? Корабль пойдет ко дну, и с ним вместе все, над чем мы трудились. Я чувствую, как обтекает нас бесплодное время. Я чувствую, как оно утекает. Время не должно течь так ощутимо. Оно должно обрести форму, созреть и состариться. Оно должно стать вещью, постройкой. Но какой формы ему ждать теперь, если мы ничего не можем, если от нас ничего не останется?

VI

Я смотрел на свой народ и думал: никто теперь не тратит свою жизнь на дело своих рук, нет наследия, которое неизменным передавало бы одно поколение другому, время теперь течет бесплодно, словно песок. Я думал: выстроенный нами дом слишком тесен, а дело, которому человек служит, слишком недолговечно. И я вспомнил фараонов, принуждавших свой народ воздвигать гигантские усыпальницы. Незыблемые и угловатые, плыли пирамиды по океану времени, тихонько истирались в пыль. Вспомнил девственные пески, караван вступил на них и увидел вдруг древний храм — полузатонувший корабль, потерявший снасти в голубой невидимой буре, еще плывущий, но уже обреченный. И вот о чем я подумал: не так уж и долговечен храм, нагруженный драгоценной утварью и позолотой, стоивший многих дней человеческой жизни, — храм, собравший мед множества поколений: золотую филигрань, священную позолоту, на которую медленно тратили себя и старели ремесленники, расшитые пелены, — день за днем отдавали им зоркость глаз юные женщины, превращаясь в старух, пока, скрюченные, кашляющие, колеблемые дуновением смерти, не оставляли после себя

этот царственный шлейф, вечно цветущий луг. Тот, кто видит его сейчас, шепчет: «Как прекрасна эта вышивка! Как же она прекрасна...» А я знаю, что, вышивая, женщины день за днем преображали в вышивку самих себя. И не догадывались, что так совершенны.

Нужен ларец, чтобы хранить их наследство. Нужна повозка, чтобы везти его с собой. Я что-то, что долговременней человека. Я хочу сберечь смысл потраченной жизни. Хочу выковать дарохранительницу, которой люди могли бы доверить все, что в них есть.

И опять я смотрю на полузатонувшие корабли, медлящие в волнах пустыни. Все-таки они плывут. И я понял: прежде всего нужно строить корабль, снаряжать караван, возводить храм — они долговечнее человека. Люди с радостью будут тратить себя на то, что драгоценнее их самих. Только тогда появятся художники, скульпторы, граверы, чеканщики. Но чего ждать от человека, если трудится он для насущного хлеба, а не ради собственной вечности? Я напрасно потратил бы время, обучая таких работников законам архитектуры. Дом — подспорье их жизни, и бессмысленно тратить на него эту жизнь. Дом — средство, и ничего больше. «Необходимость», — говорят они о доме и озабочены не домом, а его удобством. В доме они обогащаются. И умирают нищими, не оставив после себя ни расшитых пелен, ни золоченой утвари, сложенной в трюме каменного корабля. Их понуждали к трате, а они захотели, чтобы их обслуживали. Они ушли и оставили после себя пустоту.

С такими мыслями бродил я среди людей моего народа тихим вечером, который всех отпустил на свободу, и смотрел, как они сидят на пороге жалких лачуг в измятой ветхой одежде, отдыхая после пчелиного усердия дня. Но думал я не о них — о душистом меде, который они все вместе собрали сегодня. Я остановился и посмотрел на одного из них — слепого старика калеку. При малейшем движении он кряхтел, словно старое кресло, на вопросы отвечал не сразу, потому что прожитые годы затуманили для него смысл слов. Но тем осмысленней, тем проникновенней веяло от него работой, на которую он положил жизнь, веяло от узловатых рук, от дрожащих пальцев — работой уже не вещественной, но ставшей благоуханным ароматом. Благодаря ей он чудесно отъединялся от своей коснеющей плоти, становясь все счастливее, все неуязвимей. Нетленнее. И, приближаясь к смерти, чувствовал не ее леденящее дыхание, а дрожь мерцающих звезд у себя в руках...

Всю свою жизнь они трудились ради бесполезной роскоши, тратя себя на нетленность вышивки... малая их часть истратилась на полезное, а все остальное — на оттачивание рисунка, совершенствование формы, чеканку, ненужную серебру. Все это ничему не служит, а только вбирает отданную им жизнь и живет дольше человеческой плоти.

Медленными шагами шел я вечером среди людей моего народа, укрывая их своей молчаливой любовью. Я тревожился лишь за тех, кого снедал бесплодный огонь, а значит, и тоска: за поэта, влюбленного в поэзию и не написавшего ни строки, за женщину, влюбленную в любовь и не умеющую выбрать, — она лишена возможности стать собой. И понял: они излечатся, если я подарю им то, что вынудит их выбирать, жертвовать собой и забывать обо всей Вселенной. Любимый цветок — это прежде всего отказ от всех остальных цветов. Иначе он не покажется самым прекрасным. То же самое и с делом, на которое тратишь жизнь. Когда безрассудный упрекает старуху за вышиванье, понуждая ее ткать, — он потворствует небытию, а не созиданию. Я иду по своему раскинутому в пустыне лагерю. Потихоньку, незаметно и не спеша все обретает в нем форму и вызревает, и я чувствую вместе с запахом дыма и пищи аромат молитвы. Временем питаются плод, вышивка и цветок для того, чтобы родиться и быть.

Подолгу бродил я по лагерю и понял: не добротная пища облагораживает царство — добротные потребности жителей и усердие их в трудах. Не получая, а отдавая, обретаешь благородство. Благородны ремесленники, о которых я говорил, они не пожалели себя, трудясь денно и ночью, и получили взамен вечность, избавившись от страха смерти. Благородны воины: пролив кровь, они стали опорой царства и уже не умрут. Но не

облагородишься, покупая себе самые прекрасные вещи у лавочников и любуясь всю жизнь только безупречным. Облагораживает творчество. Я видел вырождающиеся народы: они не пишут стихов, они их читают, пока рабы обрабатывают для них землю. Скучные пески Юга из года в год возвращают племена, жаждущие жить, — наступает день, и эти племена завладевают мертвыми сокровищами мертвого народа. Я не люблю людей с омертвелым сердцем. Тот, кто не тратит себя, становится пустым местом. Жизнь не принесет ему зрелости. Время для него — струйка песка, стирающая его плоть в прах. Что я верну Господу после его смерти?

Горе, когда разбивается сосуд, не успевший наполниться. Смерть старика похожа на чудо, он истратил жизнь и себя на труды, он ушел в землю, а на земле благоухают плоды его труда — в земле лежит сработавшееся орудие. Но я видел, как умирают дети моего народа, — они умирали молча, задыхаясь, они прикрывали глаза, удерживая пушистыми ресницами меркнувший в зрачках свет.

«У Ибрагима умирает ребенок», — услышал я. Медленно проскользнул я, никем не замеченный, в дом Ибрагима, зная, что молчаливая любовь понятна и через завесу слов. Никто не обернулся, все вслушивались в шаги смерти.

Если в доме говорили, то шепотом, если ходили, то бесшумно, словно в нем поселился кто-то очень пугливый, готовый исчезнуть при тишайшем звуке. Не касались дверей, не открывали и не закрывали их, словно в доме трепетал слабый огонек на текучей поверхности масла. Я посмотрел на ребенка и понял, что он мчится где-то далеко-далеко, понял по учащенному дыханию и сжатым кулачкам, вцепившимся в горячку, уносящую его от нас галопом, по упрямо закрытым глазам, не желающим ни на что смотреть. Все вокруг старались залучить его обратно и приручить, как приручают дикого лесного зверька. Ему подставили чашку с молоком и, затаив дыхание, ждали: вдруг вкусный запах остановит его, ему захочется молока и он напьется. Тогда можно будет заговорить с ним, как заговаривают с ланью, лизнувшей ладонь.

Но он был по-прежнему невозмутим и серьезен. И если хотел чего-то, то вовсе не молока. Тогда старые женщины тихо-тихо, будто приманивая голубку, запели его любимую песню о девяти звездах, купавшихся в роднике, но он уже так далеко ушел, что не услышал. Ушел и даже не обернулся. Смерть принудила его к вероломству. И его умоляли о прощанье, беглом дружеском взгляде, который бросает путник, не замедляя шаг... о каком-нибудь знаке признательности. Его поворачивали с боку на бок, вытирали потное личико, уговаривали попить воды, пытались во что бы то ни стало разбудить от смерти.

Я собрался уходить, а они раскидывали все новые и новые ловушки, чтобы заманить малыша в жизнь. Но как легко малыш обходил все силки! Ему протягивали игрушку, чтобы зачаровать его счастьем, но когда она оказывалась слишком близко, маленькая ручка отстраняла ее, как отстраняют ветку, если она мешает скачке.

Я побыл с ними. Мне пора было уходить. Этот дом лишь одна из минут, одна из свечей, одна из крупиц жизни моего города. Ребенка окликнули, и он нечаянно улыбнулся, отозвался на оклик. И опять отвернулся к стене. Присутствие малыша стало невесомым присутствием птицы... Я оставил их творить тишину, которая, может быть, поможет приручить ребенка, который уходит в смерть.

Я шел вдоль узкой улочки. Я слышал, как за дверьми бранят служанок. Дома приводили в порядок, собирая необходимое, чтобы безопасно переплыть ночь. Мне не было дела, справедливо или нет бранят их. Я слушал голос усердия. А чуть дальше, у колодца, уткнувшись лицом в ладошки, плакала маленькая девочка. Я ласково погладил мягкие волосы и повернул ее к себе личиком, но не спросил, какое у нее горе, понимая, что этого она еще не знает. Горюют всегда об одном — о времени; которое ушло, ничего по себе не

оставив, о даром ушедших днях. Когда плачут о потерянном браслете, плачут о времени, заблудившемся неведомо где; когда оплакивают умершего брата, плачут о времени, которое больше ничему не послужит. Девочка, повзрослев, будет горевать об ушедшем возлюбленном, не понимая, что оплакивает утерянную дорогу к жизни, к чайнику, к запертому дому, к ребенку, лежащему у груди. Не понимая, что плачет о времени, которое будет течь сквозь нее бесплодно, как песок в песочных часах.

Вот на порог дома вышла, улыбаясь, женщина. Я посмотрел на нее, и она в ответ улыбнулась еще счастливее, радуясь, верно, тому, что наконец укачала ребенка, сварила вкусный суп, или просто вернулась домой, или своей свободной минутке. Я прохожу мимо знакомого сапожника без ноги. Он старательно расшивает золотом бархатные туфельки, и, хотя у него давным-давно нет голоса, я понимаю, что он поет.

— Чему ты так рад, сапожник?

Но не вслушиваюсь в ответ, зная, что он ошибется, сказав о полученных деньгах, скором ужине или отдыхе. Он не знает, что счастлив, истратив себя самого на раззолоченные туфельки.

VII

И вот что я еще понял: ошибается обыватель, веря в незыблемость покоя, защищенного стенами дома, — любой из домов в опасности. Храм, построенный на вершине горы, обдувает северный ветер, унося песчинку за песчинкой, и вот он уже похож на изношенный форштень и идет ко дну. Храм в пустыне осаждают пески и мало-помалу возьмут над ним верх. Рано или поздно ты увидишь пустынную гладь, сомкнувшуюся над остатками твоих построек. Все, что строишь, — в опасности. В опасности и мое царство. Я построил его своей любовью из домов, овец, гор и коз, но если не будет меня, его средоточия и творца, царство исчезнет, и останутся опять только горы, дома, козы и овцы.

Дробность вместо целостности, материал, ждущий нового ваятеля. И придут племена из пустыни и построят другое царство. Любя всем сердцем другую картину, они придут и по-новому расположат древние буквы в книге.

Ведь и я поступил точно так же. Я не устану славить вас, горделивые ночи моих военных походов. Раскинув на бесплодных песках треугольный лагерь, я поднимался на холм, ждал темноты и смотрел на темный треугольник внизу, — треугольник чуть больше деревенской площади, где я разместил своих воинов, верблюдов и оружие, — смотрел и думал о его уязвимости. В самом деле, как жалка эта горстка полуголых людей под голубыми шатрами: им грозит ночной холод, уже заморозивший звезды, грозит жажда, ибо воды в бурдюках должно хватить на девятидневный путь до колодца, грозят песчаные бури, неистовством похожие на бунт, грозят сабельные удары, от которых плоть, как перезрелый гранат, истекает алым соком. И человек уже ни на что не годен. Как жалки эти голубые полотняные шатры, которые не стали прочнее от спрятанной в них стали, которые стоят без защиты на запретной для них земле!

Но что мне до уязвимости? Я связал их всех в один узел и спас от рассеяния и гибели. Построив свой треугольник в ожидании ночи, я уже отъединил их от пустыни. Мой лагерь сжат, как кулак. Я видел: так защищался кедр от бесплодных утесов, спасая от гибели зеленеющие ветви. Кедр не спит, день и ночь он ведет борьбу, оборачивая в глубинах ствола себе на пользу те же самые частички враждебного мира, которые могут послужить его гибели. Кедр растит себя каждую секунду. И каждую секунду я укрепляю свой дом, заботясь

о его долговечности. Из дробности, которую развеяло бы одно дуновение, я сложил треугольник, прочностью равный башне и неизменностью форштевню. Опасаясь, как бы мой лагерь не погрузился в сон и не растворился в забвении, я поставил по его углам дозорных, чтобы они вслушивались в шорохи пустыни. Словно кедр, уплотняющий свою древесину благодаря скале, мой лагерь укрепляется благодаря грозящим ему со всех сторон опасностям. Благословенны ночные молчаливые вестники, их шагов никто не слышит, они внезапно появляются из темноты и, присев у костра, рассказывают, кто идет к Северу, а кто к Югу, ища своих украденных верблюдов, о ропоте, поднявшемся из-за убийства, и о замыслах тех, кто молчит в своем шатре, обдумывая, какой из ночей напасть. Как внимательно ты их слушал, этих вестников, говорящих о молчании молчаливых! Благословенны и те, другие, — они неожиданно возникали у нашего костра и приносили такую страшную весть, что мои воины, не медля, засыпали песком огонь и бросались плашмя с ружьем на землю, венчая лагерь короной порохового дыма.

Ибо тьма, едва она только сгустится, чревата необычайным.

Каждый вечер смотрел я на свой лагерь, окруженный, словно корабль, бескрайним простором, и знал, что заря вернет мне его невредимым и все в нем, как бойцовые петухи, будут радостно приветствовать рассвет. Воины мои вьючили верблюдов, голоса их в прохладе утра звучали, как трубы. Взбодренные хмельной свежестью новорожденного дня, они дышали полной грудью, радуясь необъятным просторам.

Я вел своих воинов на завоевание оазиса. Не знающий людей убежден, что благоговение перед оазисом возвращено в оазисе. Нет, живущие в нем не задумываются, где живут. Благоговеет перед оазисом иссушенное песками сердце бродяги. И я учил своих воинов любить оазисы.

Я говорил: «Вы увидите там душистую траву, журчащие родники, женщин в цветных покрывалах. Они кинутся бежать от вас толпой испуганных ланей, но сладостной будет ваша охота, ибо создали их, чтобы пленять».

Я говорил: «Им покажется, будто они ненавидят вас, и, защищаясь, они будут царапаться и кусаться. Но чтобы покорить их, достаточно погрузить мощную пятерню в их иссиня-черные волосы».

Я говорил: «Чтобы остановить их, ваша сила должна стать силой нежности. Они закроют глаза, не желая вас видеть, но ваше молчаливое терпенье нависнет над ними, как тень орла. И когда они поднимут на вас глаза, их слезы будут слезами о вас.

Вы станете для них неизмеримостью, и они не смогут вас позабыть».

И еще я сказал, желая возбудить в них нетерпеливое желание завладеть этим раем: «Вы узнаете там, что такое пальмовые рощи и пестрые птицы... Оазис покорится вам, ибо вы боготворите его, а те, кого вы изгоните, стали его недостойны. Их женщины, стирая белье в ручейке, журчащем по круглым белым камням, исполняют тяжкую нерадостную повинность, позабыв, что смеющийся ручей — всегда праздник. Вас выдубили пески, иссушило солнце, просолили жгучие солончаки, и, когда вы возьмете в жены этих женщин и, подбоченившись, будете смотреть, как они стирают в голубой воде ручья, вы узнаете сладость победы.

В бесплодных песках вы научились жить, как кедр, утверждаясь благодаря врагам, которые окружили вас со всех сторон. Завоевав оазис, вы останетесь в живых, если не превратите его в нору, куда забиваются и обо всем забывают. Помните: оазис — это каждодневная победа над пустыней.

Вы одержите победу, потому что жители оазиса закоснели в себялюбии и довольстве накопленным. Пески, осаждающие оазис, кажутся им красивой золотой короной. Они

издеваются над докучающими им своим беспокойством. Они не хотят сменить дозорных, задремавших у границы благословенной земли, рождающей родники.

Их сгноило призрачное счастье потреблять готовое. Не бывает счастливых без рабочего пота и творческих мук. Отказавшись тратить себя и получая пищу из чужих рук, изысканную пищу и утонченную, читая чужие стихи и не желая писать свои они изнашивают Оазис, не продлевая ему жизнь, изнашивают песнопения, которые им достались. Они сами привязали себя к кормушке в хлеву и сделали домашней скотиной. Они приготовили себя к рабству».

И вот еще что я сказал: «Вы завоюете оазис, но суть вещей останется прежней. Оазис — тот же лагерь в пустыне, но только в ином обличье. Со всех сторон опасности грозят моему царству. Оно построено из домов, гор, овец и коз; стоит развязать узелок, связавший их воедино, как не останется ничего, кроме груды строительных материалов — подарка грабителям.

VIII

Мне показалось, что люди нередко ошибаются, требуя уважения к своим правам, Я озабочен правами Господа в человеке и любого нищего, если он не преувеличивает собственной значимости, что как Его посланца.

Но я не признаю прав самого нищего, прав его гнойников и калечества, чтимых нищим как божество.

Я не видел ничего грязнее городской окраины на склоне холма, она сползала к морю, как нечистоты. Из дверей на узкие улочки влажными клубами выползло смрадное дыхание домов. Человеческое отребье вылезало из вонючих нор и без гнева и обиды, грязно, сипло перекорялось, как будто хлупала и лопалась пузырями болотная жижа.

Я взгляделся в хохочущих до слез, вытиравших глаза грязными лохмотьями прокаженных, — они были низки, и ничего больше. Они были довольны собственной низостью.

«Сжечь!» — решил мой отец. И весь сброд, вцепившись в затхлые свои трущобы, завопил о своих правах. Правах гнойной язвы.

— Иначе и быть не может, — сказал мне отец. — Они понимают справедливость как нескончаемость сегодняшнего.

А сброд вопил, защищая свое право гнить. Созданный гниением, он за него боролся.

— Расплоди тараканов, — сказал отец, — и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель.

Быть справедливым... — продолжал отец, — но сначала ты должен решить, какая справедливость тебе ближе: Божественная или человеческая? Язвы или здоровой кожи? И почему я должен прислушиваться к голосам, защищающим гниль?

Ради Господа я возьмусь лечить прогневшего. Ибо и в нем живет Господь. Но слушать его я не буду, он говорит голосом своей болезни.

Когда я очищу, отмою и обучу его, он захочет совсем другого и сам отвернется от того, каким был. Зачем же пособничать тому, от чего человек потом откажется сам? Зачем,

послушавшись низости и болезни, мешать здоровью и благородству?

Зачем защищать то, что есть, и бороться против того, что будет? Защищать гниение, а не цветение?

— Каждый для меня хранитель сокровища, я что сокровище в каждом, и в этом моя справедливость, — говорил отец. — Чу я и самого себя. В нищем теплится тот же свет, но его едва видно. Справедливо видеть в каждом путь и повозку. Мое милосердие в том, чтобы каждый су мел воплотиться.

Но ползущая к морю грязь? Мне горько смотреть на гниющие отбросы. Как исказился в них облик Господа! Я жду, что они однажды поступят по-человечески, но жду напрасно.

— Я видел среди них и тех, кто делился хлебом, нес мешок увечному, жалел больного ребенка, — возразил я отцу.

— У них все общее, — ответил отец, — они свалили все в общую кучу, так им видится милосердие. Так они его понимают. Они научились делиться и хотят заменить милосердие дележкой добычи, какой заняты и шакалы. Но милосердие — высокое чувство. А они хотят убедить нас, что дележка и есть благотворение. Нет. Главное, знать, кому творишь благо. Здесь низость домогается низостей. Пьяница домогается водки, ему хочется одного — пить. Конечно, можно потворствовать и болезни. Но если я озабочен здоровьем, мне приходится отсекал болезнь... и она меня ненавидит.

Своим милосердием они помогают гниению, — добавил отец. — А что делать, если мне по душе здоровье?

Если тебе спасут жизнь, — продолжал отец, — не благодари. Не преувеличивай собственной благодарности. Если твой спаситель ждет ее. от тебя, он — низок. Неужели он полагает, что оказал услугу тебе? Нет, Господу, если ты хоть чего-то стоишь. А если ты изнемогаешь от благодарности, значит, у тебя нет гордости и нет скромности. В спасении твоей жизни значимо не твое маленькое везенье, а дело, которому ты служишь и которое зависит и от тебя тоже. Ты и твой спаситель трудитесь над одним, так за что же тебе благодарить его? Его вознаградил собственный труд: он сумел спасти тебя. Это я и называю сотрудничеством в общем деле.

У тебя нет гордости, если ты идешь на поводу низменных чувств твоего спасителя. Потакая его мелочному самолюбию, ты продаешься ему в рабство. Будь он благороден, он не нуждался бы в твоей благодарности.

Меня заботит одно: общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Мне в помощь и ты, и камень. Кто благодарен камню, положенному в основу храма?

Обитатели трущоб работают только на себя. Отбросы, сползающие к морю, не тратят себя на песнопения, на статуи из мрамора, на самодисциплину во имя грядущих завоеваний. Единственное их занятие — поиск наивыгоднейших условий для дележа. Смотри не споткнись тут. Пища необходима, но она куда опаснее голода.

Они поделили все, даже жизнь они поделили на две части, и обе эти части лишены всякого смысла: сперва они достигают, потом хотят наслаждаться достигнутым. Все видели, как растет дерево. Но когда оно выросло, видел ли кто-нибудь, чтобы оно наслаждалось своими плодами? Дерево растет и растет. Запомни: завоеватель, превратившийся в обывателя, погиб...

В сотрудничестве — милосердие моего царства.

Я приказываю хирургу изнурять себя долгим путем по пустыне ради того, чтобы поправить сломанный инструмент. Пусть инструментом будет рука простого работяги, который рубит камень в каменоломне. А хирург мой будет искуснейшим врачом. Нет, я не возвеличиваю посредственность, я хочу, чтобы починили повозку. А вожатый и у одного, и у другого — один. Я забочусь о том, о чем заботятся ухаживающие за беременной. Ради будущего ребенка они занимаются ее тошнотой и недомоганиями. А благодарности она заслуживает только потому, что родит. Но вот женщины начинают требовать внимания и ухода, потому что их тошнит и они недомогают. Я отворачиваюсь, ибо сама по себе рвота отвратительна. Женщина — сосуд, сосуд не благодарят. И сама она, и ее помощники служат рождению, так о какой благодарности может идти речь?

...К моему отцу пришел генерал:

— Смешно смотреть на тебя! Ты возвеличиваешь царство и служишь ему. Но я тебе помогу, я заставлю всех чтить прежде всего тебя, а во имя тебя и твое царство!

Я видел и доброту моего отца. Он говорил:

— Нельзя унижать тех, кто главенствовал и кому воздавали почести. Нельзя отнимать у царя царство и превращать в нищего подававшего милостыню. Если ты так поступишь, ты разрушишь остов своего корабля. Я всегда ищу наказания, соразмерного виновнику. Я отрубая голову, но не превращаю князя, если он оступился, в раба. Однажды я повстречал принцессу, которую сделали прачкой. Ее товарки издевались над ней: «Куда подевалось твое величие, постирушка? Раньше ты могла казнить и наказывать, а теперь мы можем грязнить тебя в свое удовольствие. Вот она, справедливость!» Ибо справедливостью они считали возмездие.

Принцесса-прачка молчала в ответ. Она чувствовала свое унижение, но еще больше унижение того, что куда значительнее нее. Бледная и прямая, склонялась принцесса над корытом. Сама она вряд ли вызвала бы озлобление: она была миловидна, скромна, молчалива. И я понял, издеваются не над ней — над ее падением. Если вызывающий зависть сравняется с нами, мы его с наслаждением разорвем. Я подозвал к себе принцессу.

«Я знаю, что ты царствовала. С сегодняшнего дня жизнь и смерть твоих товаров в твоей власти. Я возвращаю тебе трон. Царствуй».

Возвысившись над низким сбродом, она презрела воспоминания о перенесенных обидах. И прачки больше не злобились, потому что порядок был восстановлен. Теперь они восхищались благородством принцессы. Они устроили празднество в честь ее воцарения и кланялись, когда она проходила. Они чувствовали, что возвысились, если могли коснуться ее платья.

Вот почему я не отдаю принцев на посмешище черни и издевательство тюремщиков. Нет, под трубные звуки золоченых рогов им на круглой площади по моему приказу отрубают голову.

Унижает тот, кто низок сам, — говорил мне отец. — И никогда не позволяй слугам судить хозяина.

IX

Отец говорил мне так:

— Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если ты хочешь, чтобы

они возненавидели друг друга, брось им маковое зерно.

И еще говорил мне отец:

— Плоды их трудов — вот моя забота. Жатва их ручейками должна стекаться ко мне в житницу. Житница для них — я. И пусть они служат моей славе, обмолачивая зерно в ореоле золотой пыли. Только так попечение о хлебе насущном можно сделать духовным песнопением. И тогда не жаль тех, кто сгибается под тяжестью мешка по дороге на мельницу. Или идет с мельницы, поседев от мучной пыли. Тяжелый мешок с зерном возвышает душу точно так же, как молитва. Посмотри, как они счастливы, стоя со снопом в руках, похожим на свечу, мерцающую золотом колосьев. Облагораживает взыскательность, а не сытость. Что же до зерна, то конечно же они получают его и съедят. Но пища для человека не самое насущное. Душа жива не тем, что получено от зерна, — тем, что было ему отдано.

И я повторяю вновь и вновь: племена, что довольствуются чужими сказаниями, едят чужой хлеб и нанимают за деньги архитекторов, желая построить себе город, достойны презрения. Я называю их стоячим болотом. И не вижу над ними золотящегося ореола пылинок, поднимающихся при молотье.

Разумеется, отдавая, я и получаю тоже. Иначе что я буду отдавать? Благословен нескончаемый обмен отданного и полученного, благодаря ему можно отдавать все больше и больше, полученное укрепляет тело, душу питает отданное.

Я смотрел на танцовщиц, которые танцуют. Танец придуман, станцован. Кто может воспользоваться им, унести и превратить в припас на будущее? Он миновал, как пожар. Но я назову благородным народ, танцующий свои танцы, хоть нет для них ни закровов, ни житниц. А тех, кто расставляет по полкам прекраснейшие творения чужих рук, несмотря на умение восхищаться, я назову варваром.

Мой отец говорил:

— Человек — это тот, кто творит. Сотворчество превращает людей в братьев. Живущему не принесет покоя сделанный им запас.

Моему отцу возразили:

— Ты говоришь о творчестве, что ты имеешь в виду? Немногие способны создать что-то выдающееся. Ты, стало быть, обращаешься к немногим. А остальные? Что делать им?

Отец ответил:

— Творить — значит оступиться в танце. Неудачно ударить резцом по камню. Дело не в движении. Усилие показалось тебе бесплодным?

Слепец, отойди на несколько шагов. Посмотри издалека на суетливый город. Что ты видишь, кроме усердия и золотистого ореола пыли над занятыми работой? Как тут различить, кто ошибся? Народ занят, и мало-помалу возникают дворцы, водоемы и висячие сады. Волшебство искусных рук сотворило шедевры, не так ли? Но поверь мне, удачи и неудачи равно сотворили их, потому как, подумай, можно ли расчленивать человека? И если спасать только великих ваятелей, можно остаться без ваятелей вообще. Кому достанет безумства избрать себе ремесло, сулящее так мало шансов выжить? Великие ваятели поднимаются на черноземе плохих. Они для них вместо лестницы и поднимают вверх ступенька за ступенькой. Прекрасный танец рождается из желания танцевать. Когда хочется, танцуют все, даже те, кто танцует плохо. А что остается, если пропадает желание? Мертвая выучка, бессмысленное зрелище.

Историк судит об ошибках, он смотрит в прошлое. Но кто упрекнет кедр за то, что он еще семечко, росток или растет не так, как надо? Его дело расти. Ошибка за ошибкой, и поднимается кедровый лес, благоухающий в ветреный день птицами.

— Я тебе уже говорил, — добавил отец, — неудача одного, успех другого, — не утруждай себя, не дели. Плодотворно лишь сотрудничество всех благодаря каждому. Любой неудачный шаг помогает удачному, а удача ведет к цели и того, кто промахнулся, они идут к ней рука об руку. Нашедший Бога находит Его для всех. Царство мое подобно храму, я бужу и побуждаю людей. Я созываю их возводить его стены. И вот уже это их храм. Воздвигнутый храм возвышает людей в собственных глазах. И они придумывают позолоту. Все вместе, и тот, кто искал и не нашел, тоже. Потому что замысел позолоты рожден всеобщим усердием.

В другой раз отец сказал мне:

— Не желай государства, где царило бы совершенство. Безупречный вкус

— добродетель хранителя в музее. Неоткуда ждать картин, садов, замков и танцев, если презирать дурной вкус. Боязнь черной работы и грязной земли рождает снобов. Праздное совершенство оставит тебя ни с чем. Заботься о государстве, где все было бы проникнуто усердием.

Х Словно от непосильной тяжести изнемогли мои воины. И офицеры пришли ко мне:

— Когда мы вернемся домой? Наши женщины лучше женщин завоеванного оазиса.

Один из них сказал мне:

— Господин мой, мне снится та, которой принадлежало мое время и с которой я ссорился. Я хотел бы вернуться к себе и сажать деревья. Я перестал видеть смысл вещей, мой господин. Позволь мне самому пуститься в рост в тишине моей деревни. Я чувствую, для меня настала пора подумать, что же такое моя жизнь.

И я понял: они нуждаются в тишине. В тишине каждый найдет свою истину и укоренится в ней. Но для этого необходимо время, как при вскармливании младенца. Материнская любовь поначалу и есть вскармливание. Кто видел, чтобы ребенок вырос в одну секунду? Никто. Удивляются гости и говорят: «Как он вырос!» Но ни мать, ни отец не видят, что ребенок вырос. Его неспешно лепит время, и в каждый миг он таков, каким должен быть.

Теперь время понадобилось и моим воинам. Не для того ли, чтобы постигнуть суть дерева? Чтобы из вечера в вечер садиться на пороге смотреть на одно и то же дерево, с теми же самыми ветвями? Чтобы мало-помалу дерево открылось им?

Как-то у костра в пустыне поэт рассказал нам о своем дереве. Мои воины внимательно слушали его, хотя многие из них не видели ничего, кроме верблюжьей колючки, кустарника и карликовых пальм.

— Вы даже не представляете себе, что такое дерево, — говорил он. — Однажды по прихоти случая дерево выросло в заброшенной лачуге без окон и отправилось на поиски света. Человеку нужен воздух, рыбе — вода, а дереву

— свет. Корнями оно уходит в землю, а ветвями к звездам, оно — путь, соединяющий нас с небом. Дерево, о котором я рассказываю, родилось слепым, но и в темноте оно сумело набраться сил и поползло на ощупь от стены к стене. Запечатлевая свою боль искривлениями ствола. Наконец оно добралось до окна в потолке, разбило его и потянулось к солнцу, прямое, как колонна. Я видел его победу со стороны и мог только засвидетельствовать ее с бесстрашием историка.

Какое великолепное несходство — искореженный усилиями узловатый ствол, запертый в темном гробу, и разросшаяся в тишине и спокойствии мощная крона, вскормленная небесным светом, обильно питаемая богами, похожая на обширный стол, за который садится пировать солнце.

Каждое утро я видел, как просыпалось это дерево — все, от ликующих листьев до искривленных корней. Крона его была переполнена птицами. С зарей они пробуждались и начинали петь. Но стоило показаться солнцу, как дерево, словно добрый пастырь, отпускало своих обитательниц в небо; дерево-дом, дерево-замок, опустевший до вечерней зари...

Поэт говорил, а мы вдруг ощутили, как долго нужно смотреть на деревья, чтобы они проросли и в нас. И каждый позавидовал сердцу, отягощенному птицами и листвой.

— Когда же, — спрашивали меня воины, — кончится наконец война? Нам тоже есть о чем подумать. Мы тоже хотим найти себя...

Случалось, что мои воины ловили лисенка, и он соглашался брать пищу из рук, и его из рук кормили. Случалось, из рук кормили газель, которая снизошла до жизни в неволе. День ото дня моим воинам становилось дороже их сокровище: как радовала их солнечная шкурка, шалости и голод лисенка, настоятельно требующего от них усердия. Они жили тщетной иллюзией, веря, что зверек нуждается в них, что его создала, вскормила и питает их любовь.

Но приходил день, и лисенок, который любил только свою пустыню, убегал к ней, и пустыней становилось человеческое сердце. Я видел, как посланный в засаду воин погиб, потому что ему не захотелось защищаться. Нам принесли весть о его гибели, и мне вспомнились загадочные слова, какими он ответил на утешения товарищей после бегства его лисенка, — ему советовали поймать другого, а он ответил: «Нужно слишком много терпения не для того, чтобы поймать, для того, чтобы любить его».

Они устали от лисят и газелей, когда поняли, что тратиться на них бесполезно, потому что лисенок любит пустыню, но ни пустыня, ни лисенок не нуждаются в человеке.

— У меня три сына, — говорил мне один из них, — они растут, а я ничему не научил их. Ничего им не передал. Что останется от меня после смерти?

Укрывая всех моей молчаливой любовью, я смотрел, как моя армия истаивает среди песков, подобно потоку, рожденному грозой. У такого потока нет надежного русла, и он умирает бесплодным, не перевоплотившись дорогой в дерево, траву, хлеб для деревень.

Ради блага моего царства мои воины хотели перевоплотиться в оазис, украсить мой замок новым отдаленным владением, чтобы, рассказывая о нем, можно было прибавить:

— Сколько прелести придают ему зеленеющие на Юге пальмы, наши новые пальмовые рощи и деревни, где режут слоновую кость...

Да, мы завоевали оазис, но ни для кого он не сделался домом, и каждый теперь мечтал об одном: вернуться. Исчезло единое царство, оно разделилось, дробность мира затуманила его облик.

— Для чего нам чужой оазис? Что он нам прибавит? Чем обогатит? — роптали они. — Для чего он нам в деревне, куда мы вернемся и где проживем до старости? Он для тех, кто поселится в нем, будет собирать инжир и стирать белье в торопливом ручье...

Они не правы, но я ничего не могу поделать. Угасает вера, и умирает Бог. Он кажется никому не нужным. Истошилось рвение, распалось царство, потому что скрепляло его усердие. Нет, оно не было обманом. Дорога под оливами и дом, который любят от всего сердца и берегут, — вот мое царство, но если оливы точно такие же, как сотни других, а дом под ними защищает только от дождя, то где оно, мое царство, и как уберечь его от разрушения? И проданные оливы останутся оливами, а дом домом.

Посмотрите на князя, хозяина здешних мест, — одинокий шагает он по дороге, и плащ его влажен от утренней росы. Где богатства его? Что в них толку? Он вязнет в грязи после вчерашнего дождя, он отводит палкой колючие ветки, — как бродяга, любой бродяга, бродяга из бродяг. Спустился в ложбину и потерял из виду свои владения. Но несмотря ни на что он — князь.

Ты встретишь его, он на тебя посмотрит, и это будет взгляд князя. Он спокоен, он уверен в себе, опорой ему все, что сейчас ему не служит. Да, сейчас он не пользуется ничем, но ничего и не утратил. Его владения: пастбища, ячменные поля, пальмовые роци — прочная опора. Поля отдыхают. Дремлют житницы. Молотильщики не вздымают цепями золотого ореола пылинки. Но все это живет в сердце князя. И не кто-нибудь, а хозяин шагает по своей люцерне...

Слеп тот, кто судит о человеке по его занятиям, плодам трудов или достижениям. Значимо для человека совсем не то, чем он располагает в эту секунду: на прогулке в руке у князя пучок колосьев или сорванное дорогой яблоко. Воин, что ушел со мной воевать, полон своей любимой. Он не может увидеть ее, обнять, коснуться — ее как бы и не существует; в ранний, предрассветный час она и не помнит о нем, шагающем где-то вдалеке с тяжким грузом своих воспоминаний, потому что ушла далеко-далеко от мира живущих. Потому что ее как бы и нет на свете, потому что она крепко спит. Но для мужчины она живет и бодрствует, и он несет в себе груз нежности, сейчас бесполезной, и которая тоже спит, словно зерно в житнице, несет ароматы, которые не вдыхает, журчанье родника — сердце своего дома, — он не слышит его, но несет с собой все свое царство, и оно отличает владельца от всех остальных людей.

...Вот твой друг, ты повстречал его, а у него болен ребенок, и тяжесть его болезни он повсюду носит с собой. Малыш далеко. Отец не держит горячей ручки, не слышит плача, жизнь его течет привычной чередой. Но я вижу, как придавила его тяжкая забота о малыше, который живет в его сердце.

Они похожи: князь, который не может охватить взглядом своего царства, не пользуется своим богатством, но знает, что оно есть и всегда остается властелином; отец больного ребенка, который страдает за него, и мой воин, который служит своей любви, пока любимая блуждает по стране сновидений. Смысл, которым окрашено происходящее, — вот что значимо для человека.

Бывает и по-другому, я знаю. Кузнец из моей деревни пришел ко мне и сказал:

— Какое мне дело до чужих и далеких? У меня есть сахар и чай, мой осел сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня все хорошо, и большего мне не нужно. Что мне до каких-то страданий?

Но хорошо ли в доме, одиноко стоящем посреди Вселенной? Если ты и твоя семья под полотняным шатром, затерявшимся в пустыне? Я заставил поправиться кузнеца.

— Хорошо, если по вечерам приходят друзья из шатра по соседству, если есть о чем потолковать и есть новости о пустыне...

Я же видел вас, не забывайте об этом! Видел, как вы сидели ночью вокруг костра, как жарили барашка, слушал всплески ваших голосов. Не спеша, с молчаливой любовью подходил я к вам. Да, конечно, вы говорили о детях: один растёт, а другой болеет; говорили, конечно, и о доме но без особого воодушевления. Зато как вы оживлялись, когда к вашему костру подсаживался странник, пришедший с караваном из дальних мест, и рассказывал о тамошних чудесах: о княжеских белых слонах, о замужестве девушки, чье имя едва вам знакомо, о переполохе в стане врагов. Он мог рассказывать о комете или обиде, о любви или мужестве в смертный час, о ненависти к вам или, напротив, участии. Множество событий соприкасалось с вами, пространство расширяло вас, и ваш собственный шатер, любимый и ненавистный, уязвимый и надежный, становился вам во сто крат дороже. Вас ловила волшебная сеть, и вы становились куда пространственней, чем были сами по себе...

Вам необходим простор, а высвобождает его в вас только слово.

Я вспомнил случай с беженцами-берберами. Мой отец поселил их отдельно, в небольшом селенье на севере от города. Он не хотел, чтобы они смешались с нами. Он был к ним добр: давал чай, сахар и полотно на одежду. Он не требовал от них никакой работы в уплату за свою щедрость. Кому еще жилось беззаботнее, и каждый из них мог сказать:

— Какое мне дело до чужих и далеких? У меня есть сахар и чай, мой осел сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня все хорошо и большего мне не нужно...

Но кому они показались бы счастливыми? Мы изредка навещали их, когда отец учил меня...

— Смотри, — говорил он, — они сделались домашним скотом и потихоньку гниют... не плотью, а сердцем...

Ибо мир для них обесмыслился.

Даже если ты не поставил на кон состояния, игра в кости для тебя мечта об отарах, земле, золотых слитках и бриллиантах. У тебя их нет. Но они есть у других. Однако приходит день, и ты перестаешь мечтать при помощи игры в кости. И бросаешь игру.

А наши подопечные бросили разговаривать, им стало не о чем говорить. Истерлись похожие друг на друга семейные истории. О своих шатрах, похожих как две капли воды, они все рассказали друг другу. Они ничего не боялись, ни на что не надеялись, ничего не придумывали. Слова служили им для самых обыденных дел. «Одолжи мне таганок», — просил один. «Где мой сын?» — спрашивал другой. Чего хотеть, когда лежишь у кормушки? Ради чего стараться? Ради хлеба? Им кормят. Ради свободы? Но в пределах своей крошечной вселенной они свободны до беспредельности. Они захлебывались от своей безграничной свободы, и у богатых от нее пучило животы. Ради того, чтобы восторжествовать над врагами? Но у них не было врагов.

Отец говорил:

— Ты можешь прийти к ним один, пройти по всему селенью, хлеща их бичом по лицу. Они оскалятся, как свора собак, попятятся, огрызаясь и желая укусить, но ни один не пожертвует собой. Ты останешься безнаказанным, скрестишь руки на груди и почувствуешь оскомину от презрения...

Он говорил:

— На вид они люди. Но под оболочкой не осталось ничего человеческого. Они могут убить тебя по-подлому, в спину, — воры тоже бывают опасны, — взгляда в глаза они не выдержат.

А берберы тем временем занемогли враждой. Не той, что делит людей на два лагеря, —

бестолковой враждой каждого ко всем остальным: ведь каждый, кто съел свой припас, мог своровать что-то у других. Они следили друг за другом, как собаки, что кружат вокруг лакомого куска. Равенство было для них справедливостью, и во имя равенства они начали убивать. Убивать того, кто хоть чем-то был отличен от большинства.

— Толпа, — говорил отец, — ненавидит человека, потому что всегда бестолкова и расплзается во все стороны разом, уничтожая любое творческое усилие. Плохо, если человек подавил толпу. Но это еще не безысходность рабства. Безысходное рабство там, где толпе дано право уничтожить человека.

И вот во имя сомнительной справедливости кинжалы вспарывали животы, начиная ночь трупами. А на заре эти трупы сваливали, словно мусор, на пустыре, откуда забирали их наши могильщики. Работы у них не убавлялось. И мне вспомнились отцовские слова: «Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если хочешь увидеть их ненависть, брось им маковое зерно».

Мы заметили, что берберы, пользуясь словами все реже и реже, отвыкают от них. Когда мы с отцом шли мимо, берберы сидели с пустыми тупыми лицами, смотрели и не узнавали. Иногда мы слышали глухое ворчанье и догадывались, что приближается час кормежки. Берберы бытовали, позабыв, что значит горевать и хотеть, любить и ненавидеть. Они не мылись, не уничтожали паразитов. Пошли болезни, язвы. От поселения стал исходить смрад. Мой отец опасался чумы. И вот что он сказал:

— Я должен разбудить ангела, что задыхается под этим гноищем. Не их почитаю я, но Господа, который и в них тоже...

XII

— Вот одна из великих загадок человеческой души, — сказал отец. — Утратив главное, человек даже не подозревает об утрате. Разве знают об утрате жители оазиса, стерегущие свои припасы? Откуда им знать о ней, раз припасы при них?

На прежних местах дома, овцы, козы, горы, но они уже не царство. Не ощущая себя частичкой царства, люди, сами того не замечая, понемногу ссыхаются и пустеют, потому что все вокруг обесмыслилось. На взгляд все осталось прежним, но бриллиант, если он никому не нужен, становится дешевой стекляшкой. Твой ребенок, он больше не подарок царству, не драгоценность. Но ты пока не знаешь об этом, ты держишь его на руках, а он тебе улыбается.

Никто не заметил, что обеднел, потому что в обиходе у нас все те же вещи. Но каков обиход бриллианта? Для чего он, если нет праздничного торжества? Для чего дети, если не существует царства и мы не мечтаем, что они станут воителями, князьями, зодчими? Если судьба их быть слабым комочком плоти?

Люди не знают, что царство вскармливает их, как мать младенца, что оно питает душу, словно спящая где-то вдали и словно бы несуществующая возлюбленная. Но ты ее любишь, и благодаря твоей любви обретает смысл все, что с тобой происходит. Ты не слышишь ее тихого дыхания, но благодаря ему мир сделался чудом. Князь шагает по росистой траве на рассвете, и, пока не проснулись его землепашцы, царство бодрствует в его сердце. И вот что еще загадочно в человеке: он в отчаянии, если его разлюбят, но когда разочаруется в царстве или разлюбит сам, не замечает, что стал беднее. Он думает: «Мне казалось, что она куда красивее... или милее...» — и уходит, довольный собой, доверившись ветру

случайности. Мир для него уже не чудо. Не радуется рассвет, он не возвращает ему объятий любимой. Ночь больше не святая святых любви и не плащ пастуха, какой была когда-то благодаря милому сонному дыханию. Все потускнело. Одеревенело: Но человек не догадывается о несчастье, не оплакивает утраченную полноту, он радуется свободе — свободе небытия.

Тот, в ком умерло царство, похож на разлюбившего. «Мое усердие — наваждение идиота!» — восклицает он. И прав. Потому что видит вокруг коз, овец, дома, горы. Царство было творением его влюбленного сердца.

Для чего женщине красота, если мужчины не вдохновляются ею? Чем драгоценен бриллиант, если никто не жаждет им обладать? Где царство, если никто ему не служит?

Влюбленный в чудесную картину хранит ее в своем сердце, живет и питается ею, как младенец материнским молоком, она для него суть и смысл, полнота и пространство, краеугольный камень и возможность подняться ввысь. Если отнять ее, влюбленный погибнет от недостатка воздуха, словно дерево с подсеченным корнем. Но когда картина вместе с человеком меркнет день за днем сама по себе, человек не страдает, он сживается с серостью и не замечает ее.

Вот почему нужно неусыпно следить, чтобы в человеке бодрствовало великое, нужно его понуждать служить только значимому в себе.

Не вещь питает, а узел, благодаря которому дробный мир обрел целостность. Не алмаз, но желание им любоваться. Не песок, а любовь к нему племени, рожденного в пустыне. Не слова в книге, но любовь, поэзия и Господня мудрость, запечатлевшиеся в словах.

Если я понуждаю вас к сотрудничеству, если, сотрудничая, вы становитесь единым целым и целое, нуждаясь в каждом, каждого обогащает, если я замкнул вас крепостью моей любви, то как вы сможете воспротивиться мне и не возвыситься? Лицо прекрасно глубинным созвучием черт. На прекрасное лицо душа отзывается трепетом. Созвучные сердцу стихи вызывают на глаза слезы. Я взял звезды, родник, сожаления. Ничего больше. Я соединил их произволом моего творчества, и теперь они ступени Божественной гармонии, которой не обладали по отдельности и которая теперь овекает их.

Мой отец послал сказителя к опустившимся берберам. Наступили сумерки, сказитель сел посреди площади и запел. Его песня бередила души, будя созвучия, напоминая о многом. Сказитель пел о царевне и о долгом пути к любимой по безводным пескам под палящим солнцем. Жажда влюбленного была готовностью к жертве и одержимостью страстью, а глоток воды — молитвой, приближающей его к возлюбленной. Сказитель пел:

«Сгораю без тенистых пальм и ласки капель, измучен жаждой улыбнуться милой, не знаю, что больнее жалит — зной солнца или зной любви?»

Жажда жаждать обожгла берберов, и, потрясая кулаками, они закричали моему отцу: «Негодяй! Ты отнял у нас жажду, а она — жертва во имя любви!»

Сказитель запел о могуществе опасности, она приходит вместе с войной и царит, превращая золотой песок в гнездо змей. Она возвеличивает каждый холм, наделяя его властью над жизнью и смертью. И берберам захотелось соседства смерти, оживляющей мертвый песок. Сказитель пел о величии врага, которого ждут отовсюду, который, словно солнце, странствует с одного края света на другой, и неведомо, откуда ждать его. И берберы возжаждали близости врага, чье могущество окружило бы их, словно море.

В них вспыхнула жажда любить, они словно бы заглянули в лицо любви и вспомнили о своих кинжалах. Плача от радости, ласкали берберы стальные клинки — забытые, заржавленные,

зазубренные, — но клинки для них были вновь обретенной мужественностью, без которой мужчине не сотворить мира. Клинок стал призывом к бунту. И бунт был великолепен, как пылающий огонь страсти.

Берберы умерли людьми.

XIII

Вспомнив о берберах, мы решили лечить мое умирающее войско поэзией. И вот какое случилось чудо — поэты оказались бессильными, солдаты над ними потешались.

— Лучше бы пели о всамделишном, — говорили они, — о колодце в нашем дворе и как вкусно за ужином пахнет похлебка. А всякая ерунда нам неинтересна.

Так я понял еще одну истину: утраченное могущество невозвратимо. Мое царство никого больше не вдохновляет. Прекрасные картины умирают, как деревья. Истошив возможность завораживать, они превращаются в пепел и удобряют другие деревья. Я отошел в сторону, желая поразмыслить над новой загадкой. Да, видно, не существует в мире большей или меньшей подлинности. Существует большая или меньшая действительность. Я выпустил из рук волшебный узел, когда-то сливший дробный мир воедино. Узел ускользнул от меня и развязался. Теперь мое царство распадается будто само по себе. Но если буря обламывает ветки кедра, если суховея иссушает его древесину, если пустыня одолевает кедр, то не потому, что песок стал сильнее, — потому, что кедр перестал сопротивляться и распахнул ворота варварам.

Сказитель пел, а слушатели упрекали его в фальши. Патетика сказителя и впрямь звучала фальшиво, казалась отжившей и старомодной. «Неужто он и в самом деле влюблен до потери сознания во всю эту чепуху — в коз, овец, дома и пригорки? — интересовались мои солдаты. — Он что, всерьез обожает речную излучину? Но что она по сравнению с ужасом войны? Она не стоит и капли крови!» Ничего не поделать, и мне показалось, что поэты кривили душой, что рассказывали малым детям дурацкие побасенки, а дети смеялись над ними...

Мои генералы, дотошные и недалекие, пришли ко мне с жалобой на сказителей. «Они не умеют петь!» — кричали генералы. Но я знал, почему фальшивят сказители: они воспевали бога, который умер.

А мои генералы, дотошные и недалекие, стали задавать мне вопросы. «Почему солдаты не хотят воевать?» — спросили они, обижаясь за свое ремесло, как могли бы спросить: «Почему жнецы не хотят жать хлеб?» Вопрос их не имел смысла. Речь шла не о ремесле. И в молчании моей любви я спросил по-другому: «Почему мои солдаты отказываются умирать?» И моя мудрость стала искать ответа.

Нет, не умирают ради овец, коз, домов и гор. Все вечное существует и так, ему не нужны жертвы. Умирают ради спасения незримого узла, который объединил все воедино и превратил дробность мира в царство, в крепость, в родную, близкую картину. Тратят себя ради целостности, ибо и смерть укрепляет ее. Смерть, которая стала данью любви. Тот, кто неспешно тратил жизнь на добротную работу, что долговечнее человека, — на постройку храма, например, который будет шествовать сквозь века, — тоже согласится на смерть, если дробный мир покажется ему прекрасным замком, и, влюбившись в замок, он захочет с ним слиться. Его примет большее, чем он сам. Он отдаст себя своей любви.

Но как согласиться отдать жизнь из выгоды? Выгоднее всего жить. Песни моих сказителей не будили в душе созвучий — значит, за кровь моим воинам платили фальшивой монетой. Их лишили возможности умереть во имя любви. Так зачем тогда умирать?

А тот, кто все-таки шел на смерть, повинувшись долгу, который стал непонятен, умирал в тоске: вытянувшись, он молчаливо смотрел тяжелым взглядом, от отвращения став жестоким.

И я стал искать в своем сердце слова для нового поучения, чтобы вернуть себе моих воинов. Но понял: человека ведет не логика и не мудрость, мне нужна новая картина, а картины творят художники и ваятели, заставляя камень и краски служить произволу своего творчества, и я стал молиться Господу, чтобы он мне открыл новую картину.

Всю ночь я бодрствовал среди моих воинов и слушал, как скрипит песок, неторопливо перемещая дюны. Ветер то завешивал луну красноватой дымкой, то сдувал ее. Я слышал, как перекликаются дозорные, стоя по углам моего треугольного лагеря, и так пусты были их громкие безнадежные голоса.

Я сказал Господу: «Нет у них больше крова... Слова истерлись и износились. Берберы ни во что не верили, но вокруг них было мощное царство. Мой отец послал к ним сказителя, и его голосом заговорила мощь царства. За одну ночь всемогущее слово обратило их в нашу веру. Но сильными были не слова, а царство.

У меня нет сказителя, нет истины, нет плаща, чтобы быть пастухом, и теперь они начнут по ночам убивать друг друга ударом ножа в живот, бессмысленным, словно проказа. Как мне собрать их снова?»

Там и здесь возвышали голос пророки, и люди прислушивались к ним. Уверовавшие — пусть их было немного — воодушевлялись и во имя своей новой веры готовы были умереть. Но их вера не интересовала других. Веры враждовали между собою. Ненавидя инакомыслящих, каждый строил свой маленький храм, привычно деля всех на заблудших и праведных. И то, что не признавалось истиной, объявлялось заблуждением, а то, что не считалось заблуждением, становилось истиной. Но я-то знаю, что заблуждение не противоположность истины, оно тоже храм и выстроено из тех же камней, но по-другому. Сердце мое кровоточило, видя готовность людей умереть за миражи. Я молился Господу:

«Открой мне истину, в которой поместились бы все их маленькие правды, которая укрыла бы их всех одним плащом. Чтобы из враждующих былинок я сотворил дерево, душа его одухотворяла бы всех и одна ветка росла бы благодаря мощи другой, потому что дерево всегда чудо сотрудичества и цветение под солнцем.

Неужели у меня неостанет сердца, чтобы приютить их всех?»

И настало время торжества торгашей. Время издевательств над добродетелями. Все продавалось. Покупали невинность. Расхищали запасы, собранные мной на случай голода. Убивали. Но я не так простодушен, чтобы в разгуле страстей и порока видеть причину упадка моего царства. Я знаю, добродетели истощились, потому что умерло царство.

— Господи! — просил я. — Дай мне увидеть картину, которую они полюбили бы всем сердцем. И все вместе, благодаря усилиям каждого, становились бы сильнее и сильнее. Вот тогда у них появятся добродетели.

В молчании моей любви я казнил многих. И каждая смерть питала подземную лаву возмущения. Соглашаются с очевидным. Но очевидность исчезла. Никто уже не понимал, во имя какой из истин гибнет еще и этот. И тогда Божьей мудростью мне было даровано поучение о власти.

Властвуют не суровостью — доступностью языка. Суровость помогает обучить языку, который ничем не обусловлен извне, который не истинней и не лживей других, но просто говорит об ином. Но какая суровость поможет обучить языку, который разделяет людей и позволяет им противоречить друг другу? Язык противоречий поощряет несогласие, а несогласие уничтожает всякую суровость.

Суров и я в моем произволе и многое упрощаю. Я принуждаю человека стать иным — более раскованным, просветленным, благородным, усердным и цельным в своих устремлениях. Когда он становится таким, ему не нравится та личинка, какой он был. Он удивляется свету в себе и, обрадованный, становится моим союзником и защитником моей суровости. Оправдание моей суровости — в действенности. Она — ворота, и удары бича понуждают стадо пройти через них, чтобы избавиться от кокона и преобразиться. Преобразившись, они не смогут быть несогласными, они будут обращенными.

Но что толку в суровости, если, пройдя через ворота и потеряв бывшего себя вместе с коконом, человек не ощутит за спиной крыльев, а узнает, что он

— жалкий калека? Разве станет он воспевать искалечившую его суровость? Нет, он с тоской повернется к берегу, который покинул.

Как горестно бесполезна тогда алая кровь, переполнившая реку!

И казни мои — знак того, что я не могу обратить казнимых в свою веру, знак, что я заблудился. И вот с какой молитвой обратился я к Господу:

— Господи! Плащ мой короток, я — дурной пастух, и народ мой остался без крова. Я насыщаю одних, но другие обижены мною...

Господи! Я знаю, что любая любовь — благо. Любовь к свободе и любовь к дисциплине. Любовь к достатку ради детей и любовь к нищете и жертвенности. Любовь к науке, которая все исследует, и любовь к вере, которая укрепляет слепотой. Любовь к иерархии, которая обожествляет, и любовь к равенству, которая делит все на всех. К досугу, позволяющему созерцать, и к работе, не оставляющей досуга. К духовности, бичующей плоть и возвышающей человека, и к жалости, пеленающей израненную плоть. Любовь к создаемому будущему и любовь к прошлому, нуждающемуся в спасении. Любовь к войне, сеющей семена, и любовь к миру, собирающему жатву.

Я знаю: противостоят друг другу только слова, а человек, поднимаясь ступенька за ступенькой вверх, видит все по-иному, и нет для него никаких противоречий.

Господи! Я хочу преисполнить моих воинов благородством, а храм, на который люди тратят себя и который для них смысл их жизни, переполнить красотой. Но сегодня вечером, когда я шел с пустыней моей любви, я увидел маленькую девочку. Она плакала. Я повернул ее к себе и посмотрел в глаза. Горе ее ослепило меня. Если, Господи, я пренебрегу им, я пренебрегу одной из частичек мира, и творение мое не будет завершено. Я не отворачиваюсь от великих целей, но не хочу, чтобы плакала и малышка. Только тогда мир будет в порядке. Маленькая девочка — тоже крупница Вселенной.

Трудное дело война, если она не неизбежность и не страстное желание. Мои генералы, дотошные и недалекие, взялись за изучение хитроумных тактик, стремясь достичь победы раньше, чем начали воевать. Бог не воодушевлял их, они были только трудолюбивы и добросовестны. И конечно, они были обречены на поражение. Я собрал их и стал учить:

— Вы никогда не победите, потому что ищете совершенства. Но совершенство годится только для музеев. Вы запрещаете ошибаться и, прежде чем начать действовать, хотите обрести уверенность, что ваше действие достигнет цели. Но откуда вам известно, что такое будущее? Вы никогда не победите, если прогоните художников, скульпторов и выдумщиков-изобретателей. Повторяю вам еще и еще раз: башня, город и царство подобны дереву. Они — живые, ибо рождает их человек. Человек уверен, что главное — правильный расчет. Он не сомневается, что стены воздвигаются умом и соображением. Нет, их воздвигает страсть. Человек носит в себе свой город, он хранит его в своем сердце, как дерево — семечко. Вычисления, расчеты — оболочка его желания. Контур. Не объяснишь дерева, показав воду, минеральные соли и солнце, наделившие его своей силой. Не объяснишь города, сказав: «Своды будут стоять потому, что... вот расчеты строителей». Если город должен родиться, всегда найдутся расчетчики, которые правильно сделают расчет. Но они только помощники. Если считать их главными и верить, что их руки создали город, ни одного города не вырастет больше в пустыне. Они знают, как строятся города, но не знают почему. Пусть вождь племени неграмотен, отправь его вместе с его народом покорять скудный и каменистый край, а потом навести

— новый город будет сверкать на солнце тридцатью куполами. Ветвями кедра покажутся тянущиеся к солнцу купола. Покоритель загорелся страстью иметь город с тридцатью куполами и как средство, путь и возможность удовлетворить свою страсть нашел столько расчетчиков, сколько нужно.

— Вы ничего не хотите, вы проиграете вашу войну, — сказал я моим генералам. — В вас нет страсти. Вы не устремились все вместе в одну сторону, вы утонули в разногласии умственных решений. Посмотрите: увлекаемый собственной тяжестью, камень катится вниз по склону. Остановится он, только достигнув дна. Все пылинки и все песчинки благодаря которым он обрел свою тяжесть, стремятся вниз, и только вниз. Посмотрите на воду в копани. Напирая на земляные стенки, вода ждет благоприятной случайности. Потому что случайность неизбежно возникает. Не уставая, днем и ночью давит и давит вода. Она кажется спящей, но она живет. И стоит появиться узкой трещине, как вода уже в пути. Она втекла в нее, обогнула, если получилось, препятствие и, оказавшись в тупике, вновь погрузилась в мнимый сон до новой трещины, которая откроет перед ней новую дорогу. Ни единой возможности не упустит вода. И неведомыми путями, какие не вычислит ни один вычислитель, утечет просто потому, что весома, и вы останетесь без воды.

Ваша армия — вода, не перегороженная плотиной. А сами вы — тесто без дрожжей. Земля без семени. Толпа без желаний. Вы распоряжаетесь, а не увлекаете. Вы — несведущие свидетели. А темные силы, что напирают, да, напирают на стены царства, не станут дожидаться ваших распоряжений, — захлестнув, они погребут его под собой. Зато потом ваши еще более бестолковые историки объяснят вам причины катастрофы и скажут, что противники одержали победу благодаря лучшей выучке, расчету и военной науке. Но говорю вам: нет выучки, расчета и военной науки у воды, сметающей плотины и затопляющей города людей.

Я занимаюсь будущим, как ваятель: он ударяет резцом по глыбе мрамора, высвобождая свое творение. Отлетает осколок за осколком, за которыми пряталось лицо бога. Кто-то скажет: «В мраморе уже был этот бог. Ваятель нашел его. Нашел, умея работать резцом». А я говорю вам: ваятель не рассчитывал и не находил. Он работал с камнем. Не капли пота, не блеск

мелькающего резца заставили улыбнуться мрамор. Улыбаться умел ваятель. Освободи человека, и ему захочется творить.

XVI

Собрались мои генералы, дотошные и недалекие. «Нужно разобраться, — сказали они, — почему у нас люди враждуют и ненавидят друг друга?» И генералы устроили судилище. Они выслушивали одних, выслушивали других, вникали в притязания тяжущихся и восстанавливали справедливость, возвращая положенное по закону одним и лишая других незаконного обладания. Но вот причиной раздора стала ревность. Генералы пытались выяснить, кто прав, а кто виноват. И ничего не могли понять, так безнадежно запутывалось дело. Один и тот же поступок выглядел благородным в глазах одного и низким в глазах другого, великодушным и одновременно жестоким. Генералы засиживались до глубокой ночи, и чем меньше спали, тем больше тупели. Наконец они явились ко мне: «Все это безобразие, — сказали они, — заслушивает одного — потопа!»

А я вспомнил слова моего отца: «Когда зерно покрывается плесенью, не перебирай зерен, поменяй амбар. Если люди ненавидят друг друга, не вникай в дурацкие причины, какие они нашли для ненависти. У них найдутся другие и для любви, и для безразличия, но они о них позабыли. Я не обращаю внимания на слова, я знаю: они — вывеска, и прочесть ее трудно. Не умеют же камни передать тишину и прохладу храма; вода и минеральные соли — тень и листву дерева, так зачем мне знать, из чего выросла их ненависть? Она выросла, словно храм, и сложили ее из тех же камней, из каких можно было сложить любовь».

Они отягощали свою ненависть всяческими причинами, а я смотрел и не помышлял лечить их тщетным лекарством справедливости. Поиск справедливости только укрепил бы весомость причин, подтвердив правоту одних и вину других. Он укрепил бы озлобление наказанных и самодовольство оправданных. И вырыл бы между ними пропасть. Мой отец был мудр, и вот какую историю я вспомнил.

В давние времена отец завоевал новые земли и, не вполне доверяя жителям, оставил в помощь губернатору еще и генерала. Побывав в новых провинциях, путешественники поспешили сообщить моему отцу:

— В такой-то области, — сказали они, — генерал оскорбил губернатора. Они больше не разговаривают.

Приехал путешественник из другой провинции:

— Государь, губернатор возненавидел генерала. Приехали из третьей:

— Государь, тебя умоляют разобрать великую тяжбу — судятся генерал с губернатором.

Поначалу отец выслушивал причины ссор. И причины всегда были. Одного обидели, и он решил отомстить. Другого постыдно предали. Были неразрешимые споры, были кражи и оскорбления. И разумеется, всегда были правые и виноватые. Но пересуды и рассказы утомили моего отца.

— У меня есть дела поважнее, — сказал он, — мне недосуг разбирать их дурацкие ссоры. Они вспыхивают во всех концах страны, всякий раз новые и всегда одинаковые. Каким чудом я ухитрился набрать столько генералов и губернаторов, которые не могут ужиться друг с другом?

Когда у тебя падает скот, не копайся в падали, отыскивая причину зла,

— сожги хлев.

Отец позвал к себе гонца:

— Я не определил права генерала и права губернатора. Они не знают, кто из них возглавляет торжества. Они ревнуют друг друга. Плечом к плечу идут к столу, но во главе садится либо тот, кто толще, либо тот, кто умнее, а второй его ненавидит. И клянется быть в следующий раз проворнее, поторопиться и усесться первым. Конечно, потом они будут сманивать друг у друга жен, красть овец и браниться. Они купаются в грязных сплетнях, а им кажется, доискиваются до истины. Но я не вслушиваюсь в бестолковый шум.

Если хочешь, чтобы они любили друг друга, не бросай им зерна власти, которое пришлось бы делить. Пусть один служит другому, а другой — царству. Тогда они будут помогать друг другу и строить вместе.

Отец жестоко наказал губернаторов и генералов за гвалт бессмысленных ссор.

— Царству нет дела до ваших распрей! — сказал им отец. — Я приказываю генералу подчиняться губернатору. С губернатора взыщу за неумение приказывать, с генерала за неумение повиноваться. И обоим совету замолчать.

Во всех концах страны начались примирения. Вернулись похищенные верблюды. Неверных жен простили и оправдали. Оскорбления извинили. Похвалы начальника радовали подчиненного, и жизнь у него стала намного приятнее. А начальника радовала власть, и своей властью он возвышал подчиненного: пропускал его вперед и сажал во главе стола на торжествах.

— Дело не в чьей-то глупости, — говорил отец. — Дело в словах, которые передают пустяки, не достойные внимания. Приучи себя не вслушиваться в ветер слов и не вникай в рассуждения, которыми обманывают себя люди. Будь пронизателен. Ненависть совсем не бессмысленна. Пока каждый камень не встал на место, храма нет. Но когда все камни на месте и служат храму, значимы только тишина и молитва. И к чему тогда вспоминать о камнях?

Вот я и не обратил внимания на трудности моих генералов. А они просили меня вникнуть в проступки людей, отыскать причину их разногласий, навести порядок. Но я с молчаливой любовью обошел мой лагерь и еще раз посмотрел, как они ненавидят друг друга. Потом закрыл дверь и стал молиться Господу:

— Господи! Они враждуют, потому что не строят больше царства. Я не обманываюсь, думая, что царство не строится больше оттого, что они принялись враждовать. Научи меня, Господи, какой должна быть башня, чтобы они, несмотря на все свои несогласия, захотели потратить себя на нее. Башня, которая нуждалась бы в каждом из них и каждого бы насытила, понудив достигнуть предела своих возможностей и обогатив ощущением величия.

Я — дурной пастух, у меня короткий плащ, и я не умею сплотить их так, чтобы все они укрылись его полкой. Они ненавидят друг друга, оттого что замерзли. Ненависть — всегда неудовлетворенность. У всякой ненависти есть глубинный смысл, но она его прячет. Былинки во вражде между собой и иссушают друг друга. Дерево, растя каждую из ветвей, становится мощнее. Дай мне, Господи, край Твоего плаща, чтобы укрыть им воина и землепашца, ученого мужа и просто мужа — и жену — и плачущего младенца — всех, всех до единого.

Речь зашла и о добродетели. Мои генералы, дотошные и недалекие, пришли ко мне поговорить о ней.

— Все наши беды, — сказали они, — оттого, что люди развратились. Их пороки разваливают царство. Нужно устрожить законы, ужесточить наказания. Нужно рубить головы тем, кто провинился.

А я? Я размышлял:

— Может, и впрямь пора рубить головы. Но добродетель всегда только следствие. Испорченность моего народа говорит о порче царства, которое требует для себя людей под стать. Здоровое царство питает в людях благородство.

И я вспомнил, что говорил мне отец:

— Добродетель — не беспорочность, она — поощрение в человеке человеческого. Вот я решил выстроить город и собрал всех подонков и проходимцев, чтобы они облагородились благодаря доверию и ощущению собственной силы. Я одарил их упоением, не похожим на бедное упоение от краж, взломов и насилий. Их жилистые руки создают. Их гордыня становится башнями, храмом, крепостной стеной. Жестокость — величием и суровой дисциплиной. Посмотри, они стали слугами города, рожденного их руками. Города, в который вложили душу. Спасая свой город, они умрут у его стен. Посмотри, они — воплощенная добродетель.

Воротить нос от навоза — этой мощи земли — из-за червей и вони — значит поощрять небытие. Нельзя хотеть, чтобы человек перестал потеть. Вместе с потом ты изничтожишь и людскую силу. Во главе царства поставишь кастратов. Кастраты уничтожат пороки, которые свидетельствуют о силе — силе без доброго применения. Кастраты уничтожат силу и вместе с ней жизнь. Став хранителями музея, они будут блюсти мертвое царство.

Кедр, — говорил отец, — питается брением, но превращает его в смолистую хвою, а хвою питает солнце.

Кедр, — говорил мне отец, — это грязь, достигшая совершенства. Очистившаяся до высокой добродетели грязь. Если хочешь спасти свое царство, позаботься об усердии. Усердие очистит и объединит людей. И тогда те же самые поступки, стремления и деяния, которые разрушали твой город, будут укреплять его.

А я добавлю:

— Стоит закончить строительство, город умрет. Люди живут отдавая, а не получая. Деля накопленное, люди превращаются в волков. Усмирив их жестокостью, ты получишь скотину в хлеве. Но разве возможно закончить строительство? Утверждая, что завершил свое творение, я, сообщаю только одно: во мне иссякло усердие. Смерть приходит за теми, кто успел умереть. Совершенство недостижимо. Стать совершенным — значит стать Господом. Нет, никогда не завершить мне мою крепость...

Поэтому я не уверен, что мне помогут отрубленные головы. Конечно, дурную голову лучше отсечь, чтобы не портила остальные, — гнилое яблоко выбрасывают из подпола и больную корову выводят из хлева. Но лучше поменять подпол и хлев, они в первую очередь в ответе за гниение и болезни.

И зачем карать, если можно обратиться в свою веру? И я помолился Господу:

— Господи! Дай мне край Твоего плаща, чтобы я укрыл всех, кого тяготят несбыточные желания. Я устал карать в страхе за свое царство тех, кому не сумел дать приют. Я знаю, они — соблазн для других и угроза моей несовершенной истине, я знаю, истина есть и у них, и знаю, они тоже полны благородства.

Ветер слов — тщета, я всегда презирал его. Я не верю в пользу словесных ухищрений. И когда мои генералы, дотошные и недалекие, говорят мне: «Народ возмущен, но вот какой фокус мы предлагаем...» — я гоню их прочь. На словах можно фокусничать как угодно, но что создашь с помощью фокусов? Что ты делаешь, то и получаешь, только то, над чем трудишься, ничуть не больше. И если, добиваясь одного, твердишь, что стремишься к другому, прямо противоположному, то только дурак сочтет тебя ловкачом. Осуществится то, к чему ты стремился делом. Над чем работаешь, то и создаешь. Даже если работаешь ради уничтожения чего-то. Объявив войну, я создаю врагов. Выковываю их и ожесточаю. И напрасно я стану уверять, что сегодняшнее насилие создаст свободу завтра, — я внедряю только насилие. С жизнью не слукавишь. Не обманешь дерево, оно потянется туда, куда его направят. Прочее — ветер слов. И если мне кажется, что я жертвую вот этим поколением во имя счастья последующих, я просто-напросто жертвую людьми. Не этими и не теми, а всеми разом. Всех людей я обрекаю на злосчастье. Прочее

— ветер слов. И если я воюю во имя мира, я укрепляю войну. С помощью войны не установить мира. Довериться миру, который держится на оружии, и разоружиться — значит погибнуть. Я могу установить мир только с помощью мира. Иными словами, готовностью принимать и вбирать, желанием, чтобы каждый человек обрел в моем царстве воплощение своей мечты. Люди любят одно и то же, но каждый по-своему. Несовершенство языка отторгает людей друг от друга, а желания их одинаковы. Я никогда не встречал людей, любящих беспорядки, подлость и нищету. Во всех концах Вселенной люди мечтают об одном и том же, но пути созидания у каждого свои. Один верит, что человек расцветет на свободе, другой — что человек возвеличится благодаря принуждению, но оба они мечтают о величии человека. Этот верит во всеобъединяющее милосердие, тот презирает его, видя в нем потакание зловонным язвам, и понуждает людей строить башню, чтобы они почувствовали необходимость друг в друге, но оба они пекутся о любви? Один верит, что важнее всего благоденствие: избавленный от забот и тягот человек будет развивать ум, думать о душе и сердце. Другой не верит, что совершенство души зависит от пищи и досуга, считая, что душа возрастает, неустанно даря себя. Он считает прекрасным лишь тот храм, который стоит многих усилий и возводится из бескорыстного угождения Господу. Но оба они хотят облагородить сердце, душу и ум. И все по-своему правы: кого облагородят рабство, жестокость и отупение от тяжких трудов? Но не облагородят и распущенность, расхлябанность, потакание гниющим язвам и мелочная суета, рожденная желанием хоть как-то занять себя.

Но смотри, люди уже взяли в руки оружие, чтобы защитить общую для всех любовь, которую эфемерные слова сделали такой различной. Идет война, идет поиск, борьба, и пусть беспорядочно, но люди все-таки движутся в направлении, которое так властно управляет ими, они похожи на дерево, о котором пел мой поэт: слепое, оно оплетало стены своей темницы, пока не вышибло наконец чердачное окно и, прямое и торжествующее, не потянулось к солнцу.

Я не навязываю мира. Принудить к миру — значит создать себе врагов и растить недовольство. Действенно лишь умение обратить в свою веру, а обратить означает и приютить. Протянуть каждому удобную одежду по росту, укрыть всех одним плащом. Обилие противоречий говорит лишь об отсутствии гениальности. И я повторяю мою молитву:

— Просвети меня, Господи! Дай возвыситься мудростью и примирить всех, никого не принуждая отказаться от рожденных усердием желаний. Примирить, подарив новую мечту,

которая покажется им старинной, знакомой. Вот и на корабле разве не так, Господи?! Те, кто натягивает паруса у левого борта, спорят с теми, кто натягивает их у правого. Они ненавидят друг друга, потому что не умеют понять. Но если научить их видеть целое, они станут помогать друг другу и служить ветру.

Медленно растет древо мира. Словно кедру, нужно ему вобрать и переработать множество песчинок, чтобы создать из них единство...

Хотеть мира — значит строить хлев, где могло бы уснуть все стадо. Строить дворец, где хватило бы места всем и не надо было бы оставлять свою кладь у двери. Не надо ничего отрезать и калечить ради того, чтобы войти и разместиться. Печься о мире — значит просить у Господа плащ пастуха, чтобы укрыть каждого, как бы далеко ни простирались его желания. Хватает же у матери любви на всех ее сыновей, и на застенчивого и робкого, и на жадного к жизни, и на тщедушного никчемного горбуна. Что ей до непохожести? Каждый трогает ее сердце. И каждый, по-своему ее любя, служит ее славе.

Но как медленно растет древо мира. И света ему нужно куда больше, чем есть у меня. Мне еще ничего не ясно. Я выбираю и потом отказываюсь. Легко было бы жить мирно, если бы все люди были одинаковы.

Нет, ничему не помогут уловки моих генералов, а они, дотошные и недалекие, пришли ко мне и принялись рассуждать. Мне опять вспомнился мой отец. «Искусство рассуждать — это искусство обманывать самого себя», — говаривал он.

А генералы рассуждали: «Нежелание воинов служить царству означает, что они одрябли. Мы будем посылать их в засады, они закалятся, и царство будет спасено».

Так мог бы рассуждать профессор, выводя из одного умозаключения другое. Но жизнь — она просто есть. Как есть дерево. И росток вовсе не средство, которое отыскало семечко, чтобы превратиться в ветку. Семя, росток и ветка

— это совместность возрастания.

Я поправил моих генералов: «Воины одрябли, потому что царство перестало снабжать их жизненной силой, и они его разлюбили. Когда кедр истощает жизненную силу, он перестает превращать песок в древесину и сам потихоньку превращается в песок. Нашим воинам нужна вера, тогда они воодушевятся». Но генералы не поняли меня, они сочли мои слова преступным попустительством. Я не стал им возражать. И они довели свою игру до конца, послав людей умирать за сухой колодец, где по случайности расположился враг.

Нет слов, схватка из-за колодца была прекрасна. Она была танцем вокруг вожделенного цветка, и отвоеванная земля становилась наградой победителю вместе с давно забытым желанием побеждать. Испугавшись нас, враг взметнулся беспорядочной стаей воронья, ища себе места то здесь, то там, где он был бы в безопасности. Песок дюн, которые прятали его где-то там, впереди, пропах порохом. Каждый, играя жизнью и смертью, чувствовал себя мужчиной. Каждый, то приближаясь, то удаляясь от колодца, участвовал в танце.

Но будь в колодце вода, игра была бы другой. Лишенный воды и смысла, колодец был игровой костью, на которую не поставили состояния. Но генералы видели, как, играя в кости, один игрок смошенничал, а другой застрелился, и поверили во всемогущество игровых костей. Они поставили на кон сухой колодец. Но кто станет стреляться, даже если партнер смошенничал, когда на кону пусто?

Мои генералы никогда хорошенько не понимали, что значит для жизни любовь. Они видели, как радуется заре влюбленный, потому что вместе с солнцем в нем проснулось счастье. Видели, как радуются заре воины, потому что солнце приближает их победу. Победу, которая

поутру расправляется в них и заставляет смеяться. И генералы поверили во всемогущество зари.

Но я говорю: если нет любви, то не стоит браться ни за какое дело. Если не верить, что осуществится твоя мечта, скучно играть в кости. Скучной будет заря, вернувшая тебя к собственной опустошенности. И со скукой в душе ты отправишься воевать ради бестолкового колодца.

Но когда ты влюблен, ради своей любви ты готов на самый изнурительный труд, и чем он изнурительней, тем больше твое воодушевление. Ты тратишь себя, ты растешь. Но нужен тот, кто примет отданное. Дарить себя и тратиться попусту — разные вещи.

Мои генералы, видя радость, с какой отдают себя влюбленные, не догадались, что есть тот, кому они себя отдают. Им не пришло в голову, что для воодушевления мало обобрать и ограбить человека.

Я увидел, с какой горечью умирал наш раненый. Он сказал мне: «Государь, я умираю... Я отдал свою жизнь. А мне ничего не дали. Я уложил врага пулей в живот, и пока мне за него не отомстили, я смотрел на убитого. Мне показалось, что он был счастлив, потому что отныне нераздельно принадлежал тому, во что верил и чему служил. Смерть стала его богатством. А я, я умираю, служа капралу, моя смерть ничего ему не прибавит, а умирая зазря, трудно чувствовать себя счастливым. Я умираю достойно, но меня тошнит...»

Остальные? Они разбежались.

XVIII

В тот же вечер, поднявшись на черную скалу, я смотрел на черные точки в треугольнике моего лагеря. Да, он был по-прежнему треугольным, в нем по-прежнему стояли дозорные и было много пуль, пороха и ружей, но, несмотря на это, он был готов рассыпаться и исчезнуть, как сухое мертвое дерево. Я простил моих воинов.

Я понял: гусеница, приготовив кокон, умирает. Дожив до семян, засыхает цветок. Кто бы ни перерождался, он мучается тоской и отчаянием. Ведь нежданно он сделался ненужным. Кто бы ни перерождался, он — тоска о былом и могила. Мой лагерь приготовился к перерождению. Он износил былое царство, которое никто не сумел бы омолодить. Нельзя вылечить гусеницу, цветок, ребенка. Ребенок переродился, но, желая быть по-прежнему счастливым, требует, чтобы его вернули в детство, вернули занимательность наскучившим играм, сладость — материнским поцелуям, вкус — молоку. Но игры скучны, материнские поцелуи досаждают, молоко отвратительно, и подросток тоскует и мучается. Износив былое царство, люди, сами того не подозревая, требуют нового. Ребенок, став мужчиной, вырос из материнских объятий и будет страдать от неприкаянности до тех пор, пока не найдет себе жену. Только жена вновь примирит его с самим собой и даст покой. Но кто в силах показать людям новое царство? Кто из дробности мира может мощью своего гения создать новую картину и заставить людей всмотреться в нее? Всмотреться и полюбить? Нет, не логик, а художник, ваятель. Ваятелю не нужны словесные ухищрения, он наделяет камень силой будить любовь.

XIX

Я позвал к себе зодчих и сказал:

— Вы в ответе за будущий город, — не за душу — за лицо и улыбку. Постарайтесь расселить людей как можно лучше. Город должен быть удобным, чтобы силы в нем не тратились понапрасну. Но имейте в виду и никогда не забывайте разницы между существенным и насущным. Хлеб — насущен, человек должен быть накормлен: голодный — недочеловек, он теряет способность думать. Но любовь, смысл жизни и близость к Богу важнее хлеба. Мне не интересно достоинство пищи. Меня не заботит, будет ли человек счастлив, благополучен и удобно устроен.

Меня заботит, какой человек будет счастлив, благополучен и устроен. Лавочнику распухшему от безмятежной жизни, я предпочитаю номада, он всегда бежит по следам ветра, и служение такому просторному Богу совершенствует его день ото дня. Бог отказал в величии лавочнику и дал его номаду, поэтому я отправляю мой народ в пустыню. В человеке я люблю свет. Толщина свечи меня не волнует. Пламя скажет мне, хороша ли свеча.

Но я не считаю, что принц хуже грузчика, генерал — сержанта, начальник

— подчиненного только потому, что они богаты. Живущие за каменной стеной не кажутся мне хуже тех, кто построил для себя земляной вал. Я не разрушаю иерархическую лестницу, которая позволяет человеку подниматься все выше и выше. Но никогда не спутаю цель и средство, храм и ступени к нему. Лестница необходима для храма, иначе он будет пуст. Но значим только храм. Необходимо; чтобы каждый жил и у каждого была возможность подниматься все выше. Однако жизнь — только ступени, ведущие к человеку. Храмом будет душа, которую я создам в человеке, душа и есть самое главное.

Я запрещаю вам заниматься насущным, считать его своей целью. Да, дворцу нужна кухня, но значим только дворец, а кухня его обслуживает. Вот я созвал вас и спросил:

— Зодчие! Что главное в вашей работе?

Вы стояли передо мной и молчали. Наконец вы ответили:

— Мы служим людям. Даем им кров.

Так служат скоту, строя ему хлев, привязывая в стойле. Да, конечно, стены нужны человеку, он должен быть укрыт, чтобы стать семенем. Но ему нужен и Млечный Путь, и морской простор, хотя ни звезды, ни море никак ему не служат. Но что это значит — служить? Я видел, как долго и тяжело взбирались люди на гору, обдирали колени и ладони, изнуряли себя тяготой подъема, торопясь встретить рассвет на вершине и утолить свою жажду голубой глубиной долины, как утоляют ее водой долгожданного озера. Они садились, они смотрели, они дышали полной грудью. В сердце у них билась радость, они нашли лекарство против усталости от жизни.

Я видел, как стремили люди медленный шаг своих караванов к морю, потому что оно им было нужно. Они стояли на высоком берегу, оглядывая сгустившийся простор, таящий в своих глубинах тишину, кораллы и водоросли, вдыхали горечь соли и любовались бесполезным зрелищем, ведь моря с собой не унесешь. Любовались, и сердца их высвобождались из рабства будничности. Может, с отвращением и тоской, как на решетки тюрьмы, смотрели они на чайник, кухонную утварь, недовольную жену, — на пелену обыденности, которая может быть любимой картиной, таящей сокровенную суть мира, а порой становится саваном, связывает по рукам и ногам, не дает вздохнуть.

Они запасались простором и приносили в дом покой и счастье, которым надышались. Дом

становился другим оттого, что где-то голубела долина на восходе солнца, где-то плескалось море. Все тянется к большему, чем оно само. Все хочет стать дорогой в неведомый мир, окном в него.

Так что не говорите, что служите людям, когда складываете кирпичные стены. Если люди не видели звезд и в вашей власти выстроить для них Млечный Путь с небывалыми пролетами и арками, потратив на строительство целое состояние, неужели вы сочтете, что выбросили деньги на ветер?

Еще и еще раз повторяю вам: если вы построили храм — бесполезный, потому что он не служит для стряпни, отдыха, заседаний именитых граждан, хранения воды, а только растит в человеке душу, умиротворяет страсти и помогает времени вынашивать зрелость, если храм этот похож на сердце, где царит безмятежный покой, растворение чувств и справедливость без обездоленности, если в этом храме болезнетворные язвы становятся Божьим даром и молитвой, а смерть — тихой пристанью среди безбурных вод, — неужели вы сочтете, что усилия ваши пропали даром?

Если ты в силах хоть изредка привечать тех, чьи руки покрылись кровавыми мозолями, кто, не щадя себя, натягивал в бурю паруса, кто от соленой ласки моря превратился в кровоточащую рану, — привечать в мирных водах гавани, где остановилось движение, время, ратоборство, где мерцает водная гладь, чуть примятая прибытием большого корабля, неужели и тут ты сочтешь» свои труды бесполезными? А как сладостна для усталых тихая вода залива после мятущейся гривы морских бурунов...

Вот чем ваш талант может одарить человека. Сложив камни по-своему, вы выстроите тишину, необычайные надежды и мечту о тихой гавани.

Ваш храм своей тишиной зовет их погрузиться в себя. И они открывают, каковы они. Без храма звать их будут только лавки. И они откроют в себе покупателя. Никогда не родится в них величие. Никогда не узнать им, как они пространственны.

Я знаю, вы скажете: толстяк лавочник и так всем доволен, ему ничего больше не нужно. Когда у человека мало сердца, удовлетворить его не трудно.

Глупый язык именует ваши творения бесполезными. Но сами люди опровергают словесное суждение. Вы же видите, со всех концов света стекаются они к каменным чудесам, от строительства которых вы отказались. Вы отказались строить житницы для души и сердца. Но видели ли вы когда-нибудь, чтобы люди объезжали мир ради складских помещений? Да, все пользуются товарами и продуктами, пользуются, поддерживая свое существование, но они ошибаются, если думают, что пища для них важнее всего. В странствие они пускаются не ради пищи. Кто не видел путешественников? Куда они едут? Что их соблазняет? Иногда чудесный залив или одетая снегом гора, вулкан, обросший наплывами лавы, но чаще всего утонувший во времени корабль, который один и может увезти куда-то.

Они обходят его со всех сторон и, сами того не подозревая, мечтают стать пассажирами. Потому что этот корабль не везет к небытию. Но храмы не берут больше странников, не увозят их и не перерождают, как куколка, из личинки в благородную бабочку. Теперешние странники лишились каменных кораблей, у них нет возможности переродиться. В конце странствия они не получают вместо скудной увечной души щедрую и благородную. И вот они кружат вокруг затонувших храмов, осматривают, вглядываются, бродят по истертым до блеска каменным плитам и, заблудившись в лесу мраморных колонн, слышат в величественной тишине только эхо собственных голосов. Им кажется, что они обогащаются знанием истории, но биение собственного сердца могло бы подсказать им, что, переходя от колонны к колонне, из зала в зал, из нефа в неф, они ищут вожатого; что, озябнув сердцем, собрались здесь, взывая о помощи, которой неоткуда ждать, что жаждут перерождения, в

котором им отказано. Они погребены сами в себе, потому что храмы мертвы и засыпаны песком, потому что здесь лишь корабли, получившие пробоину и потерявшие драгоценный груз полумрака и тишины; голубая вода неба хлещет в обвалившиеся купола, и тихо шуршит песок, всыпаясь сквозь трещины стен. А голод, которым голодны люди, не утолен...

Так вот что вы будете строить, говорю я вам. Да, человеку нужны непроходимые леса, Млечный Путь и равнина в голубой дымке, на которую смотрят с вершины горы. Но сравнится ли необъятность Млечного Пути, голубеющей долины и моря с необъятностью тьмы в каменном чреве, если зодчий сумел наполнить его тишиной? И вы, зодчие, вы сами обретете величие, потеряв интерес к насущному. Созидая поистине великое, вы переродитесь. Оно не станет служить вам, оно заставит вас служить себе, и вам придется вырасти. Вы превзойдете самих себя. Невозможно стать великим зодчим, строя всю жизнь балаганы.

Вы станете великими, если камни, над которыми вам дана власть, перестанут быть просто камнями, предназначенными служить нехитрым будничным удобствам, но станут ступенями, ведущими к престолу Господа.

XX

Я устал от рассуждений моих генералов, дотошных и недалеких. А они обсуждали будущее, как обсуждают закон в парламенте. И полагали, что очень предусмотрительны. Лучше всего мои генералы знали историю, даты моих побед, даты моих поражений. Даты рождений и смертей они знали наизусть. Они не сомневались, что события вытекают одно из другого. История человечества представлялась им длинной цепочкой причин и следствий, начиналась она с первой строки исторического учебника и продолжалась до той главы, где до сведения грядущих поколений доводилось, что пройденный путь благополучно привел к рождению целого созвездия генералов. Теперь генералы от следствия к следствию усердно выстраивали будущее и со своими тяжеловесными конструкциями шли ко мне. «Вот так ты должен поступать, чтобы народ был счастлив... так, чтобы установить мир... так, чтобы царство процветало. Все у нас по науке, мы изучили историю».

Но я-то знаю, что наукой становится только то, что неизменно повторяется. Сажая семечко кедра, предвидят, что вырастет дерево. Бросая камень, предвидят, что он упадет. Потому что кедр повторяет кедр, падение повторяет падение. И неважно, что камень брошен впервые и впервые посажено семечко. Но кто возьмется предсказать судьбу этого кедра? Из семечка он переродился в дерево, из дерева в семечко, и то, как он будет перерождаться, не имеет себе подобий. Этот кедр существует впервые, он растет по-своему, он

— таков, каких еще не бывало. И я не знаю, каким он вырастет. Не знаю я, и куда движется мой народ.

Да, причины того, что произошло, генералы отыскивали с помощью логики. «Ибо все имеет свои причины, — объяснили они мне, — и все — свои последствия». Двигаясь от причин к последствиям, они велеречиво вышли на ложный путь. Потому что случившемуся можно отыскать причину, но понять, что случится, по тому, что имеешь, невозможно.

После схватки с врагом я могу прочесть на твердом, мелком песке все, что с ним было. Потому что и мне известно, что одному шагу непременно предшествовал другой, что цепочка вытягивается звено за звеном, не потеряв ни единого. Если только не было ветра, что пренебрежительно смахнул все письма, словно вытер ребячью грифельную доску. А без ветра след за следом я доберусь до истока пути и вновь возвращусь к ложбине, где остановился наш враг, сочтя себя в безопасности, и где мы застигли его врасплох. Я

прочитал его историю, но у меня нет и намека на то, что случится с ним в будущем. То, что ведет караван, не имеет ничего общего с песком, которым располагаю я. Следы начертили мне контур, но он пуст, он ничего не знает о ненависти, страхе и любви, которые правят людьми.

— Ну что ж, — сказали мне генералы, увязшие в своей безнадежной тупости, — нам все ясно. Мы узнаем, что управляет ими: ненависть, любовь или страх, и поймем, чего ждать в будущем. Будущее укоренено в настоящем...

Я ответил им: да, мы можем предвидеть следующий шаг каравана. Он должен повторить предыдущий и быть точно таким же, как он. Повторяемость — вот основа нашей науки. Но караван в ту же секунду свернет с пути, предназначенного моей логикой, потому что ему захотелось чего-то совсем иного...

Генералы не поняли меня, и я рассказал им историю о великом бегстве.

Случилось это на соляных коях. Песок и голые камни не слишком пригодны для жизни, но люди кое-как приспособились. В небе палило белое солнце, а в глубине узких штолен сверкала не вода, а глыбы соли. Соль убила бы любую воду, если б колодцы не высохли сами. Солнце и каменная соль ждали людей, которые приходили сюда с водой в бурдюках и кирками, чтобы крошить прозрачные глыбы, которые были для них и жизнью, и смертью. А поработав, они возвращались на благодатную, щедрую водой землю, привязанные к ней, словно дети к матери.

Жестоким и жгучим, как голод, было здешнее солнце. Вокруг соляных копей гладь песка пропороли черные скалы, твердостью превосходящие алмаз, и ветер с тщетной злобой вгрызался в них. Веками ничего не менялось в незыблемом порядке пустыни, и скалам этим было предназначено стоять еще много-много веков. Веками будет стачивать гору тончайшее лезвие ветра, веками будут добывать соль люди, а верблюды подвозить припасы и воду и отвозить домой этих каторжных...

Но однажды на заре люди взглянули на гору, и явлено им было то, чего они никогда не видели.

Волей ветра, точившего скалу вот уже много веков подряд, на ней показался гигантский лик, и был он гневен. На пустыню, на копи, горстку людей, прижившихся на окаменевшей соли, куда более жестокой, чем соленая гладь океана, смотрел из пропасти ясного неба черный разгневанный лик, и рот его приготовился изрыгать проклятия. Ужас обуял людей, и в панике они обратились в бегство. Весть достигла работавших в глубине копей, они выбрались наверх, взглянули на гору и со смятенным сердцем заторопились к палаткам, наскоро собрали пожитки, браня жен, детей и рабов, двинулись на север. Но достояние их было обречено под жестоким безжалостным солнцем. У них не было воды, они все погибли. Бессмыслицей оказались предсказания логиков, которые видели, что ветер очень медленно истачивает гору, а люди во что бы то ни стало цепляются за жизнь. Откуда им было знать, что нежданно возникнет?

Когда я обращаю взгляд к истокам, я вижу вместо храма кучу кирпичей и камня. Мне нетрудно их увидеть. Как нетрудно расчленив труп и увидеть кости и мускулы, расчленив дом и получить кучу щебня, расчленив царство и получить горы, дома, коз и овец... Но если я направляю свой шаг в будущее, я должен буду считаться с постоянным рождением чего-то нового, оно будет преобразовывать существующее, но предугадать его мне не дано, потому что оно иной природы. Это новое исчезает и рассеивается, стоит только попробовать его расчленив. Если сложить камни, родится новое — тишина, но она исчезнет, если их разобрать. Лицо возникает как новое для мрамора и исчезает, если мрамор разобьется. Для губ, носа и глаз лицо тоже что-то новое и исчезает, если смотреть только на губы или нос.

Что-то новое и царство для домов, гор, овец и коз...

Я не в силах предвидеть, я в силах созидать. Будущее создают. Если у меня рука ваятеля, то прекрасным лицом станут дробные черты моего времени, и то, чего я хочу, осуществится. Но я скажу неправду, утверждая, что сумел предугадать будущее. Я сумел его сотворить. Дробные черты окружающего я превратил в картину, заставил полюбить ее, и она стала управлять людьми. Так управляет подданными царство, требуя иной раз заплатить за свое существование жизнью.

Вот я постиг и еще одну истину: попечение о будущем — тщета и самообман. Проявлять уже присутствующее — вот единственное, над чем можно трудиться. Проявить — значит, из дробности создать целостность, которая преодолет и уничтожит разброд. Значит, из кучи камней создать тишину.

Остальные притязания — ветер слов...

XXI

Все мы знаем: в рассуждениях есть логика, но нет истины. Как изощренны были мои доказательства, как весомы доводы, но мои противники не стронулись с места. «Да, конечно, ты прав, — услышал я в ответ, — но все-таки мы думаем по-другому». — «Тупицы!» — можно сказать о них. «Нет, мудрецы!» — не соглашусь я. Они чтут истину, которая не в словах.

А ведь многие считают, что слова несут в себе весь мир, что человеческое слово исчерпывает Вселенную, что слово вмещает в себя и звезды, и счастье, и закат, и царство, и любовь, и зодчество, и боль, и тишину... Но я знаю, человек стоит перед огромной горой и горсть за горстью делает ее своим достоянием.

Я не сомневаюсь, что архитектор, который спроектировал крепостную стену, знает, что такое стена, и по его проекту возможно ее построить. Стена и есть истина для архитектора. Но какой архитектор понимает всю значимость крепостной стены? Разве прочитаешь по чертежу, что стена — это плотина? Поймешь, что она — кора кедра, укрывающая живую плоть города? Откуда узнаешь, что она — ограда для усердия, что она — помощь и что огражденные незыблемой крепостью люди, поколение за поколением, будут работать на Господа. Для строителей стена — расчеты, кирпич и цемент. Так оно и есть, стена — расчеты, кирпич и цемент. Но она и мидель-шпангоут корабля, и дом, где есть место каждому. Я верю только в личную обособленную жизнь. Обособленная, частная — вовсе на означает ограниченная, скудная. Она — цветок, она — окно раскрытое, чтобы понять весну. Она — весна, преобразившаяся в цветок. Если нет ни одного цветка у весны, она для меня не весна.

Может, и не важна та любовь, с какой жена ждет возвращения мужа. Не важен и прощальный взмах руки. Но этот взмах — примета чего-то бесконечно важного. Может, и не важен свет одного окошка в городе — светит маленький фонарик на корабле, — но за ним чья-то жизнь, и у меня нет меры, чтобы измерить ее важность, смысл и значение.

Стены — кора, кокон. Город — личинка, город — дерево. Светящееся окно — цветок на его ветке. И возможно, за этим окном бледный малыш пьет молоко, не умеет пока молиться, играет, шалит и станет завоевателем будущего, заложит новые города и обнесет их крепостными стенами. Он — семечко моего дерева. Важное семечко, неважное семечко — откуда мне знать? Я и не думаю об этом. Ведь я уже говорил: не надо членить дерево, чтобы понять и почувствовать его.

Но строитель не подозревает о растущем дереве. Он уверен, что знает толк в крепостных стенах, потому что поставил их. Он уверен: его расчеты — основа и суть любой стены, подкрепи их кирпичом и цементом, и встанет стена

— укрепление города. Но смысл стены несводим к чертежу и расчету, и если возникнет необходимость объяснить вам, что такое стена, то я соберу вас вокруг себя, и год за годом вы будете учиться постигать ее, и трудам вашим не будет конца, потому что нет такого слова, чтобы оно исчерпало ее смысл, суть и сущность. Ведь и я только обозначаю что-то знаками, только знак — расчеты строителей, и кольцо мужских рук, оберегающее беременную жену, таящую в себе мир и будущее, — тоже только знак.

Все мы похожи на человека, который бедными своими словами объясняет печальному, что печалиться ему не о чем, но разве словом справиться с горем? Или с радостью? Или с любовью? Разве излечивают слова от любви? Слово — это попытка соединиться с сущим и присвоить его себе. Вот я сказал «гора» и забрал ее вместе с гиенами, шакалами, затишками, подъемом к звездам, выветренным гребнем... но у меня всего-навсего слово, и его нужно наполнить. И если я сказал «крепостная стена», то нужно наполнить и это слово. Каждый по-своему наполняют его строители, поэты, завоеватели, бледный малыш и его мама, которая благодаря этой стене спокойно раздувает огонь в очаге и ставит греть к ужину молоко, не опасаясь, что ее потревожит кровавая резня. Можно рассуждать о постройке моих стен, но как рассуждать о самих стенах, если наш язык не в силах вместить их целиком? Если знак верен для чего-то одного и неверен для чего-то другого?

Желая показать мне город, меня пригласили подняться на гору. «Посмотри, вот наш город», — сказали мне. И я залюбовался четким порядком улиц и рисунком крепостных стен. «Вот улей, — подумал я, — в котором уснули пчелы. Ранним утром они разлетятся по полям за медом. Люди трудятся и пожинаяют плоды. Вереница осликов повезет в житницы, амбары и на рынки плоды их дневных трудов... Город отпускает своих жителей на заре, чтобы вечером собрать их с грузом припасов на зиму. Человек — это тот, кто производит и потребляет. Я помогу ему, если упорядочу производство и распределение, отладив их, как в муравейнике».

Другие, показывая мне город, перевезли меня через реку, чтобы я полюбовался им с противоположного берега. На закатном небе нарисовались темные силуэты: дома повыше, пониже, побольше, поменьше, и минареты, как мачты, дотянулись до пурпуровых дымных облаков. Мне показалось, я вижу флот, готовый к отплытию. Незыблемый порядок, установленный зодчими, перестал быть сутью города, ею стало обживание новых земель при попутном ветре для каждого корабля. «Вот, — сказал я, — горделивая поступь завоевания. Пусть главными в моих городах станут капитаны, только вкус незнаемого, творчество и победа делают человека счастливым». И слова мои не были ложью, но не были и истиной, они просто говорили о другом.

Третьи, желая, чтобы я полюбовался их городом, увлекли меня в глубь крепости и привели в храм. Я вошел, и меня обняла тишина, полумрак и прохлада. Я задумался. И размышление показалось мне драгоценней и побед, и пищи. Я ем, чтобы жить, живу, чтобы побеждать, и побеждаю, чтобы вернуться к себе и предаться размышлениям, чувствуя, как ширится душа в тиши моего отдохновения. «Вот, — сказал я, — истинная сущность человека, душа живит его. Главными в моих городах будут пастыри и поэты. Благодаря им расцветут души». И эти слова не были ложью, но не были и истиной, они опять были о другом.

Теперь, став мудрее, я не пользуюсь словом «город» для логических рассуждений, словом «город» я обозначаю все, что легло мне на сердце, все, что я узнал и пережил: мое одиночество на его улицах, распределение пищи под кровом, горделивый силуэт на равнине, прекрасную четкость рисунка с высоты горы. И многое другое, чего мне не дано выразить в слове или что я позабыл в эту минуту. Так как же рассуждать при помощи слов, если знак верен для чего-то одного и неверен для чего-то другого?..

Мне показалось, что нет ничего драгоценней наследства, какое передают друг другу люди из поколения в поколение... Не спеша, я иду по моему городу, смотрю на него с молчаливой любовью и вижу: вот невеста говорит с нареченным и улыбается ему с робкой нежностью, вот жена, она ждет с войны мужа, вот хозяйка, она выговаривает за нерадивость служанке, вот оратор, он проповедует смирение, а может быть, необходимость справедливости, вот прохожий, он возмущен, раздвинул толпу зевак и встал на защиту слабого, вот резчик, он режет слоновую кость и в сотый раз начинает работу сызнова, приближаясь шаг за шагом к таящемуся в нем совершенству. Я смотрю, как засыпает мой город, слушаю молкнувший шум, похожий на замирающее гуденье потревоженных цимбалов, и мне кажется, что звенеть его заставило солнце, как заставляет оно звенеть летящих пчел, а вечер отяжеляет их, он закрывает цветы, запирает аромат, чтобы не вился больше тропкой в русле ветра. Я вижу, меркнут мои угольки, подергиваются пеплом, укрыв свое достояние — кто зерно в амбар, кто детей, игравших на пороге, кто собаку, осла, кто стариковский табурет... Город мой затихает, словно огонь, дремлющий под пеплом, и все размышления, молитвы, намеренья, рвение, страхи, сердечные желания, да и нет, нерешенные вопросы, ждущие разрешения, ненависть, ожидающая зари, чтобы начать убивать, самолюбивые притязания, ослепшие в темноте, мольбы, обращенные к Господу, оставлены и не нужны, словно лестницы в закрытом магазине, все отложено, все кажется мертвым, но родовое наследство, никому не нужное сейчас, не уничтожено, оно сохраняется, и солнце, разбудив улей, оделит им каждого, и разберут: кто — свои поиски, кто — счастье, кто — горе, ненависть или гордыню, и когда мои пчелы вновь устремятся к своему чертополоху и своим лилиям, я задумаюсь: «Что же они такое, эти люди — хранилища множества картин?»

Я знаю: если бы мне повелели воспитать, научить и наполнить тысячью разноречивых биений еще неодоушевленного человека, то язык как средство сообщения был бы для меня мостком слишком узким.

Да, мы способны что-то сообщить, но наши книги хранят лишь ничтожную часть общеродового наследия. Если я соберу детей, устрою кучу малу и буду каждого учить чему попало, я пушу на ветер немалую часть нашего наследства. Дурная участь ждет и мое войско, если я не буду поддерживать в нем преемственность поколений и не сделаю его династией без смутных времен. Конечно, капралы всегда будут обучать новобранцев. Конечно, новобранцы всегда будут подчиняться капитанам. Но слова капралов и капитанов слишком малы, чтобы передать весь необъятный накопленный жизнью опыт, не сводимый ни к одной из формул. Невозможно передать полноту понятия словом или книгой. Ведь каждая жизнь определена внутренними пристрастиями, особенностями восприятия, нежеланиями и устремлениями, образом мыслей, способом действий... Но если бы я попробовал все это растолковать, то не осталось бы вообще ничего. Моя любовь создала царство, но если я расскажу о козах, овцах, домах, горах, что от него останется? Сокровенное и сущностное передается не словом, а приобщением к любви. Любовью, пробуждающей любовь, передают люди накопленное наследство. Но отторгните один-единственный раз одно поколение от другого, и любовь умрет. Если старшие в моем войске перестанут заботиться о младших, войско станет вывеской на нежилом доме, он рассыплется при первом же толчке. Если отнять у мельника сына, улетит душа мельницы, исчезнет уклад, усердие, тысяча неприметных умений и навыков, объяснить которые невозможно, но они существуют. В том, что существует, запрятано больше премудрости, чем может вместить слово. А вы требуете, чтобы люди перестроили мир только потому, что прочитали какую-то книжонку. В этой книжонке нет ничего, кроме отраженных картинок, пустых и неплодотворных по сравнению с обилием познаний, накопленных опытом живой жизни. Человек представляется вам нехитрой

и беспамятной скотинкой, но вы позабыли, что человечество живет подобно дереву, живет потому, что один человек важен для другого, узловатый ствол, ветки, листья — все это одно и то же дерево. Вот оно, мое огромное дерево, и откуда мне знать, что такое смерть? Я смотрю с холма на мой город: там и здесь слетает листок, там и здесь набухает почка, и густота кроны неизменна. Частные неблагоприятия не вредят живоносной сердцевине: смотри — храм продолжает строиться, житница одарять и полниться, песня украшаться, а родник сверкать все ярче. Но вот ты порвал связь времен, отторг одно поколение от другого, ты захотел, чтобы зрелый человек стал бессмысленным младенцем, забыл все, что узнал, постиг, почувствовал, чего хотел и чего опасался; ты предложил вместо нажитой плоти опыта скудную книжную схему и уничтожил живые соки, бежавшие по стволу, — в людях осталось только то, что годится для схемы. Слова искажают, чтобы вместить, упрощают, чтобы передать, и убивают, чтобы понять, — твоих людей перестала питать жизнь.

И я напоминаю: чтобы город жил, нужно заботиться о династиях. Если мои целители будут всегда из одних и тех же семей и в их распоряжении будет наследственный опыт всех поколений, а не горстка слов, то врачевать мои врачи будут лучше, чем те, каких с великим тщанием я отберу среди сыновей мельников и солдат. Но я не отрицаю призвания, плодоносному дереву можно привить и чужеродную ветку. Династии примут и преобразуют то новое, что будет поставлять им призвание.

Еще и еще раз мне показали: логика убивает жизнь. И сама по себе она пуста...

Любители формул и схем не знают человеческой сущности. Они спутали плоскую тень и объемистое золотисто-коричневое дерево с раскидистой смолистой кроной, полной птиц, — ветер слов слаб, ему не выдюжить тяжести кедра. Они спутали обозначение явления с самим явлением.

И я понял, не нужно и вредно избегать противоречий. И сообщил об этом генералам, которые пришли поговорить со мной о порядке, но спутали силу, которая все расставляет по местам, с упорядоченностью в музее.

Дерево для меня и есть порядок. Порядок дерева — это целостность и единство, торжествующие над дробностью и разнородностью. На одной его ветке

— гнездо, на другой нет. Одна ветка тянется к небу, другая клонится к земле. Но мои генералы в рабстве у картинок из военных журналов, и порядок для них — единообразие. Если я дам им волю и позволю упорядочить святые книги, где явлен порядок Господней мудрости, они начнут с букв, ведь и ребенку ясно, что буквы перемешались... В одно место они соберут все «А», потом все «Б», потом все «В», и книга, наконец, будет упорядочена. Специальная книга для генералов.

Генералам невмоготу терпеть то, что никак не укладывается в формулу, что еще в пути, что вступило в противоречие с какой-нибудь из общеизвестных истин. Откуда им знать, что слова только обозначают, но не передают суть, поэтому словесные истины могут противоречить друг другу? Какое противоречие, если я скажу «лес» и скажу «царство»? Хотя леса могут быть разбросаны по многим царствам и нет царства, целиком покрытого лесом, хотя у меня в царстве может быть множество лесов и ни одного, который целиком помещался бы в моем. Но мои генералы, если уж они взялись славить царство, будут рубить головы поэтам, которые славят лес.

Одно дело — противостоять и другое — противоречить. Жизнь — единственная истина для меня, и я не признаю иного порядка, кроме целостности, которая объединила в одно дробность мира. Дробность сама по себе не занимает меня. Мой порядок — это общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Я должен стать творцом, чтобы поддерживать такой порядок. Я должен творить язык, который будет истощать противоречия. Потому что

— это тоже жизнь. Нельзя отказываться от чего бы то ни было ради порядка. Можно отказаться от жизни и выстроить мой народ, как горшки вдоль дороги, — порядок будет безупречным. Можно заставить мой народ жить по законам муравейника, и опять будет безупречным порядок. Но по нраву ли мне муравьи? Я люблю человека, одухотворенного животворящими божествами, которые я вырастил в нем, чтобы он тратил себя и свою жизнь на большее, чем он сам: на дом, родину, Господнее царство. Так зачем мне мешать людям спорить, раз я знаю: успех рождается множеством безуспешных усилий; раз я знаю: человека возвращает творчество, а не подражательство. Использование готового не насыщает человека. Знаю я и то, что даже корабль должен перемениться, если он плывет по жизни. Если повторять и повторять его без изменений, корабль умрет, став экспонатом для музея. Я вижу: есть преемственность и есть подражательство. Есть устойчивость и есть косность. Косность не служит крепости кедра, крепости царства. «Вот это и есть истина, — сказали генералы, — и ее мы менять не будем». А я? Я ненавижу обывателей и оседлых; завершённый город — некрополь.

XXIII

Плохо, если сердце возобладало над душой.

Плохо, если чувство возобладало над духом.

Вглядываясь в мое царство, я понял: легко объединяет людей не дух, а чувство, но дух выше чувства. Значит, дух должен сделаться чувством, но совсем не потому, что чувство важнее.

Поэтому-то и нельзя, чтобы художник был в подчинении у народа. Творчество должно открыть народу чего ему желать. Он должен вкусить от духа и полученное сделать чувством. Народ — желудок, полученную пищу он должен переработать в свет и благодать.

Соседний государь создал свое царство, выносив его своим сердцем. Его народ стал величальной песнью созданному царству. Но его народ не доверял одиноким, боялся горних троп, вьющихся, словно плащ пророка, бесед со звездами и их ледяных вопросов, тишины и голоса, звучащего и молчащего в тишине. Тот, кто поднимался в одиночестве в горы, возвращался, причастившись Божественной пищи. Он спускался, спокойный и величавый, пряча неведомый мед под своим плащом. Мед приносят лишь те, кто отделились от толпы. И мед их всегда горек. Новое плодоносное слово всегда горько, ибо, повторяю, — нет радостных перерождений, Я ращу вас и, значит, словно нож из ножен, извлекаю из собственной кожи, чтобы нарастить, как на змее, новую. Только так из песенки родится псалом, от искорки займется лес. Но человек, отвернувшийся от нехитрой мелодии, но народ, запретивший одному из себе подобных быть свободным и подниматься в горы, убивает дух. Тишина — единственный простор, где дух расправляет крылья.

XXIV

Я размышлял о тех, кто использует, ничего не давая взамен. Вот государственный муж, он лжет, хотя власть его держится на доверии к сказанному. Благодаря доверию его слово действительно. Благодаря доверию действительно его ложь. Но, воспользовавшись моим оружием

так, я притупил его. Сегодня я победил противника ложью, но завтра у меня не найдется против него оружия.

Вот стихотворец, он прославился, сломав общепринятые правила синтаксиса. Шоковый эффект часто ведет к успеху. Но он — браконьер, из личной выгоды он разбил сосуд с общим достоянием. Ради самовыражения не пощадил возможности выражать себя каждому. Желая посветить себе, поджег лес и всем остальным оставил пепел. Нарушения войдут в привычку, я никого больше не изумлю неожиданностью. Но мне уже не воспользоваться благородной красотой утраченного стиля. Я сам обесмыслил его фигуры, прищур, умолчания, намеки — всю гамму условных знаков, которую так долго и так тщательно отработывали и умели выразить ею самое тайное, самое сокровенное.

Я выразил себя тем, что сломал ее, сломал инструмент для самовыражения. Инструмент, который принадлежал всем.

Не люблю издевок, насмехаются всегда бездельники. Нами правит правитель, мы относимся к нему почтительно, но, издеваясь, я сравнил его с ослом и поразил всех своей дерзостью. Со временем осел сольется с правителем, такая очевидность совсем не смешна. Я разрушил иерархию, возможность подняться вверх, полезное честолюбие, представление о величии. Я растратил капитал, которым пользовался. Ограбил житницу и зерна пустил на ветер. Я использовал величие правителя в своих целях и разрушил то, что создавали другие. Вот в чем мое предательство, мое преступление. Мне предоставили возможность выразить себя. Я выразил себя тем, что уничтожил все возможности. И предал всех.

Поэт, который жестоко работает над собой, желая воспользоваться накопленным наследством, совершенствует инструмент, пользуясь им. Правитель, говорящий правду своему народу, несмотря на тягость ее и горечь, не растеряет союзников, ведя войну. Тот, кто заботится о возможностях роста для человека, готовит себе помощь, которая завтра сослужит ему службу.

XXV

Вот почему я созвал воспитателей и сказал им:

— Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьев, обрекая на жизнь муравейника. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нем человеческого. Не моя забота — счастье людей. Кто из людей будет счастлив — вот что меня заботит. А довольство сытых возле кормушки — скотское довольство — мне не интересно.

Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы — пустота, обогатите их образами и картинками, на которых видны связующие нити.

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать.

Не судите о способностях по легкости усвоения. Успешнее и дальше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию — вот главное мерило.

Не учите их, что польза — главное. Главное — возрастание в человеке человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску Научите их почтению, потому что насмехаться любят бездельники, для них не существует целостной картины.

Боритесь против жадности к вещному. Они станут людьми, если вы научите их тратить себя, не жалея; если человек не тратит себя, он закаменеет.

Научите их размышлению и молитве, благодаря им расширяется душа. Научите не скудеть в любви. Чем заменишь любовь? Ничем. А любовь к самому себе — противоположность любви.

Карайте ложь и доносительство. Бывает, что и они помогают человеку и на первый взгляд в помощь царству. Но силу рождает только верность. Нельзя быть верным одним и неверным другим. Верный всегда верен. Нет верности в том, кто способен предать того, с кем вместе трудится. Мне нужно сильное царство, и я не собираюсь основывать его мощь на человеческом отребье.

Привейте им вкус к совершенству, ибо любое дело — это путь к Господу, и завершает его только смерть.

Не учите их, что главное — прощение и милосердие. Плохо понятые, обе эти добродетели обернутся потаканием нечести и гниению. Научите их благому сотрудничеству — общему делу, где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург поспешит через пустыню к человеку с разбитой коленкой. Потому что речь идет об исправности повозки. А вожатый у них один.

XXVI

Я задумался о великом таинстве перерождения и изменения самого себя. Жил когда-то в нашем городе прокаженный.

— Я хочу показать тебе бездну, — сказал отец.

И он повел меня на окраину, где за домами виднелся голый замусоренный пустырь. Маленький домишко стоял посреди пустыря за забором, отгородившим прокаженного от остального мира.

— Ты, верно, думаешь, что он в отчаянии? Присмотрись, он сидит на пороге и зевает. В нем умерла любовь, только и всего. Его сгноило изгойство, всего-навсего. Запомни, изгойство не терзает болью, оно изнашивает тебя день за днем. В изгнании питаются снами и в кости играют понарошку. Да, он сыт, но что толку в сытости? Он — король царства теней.

Наше спасение в необходимости, — продолжал отец. — Что за игра в кости без денег? Что за жизнь в мечтах? Мечты не приносят счастья, они слишком податливы. Как безнадежен рой мечтаний, заполняющий пустоты юности. На пользу каждому все, что сопротивляется и противится. Не болезнь беда прокаженного — податливость жизни. У него нет необходимости идти, он осел у своей кормушки.

Горожане приходили поглядеть на него. Окружив забор, они затаивали дыхание, словно заглядывали после тяжелого подъема в кратер вулкана. Они бледнели, словно уже услышали грозный гул в глубине земли. Жизнь за забором казалась им исполненной тайны. Но тайны в ней не было.

— Не тешь себя иллюзиями, — сказал отец, — не выдумывай прокаженному бессонных ночей, отчаяния и рук, заломленных в бессильной ярости против самого себя, Господа и всех людей на свете. Он — неучастие, и с каждым днем он от нас все дальше и дальше. Что связывает его с людьми? Глаза ему затянула пелена гноя, бессильные руки повисли плетью.

Городской шум для него — шум проезжающей неведомо где телеги. Жизнь — не слишком понятное зрелище. А что такое зрелище, спектакль? Пустяк, он ничего не стоит. Живит только то, что переделывает тебя. Нельзя жить, превратившись в склад с мертвым грузом. Мог бы жить и прокаженный, подвози он на лошади камни для постройки храма. Но нет, этого снабдили всем.

Со временем вошло в обычай навещать прокаженного каждый день, сострадать ему и через забор, отгородивший его от мира, перекидывать ему приношения. Он стал божком, ему служили, его украшали и одевали, кормили лучшими яствами. В праздник чествовали музыкой. И все же нуждался во всех он, а сам не был никому нужен. У него было все, но отдать ему было нечего.

— Ты видел деревянных идолов, — сказал отец, — они тоже обвешаны дарами. Перед ними возжигают свечи, им кадят дымом жертвоприношений, украшают драгоценностями. Но поверь, преобразаются и растут люди, жертвуя своему божеству золотые браслеты, драгоценные камни, — деревянный идол пребывает деревом. Он не может переродиться. Дерево живет, преобразая землю в цветы.

Я видел прокаженного, он выходил из лачуги и обводил толпу незрячим, тусклым взглядом. Говор собравшейся толпы мог бы польстить ему, но для него он значил не больше дальнего шума волн. Он был для нас недосыгаем. Нас ничего не связывало друг с другом. И если кто-то в толпе громко жалел его, взгляд прокаженного туманился презрением... Изгой. Его воротило от игры, где все понарошку. Что за жалость, если не берут на руки и не баюкают? Ведь для нас как настоящий он не существовал. И когда вдруг в нем просыпалось что-то древнее, инстинктивное, когда он вдруг загорался яростью, не желая больше служить ярмарочной забавой, — яростью, по существу поверхностной, ибо мы не были частью его жизни, а чем-то вроде детей у пруда, где едва шевелится одинокий карп, — ярость его не задевала нас. Ярость, не способная нанести удар, швыряющая на ветер пустоту слов. Мне показалось: взяв на себя его пропитание, мы ограбили его. Я вспомнил прокаженных Юга, они взирали на оазисы с высоты своего коня, с которого, по закону о прокаже, не имели права спешиться. Они опускали вниз палку с плоской и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом: счастливое лицо для них — лишняя возможность удачной охоты. Да и чем могло досадить им чужое счастье? Чуждое и далекое, вроде незаметной возни полевок на лугу. Вот они и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом. Тихим шагом подъезжали к лавчонке, опускали на веревке корзину и терпеливо ждали, пока лавочник наполнит ее. Не по себе становилось от их тяжелого равнодушного терпенья. Неподвижно стояли они вдоль нашей улицы и были для нас лишь пристанищем страшной болезни, жадной, прожорливой печью, сжигающей человеческую плоть. Они были для нас тем, что стараешься миновать, — заброшенным пустырем, обителью зла. Но чего ждали они сами? Ничего. Ждут ведь не от себя, ждут от иного, чем ты. И чем скуднее твой язык, тем грубее и проще твоя связь с людьми, тем меньше знакомы тебе скука и томление ожидания.

Так чего они могли ждать от нас, эти люди, ничем не связанные с нами? Они ничего от нас и не ждали.

— Смотри, — сказал мне отец, — он больше не зевает. Он разучился скучать, скука — тоже тоска по людям.

XXVII

Я понял, что все несчастны. Ночь — вот корабль, на который Господь посадил всех странников, не дав им кормчего. И я решил объединить людей. Но сперва решил понять, что

же такое счастье.

Я ударил в колокол. «Придите ко мне, счастливые», — позвал я. Счастливый подобен зрелому плоду, источающему сок и сладость. Я видел — женщины, наклонившись вперед, прижимают руки к груди, боясь расплескать полноту счастья. И пришли счастливые и встали по правую мою руку.

«Придите, несчастные!» — позвал я и ударил в колокол для несчастных. «Встаньте от меня по левую руку», — сказал я им. И, разделив всех, я задумался: «Что же такое несчастье?»

Я не верю в арифметику Не перемножишь горе на радость. Если среди моего народа страдает один-единственный человек, мука его так велика, как если бы мучился весь народ. Плохо и то, что, мучаясь, человек забывает о царстве.

А радость? Когда замуж выходит принцесса, танцует и пляшет весь народ. Дерево потратило себя, и распустился бутон. Дерево — это каждая из его веточек, по ним я и сужу о дереве.

XXVIII

Слишком просторным показалось мне одиночество. Тишины и неспешности искал я для моего народа. И вот напился простором души и горней тоской до горечи. А внизу я видел огни вечернего города. Город звал сбиться всех потеснее, запереть двери, прижаться друг к другу. Так все и поступали, а я

— я смотрел, как одно за другим гаснут окна, и за каждым из них угадывал любовь. А потом тоску и разочарованье, если любовь не становилась большим, чем просто любовь...

Непотухшие окна говорили о болезни. Два-три неизлечимо больных — негасимые свечи в ночи. А вот и еще одна мерцающая внизу звездочка — кто-то творит, единоборствуя с неподатливой глиной, он не уснет, пока не вплетет в венок еще одного бессмертника. Несколько окон зажжены безнадежной мукой ожидания. Господь и сегодня собрал свою жатву, кому-то никогда уже не возвратиться домой.

Но были в моем городе и те, кто не спал и бдением своим противостоял опасностям ночи — так бдит дозорный в открытом море. «Это блюстители, — сказал я, — они блюдут жизнь перед лицом непроницаемой стихии. Они на переднем крае, на пограничье. Нас мало, бдящих в ночи над спящими, с нами беседуют звезды. Нас мало, стойких, мы положились на произвол Господень. Нас мало среди мирных городских жителей, на наших плечах тяжесть города, нас обжигает ветер, упавший со звезд, словно ледяной плащ».

Капитаны, друзья мои, тяжка необъятная ночь. Спящим неведомо, что жизнь

— это нескончаемые перемены, напряжение до стога древесины и мука перерождения. Нас мало, мы за всех несем общий груз, мы на пограничье, нас обожгла боль, и мы выгребаем к восходу, мы — дозорные на вахте, застывшие в ожидании ответа на немой вопрос, мы из тех, кто не устает верить, что любимая возвратится...

И я понял, что усердие и тоска сродни друг другу. Их питает одно и то же. Бескрайность — их пространство, бесконечность времени — их пища.

— Пусть бдят со мной лишь тоскующие и усердные, — сказал я. — Остальные пусть спят. Они трудятся днем, и не их призвание — пограничье...

Но этой ночью город не спал, он лишился сна из-за человека, который на заре искупит смертью свое преступление. Город верил, что он невиновен. Улицы обходила стража, следя, чтобы люди не собирались вместе, но людей будто что-то выталкивало из дома и притягивало друг к другу как магнит.

А я? Я думал: «Один мученик разжег пожар. Тюремный узник реет над целым городом, словно знамя».

И мне захотелось посмотреть на него. Я направился к тюрьме — глухим квадратом чернела она на звездном небе. Стражники отомкнули мне ворота, и, заскрипев, они медленно повернулись на петлях. Толстые стены, зарешеченные окна — тяжело от них. Черные стражники сторожили дворы и коридоры, возникая на моем пути, словно ночные хищные птицы... Всюду спертый воздух, всюду глухое эхо подземелья, вторящее шагам по плитам, звону оброненного ключа. Я подумал: «Для чего воздвигать эту громадину, стремясь придавить человека, он так слаб, так уязвим — гвоздя довольно, чтобы лишить его жизни. Неужели же преступник так опасен?»

Все ноги, чьи шаги я слышал, топтали узника. Все стены, все двери, все столбы давили на него. «Он — душа тюрьмы, — сказал я себе, размышляя об узнике. — Он ее смысл, суть и оправдание. И он же — кучка тряпья, сваленная за решеткой, возможно, он спит и похрапывает во сне. Но каким бы он ни был, он взбудоражил весь город. Вот он отвернулся от одной стены, повернулся к другой, и произошло землетрясение».

Мне приоткрыли глазок, я стал смотреть на узника. Я знал, что мне есть над чем поразмыслить. Я долго смотрел на него, пока наконец его не увидел. А увидев, подумал: «Наверное, ему не в чем себя упрекнуть, кроме как в своей любви к людям. Но каждый зодчий строит свою крепость по-своему. Все способы хороши. Но не все вместе. Потому что тогда не построить крепости».

Лицо, изваянное в мраморе, отвергло множество других возможностей. Каждая была прекрасна. Но не все вместе. Я не сомневаюсь, мечта узника была не хуже моей.

Он и я — на вершине горы. Я один, и он тоже. Этой ночью мы поднялись с ним на вершину мира. Встретились, сошлись. Что делить нам на такой высоте? Как и мне, ему нужна только справедливость. Но умрет все-таки он.

Мне стало больно.

Прежде чем желание станет деянием, дерево — веткой, женщина — матерью, будет сделан выбор. Жизнь укрепляется несправедливостью выбора. В красавицу влюблены многие. Послушная жизни, она выберет одного и многих обречет на отчаяние. Справедливость не заботит сущее. И я понял — творчество прежде всего жестоко.

Я затворил дверь и долго шел коридорами. Меня переполняли восхищение и любовь. На что ему жизнь раба, когда он велик гордыней? Я проходил мимо стражников, тюремщиков, подметальщиков, все они верно служили своему узнику. Толстые стены берегли его и были похожи на руины замка, они что-то значили лишь благодаря спрятанному в них сокровищу. Я еще раз обернулся и посмотрел на тюрьму Башня в зубчатой короне тянулась к звездам — сторожевой корабль шел с важным грузом... Куда он его везет? — спросил я у самого себя. А потом, когда я уже был далеко, ружейный залп в ночи...

Я подумал о своих горожанах: «Они будут плакать о нем». «Хорошо, что они будут плакать», — подумал я.

Я вспомнил, о чем поет мой народ, на что ропщет, о чем думает. «Они похоронят его. И не похоронят. Опущенное в землю дает всходы. Не мне противостоять жизни, и однажды он

окажется правее меня. Я обрек его на позорную казнь. Придет день, я услышу, как воспевают его смерть. Песню полюбит ищущий путь к тому, что мной отвергнуто. А я? Куда иду я?

Я иду к иерархии, но не такой, какая сложилась, — к иной. Благо покоя я хочу отличать от омертвления. Стремясь к покою, не хочу расправляться с противоречиями. Я должен вобрать их. Зная при этом, что одна сторона хороша, другая — нет. Не терплю, когда плохое и хорошее смешивают в одну кучу, сладкой кашкой питаются слабаки, поддерживая свое бессилие. Я принял моего врага, чтобы стать больше и сильнее него».

XXIX

Я задумался, разглядывая маску плясуньи, — ее лицо своенравной балованной упрямцы. «Во времена величия царства, — подумал я, — она выбрала себе такую маску. Теперь эта маска — крышка пустой коробки. В человеке исчезла страсть. Исчезли и пристрастия. Никто не хочет выстрадать своего. А если своего не выстрадать, то откуда ему взяться?»

Человек желал добиться. Добился. Но стал ли он счастливее? Счастье в служении желанному. Смотри, стебель трудится над цветком. Счастлив ли он, когда цветок распустился? Нет, наступил конец работы, растение приготовилось умереть. Я знаю, что такое хотеть. Жажда дела. Желать достигнуть, преуспеть. И отдохнуть. Но кто жив отдыхом? Отдых не питает нас. Не перепутайте, питающая среда и достигнутая цель — разное. Бегун бежал быстрее всех. Он победил. Но не получится жить победой. Не может моряк жить побежденной бурей. Побежденная буря — взмах руки в долгом-предолгом плавании. Следующий взмах неминуем. Радость трудиться над цветком, бороться с бурей, строить храм не похожа на радость сорвать цветок, вспоминать о буре, любоваться храмом. Надежда, что в старости насладишься тем, в чем отказывал себе всю жизнь, — иллюзия. Напрасно надеется воин, что в радость ему будет жизнь обывателя. Хотя на первый взгляд кажется, что воюет он за возможность им стать. Но вот он стал обывателем, и тоскует, и снова не прав. Не прав тот, кто, тоскуя, твердит: «Человеческие желания неутолимы»... Он просто не знает, чего хочет. «Я иду по следам своего счастья, а оно никак не дается в руки», — жалуется он. Могло бы пожаловаться и дерево: как я трудилось над цветком, зачем он засох и стал семечком, которое зачем-то станет деревом, а на нем будут еще какие-то цветы?!

Одолев бурю, ты отдыхаешь, но, пока ты отдыхаешь, собирается новая буря. Я повторяю: у Бога нет отпусков, Он не помилует тебя от становления. Ты захотел быть? Бытие — это Бог. Он вернет тебя в Свою житницу только после того, как ты мало-помалу осуществишься, после того, как твои труды обозначат тебя, ибо человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно.

Скудеют те, кто поверил, будто чего-то добился, будто чем-то владеет, кто встал посреди дороги, желая наслаждаться полученным — или достигнутым, как принято обычно говорить. Нет достигнутого, нет полученного, нет запаса, который можно тратить. Об этом знаю я, — я, который не раз позволял завлечь себя в женские сети и вдруг узнал, что в чужедальних краях живет красавица, источающая аромат совершенства, и она может стать моей. Опьянение восторга я счел любовью. Мне показалось, что я умру, если она не станет моей.

Пышно и радостно праздновалась свадьба, всех в моем царстве словно бы закружил хмель любви. Цветы рассыпали корзинами, курили драгоценные благовония, не жалели сверкающих бриллиантов; цена им — людские пот, страдание и кровь; множество роз губится ради капли масла, множество людей губится ради капли света — но кто сейчас вспоминал об этом: каждый расточал себя в любви. И вот моя нежная пленница, принесенная ветром любви на

парусах своих покрывал, рядом со мной на террасе. Я — мужчина, я — воин, я — победитель держу наконец долгожданную награду в этой войне. Но, оказавшись с ней рядом, не знаю, что делать...

— Голубка моя, горлица, — шепчу я, — длинноногая газель... — Я придумываю слова, чтобы дотянуться до нее, и не нахожу слов. Ее все меньше, она тает, будто утренний снег. Я ждал себе другого подарка. Я кричу: «Где вы?» Потому что никак не могу ее найти. «Как мне выйти хотя бы на пограничье?» Я превратился в дозорную башню, в крепостной вал. Мой город славил любовь фейерверками. А я, одинокий в своей иссушающей пустыне, смотрел на нее — обнаженную, спящую. «Я охотился не на ту дичь, шел не в ту сторону. Она бежала так быстро, я схватил ее, желая сделать своей... Держу, но со мной ее нет...» И я понял, что я ошибся. Думал жить, одержав победу в беге. Стал похож на безумца, который запирает кувшин с водой в шкаф, потому что любит журчанье родника...

Я не прикасаюсь к тебе, я творю тебя, словно храм. Творю в сиянии света. Твоя тишина одевает поля, леса. Я учусь любить тебя больше, чем люблю тебя, себя. Я пою хвалебный гимн твоему царству. Ты закрыла глаза — глаза мира. Ты устала, я держу тебя в кольце своих рук, словно город. Ты — ступень на пути моем к Господу. Тебя создали, чтобы воспламенять, испепелять, — не для того, чтобы сберегать впрок... Прошло несколько дней, город облачился в траур, в моем дворце все рыдали, потому что я с тысячью воинов вышел из городских ворот, я шел в пустыню, я томился, и жажда гнала меня туда.

Я уже говорил тебе об этом, боль одного — не меньше боли целого мира. И любовь одного — какой бы несуразной она ни была — раскачивает звезды Млечного Пути. Округлый корпус корабля обхватили мои руки, обнимая тебя. Мы выходим сегодня в открытое море, в грозную стихию любви...

Вот так, мало-помалу, я нащупываю границы моего царства. Ограничения всегда говорят о сути, и я люблю то, что умеет противостоять. Противостоят и человек, и дерево. Барельефы, изображающие своенравных плясуний, я сравнил с крышками пустых коробок, но когда-то они были масками, а под маской и впрямь таились упрямство, коварство и поэзия строптивых капризниц. Я люблю выявляющих себя в противостоянии, люблю замкнутых и молчаливых, укрепляющих свою твердость, тех, кто сжимает зубы под пыткой, кто выдерживает пытку любви. Тех, кто несправедливо предпочитает вообще не любить. Вас, уподобляющих себя грозным башням, которые невозможно взять приступом...

Ненавижу податливость. Нет человека, если он не противостоит. Нет противостояния в муравейнике, нет в нем и Бога, нет образа и подобия Божия. Податливый человек — человек, в котором нет всхожести. И я вспомнил чудо, увиденное мной в тюрьме. Слабый узник был сильнее тебя, меня, нас всех, вместе взятых, сильнее моих тюремщиков, подъемных мостов, стен. Та же загадка мучила меня и тогда, когда я размышлял о любви, держа ее в своих объятиях, обнаженную и покорную. Мне трудно сладить с тем, что человек одновременно велик и ничтожен, велик своей верой, ничтожен гордыней бунта.

XXX

И еще я понял: человек без стержня, без внутренней формы — ничто. Если он слился с толпой, послушен ей, живет по ее законам, он никогда не пожертвует собой, не воспротивится соблазну, не смирится со смертью. Вепрь, слон и человек на вершине горы сродни друг другу. Люди не вправе посягать на тишину в человеке, не вправе из ненависти к одиноким лишать его вершины горы, где он вырастет, подобно кедру.

Он пришел ко мне, он уверен, что логикой можно исчерпать человека. Он показался мне ребенком. С совком и ведерком подошел малыш к Атласским горам в безмятежной уверенности, что возьмет их и передвинет. Человек — прежде всего то, что есть, а не то, что он о себе знает. Да, сознание стремится узнать и выразить то, что существует, но путь его труден, медлен, извилист. Не стоит забывать: существует и то, чего мы не можем выразить, оно тоже есть. А выражаем мы только то, что сумели постигнуть. Как мало умею я выразить о человеке. Открывшееся мне сегодня существовало и вчера, я солгал бы себе, сказав: «То, чего я передать не в силах, не стоит и внимания». Гору я тоже только назвал. Я путаю понятия «назвать» и «выразить». Называют для знающего. Но если человек не видел гор, как передать ему ущелья, камнепады, лавандовые склоны, уступчатый силуэт на звездном небе?

Знать не означает получить во владение обломки славной крепости или легкий челнок, который можно отвязать от причала и повести куда угодно; знание — та же жизнь, в нем есть неожиданные откровения, есть свои законы внутреннего тяготения, есть свое безмолвие, столь же многозначительное, как безмолвие небесных сфер.

И вот я в разладе с самим собой: меня радует послушливость человека и его непокорство, свидетельствующее о крепости нутра. Вечно противоречащая самой себе суть мне понятна, но ее не уложить в формулу. Взять, к примеру, моих воинов, они послушны, их вымуштровала суровая дисциплина, по взмаху моей руки они пойдут на смерть, повинование вошло у них в плоть и кровь, я могу отругать их и ими распорядиться, словно малыми детьми... но в неожиданной схватке с врагом они будут тверже стали, благородны в ярости и мужественны в смерти.

Я понял: твердость и послушание — две стороны одной медали. «Твердый орешек» — говорим мы с одобрением об одном, «сама себе хозяйка» — о другой, — я обнял ее, но она была далека от меня, словно яхта на морском горизонте, — их я и называю людьми: они не торгуются, не вступают в сделки, не подлаживаются, не идут на компромиссы, не предают себя из корысти, сладострастия, усталости, сердце их тверже оливковой косточки. Я могу стереть их в порошок, но не выдавлю масла тайны, и я не позволю тирану или толпе властвовать над их алмазными сердцами, потому что именно такие люди и бывают по-настоящему послушны. Именно они бывают кроткими, дисциплинированными, почтительными, они способны на веру и на жертву, став покорными сыновьями глубинной мудрости, став хранителями добродетели...

А те, кого принято называть свободными, кто решает все по-своему и всегда одинок от неумения слушать и слушаться, лишаются попутного ветра в парусах. Их вечное несогласие — бестолковый каприз, не более.

Поэтому я, ненавистник покорной скотины, человека без нутра и сердечной родины, я — правитель, я — мастер, не желающий кастрировать свой народ и превращать его в слепых исполнительных муравьев, — вижу: мое принуждение не калечит — оно служит духу жизни. Смирение в храме, послушание и готовность прийти на помощь — добродетели, не любимые лицедеями, но для моего царства добродетели эти — краеугольный камень. Много ли хорошего дождешься от самого себя? Положиться можно лишь на общее дело, где каждый в помощь благодаря другому.

Я ошибусь, если назову строптивцем моего узника. Его сдавили крепостные стены, за ним следит стража, но он молчит под пытками или отвечает моим палачам презрительной усмешкой. Сильным его сделала вера, но он верит в другое, чем я. Его жестокость — обратная сторона любви и мягкости. Я вижу моего узника и другим тоже: сложив на коленях руки, он сидит и слушает с ясной улыбкой, он приник к благодатному роднику. Вот та, которую я сделал пленницей моего замка, — она бродит по террасе, и горизонт ей кажется решеткой клетки — невозможно приручить ее, принудить к словам любви. Она другого племени, другой

страны, в ней иной огонь, иная вера. Не обратив ее в свою, мне ее не дозваться.

Больше всех я ненавижу отказавшихся быть. Они сродни шакалам, но думают, что свободны, потому что свободно меняют мнения и предают (откуда им знать о предательстве? Они сами себе судьи). Им свободно лукавить, передергивать, оговаривать; и, если они голодны, свободно переметнутся ко мне, стоит мне указать им на кормушку.

Такой была свадебная ночь — ночь перед казнью. Благодаря ей я ощутил, что значит быть. Потрудитесь же над собственной формой, станьте долговечным форштевнем, превратите в собственное тело то, что хочет вас износить, — так и только так поступает кедр. Я — контур, стержень, усилие Творца, благодаря которым вы рождаетесь, но, родившись, вы должны, будто кедр, растить ветви

— собственные, а не чужеродные, — свою хвою и свои листья, вы должны тянуться ввысь и укореняться...

Я зову негодьями тех, кто живет за счет чужих усилий, как хамелеон, меняет цвет, любит похвалы и подношения, упивается рукоплесканиями и судит о себе, смотрясь в лицо толпы. Что они такое? Пустота. Нет у них сокровищ; нет крепости, которая бы их хранила, нет весомых слов для детей, они не растили их — дети выросли, как трава под забором.

XXXI

Они пришли и сказали мне, что для жизни нужны удобства. А я? Я вспомнил своих воинов в пустыне. Я знаю, сколько тратится сил на достижение житейского благополучия, но, когда оно наступает, жизнь уходит.

Поэтому я любил войну, мир с ней так ощутимо сладок. Военный поход по безмятежно тихой знойной пустыне — пустыне, кишашей змеями, пустыне девственных песков, засад и укрытий. Я вспомнил, как играют дети, они строят полки из белых камешков. «Это солдаты, — говорят они, — они спрятались в засаде». Но прохожий видит только кучку белой гальки, он не видит сокровищ, таящихся в детской душе. Вспомнил человека-жаворонка, он наслаждается зарей, под ледяным солнцем плещется в ледяной воде и греется потом в лучах разгорающегося дня. А жаждущий? Он хочет пить, он идет к колодцу, скрипит ворот, гремит цепь, ползет вверх ведро, вот он вытянул полное ведро на край колодца — вода для него стала песней, он запомнил все ее переливы. Благодаря жажде он ощутил крепость своих рук, ног, зоркость глаз, жажда возвысила его, словно поэзия. Другой подозвал раба, тот поднес к его губам воду, но песни он не слышал. Удобство — это чаще всего пустота и безмолвие. Люди не верят в необходимость напряжения и боли и поэтому живут так безрадостно.

С пустотой встречаются и те, кто слушает музыку, не пожелав потратить усилий на музыкальную грамоту. Они повелели внести себя в музыку на паланкине, не захотев дойти до нее пешком, они отказались от апельсина, потому что нужно очистить кожуру. Но я-то знаю: нет кожуры — нет и мякоти. Вам показалось, что счастье — это избавление от того, от другого и в конечном счете от самих себя. Вы ошиблись — богатством наслаждаются не богачи, они к нему привыкли. Нет пейзажа, если никто не карабкался в гору, пейзаж — не зрелище, он — преодоление. Но если принести тебя наверх в паланкине, ты увидишь что-то туманное и незначительное, и почему, собственно, оно должно быть значимым? Тот, кто с удовлетворением скрестил на груди руки и любуется пейзажем, прибавляет ему сладость отдохновения после трудного подъема, голубизну угасающего дня. Ему нравится композиция пейзажа, каждым своим шагом он расставлял по местам реки, холмы, отодвигал вдаль деревню. Он — автор этого пейзажа и рад, как ребенок, который выложил из камушков город

и любитесь творением своих рук. Но попробуй заставь ребенка залюбоваться кучкой камней — зрелищем, доставшимся даром...

Я видел жаждущих — жажда сродни ревности, она мучительнее болезни: тело знает целительное снадобье и требует его, как требовало бы женщину, оно видит во сне, как другие приникли к воде. Ревнивцы тоже видят женщин, которые улыбаются не им. Неоплаченное душевно и телесно — не ощущается как значимое. Не существует случайности, если я не попал в случай. Из ночи в ночь смотрят на Млечный Путь мои астрологи. Благодаря ночам, проведенным в бдении, он стал для них книгой премудрости, страницы ее переворачиваются с едва слышным шелестом, и астрологов переполняет благоговейная любовь к Господу, насытившему Вселенную такой мучительно сладкой для сердца сущностью.

Повторяю вам: право не сделать усилие дается вам лишь ради другого усилия, потому что вы должны расти.

XXXII

Умер князь, он властвовал от меня на востоке. Князь, с которым мы так жестоко воевали и кто после множества войн стал мне надежной опорой. Я вспомнил, как мы встречались. В пустыне раскладывали пурпурный шатер, и мы

— я и он — входили в его пустоту. Наши воины стояли поодаль — не годится, чтобы войска, смешавшись, сбились в толпу. Толпа — стадо, в ней никогда не будет благородства. Положившись про себя на мощь своих копий, воины ревниво следили за нами, не размякая от дешевого умиления. Тысячу раз прав был мой отец, повторяя: «Не суди о человеке по тому, что увидал на поверхности, встретись с ним в глубинах его души, ума, сердца. Если придавать значение каждому движению, сколько крови прольется понапрасну...»

В глубинах души искал я встречи с моим врагом, когда оба мы, безоружные, защищенные лишь своим одиночеством, входили в шатер и садились напротив друг друга на песок. Не знаю, кто из нас — он или я — был сильнее. В нашем священном одиночестве от силы требовалась сдержанность. Малейшее движение потрясло бы мир, и двигались мы с величайшей осторожностью. Спор у нас был тогда о пастбищах. «У меня двадцать пять тысяч голов скота, — сказал он, — скот гибнет. У тебя бы он прокормился». Но как пустить к себе целое воинство пастухов с чуждыми нам обычаями? Они посеют в моих людях сомнение, а сомнение — начало порчи. Как принять на своей земле пастухов из чужой Вселенной? Я ответил: «У меня двадцать пять тысяч человеческих детей, они должны научиться молиться по-нашему, иначе останутся без лица и стержня». Правоту каждого из нас отстаивало оружие. Как прилив и отлив, надвигались мы и отступали. Всей силой давили мы друг на друга, но никто не мог взять верх — от взаимных поражений сила наша сравнялась. «Ты победил — значит, сделал меня сильнее».

Нет, не было во мне презрительного высокомерия, когда я взирал на величие моего соседа. На висячие сады его столицы. На благовония, привозимые его купцами. На прекрасные кувшины его чеканщиков. На его мощные плотины. Презрительность — помощница неполноценных, только их истине мешают все остальные. Но мы из тех, кто знает, что истин на свете много, нас не унижает признание добротности чужой истины, хотя мне она все равно будет казаться заблуждением, но ни яблоня к виноградной лозе, ни пальма к кедру не относятся с презрением. Каждое дерево стремится стать как можно выше и не сплетает своих корней с чужими. Каждое хранит свой облик и естество — сокровища, которые не должны расточиться.

— Если хочешь поговорить с соседом по существу, — говорил отец, — пришли ему ларчик с благовониями, пряности или спелый лимон, пусть в его доме запахнет твоим домом. Твой воинственный клич в горах — тоже подлинный разговор. И привезенное тебе послом объявление войны тоже. Посланника долго обучали, воспитывали, закаляли, он — твой противник, и он — твой друг. Ему чужд твой обиход, но вы встречаетесь как друзья там, где человек в долгу лишь перед самим собой, где он возвысился над ненавистью. Уважение врага — одно-единственное чего-то стоит. Уважение друзей стоит чего-то только тогда, когда они отрешились от признательности, благодарности и прочей пошлости. Если ты отдаешь за друга жизнь, обойдись без дешевого умиления.

Я не солгу, сказав, что соседний князь был мне другом. Наши встречи были радостью. Я поставил слово «радость» и направил расхожее мнение по ложному следу. Радостью не для нас — для Господа. К Нему мы искали дорогу. Наши встречи замыкали ключом свод. Но сказать друг другу нам было нечего. Господь простит мне, что, когда он умер, я заплакал.

Кому, как не мне, знать о собственном несовершенстве. «Если я плачу, — думал я, — значит, я не очистился еще от своекорыстия». Я знаю, мой сосед узнал бы о моей смерти, как узнал бы, что на западе его земли уже ночь. На потрясенный моей смертью мир он смотрел бы, как смотрят на спустившиеся сумерки. На гладь озера, потревоженную пловцом. «Господи, — сказал бы он своему Богу, — день сменяется ночью по Твоей воле. Что потерялось, если увязали снопы, если кончилось наше время? Я уже был». Он приобщил бы меня к своему незыблемому покою. Но я еще не чист, я еще не проникся вечностью. Я по-женски томлюсь легковесной тоской, видя, как от вечернего ветра вянут розы в моем живом саду. Вяну и я с увядающей розой. Я чувствую: я умираю вместе с ней.

Жизнь шла и шла, я хоронил моих капитанов, смещал министров, терял женщин. Позади, словно сотня змеиных выползков, сотня разных былых моих «я». Но неизменно, как неизменно возвращается солнце — мера и маятник дня, как возвращается лето — мера и равновесие года, — мои воины опять и опять, от встречи к встрече, от договора к новому договору, ставили в пустыне пустой шатер. И мы входили в него. Наша встреча была торжественным обрядом, улыбкой сурового пергамента, покоем перед смертным часом. Тишиной, творимой не человеком, а Господом.

И вот я остался один, один отвечаю за прошлое, и нет возле меня свидетеля, который видел, как я жил. Мои поступки, которые я не снисходил объяснять моему народу, понимал мой восточный сосед; томления мои и порывы, которые я никогда не выставлял напоказ, он постигал своей внутренней тишиной. Тяжесть долгов и обязанностей, которые угнетали меня и о которых не подозревал мой народ, веря, что я действую лишь по своему произволу, взвешивал мой сосед, не ведающий пустого сочувствия, почитая не меня, а то, что меня превосходило, и вот он уснул, одетый багрянницей пустыни, сочтя песок достойной для себя гробницей, замолчал, улыбаясь той печальной улыбкой, обращенной только к Господу, означающей согласие, что пора унести срезанный сноп, пора хранить под сомкнутыми веками пережитое. Как себялюбиво мое отчаяние! Как я слаб, если столько значения придаю своим жизненным перипетиям, а они так ничтожны, если меряю собой царство, а не растворился в нем, если чувствую, что жизнь моя, будто странствие, может кончиться на этой вершине.

Эта ночь, будто горный хребет, изменила течение моей жизни: медленно взбиралась она по склону вверх и вот заструилась вниз по противоположному склону. Все вокруг незнакомо. Я понял, что стал стариком: вокруг незнакомые лица, чужие люди, ко всем к ним я равнодушен так же, как к самому себе: за хребтом остались мои капитаны, мои женщины, мои враги и единственный, может быть, друг — я один в этом чуждом мире, заселенном чужими мне племенами.

И тогда я обрел новые силы. «Меня лишили последней кожи, — подумал я,

— может быть, теперь я очищусь?» Не было во мне величия, раз я так почитал себя. Я одряб, и мне послали испытание. Размяк от дешевых сердечных сантиментов. Но я сумею возвыситься, я не оскорблю слезами величие друга. Он уже был. Пустыня покажется мне богаче, ибо в ней он мне улыбался. Все улыбки станут мне ближе благодаря его улыбке. Его улыбка обогатит все остальные. В каждом я увижу набросок человека, — никакому резчику не отделить его от целиковой породы, — но в породе я лучше разгляжу человеческое лицо, потому что одному человеку смотрел прямо в глаза.

Да, я начал спускаться с горы, но, народ мой, не пугайся, я связал оборванную нить. Плохо, что я так нуждался в человеческом. Рука, что лечила и сшивала меня, рассыпалась, но сшитое осталось. Я спускаюсь с горы, я встречаю овец, ягнят. Я глажу их. В мире я одинок перед ликом Господа, но погладил ягненка и ожил сердцем: не ягненок — уязвимость живого в нем напомнила мне о человеке, и я опять заодно с людьми.

Для моего друга я тоже нашел царство, нигде не царствовало ему лучше,

— царство смерти. Каждый год раскидывается шатер в пустыне и мой народ молится. Воины опираются на заряженные ружья, кружат всадники, оберегая порядок в пустыне, они отсекут голову всякому, кто отважится проникнуть сюда. Я иду один. Приподымаю полотно шатра, вхожу и сажусь. На земле становится тихо.

XXXIII

Что ж, пусть ноют и ноют у меня кости и никакой лекарь не уймет мою боль, пусть я похож на дерево, которое подсек дровосек, и Господь скоро уберет меня с лица земли, как обветшавшую башню, пусть я только вспоминаю, как просыпаются в двадцать лет: освеженные сном, готовые воспарить душой, — мне дано утешение: мою душу не огорчают вести тела, я не занят своими болезнями, они — мое личное, маленькое, ничего не значащее дело, они касаются только меня, историки не посвятят им и строчки в хрониках: кому интересно, что у меня шатался зуб и его выдернули, с моей стороны было бы низостью искать сочувствия. Не жалость к себе, а гнев поднимается во мне, когда я чувствую боль. Трещины бегут по сосуду, содержимое неизменно. Мне рассказали, когда моего соседа с востока разбил удар и половина его тела, заледенев, омертвела, когда ему повсюду сопутствовал этот сиамский близнец, разучившийся улыбаться, достоинство его не пострадало, напротив, несчастье послужило его величию. А тем, кто восхищался твердостью его духа, он не без презрительности отвечал: «Вы ошиблись, принимая меня за лавочника, для них поберегите свои восторги. Правитель, не властный в собственном теле, — смешной самозванец. Не потеряю — чудесную радость высвобождения чувствую я».

Да, человеческая старость... Неудивительно, что я ничего не узнаю на противоположном склоне моей горы. Сердце мое переполнено утратой друга. Я смотрю на деревни глазами, сухими от горя, и жду, когда, будто прилив, увлажнит их любовь.

XXXIV

И вновь я смотрю на город, зажигающий в сумерках огни. Светящийся приглушенным голубовато-белым светом горящих в домах окон. Смотрю на рисунок улиц. Смотрю на тишину, потому что город рождает тишину, и она достигает прибрежных скал. Но, любясь

рисунком улиц и площадей, высящимися там и здесь храмами — житницами духа, темным кольцом холмов вокруг, я невольно думаю, что мой город, несмотря на ощутимость его присутствия, — высохшее дерево с подсеченным корнем, пустой амбар. Нет в нем общей жизни, что течет сама по себе и животворит каждого, нет общего сердца, питающего кровью каждую клеточку плоти, нет общей плоти, радующейся общему празднику и поющей один псалом. Здесь в чужих раковинах живут нахлебники, праздные в своих тюрьмах, не желающие трудиться со всеми вместе. Нет города, есть видимость, есть некрополь, не сомневающийся, что по-прежнему жив. И я сказал себе: «Вот оно, дерево, что вот-вот засохнет. Яблоко, источенное червем. Мертвая черепаха в панцире». Я понял, мой город нуждается в животворящем соке. Ветви нужно приживить к питающему стволу. Житницы и амбары наполнить тишиной. Сделать это должен я. Больше некому любить людей.

XXXV

Я слышу музыку, а они не понимают ее. И опять я перед неразрешимым противоречием: если играть для них только доступное, они не сдвинутся с места, если учить только понятному, они не получат ничего лишнего. Можно ограничить их укладом, в котором живут они уже не одну сотню лет, и умертвить дерево, которое растет, трудясь над новым цветком, новым плодом, но получить взамен тишину молитвы, мудрость и почивание в Господе. Можно, напротив, торопить их в будущее, толкать и расшевелить, понуждать забыть тяжкое бремя традиций, но увидеть вскоре, что ведешь вперед стадо нищих переселенцев без роду и племени, войско в походе, которое умеет быстро раскинуть лагерь, но никогда не построит дом.

Всякое восхождение мучительно. Перерождение болезненно. Не измучившись, мне не услышать музыки. Страдания, усилия помогают музыке зазвучать. Я не верю в тех, кто наслаждается чужим медом. Не верю, что одаришь детей благодатным хмелем любви, послушав с ними концерт, прочитав стихи, поговорив. Да, конечно, в человеке заложена способность любить, но заложена и способность страдать. И скучать. И погружаться в безнадежную тоску, сродни осенним дождям. Ведь и умеющим наслаждаться поэзией стихи не всегда в радость, иначе бы они никогда не грустили, они бы читали стихи и ликовали. Все человечество читало бы стихи и ликовало, и больше ему ничего не было бы нужно. Но в радость человеку только то, над чем он хорошенько потрудился, — так уж он устроен. Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться до нее и ее преодолеть. Доступные стихи быстро изнашиваются сердцем, так же быстро, как открывшийся с вершины пейзаж. Усталость и желание отдохнуть придали ему столько прелести, но вот ты отдохнул, тебе хочется идти дальше, и ты зевнул, глядя на пейзаж, которому больше нечего тебе предложить. Чужие стихи — тоже плод твоих усилий, твое внутреннее восхождение. Запасы радуют обывателя, но обыватель — недочеловек. Нет любви про запас, которую можно было бы тратить себе и тратить, любовь — труд сердца. Меня не удивляет, что так много людей не находят царства в царстве, храма — в храме, поэзии в стихах и музыки в музыке. Они расселись, как в театре, и говорят: «Вокруг — сплошной хаос. Он недостоин того, чтобы служить ему и подчиняться». Они верят в свой здравый смысл, они скептики и насмешники, но издевка в помощь бездельнику — не человеку. Любовь не подарок от прелестного личика, безмятежность не подарок от прелестного пейзажа, любовь — итог преодоленной тобой высоты. Ты превозмог гору и живешь теперь в небесах.

Любовь — то же восхождение. Не думай, что достаточно знать о любви, чтобы ее узнать. Обманывается тот, кто, блуждая по жизни, мечтает сдаться в плен; краткие вспышки страсти научили его любить волнение сердца, он ищет великую страсть, которая зажжет его на всю жизнь. Но скуден его дух, мал пригорок, на который он взбирается, жалка победа, так откуда взяться великой страсти?

Если не изменяться день ото дня, словно в материнстве, не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю жизнь звучать песней — ты не прав. Вне пути и восхождения ничего не существует. Стоит остановиться, как тебя одолевает скука, потому что пейзажу больше нечего тебе рассказать, и тогда ты бросаешь женщину, хотя надо было бы выбросить тебя.

Логики и неверы просят: «Покажи нам царство, покажи нам Бога, вот я трогаю камень, трогаю землю и тогда верю, что есть и земля, и камень, которые я потрогал». Но что мне до их просьб. Таинства, о которых я говорю, не так скудны, что их можно исчерпать логической формулой. Не могу я доставить невера на вершину горы и подарить ему радость открывшегося пейзажа, ведь он не его победа. Не могу помочь насладиться музыкой человеку, который ее не преодолел. Они пришли ко мне, желая получить все без усилий, другие так ищут женщину, которая вложит в них любовь. Но это не в моей власти.

Я беру человека, запираю его, истязая ученьем, ибо слишком хорошо знаю: легкое и доступное — бесплодно, потому что оно — легко и доступно. Напряжение и пот — вот чем мерится польза от работы. Я собираю учителей и говорю им: «Не ошибитесь. Я доверил вам человеческих детей не с тем, чтобы взвешивать потом груз их познаний, — с тем, чтобы порадоваться высоте их восхождения. Мне не нужен ученик, который обзрел с паланкина тысячу гор и тысячу пейзажей; тысяча гор — пылинки в бесконечной Вселенной, — по-настоящему он не видел ни одной. Мне нужен тот, кто напряжется и одолеет подъем, пусть это будет невысокая горка, в будущем он поймет все другие куда лучше, чем мнимый знаток, с чужих слов рассуждающий о доброй сотне гор.

Если я хочу, чтобы они узнали, что такое любовь, я буду помогать им любить, уча молиться».

Умеющий любить непременно встретит красавицу, которая воспламенит его сердце, но, видя, как он пламенеет, люди убеждаются в могуществе прекрасных лиц — и ошибаются. Преодолевший стихотворение воспламенен им, и все верят в могущество стихов.

Но повторяю: сказав «гора», я обозначил ее для тебя, а тебя колола ежевика в горах, у тебя кружилась голова над пропастью, ты потел, взбираясь на скалу, рвал цветы, дышал на вершине полной грудью. Я назвал, но не донес ни полноты понятия, ни его сути. Я сказал «гора» толстому лавочнику и оставил пустым его сердце.

Исчезает поэзия не потому, что исчерпали силу стихи. Исчезает любовь не потому, что красота исчерпала силу. Отдаляется Господь, но не потому, что человеческое сердце уже не девственная земля в ночной тьме, которая так нуждалась когда-то в плуге ради цветов и кедров.

Я внимательно всматривался в отношения людей и понял: ум опасен — ум, который верит, что слово передает суть, что в споре рождается истина. Нет, не язык передает меня. Я не знаю таких слов, которые бы меня высказали. Я лишь обозначаю что-то в себе, и ты меня понимаешь в той мере, в какой для тебя открыты иные пути постижения. Например, нас открыло друг другу чудо любви, или мы — дети одного и того же Бога. Если этого нет, я напрасно пытаюсь извлечь на поверхность таящийся во мне мир и неуклюже выговариваю то одно, то другое — так о горе, например, я сказал, что она высока, но хотел сказать о холоде близких звезд и могуществе ночи.

XXXVI

Ты пишешь, ты обращаешься к людям, ты словно бы снаряжаешь корабль. Немногие из кораблей достигнут гавани. Большинство затеряется в море. Не так уж много значимых слов

продолжает плыть по реке истории. Может, я многое обозначил, но немного выразил сущностного.

Вот и еще одна сложность: учить нужно не обозначать, а постигать. Учить, как ставить всевозможные ловушки. Ты привел ко мне человека, что мне до его учености? Учености много и в словарях. Что он за чело век — вот что важно. Поэт написал стихи, они согреты его рвением, но ловил он на мелководе, нам ничего не досталось из глубины. Он обозначил весну, но не разбудил весну в моем сердце, я не насытился ею.

Историки, логики, критики открыли при мне, что сильное произведение — всегда хорошо построено, значит, сила в продуманном плане, решили они. Город создан, если я отчетливо вижу его планировку. Но не планировке обязан город своим рождением.

XXXVII

Я смотрю на танцовщиц, певичек и куртизанок моего города. Они заказали себе серебряные паланкины и, отправляясь на прогулку, посылают вперед слуг, которые кричат об этом, собирая толпу. Когда рукоплескания толпы, развеяв легкую задумчивость красавицы, вконец измучат ее, она чуть-чуть отодвинет шелковую занавесь и, снисходя до страстного желания обожателей, наклонит к ним свое белоснежное личико, стыдливо улыбнувшись. А слуги будут кричать во всю глотку. Вечером их ждет порка, если любовь тиранов-обожателей не вынудит красавицу нарушить свою стыдливость.

Ванны у красавиц из золота, и толпу приглашают взглянуть, как готовится молоко для купанья. Доят сотню ослиц, добавляют благовония и цветочное молочко, стоит оно бешеных денег, а аромат его так скромн, что его и не почувствуешь.

Я не возмущаюсь цветочному молочку. Немного тратится на него сил в моем царстве, и безумная его цена — иллюзорна. Я не против того, чтобы тратили себя и на роскошества, дорога мне не польза, а рвение. И коль скоро такое молочко существует, то что мне в том, умащаются им мои куртизанки или нет.

Логика осуждают меня, но рвение — единственный закон моего царства. Я вмещаюсь, если народ мой увлечется изготовлением позолоты в ущерб хлебу, но я не против самой позолоты, она золотит их труды, хоть и не нужна насущному. Предназначение ее меня не заботит, но мне кажется, что лучше золотить волосы красавицы, чем дурацкий памятник. Ты возражаешь, что памятник — достояние всех горожан? Но горожане любят и красавицами. Беда памятников, — будь они даже Господни храмы, — в том, что они радуют взгляд позолотой, но не требуют взамен никаких даров. Красавица пробуждает желание одарять и жертвовать, ты блаженен возможностью дарить. Дарить, а не получать.

Пусть купаются мои красавицы в цветочном молочке. Пусть воплощают собой красоту. Пусть наслаждаются изысканными вредоносными яствами и умирают, поперхнувшись рыбьей косточкой. Они ходят в жемчуге и теряют его. Пусть теряют, жемчуг должен быть эфемерен. Они слушают сказителей и лишаются чувств от переживаний, не забывая грациозно опуститься на ту из подушек, которая лучше всего подходит к их шарфу.

Иногда они позволяют себе и другую роскошь — роскошь любить. Они продают свои жемчуга и гуляют по городу с юным солдатиком — пусть все видят, что он — самый красивый, самый умный, самый стройный, самый мужественный...

Доверчивый мальчик от признательности теряет голову, он не сомневается в щедрости дара,

хотя служит лишь тщеславию красавицы, — в городе о ней должны говорить.

XXXVIII

Ах, как жаловалась на обидчика эта женщина:

— Разбойник, — кричала она, — тварь продажная! Греховодник! Бесстыжий лгун! Мерзавец!..

— Ты в грязи, — сказал я ей, — пойдй умойся.

Жаловался и другой на несправедливость и клевету. Никогда не заботься, чтобы твои поступки правильно поняли. Их не поймут, но какая тут несправедливость? Справедливость — химера и чревата несправедливостью. Ты видел моих капитанов в пустыне? Они — благородны; благородны, бедны и выдублены постоянной жаждой. Они спят на голом песке в глухой тени царства. Они добры и готовы повиноваться, хватаясь за оружие при малейшем шорохе. Такими хотел их видеть мой отец, когда позвал: «Встаньте, готовые к смерти, уместившие все свое добро в заплечном мешке! Умеющие подчиняться, великодушные в сражении, великодушные сердцем! Встаньте, я вручу вам ключи своего царства». И вот они встали вокруг моей крепости, словно бдительные архангелы. Их достоинство отлично от достоинства министерской прислуги и самих министров тоже. И вот их позвали в столицу, но не посадили во главе праздничного стола — теперь они обивают пороги в приемных и жалуются; их, воистину достойных, унизили, отведя место слуг. «Горька участь тех, кого не ценят по достоинству», — твердят они.

Я ответил им: «Горька участь тех, кто оценен, возвышен, отблагодарен, кто оказался в чести и разбогател». Он раздулся от дешевых амбиций, променял звездные часы на магазинные покупки. Он был богаче других, достойнее, удивительнее. Для чего же король-одиночка покорился мечтам обывателя? Старого плотника отблагодарит идеальная гладкость его доски. Моего капитана

— идеальный покой в его пустыне. Но в людском водовороте незаметны твои заслуги. Если тебя это обижает, значит, ты не очистился от своекорыстия. Я уже говорил: «Каковы люди, таково и царство. Каждый — частичка царства». И от каждого зависит великолепие кроны. Если этого ты видишь купцом с барышами, отправь его за барышом в пустыню и жди, набравшись терпения. Пройдет несколько лет, и купец твой станет хозяином, ровней ему будет ветер, а другой останется жалким лавочником в своей лавке.

Я покровительствую достойным. Покровительство уже не несправедливость. Не обижайся на слова. Как уродливы на песке длинные голубые рыбы с вуалевыми плавниками, как это несправедливо! Несправедливо наше суждение: рыбы созданы для воды. Они прекрасны там, где кончается песчаный берег. Капитаны песков прекрасны там, где утих шум города, крик рыночных зазывал, тщеславие и суэта. У них в пустыне нет суетности.

Так пусть капитаны утешатся. Если они захотят, они вновь вернуться в свое царство, я не уничтожал его и не хочу, чтобы они страдали.

Ко мне пришла женщина.

— Я — верная жена своему мужу, — сказала она, — я послушна ему и недурна собой. Я дышу только им одним. Шью ему плащи, перевязываю раны. Все его тяготы я делила с ним. А теперь он проводит время с той, что обворовывает его и над ним смеется.

Я ответил ей:

— Ты судишь и ошибаешься. Кто знает самого себя? Каждый идет к истине, но путь души похож на горное восхождение. Вершина близка, кажется, ты добрался, но с нее видны новые вершины, новые тропы и новые пропасти. Кто может знать, что утолит его жажду? Один не может жить без плеска реки, чтобы услышать его, он готов пожертвовать жизнью. Другого греет лисенок на плече, он пойдет за ним во вражеские владенья. Может, та, о которой ты говоришь, обязана ему своим рождением. И он за нее в ответе. Ты всегда в долгу перед тем, кого создал. Он идет к ней для того, чтобы она его обокрала. Идет, чтобы она утолила свою жажду. Его не вознаградит нежность, но не ударит и упрек. Наградой ему собственная жертвенность. И еще те слова, которым он ее научил. Он похож на тех, кто возвращается из пустыни: ордена для них не награда, но и неблагодарность не обида. Ты же знаешь, дело не в том, чтобы нажить и пользоваться нажитым, — в том, чтобы нажить самого себя и умереть полным собственной сущности. Пойми, единственная наша награда — смерть, в ней тонет корабль. И счастье, если он полон сокровищ.

На что ты жалуешься? На то, что не в силах его догнать?

Так я понял, что существует брачный союз и существует общность двоих. «Как беден язык, — думал я, — им кажется, что они себя выразили, а они едва-едва что-то обозначили. И как тщательно они все взвешивают, меряют, меряются. Все разумней, точнее, правильней. Правильней некуда. И когда каждый остается со своей правотой — они в тупике. И превращают друг друга в мишень для взаимной стрельбы.

Да, мы в союзе, но все-таки я постараюсь тебя ранить».

XXXIX

Не уступай вымогательствам. Ты отдал малость, но вскоре отдашь и еще немного, а значит, первое отдал задаром. Не уступай своего царства.

Нужно чувствовать себя собой, только тогда ты доверяешь собственному разумению. Поэтому так горд верующий. Чужие сомнения не смущают его, они от тех, кто неспособен «понять».

Умей отличать соглашательство от любви. Тот, кто смотрит мне в рот, ожидая, когда я заговорю, мне не нужен. Я иду и ищу в людях свет, подобный моему. Петь хором — одно. Придумать песню — другое. Кто тебе в помощь, когда ты творишь?

Вот и еще одна сложность, над которой придется задуматься: для созидания, творчества плодотворно сотрудничество и совместные поиски. Если ствол дерева пронизывают токи любви — творчество расцветает. Но это не значит, что человека нужно растворить в сообществе, нет, речь идет лишь об общем направлении питающих соков, — благодаря им ветви дотягиваются до неба и превращаются в храм. Ошибка здесь та же, что и у логиков: выявив в произведении план, они считают, что план создал произведение, — нет, так оно себя овеществило. План — это обозначившееся лицо. Не нужно каждого подчинять обществу, пусть каждый подчинится своему делу и понуждает всех остальных расти, хотя бы из чувства противоречия. Я побуждаю всех к созиданию и творчеству. Если они будут жить только полученным от меня, они оскудеют и обнищают. Но я тот, кто готов принять их творения, и они возвеличатся в собственных глазах, глядя на мою мощь, созданную их усилиями. Я оградил своими объятьями их коз, овец, зерно и даже дома, я присвоил все и вернул все обратно, как дар моей любви к ним. Я подарил им и храмы, которые они сами построили...

Но как свобода — не своеволие, так и порядок — не неволя: (О свободе речь еще впереди.) Славить я буду тишину — музу плодов, жительницу полных житниц, изобильных подвалов и погребов. Восковые соты медвяного проворства пчел, умиротворенное собственной полнотой море.

Глядя с вершины, я погружаю в тебя — о тишина! — свой город. В нем остановились повозки, смолкла уличная разноголосица и звон наковален. Все бережно сложено в чашу вечера. Бдит Господь над усердными, укрыты Его плащом встревоженные и обеспокоенные.

Тишина в женщине, вынашивающей дитя. Тишина налитых молоком сонных грудей. Тишина в женщине — молчание дневных сует, умиротворение жизни, собирающей дни в сноп. Тишина в женщине — святыня и продолжение. В тишине женщины начинается единственный путь, который непременно куда-то поведет. Она ждет ребенка, он раздвигает ей живот. Тишина — хранилище, куда я поместил свою кровь и свою честь.

Тишина в мужчине — он облокотился на стол, он задумался, он питает и питается соком мысли. Тишина позволяет ему знать и не знать. Как благотворно иной раз незнание. Тишина — это отметание вредоносных паразитов и сорняков. Тишина — хранительница и русло его мыслей.

Тишина самих мыслей. Отдых пчел, они собрали мед, мед — сокровище, его нужно хранить. Ему нужно созреть. Тишина мысли, растящей крылья, как она не любит тревог ума и сердца!..

Тишина сердца. Чувств. Слов в тебе, ибо хорошо, когда ты становишься ближе к Господу, а Он — тишина вечности. В ней все уже высказано, все уже сделано.

Тишина Господа — сон пастуха, нет его слаще, хотя овцы и ягнята всегда в опасности, но как отделить пастуха от овец, когда есть только сон при свете звезд, когда только и есть что руно снов?

Ах, Господи! Перейдут времена, Ты станешь складывать в житницу сотворенное. Ты отворишь дверь болтливому человеческому роду, чтобы навек поместить его у Себя в хлеву, и, как от болезни, разрешишь нас от всех вопросов.

Ибо я понял: продвинуться вперед — значит узнать, что вопрос, который тебя мучил, потерял смысл. Я спросил своих ученых, а они — нет, не то чтобы они ответили на свои прошлогодние вопросы, они — о, Господи! — рассмеялись, потому что истина явилась перед ними как ненужность этих вопросов.

Я ведь знаю, Господи, что мудрость — не умение отвечать, а избавление нашей речи от превратностей. Вот влюбленные сидят на низкой ограде апельсинового сада, они сидят рядышком и болтают ногами, они не нашли ответов на вопросы, которые задавали вчера. Но я знаю любовь — им не о чем больше спрашивать.

Я перерастаю одно противоречие за другим, и все меньше у меня вопросов, и все ближе я к благодати тишины.

Болтуны! Сколько вреда они принесли людям!

Только безумец может уповать на ответ от Господа. Если Он примет тебя, Он избавит тебя от лихорадки вопросов, отведя их Своей рукой как головную боль. Вот так.

Собирая в житницу сотворенное, открой нам, Господи, створки Твоих ворот, позволь войти туда, где не понадобятся ответы, где вместо ответов будет блаженная безмятежность, которая и есть конец всех вопросов и полнота удовлетворения, — ключ свода, идеальное

лицо.

Вошедшему откроется чистейшая гладь воды куда просторнее морских гладей, он смутно догадывался о ней, когда, болтая ногами, сидел с любимой на ограде сада и любимая его была похожа на газель, остановленную на бегу, и слегка задышалась.

Тишина — гавань для корабля. Тишина Господня — гавань всех кораблей.

XL

Бог послал мне обворожительную лгунью, как просто, мелодично и жестоко она лгала! Я заинтересовался ею, словно ветром, прилетевшим с далекого моря:

— Почему ты лжешь? — спросил я.

А она заплакала и спряталась за своими слезами. Я задумался: почему она плачет.

«Она плачет, — думал я, — потому что я не поверил ее выдумкам. Я не подыгрываю людям в их пьесах. Не вижу в этом смысла. Она хочет представиться мне другой. Я не вижу тут трагедии. Трагедию переживает женщина, которой так не хочется быть собой. Я совсем не о добродетели, ее устои чтут чаще всего ханжи, а не поистине добродетельные. Добродетельной, как дурнушкой, нужно родиться. А всем остальным — им так хочется быть добродетельными, но и любимыми тоже, они не в силах сладить с собой, а вернее, с окружающими. Они постоянно бунтуют и восстают. И лгут, чтоб оставаться хорошими».

Причина, высказанная словами, никогда не бывает подлинной. Я упрекаю мою лгунью только в том, что она все перевернула с ног на голову. Я не слушаю ее историй, не слушаю шума слов — с молчаливой моей любовью я вглядываюсь в ее усилия. Она рвется и мечется, как лисица в капкане. Птица, окровавившая грудь о прутья клетки. И я обратился к Господу и спросил Его:

— Господи! Почему Ты не дал нам языка, чтобы высказать себя. Слушай я ее не любя, я бы ее повесил. А ведь ее можно и пожалеть: окровавленной птицей мечется она во тьме своего сердца и боится меня. Она похожа на лисицу, которая дрожит, скалится и кусает, пока не вырвет наконец у меня из рук кусочек мяса и не потащит его к себе в нору.

— Повелитель! — обратилась она ко мне. — Они не знают, что я ни в чем не повинна.

Но я-то знал, сколько смуты она внесла в мой дом. Но жестокость Господа терзала мне сердце.

— Помоги ей заплакать, Господи! Пусть она устанет от самой себя и затихнет у меня на плече: она еще не знает, что такое усталость.

Она не понимает, что мечется в ловушке, и мне хочется освободить ее. Да, Господи, я нарушил свой долг, я ее пожалел. Но разве можно пренебречь одной маленькой девочкой в слезах? Она не вся Вселенная, но она — частичка Вселенной. Она мучится, потому что не в силах воплотиться. Потому что вспыхивает и рассеивается дымок. Ее лодку перевернула река, тащит ее, и ей не справиться с течением. Но вот прихожу я, я — ваш берег, кров, суть. Я — новый язык, дом, границы, внутренний стержень.

— А теперь послушай меня, — говорю я ей. Нужно принять и ее. И других человеческих детей, особенно тех, кто не знает, что в силах знать...

Я хочу взять вас за руку и вести вас к воплощению... Я — время цветения человека.

XLI

Я видел людей счастливых, видел несчастных, без очевидного горя смерти, без очевидной радости свадьбы, болезни или здоровья. Больного можно поднять на ноги, сообщив ему необыкновенно важную новость, например, известив о победе, он встанет и побежит в город. Я исцелил целую крепость, войдя на заре с моим победоносным войском, — все были на улицах, все обнимались. Ты спросишь: «А почему бы, собственно, не поддерживать в них счастье вечно гремящими победой фанфарами?» Я отвечу: «Потому что победа — тот же пейзаж, его не получишь в пользование, увидев с вершины горы, его создали твои ноющие от усталости ноги. Пейзаж, победа — переход от одного состояния к другому. Нет победы, которая длилась бы вечно. Дли ее, и она уже не живит, наступает лень, скука, нет победы, есть будни. Так что же? Значит, жить надо, переходя от богатства к бедности и от бедности к богатству? Нет, потому что всю свою жизнь ты можешь бороться с лишениями, с нищетой и накопить только усталость: должник, преследуемый заимодавцами, вешается: мелкие радости, кратковременное благополучие не возместят ему ночей, изношенных бессонницей. Как не живут богатство и победа, так не живут и мелкие радости, которые бросают человеку, словно охапку сена корове.

Я хочу видеть в мужчинах пылкость и благородство, а у женщин — сияющие счастьем глаза. Где мне взять таких мужчин и таких женщин? Нет их вокруг меня, нет их и для себя самих тоже. Я отвечу: они становятся такими, когда картина мира наполняется смыслом и связями, когда ты повел солдат в военный поход, начал строить храм или одержал победу. Правда, победа — пища одного дня. Победа одержана, и теперь можно только пожинать ее плоды, но это не значит жить. Почему победа так радостна? Потому что ты рад очутиться со всеми вместе. Вчера в горе, своем или своих детей, ты был один или с немногими друзьями, но вот ты расцвел победой — и с тобой множество людей. На строительство храма нужен век, целых сто лет богато сердце зодчего. Вкладывая, растешь и растишь возможность выкладываться. Строя изо дня в день свою жизнь, ты обошел круг моего года и, оглянувшись, счастлив ему как празднику, хоть и не сделал никаких припасов. Памятуя о празднике, ты дарил и дарил и стал куда счастливее, чем если бы устроил праздник один-единственный раз. И в детей мы вкладываем себя, дети нам тоже в радость. В радость и наши груженные корабли в открытом море, им грозят опасности, они их преодолевают и втекают вместе с командой в новый рассвет. Вокруг меня возрастает рвение, растет оно от успешных трудов. И писатель — графоманам такое не в помощь — чем больше пишет, тем строже оттачивает стиль. Но мне не по нраву усердие, которое во что бы то ни стало хочет преуспеть. Чем больше я узнаю, тем больше хочу знать и тем больше потребляю чужого, тем больше обираю других и пожираю их, жирею. Тем скуднее у меня душа.

Одержав победу, человек хочет насладиться ее плодами и видит вдруг, что обманулся: он перепутал жар творчества со скучным присутствием вещи, которая его не греет. Конечно, завоеванным пользуются, но желательно пользоваться им, приготавливаясь к новой победе, чтобы воспользоваться вновь завоеванным. Одно должно подстегивать другое. Так танцуются танец, поется песня, так молятся, молитвы рождают рвение, а рвение приводит к молитве. И точно так же живет любовь. Но если я изменился и больше не меняюсь, если не двигаюсь и ни к чему не стремлюсь, чем я отличаюсь от умершего? Вид, открывшийся тебе с горы, в радость до тех пор, пока ноют ноги, трудившиеся ради него, пока тело радо отдыху.

Я сказал им: «Не стыдитесь ненавидеть». И они приговорили к смерти сто тысяч человек. Смертники сидели по тюрьмам с досками на груди, словно меченый скот в стаде. Я обошел тюрьмы, я смотрел на узников. Люди как люди. Я не нашел отличий. Я вслушивался, наблюдал, смотрел. Видел, что в тюрьме, как на свободе, делятся хлебом, суетятся вокруг больного ребенка, укачивают его, не спят ночей. Видел, что и в тюрьмах, как на свободе, мучаются одиночеством, если остались одни. Плачут, когда в толще стен вдруг узнали любовь.

Я вспомнил рассказы моих тюремщиков. И попросил привести ко мне преступника, чей нож еще вчера обагряла кровь. Я допрашивал его сам. Я вглядывался, но не в него, он уже обречен смерти, — в непостижимое в человеке.

Жизнь берет свое где только может. В трещине скалы вырос мох. Первый суховея пустыни уничтожит его. Но мох спрячет свои семена, они будут жить. Кто скажет, что он здесь вырос напрасно?

Смертник объяснил, что над ним смеялись, что уязвляли его гордость, его самолюбие... Самолюбие обреченного смерти...

Я видел: озябнув, узники жались друг к другу. Те же овцы, такие же, что и повсюду на земле.

Тогда я решил посмотреть на судей, созвал их и спросил:

— Почему вы отделили вот этих от всех остальных? Почему у них на груди доски смертников?

— Такова справедливость, — отвечали они.

Я размышлял: да, такова справедливость. Справедливость для судей — это уничтожение того, кто нарушил общепринятое. Но общепринятое нарушает и негр. И принцесса, если ты чернорабочий. И художник, если ты чужд художеству...

Я сказал судьям:

— Мне хотелось бы, чтобы вам показалась справедливостью их свобода. Попробуйте понять меня. Представьте: вот узники захватили тюрьму и власть, теперь они будут вынуждены посадить вас в тюрьму и уничтожить, я не думаю, что от таких мер царство улучшится.

Так я въяве увидел кровавое безумие, причина которого — образ мыслей, и стал молиться Господу:

— Безумие владело и Тобой, Господи, когда Ты позволил им довериться своему жалкому лепету. Кто научит их, нет, не словам, — тому, как ими пользоваться. Ветер слов, перепутавший все на свете, убедил их в необходимости пыток От неловких, неумелых, бессильных слов родилась умелая, ловкая сила пыток.

Но в тот же миг мои рассуждения показались мне жалким лепетом и вместе с тем желанием кого-то рассудить.

Все, что уже не живет, превращается в подделку. Поддельна и слава прошлого. И наше восхищение давними победителями.

Нет подлинности и в новостях, потому что завтра от них ничего не останется.

Научитесь видеть внутренний стержень — наполнитель всегда подделка.

Я выявлю тебя в тебе, как пространный пейзаж, туманная пелена над которым мало-помалу рассеивается, — из близи тебя не увидишь. Так выявляет истину ваятель. Он не лепит отдельно нос, потом подбородок, потом ухо. Творчество — всегда создание целостности, а не методичное присоединение одной части к другой. Творчество — общая работа всех, кто сгрудился вокруг идеала, кто строит, кто трудится, кто спорит вокруг него.

XLIV

Наступил вечер и для меня, я спускаюсь с моей горы по склону нового поколения — лица его я не знаю. Я заранее устал от слов; в скрипе повозок, в звоне наковален я не слышу биения его сердца, — я безразличен к этим незнакомцам, как если бы не знал их языка, равнодушен к будущему, которого для меня не будет, — меня ждет земля. Но мне стало горько: как крепко я замурован в крепости эгоизма. «Господи! — воскликнул я. — Ты оставил меня, а я оставил людей!» И я задумался, что же меня в них так разочаровало.

Ведь мне ничего, совсем ничего от них не нужно. Моим пальмовым рощам не нужна новая отара. Моему замку не нужны новые башни — плащ мой тянется из залы в залу и кажется мне кораблем, преодолевающим морской простор. Мне не нужны слуги, я и так кормлю тех, что по семь или восемь человек выстроились у каждой двери, словно колонны, и вжимаются в стены, заслышав шорох моего плаща на галерее. Мне не нужны новые женщины, я укрыл их всех моей молчаливой любовью и не слушаю больше ни одной, чтобы лучше услышать... Я уже видел, как они засыпают, сомкнув ресницы и погрузив глаза в бархат сна... Я оставил их и поднялся на самую высокую из башен, купающуюся в звездах, я хотел узнать у Господа, что же такое сон. Вот они спят, и нет больше дрязг, мелочности, жалких уловок, тщеславия и суетности, но настанет утро, и все это проснется вместе с ними, и для каждой не будет важнее заботы, чем унижить свою товарку и занять ее место в моем сердце. (Но если позабыть их слова, останется щебетанье птиц и трогательность слез...)

XLV

Вечером, когда я стал спускаться с моей горы по склону, где никого не знал, чувствуя себя погребенным в ангельской немоте покойником, меня утешили за то, что я состарился, за то, что стал раскидистым деревом с узловатым стволом и морщинистой корой, которую так трудно поранить, за то, что от пергамента моих пальцев веет запахом времени, будто я успел сбыться. Вот оно, мое утешение: я подумал, нет больше тирана, который устрасил бы меня, старика, запахом пытки — у пыток запах кислого молока, — ничего не изменить тирану в том, что уже состоялось, какова бы ни была моя жизнь, она уже есть у меня, она позади, словно плащ, и держится на тонкой тесемке. Люди уже запомнили меня, и отрекайся не отрекайся — ничего уже не изменишь.

Утешало меня и то, что вскоре я избавлюсь от своих тягостных пут, мне казалось, что я уже обменял заскорузлую плоть на легкие неосязаемые крылья. Будто разрешился от бремени самим собой и гуляю наконец подле ангела, которого искал так долго. Словно сбросил старую оболочку и снова стал юнцом. Но не порывы, не желания сопутствуют моей юности — безмятежная ясность. Моя юность тяготеет к вечности, а не к сумятице жизни. Новая моя юность была пространством и временем. Мне показалось, я стал вечным.

Я напоминал себе путника, который подобрал на дороге раненную ножом девушку. Он поднял ее и несет, словно охапку роз, а она без сил, без сознания, усыпленная стальной молнией, улыбается, отдыхая на крылатом плече смерти, но несет он ее к поляне, где собрались те, кто могут ее исцелить.

Задремавшее чудо, я наполню тебя своей жизнью, я простился с суетностью, вспышками гнева, гордыней и притязаниями, свойственными людям; с радостями, которые выпали на мою долю, с горестями, которые меня мучили, — есть только ты, которой становлюсь я; и, пока я несу тебя к целителям на поляне, я превращаюсь в сияние глаз, в прядь волос, упавшую на чистый лоб, ты поправишься, и я научу тебя молиться, чтобы совершенство души помогло тебе выпрямиться, словно стебель цветка с прочными корнями...

Я больше моего тела, оно треснуло, как скорлупа перезрелого ореха. Не спеша спускаюсь я с моей горы, и плащом за мной тянутся склоны и поляны с разбросанными там и сям золотыми звездочками — огоньками моих домов. Я клонюсь под тяжестью моих даров, словно дерево.

Спящий народ мой, благословляю тебя — спи.

Пусть помедлит солнце лишать тебя ласкового крова ночи! Пусть мой город как следует выспится перед тем, как расправить пчелиные крылья и приняться с зарей за работу. Пусть те, кого постигло вчера горе и кому Господь дал сейчас отсрочку, не спешат вернуться к трауру, нищете, смертному приговору или смертельной болезни. Пусть помедлят они на груди Господа, прощенные и обогретые.

Я тебе охрана.

Я не сплю, так поспи еще ты, мой народ.

XLVI

Сердцу моему так тяжело от тяжести мира, словно я взял его весь на себя. Я стою один, оперевшись спиной на мое дерево, я скрестил на груди руки, чувствуя холод ночного ветра, и как заложников принимаю тех, кто ищет с моей помощью утраченный смысл своей жизни, свое в ней место. Нет места у той, что была только матерью и потеряла ребенка. Она стоит перед бездной как никому не нужное прошлое. Она была лесом лиан, обвивая цветущее дерево, и вот дерева больше нет. «Куда деть мне нежность? — думает она. — И молоко, когда оно прибывает?..»

Нет места у прокаженного, медленным огнем тлеет в нем болезнь, он обречен людьми на изгойство, он не знает, зачем ему желания сердца, которые просыпаются у него в груди. Нет места у твоего друга, он узнал, что болен раком, а у него множество работ в начале, им нужны десятилетия, чтобы осуществиться, — он похож на дерево, оно терпеливо тянуло корни, и они дотянулись до пустоты, висят над бездной. Что делать хозяину — у него сгорели амбары? Чеканщику потерявшему правую руку? Человеку, который ослеп?

На сердце у меня тяжесть всех, кому не на кого опереться. Того, от кого отвернулись близкие, и того, кто сам от них отвернулся. Того, кто мучается на смертном ложе и со стоном ворочается с боку на бок тело его бесполезнее сломанной повозки, он призывает смерть, а она не идет за ним. Он кричит: «За что же, Господи? За что?!»

Все они — солдаты разбитой армии. Но я соберу их и помогу одержать победу. Нет разбитых армий, каждая побеждает, но по-своему. Ведь в каждом продолжает свой путь жизнь. Цветок вянет, оставляя семечко, сгнивает семечко, пуская росток, и из каждой треснувшей куколки показываются крылья.

Да, все вы — земля, пища и повозки прекрасного шествия Господа!

XLVII

Я спросил: «Не стыдно ли вам своей ненависти, гнева, распрь, ссор? Не сжимайте кулаков из-за пролитой вчера крови, благодаря ей в вас родилось что-то новое, ребенок рассасывает до кровавых трещин материнскую грудь, бабочка платит за крылья обломками куколки. Чем вы обогатитесь, ратуя за вчерашний день? Он отошел, нет в нем ни истины, ни подлинности. Опыт учит меня, что палач и жертва — любовники первого кровавого часа любви. Плод будущего рождается от них обоих. И плод этот значимей тех, кто его породил. В нем они примиряются друг с другом до того дня, когда новое поколение проживет свой кровавый час любви.

Да, роды болезненны, человек страдает и мучается. Но вот отпустила боль, и стало радостно. Человек обретает себя в народившемся. Знаете, когда каждого из вас укрывает ночь и вы засыпаете, вы все так похожи друг на друга. Все, все, и тот тоже, кто спит в тюрьме с доской смертника на груди, и он тоже ничуть не отличается от всех остальных. Важно одно — отдать себя своей любви. Язык, он не подпустит меня к сути, поэтому я прощу всех убийц. Этот убил из любви к своему гнезду, ибо не жалеют жизни только ради любимого. И другой убил из любви к своему гнезду. Постарайтесь понять это — это главное — и не считайте заблуждением ценности, отличные от ваших. Не считайте истиной то, что, по вашему мнению, безошибочно. Мы во власти очевидности, и тебе, например, очевидна необходимость подниматься вот на эту гору, но помни: твой сосед тоже во власти очевидности, когда старательно карабкается на свою. Очевидная для тебя необходимость лишила тебя сна и заставила вскочить раньше всех соседа. Очевидное для вас разное, но настоятельность очевидного одинакова и для тебя, и для него.

Однако тебе кажется, что сосед каждым своим шагом попирает тебя. А соседу кажется, что ты попираешь его всеми твоими делами и поступками. Каждый из вас знает, в душе у вас, кроме холода недоброжелательства или откровенной ненависти, живет такая очевидная, такая чистая и ясная картина мира, за которую не жалко отдать и жизнь. Но друг друга вы ненавидите, воображая, что у соседа пустое сердце, лживый и неправильный, грубый язык Я смотрю на вас со своей вершины и говорю:

«Вы любите одну и ту же картину, хотя, может быть, она не слишком отчетлива».

Очиститесь от крови: рабство рождает только бунт. Если нет стремления поверить, чему поможет суровость? Если вера умерла и люди ищут новую, чему поможет суровость?

Для чего вам, едва начнет светать, хвататься за оружие? Что завоюете вы в кровавых схватках, убивая и не зная даже, кого убиваете? Мне претит голос крови, он возвращает одно только братство — братство тюремщиков».

...Я не советую тебе спорить. Спор лишен смысла. Твой противник, исходя из очевидной для него картины, отвергает твои истины — он не прав. Не прав и ты — ты, исходя из своей очевидности, отвергаешь его истины.

Прими самих людей. Возьми за руку и веди. Скажи им: «Конечно, вы правы, но прежде нам придется подняться на эту гору». Только так ты установишь в мире порядок, и люди вздохнут полной грудью, завоевав простор.

Когда один скажет: «В городе тридцать тысяч жителей», — а другой возразит: «Нет, только двадцать пять», — они договорятся: цифры для всех одни, кто-то из них и впрямь ошибся. Другое дело, когда один говорит: «Город

— творение архитектора. Город — вечен. Он — корабль и везет людей». А другой отвечает: «Город — чудесный гимн множества людей, объединенных общей работой...»

Один: «Благотворна свобода и противоречия, они питают новое в человеке, помогая ему родиться». Другой: «Свобода развращает. Кедр вырастает по принуждению внутренней необходимости». И вот они проливают кровь друг друга. Не огорчайся, это родовые схватки, поиски себя и вопль, обращенный к Господу. Скажи каждому из них: «Ты прав. Потому что прав каждый». И веди их дальше, к вершине. Сами они ленятся карабкаться вверх: то у них сердцебиение, то ломит ноги, но, перестрадав страдание, они откроют для себя мужество. Если боишься хищников, ищешь места повыше. Если ты — дерево, ищешь в вышине солнце. И враги помогают тебе, потому что нет на свете врагов. Враги обозначают границу тебя, формируют, уплотняют. И пусть знают все:

«Свобода и принуждение — две стороны единой необходимости — необходимости быть таким и не быть иным. Ты свободен поступать так и принужден так не делать. Свободен говорить на своем языке и принужден не устраивать воляпюк из разных. Свободен играть в кости, но принужден соблюдать правила игры, не портя их другими условиями. Свободен строить новое, но не вправе портить и разбазаривать старое. Писатель, добившийся скандальной славы нарочитым неумением писать, закрывает путь к успеху всем

— и самому себе тоже: утратив чувство стиля, читатель не найдет вкуса и в его книгах. Кража и насмешка:

я назвал короля ослом, все хихикают, потому что привыкли чтить короля. Но почтение мало-помалу изнашивается, король и осел сливаются воедино, слова мои уже сама очевидность. Никому больше не смешно.

О том, что свобода и принуждение — одно целое, знают все: ревнители свободы всегда ратуют за мораль, признавая тем самым необходимость принуждения. «Полицейский надзор должен осуществляться изнутри», — вот что, по сути, заявляют они. Поборники принуждения настаивают, что главное для человека — свобода духа; сколько простора в твоём тесном доме, ты волен переходить из комнаты в комнату, спуститься в прихожую, открыть и закрыть дверь, ходить вверх и вниз по лестницам. Чем больше стен, порогов, засовов, тем ты свободнее. Незыблемость каменных стен обязывает тебя ко многому, навязывая свободу выбора между всевозможными способами действовать. Беспорядочная жизнь сообще не свобода, а разврат.

На деле все мечтают об одном и том же городе. Но один требует дать возможность действовать каждому. Другой требует воспитать каждого, прежде чем тот начнет действовать. Оба пекутся о человеке.

Оба правы. Первый считает, что человек неизменен и независим. Он забыл о тех двадцати годах обучения, принуждения, тренировки, которые так или иначе сформировали этого человека. Забыл, что умение любить приходит от молитвенного состояния души, наученной

молиться, а не от отсутствия внутренних обязательств перед чем бы то ни было. Если не освоить музыкальный инструмент, как играть? Если не выучиться грамоте, как писать стихи? Но не прав и второй, он полагается на поддержку стен, а не на самого человека. На храм, а не на молитву. Но не камни главное в храме — тишина, ради которой их сложили. В храме и в человеческом сердце. Сердце, исполненное тишины. Мой храм — сердце. А кто-то обожествил камень и молится на него, чтобы камень...

Точно так же я молюсь на царство. Я обожествил его для того, чтобы оно помогало людям. Я не жертвую людьми царству. Я создаю царство, чтобы заполнить и одухотворить человека. Главное для меня — человек. Я подчиняю человека царству, чтобы он нашел себя и свое место в жизни. Я не ищу для своего царства рабов. Давай оставим свойственный нам язык, он не передает сути, разделяет причину и следствие, слугу и хозяина. Но в жизни осязаемы и реальны только связи, взаимосвязи и внутренние зависимости. Я — царь, я подчинен моему народу жестче, чем мне любой из моих подданных. Я выхожу на террасу дворца и вслушиваюсь, как они ночью жалуются, бормочут, стонут и всхлипывают от боли, радостно смеются. Их жизнь я превращаю в гимн Господу. Такова суть моего им служения. Я — вестник, я собрал их и помогаю переправиться. Я — раб и несу на плече паланкин. Я — толмач.

Я — узел, увязавший их в одно целое, ключ свода, преобразивший их в храм. На что роптать им? Разве унижительно для камней поддерживать свод?

Так не спорь же о путях — спор лишен смысла.

Бессмысленно спорить и о людях. Мы всегда путаем следствие с причиной. Откуда узнать людям, что проникает их, если не существует слов, чтобы выразить это ощущение? Как капле почувствовать себя рекой? Но течет все-таки река. Как клетке дерева почувствовать себя деревом? Но растет все-таки дерево. Как камню ощутить себя храмом? Но все-таки храм берегает тишину, словно житница.

Откуда знать людям, что они делают, — никогда не поднимались они на гору, никогда не пытались обрести себя в одиночестве и тишине. Одному Господу ведомо, каким вырастет дерево. Люди знают другое: этот тянет вправо, а этот влево. И каждый мечтает уничтожить соперника. Но никто из них не знает, куда же они все вместе плывут. Точно так же враждуют деревья в тропиках. Они теснят друг друга и крадут друг у друга солнце. А лес тем временем разрастается и одевает густым мехом гору, одаряя зарю птицами. Неужели ты веришь, что в их слова вмещается вся жизнь?

Что ни год, находится сказитель, что поет о невозможности войн, ведь никто на свете не хочет страдать, оставлять жен и детей, воевать за землю, на которой никогда не поселится, никто на свете не хочет умереть под палящим солнцем с вывороченными кишками — от вражеского снаряда. Спроси любого, хочет ли он воевать, и каждый ответит: «Нет!» Но проходит год — и царство вооружается. Все, кто не признавал войны, — ибо суть ее не исчерпать скудным человеческим, — проникаются общим для всех духом, который никак не выразишь, и идут на войну, что не имеет ни малейшего смысла для каждого по отдельности. Дерево растет и ничего не знает о себе. Постичь его может лишь поднявшийся на вершину пророк. Нарождающееся, отмирающее всегда больше, чем люди, оно проходит сквозь них, но они не в силах уловить его словом Чувство безнадежности — вот знак наступивших перемен; царство при смерти, ты узнал об этом, потому что жители его изверились в нем. Но ты будешь не прав, если призовешь неверов к ответу, обвиняя их в близкой смерти царства. Неверие — свидетельство неблагополучия. Но как узнать, что причина, а что следствие? О том, что морали больше нет, ты узнаешь, увидев министров-взяточников. Можно отрубить министрам головы, но они — только свидетельство общего разложения. Закопать покойника не значит бороться против смерти.

Но покойника нужно закопать, и я закапываю его. Министры развратились, я уничтожаю их. Но хочу сохранить достоинство и запрещаю обсуждать их. Мне претят слепцы, укоряющие друг друга за слепоту. Я не вправе терять свое время на их пререкания. Мои солдаты дали стрелкача, генерал обвинил их в трусости, они стали винить во всем генерала. И сообщая, генерал и солдаты, стали ругать вооружение. Армия винит поставщиков. Поставщики ругают армию. И те и другие вместе честят систему. Я объясняю им: сухие ветки нужно обрубить, потому что они свидетельствуют о смерти, но считать их причиной смерти дерева — глупо. Дерево при смерти, поэтому ветки сохнут. Сухая ветка

— знак близкой смерти.

Видя безнравственность, я караю ее, но не провинившиеся занимают меня

— другое. Плохи не люди, плохо то, что в людях сгнил человек. Меня заботит занемогший ангел...

Я знаю, объяснения не лечат — излечивает поэзия. Кого спасли объяснения врача? Врач определил: «Причина смерти в...» Да, действительно, причина ясна: человек умер из-за больных почек. Но почки еще не вся жизнь. Мы так логично все выстроили, так аккуратно собрали керосиновую лампу, заправили ее, но света нет: не поднесли огня.

Любишь потому, что любишь. Нет доводов, на основании которых вспыхивает любовь. Средство одно — творчество, если сердца забьются в унисон, значит, люди вместе, ты помог им объединиться. И мало-помалу музыка, завладевшая их душой, станет мотивом их деятельности.

Спустя какое-то время музыка обрстет доводами, причинами, станет силой, потом догмой. Вокруг твоей статуи соберутся логики и перечислят все основания, почему твоя статуя прекрасна. И не ошибутся, она и впрямь прекрасна. Но не логика открыла им это.

XLVIII

Я знаю: нам не о чем жалеть, и это величайшее из утешений. Ни о чем не стоит жалеть и ни от чего не нужно отказываться.

— Прошлое — тот же пейзаж, — говорил мне отец — здесь у тебя гора, там речка, по прихоти памяти ты расставляешь между ними города, которые любишь навещать. Если тебе чего-то не достало, ты строишь воздушный замок. Построить его легко: ничем не помешаешь нашему мечтанью, оно так летуче, податливо, ненадежно, оно всегда во власти случая. Но не сожалей, твердя, что лучше бы помнить другое. Воспоминания хороши тем, что они есть. В наличии — главное достоинство моего замка, его дверей и стен.

Какой завоеватель, завладев землями, сожалел, что гора поднимается здесь, а река течет там? Для вышивки необходима ткань, для пения и танцев — правила, для человеческих трудов — выучка.

Сожалеть о полученных ранах — все равно что сожалеть о том, что родился на свет или родился не в то время. Прошлое — это то, что сплело твое настоящее. С ним уже ничего не поделаться. Прими его и не двигай в нем горы. Их все равно не сдвинуть с места.

XLIX

Главное — идти. Дорога не кончается, а цель — всегда обман зрения странника: он поднялся на вершину, но ему уже видится другая; достигнутая цель перестает ощущаться целью. Но ты не сдвинешься с места, если не примешь того, что существует вокруг тебя. Пусть для того, что бы вечно уходить от существующего. Я не верю в отдых. Если мучает противоречие, недостойно закрыть на него глаза и постараться поскорее успокоиться, согласившись с первой попавшейся из сторон. Кто видел, чтобы кедр прятался от ветра? Ветер раскачивает его и укрепляет. Умудрится тот, кто из дурного извлечет благо. Ты ищешь смысла в жизни; но единственный ее смысл в том, чтобы ты наконец сбылся, а совсем не в ничтожном покое, позволившем позабыть о противоречиях. Если что-то сопротивляется тебе и причиняет боль, не утешай, пусть растет — значит, ты пускаешь корни, ты выбираешься из кокона. Благословенны муки, рождающие тебя, нет подлинности, нет истины, которые явились бы как очевидность. А то расхожее решение, что тебе обычно предлагается, — удобная сделка, снотворное при бессоннице.

Я презираю тех, кто валяет дурака, лишь бы позабыть о сложностях, кто ради спокойной жизни душит порывы сердца и тупеет. Запомни: неразрешимая проблема, непримиримое противоречие вынуждают тебя превозмочь себя, а значит, вырасти — иначе с ними не справишься. Искривляя корни, ты пробиваешь безликую каменистую землю, и питаешься ею, и творишь во славу Божию кедр. Истинна слава лишь того храма, который вытерпел износ не от одного десятка поколений. И ты, если хочешь вырасти, позволь противоречиям изнашивать тебя, они — твой путь к Господу. Нет в этом мире другого пути. Согласись, прими страдание, и оно поможет тебе подняться.

Но есть слабые деревья, они не выдерживают песчаных бурь. Есть слабые люди, они не в силах себя превозмочь. Убив в себе величие, они кроют себе счастье из посредственности. И согласны вековать на постоялом дворе. Они согласились на выкидыш, они скинули самих себя. Мне нет дела до того, что с ними станет. Они плесневеют среди скудости готового и верят, что счастливы. Они не пожелали видеть врагов в себе и вокруг себя. Они отвернулись от необходимости, неудовлетворенности и неутолимой жажды, через которые говорит с ними Господь. Они не тянутся к свету, как тянутся к нему в гуще леса деревья, — солнце не может сделаться запасом, они всегда будут гнаться за ним сквозь густую тень соседних, будут вытягиваться и расти, пока не станут ровными стройными колоннами, их породила земля, но они возвеличились, потому что искали своего бога. Бог никого не ловит. Он существует, и человек может взрастить себя на Его просторе, как дерево с могучей кроной.

Не снисходи до общепринятых мнений. Люди сосредоточат тебя на тебе самом и помешают расти. Они привыкли считать заблуждением все, что противоположно их истине, твои метания и противоречия для них легки и разрешимы, и, как плод заблуждения, они отбросят семя твоего будущего роста. Они хотят, чтобы ты обобрал сам себя, стал потребителем, довольствовался готовым и делал вид, будто сбылся. Для чего тебе тогда искать Господа, слагать гимн, карабкаться на горную вершину, чтобы упорядочить пейзаж, который клубится сейчас перед тобой хаосом? Для чего спасать в себе свет? Ведь его не поймать раз и навсегда, его нужно ловить каждый день.

Не мешай, пусть они говорят. Легковесные души советуют тебе, они хотят, чтобы ты был счастлив. Прежде времени хотят они успокоить тебя, покой ты обретешь только в смерти, только после смерти послужит тебе накопленное. Копишь ты не запас на жизнь, а мед на зиму вечности.

Если ты спросишь меня: «Так будить ли мне спящего или оставить спать, не мешая его счастью?» — я отвечу, что ничего не знаю о счастье. Но если на рассвете — заморозки, неужели ты не разбудишь друга? Неужели оставишь его без восходящего солнца? Многие любят спать и не хотят просыпаться, но все же высвободи их из блаженных объятий сна,

выгони из дома, они должны сбыться.

L

Женщина обирает тебя ради дома. Кому не желанна любовь — запах жилого, журчание во дворе родника и едва слышный звон кувшинов, — любовь, благословленная детьми, следующими один за другим, и в глазах их покой вечера?

Но не пытайся выразить благо словесно и отдать предпочтение либо славе воина в пустыне, либо дарам домашней любви. Отделили одно от другого слова. Всерьез любит воин, он узнал безбрежность пустыни, всерьез бьется за колодец влюбленный — он любит и не жалеет себя ради своей любви. Если воюет не человек, а несущий смерть автомат, то где тогда достоинство воина и честь? Битва тогда — чудовищная возня муравьев. Где величие любви, если под боком у жены сопит ленивый обитатель хлева?

Я вижу величие, если воин, отложив оружие, укачивает ребенка, если муж-защитник отправился на войну.

Я не о том, что одно должно сменять другое, что значима то одна правда, то другая. Я о том, что правда всегда одна. Чем мужественней ты как воин, тем слаще любишь, а чем крепче любишь, тем лучше будешь воевать.

Но женщина, заполучив тебя для своих ночей, познав сладость твоего ложа, обольщает тебя: «Разве плохо я тебя целую? Разве в нашем доме мало прохлады? Разве мы не счастливы вечерами?» И ты согласно улыбаешься в ответ. «Так оставайся со мной, оберегай меня, — продолжает она. — Стоит тебе захотеть, ты протянешь ко мне руки, и я склонюсь к тебе апельсиновой веткой, полной сладких оранжевых плодов. Жизнь в разлуке сурова, она отучает от ласки. Любовь твоего сердца уйдет в песок, как вода, лишившись возможности расцвести на лугу цветами».

Но ты-то успел узнать, как безудержно влечет тебя к той, чей образ подарен тебе ночным одиночеством, как украшает его тишина...

Ты убежден: война отняла у тебя чудесную возможность любить. Но поверь, только разлука научит тебя любить по-настоящему. Ты научишься видеть голубизну долины, карабкаясь по скалистому склону к вершине. Ты научишься чувствовать Бога, безответно Ему молясь. Только так наполнишься ты, не изнашиваясь, не расплескав полноту в потоке дней, и она останется с тобой, когда дни твои кончатся и тебе позволено будет быть, ибо ты сбылся.

Конечно, ты можешь обмануться и пожалеть воина, который тщетно зовет в ночи любимую и верит, что время течет для него бесплодно, отняв его драгоценное сокровище. Можешь тревожиться о неутоленной жажде любви, забыв, что суть любви — жажда. Знают об этом танцующие, танец сложен из приближений, а кто мешал бы им приникнуть друг к другу?

Повторяю: драгоценна неосуществленная возможность. Нежность среди тюремных стен — великая нежность. И молитва благодатна молчанием Господа. Шипы и кремни питают любовь.

Так не смешивай рвение с потреблением готового. Рвение, урывающее частичку и для себя, не рвение. Дерево усердствует ради плодов, но на что плоды дереву? Так и я с моим народом. Я усердно возделываю сад, но плоды его не для меня.

Не замыкай и ты себя в женщине. Не ищи то, что уже нашел. Будь с нею время от времени,

житель гор по временам нуждается в ласковом море.

LI

Как несправедлив тот, кто показывает на тесный домик и говорит:

«Он построен для истинных моих друзей...»

Что он думает о людях, этот брюзгливый подагрик? Если бы я решил выстроить дом для истинных моих друзей, я бы не справился — так он должен быть огромен — нет человека, который не был бы мне другом, хотя бы одной своей малоприметной черточкой. Тот, кому по моему приказу рубят голову, тоже мне друг, и в нем есть согласие со мной, но расчленив человека невозможно. Друг мне и тот, кто считает, что ненавидит меня, и с удовольствием отрубил бы голову мне. Не подумай, что я говорю из дешевого прекраснотушия, снисходительности или пошлого желания понравиться, — нет, я по-прежнему тверд, суров и молчалив. Но дружественное мне и в самом деле обильно, оно рассеяно повсюду и быстро наполнило бы мой дом, помощи я ему сдвинуться с места.

А ты? Кого ты называешь своим истинным другом? Если того, кому доверяешь без опаски деньги, значит, дружба для тебя — честность слуги. Если того, к кому обращаешься за помощью и получаешь ее, значит, Дружба для тебя — выгода, которую можно извлечь. Если того, кто в нужный момент встанет на твою защиту, значит, дружба — долг чести. Но я презираю арифметику и называю другом того, кого вижу внутри каждого из нас, он может спать в глубинах естества, но при моем приближении проснется, узнает и улыбнется мне, хотя, возможно, завтра этот человек предаст меня.

А ты зовешь в друзья только тех, кто выпьет вместо тебя цикуту. На такую будущность и впрямь немного охотников.

Слывущие добряками ничего не смыслят в дружбе. Мои отец был жесток, но у него были друзья, он умел любить их и не знал разочарований. Разочарование в дружбе — это обманувшееся корыстолюбие. Разочарование низко, куда же подевалось в человеке все то, что ты полюбил? Ведь и вначале в нем было то, что тебе не нравилось. Но и любимого тобой, и любящего тебя ты превращаешь в раба и, если он не выдерживает тягот рабства, казнишь его.

Друг подарил тебе любовь, а ты вменил ему любовь в обязанность. Свободный дар любви стал долговым обязательством жить в рабстве и пить цикуту. Но друг почему-то не рад цикуте. Ты разочарован, но в разочаровании твоём нет благородства. Ты разочарован рабом, который плохо служит тебе.

LII

Я расскажу тебе об усердии. Потому что со всех сторон ты будешь слышать укоры. Например, от жены за то, что не принадлежишь ей одной. Жены убеждены, вне дома ты отдаешь украденное в доме. Мы забыли о Господе и выучились торговаться. Мы забыли, что, отдавая, не истощаешь, а расширяешь возможность отдавать. Любящий в людях Господа любит любого из людей щедрее, чем тот, кто сосредоточился на любви к единственному и поселил любимого в тесном садике своего «я». Воин, преодолевающий вдали опасности,

щедрее одаряет любовью любимую, хотя, наверно, она не задумывается об этом, чем тот, кто день и ночь при своей жене, но сам не сбился.

Не экономь на душе. Не наготовить припасов там, где должно трудиться сердце. Отдать — значит перебросить мост через бездну своего одиночества.

Отдавая, не старайся узнать кому. К тебе и так придут и скажут: «Он не стоит такого подарка». Как будто ты открыл лавочку и вознамерился торговать. Знай, взявший без отдачи подарил тебе возможность бескорыстно послужить Господу. И служит Ему не тот, кто поохал над раной ближнего, — тот, кто, не медля, пустился в далекий путь по горным тропам, чтобы вылечить рану слуги своего слуги. Но если ты ждешь благодарности, ты низок, ты лакей больше, чем все лакеи, вместе взятые, ведь за твое внимание не расплатиться и вырванным из груди куском мяса. Через нуждающегося в твоей помощи ты послужил Господу, так поклонись ему до земли, что он согласился взять у тебя.

LIII

Я был молод, я ждал прибытия нареченной, что предназначили мне в жены. Караван вез мне ее из такого дальнего далека, что дорогой успел состариться. Ты видел когда-нибудь состарившийся в пути караван? Караванщики, что стояли перед моими дозорными на границе, не знали своей родины. За время странствия умерли те, кто еще помнил ее и мог о ней рассказать. Они умерли один за другим, и их похоронили в песках. Пришедшие к нам хранили воспоминания о воспоминаниях. Песни, которые они переняли от стариков, были легендами о легендах. Ты видел чудо чудеснее, чем приближение корабля, который построили и оснастили в открытом море? Юная девушка, что вышла из золотого с серебром ковчега, выговорила слово «родник». Она знала: когда-то давным-давно в счастливые времена существовали родники, и выговорила это слово, будто молитву, но не ждала ответа, ибо и Господу молятся по памяти других людей. Еще удивительнее было ее умение танцевать, танцам ее научили среди гранитных скал пустыни, она знала, что танец — тоже мольба и молитва, что на эту мольбу может ответить царь, но в пустыне и на нее не ждала ответа. Безответно молишься и ты до самой смерти, танцуя свой танец перед Господом. И еще одно чудо: жизнь будто и не прикасалась к ней, будто только сейчас вылепили ее теплые, словно голубки, груди, ее гладкий живот, чтобы рожала царству сыновей. Да, казалось, она родилась совершенной — безупречное зернышко, принесенное из заморских стран, прекрасное, переполненное дарами, которые самому ему не нужны, — мы станем такими после смерти, собрав все свои дела, заслуги, усвоенные уроки как доказательство, что мы сбывлись. Жизнь не посягала на ее приданое, девственным было ее тело, девственными — танцы без зрителей, девственным оставался родник, которого не касались ее губы, цветы, которых она никогда не видела, но из которых ее научили составлять букеты. Совершенство моей нареченной не нуждалось в свершениях, ей оставалось одно — умереть.

LIV

Я уже говорил: благодаря молчанию Господа, молясь, ты зарабатываешь в своем сердце умение любить. Если Господь тебе откроется, ты истаяешь в Нем и сбудешься. Зачем тебе тогда расти и возвышаться? И вот тот, кто отыскал Господа, видит женщину, огородившуюся гордыней, подобно моему треугольному военному лагерю, — как спасти ее? В безнадежности

он печалится о человеческом жребии. «Господи! — говорит он. — Я обо всем догадался и думал, она расплачется. Слезы — дождь, отводящий грозу, они умягчают гордость, молят о прощении. Если бы она почувствовала себя слабой и заплакала, я простил бы ее. Но она стала хищной куницей, кусается и царапается, защищаясь от несправедливостей Твоей Вселенной, она больше не умеет не лгать».

Он пожалел ее, потому что ей так страшно. И стал рассказывать Господу о людях: «Ты внушил им страх перед клыками, когтями, шипами, ядами, острыми ракушками и скалами Твоей Вселенной. Пройдет немало времени, прежде чем они успокоятся и вернуться опять к Тебе». Он ведь знает, в каких далах плутает эта лгунья и как долго ей придется идти, чтобы вернуться!

Он жалеет людей, видя пустое пространство в их душах, отделяющее их от Господа, а они о нем и не подозревают.

Кое-кто удивлен его откровенному потаканью отвратительной распущенности. Но он-то знает, что ничему не потакает. Он молится: «Господи! Я не судья им. Бывают времена судилищ, тогда любого — и меня тоже — могут сделать судьей. Но лгуню я взял с собой, потому что она боится, а совсем не для того, чтобы наказать ее. Видано ли, чтобы спаситель, сочтя спасенного недостойным, столкнул его обратно в воду? Спасает, и все. Спасает не человека, а Господа в нем. А когда спасешь, человека можно и наказать. Ведь и смертника, если он болен, лечат, прежде чем повесить. Нет права пренебрегать человеческим телом, хотя тело — возможность осуществить кару».

Тем, кто мне скажет: «Ради чего ты суетишься, надежда спасти ее так ничтожна!» — я отвечу: «Царство очеловечивается не результатом поиска — усердием в поиске. Никто не требует от врача оправдания за то, что он вмешивался в жизнь больного. Необходимо предпринять попытку, пуститься в путь, цель всегда приблизительна, на дороге множество случайностей, ты не можешь знать, куда придешь. С одной вершины горы видна другая. Кроме человека, ты спасаешь и еще что-то, если воодушевлен чистой верой в спасение. Но если ты стараешься ради платы, если работаешь за вознаграждение, словно нанятый по контракту, ты — лавочник, а не человек.

Что ты можешь знать о превратностях пути? Все, что о них говорится, — слова и ничего больше. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только в смерть.

Беспутна она от безнадежности и отчаяния. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, потому что дом наш в смерти».

Беспутна она от тоски и безнадежности. Руки опускаются, когда ничего не хотят удержать. Беспутность — тоже не жизнь. И еще отчаяние:

сокровища, к какому ни прикоснешься, рассыпаются одно за другим в прах. Цветок увял и оставил семечко, но ты-то думал, что он будет цвести вечно, и теперь ты в безнадежности и тоске. Я уже говорил, что зову оседлым не того, кто в молодости любил девушек, потом завел дом, женился, качал детей, учил их, растил и на старости лет оделял житейской мудростью, — этот человек всю жизнь шел и шел вперед. Оседлому хочется стоять возле женщины и восхищаться ею, как прекраснейшим из стихотворений, черпать сокровища, будто из сокровищницы, но вскоре он видит: усилия его тщетны, нет на земле неисчерпаемых источников — пейзаж, увиденный с вершины горы, радуется, пока сохраняет вкус победы.

Мужчина тогда бросает женщину, женщина меняет возлюбленного, потому что они разочаровались. Они на ложном пути, в этом все дело. Невозможно любить саму женщину, можно любить благодаря ей, любить с ее помощью. Любить благодаря стихам, но не сами стихи. Любить благодаря пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Беспутство порождено

тоской, человеку никак не удастся сбыться. Так мучаются от бессонницы, ворочаясь с боку на бок, ища у подушки щеки попрохладнее. Но стоит прилечь, подушка опять горячая, ее отшвыривают прочь и снова ищут прохлады. Но откуда ей взяться? Она исчезает от прикосновения.

Меняют возлюбленных и те, кто видит пустоту в людях; люди и впрямь пусты, если не стали окном, смотрящим на Господа. Вот почему посредственность любит только то, что не дается в руки: стоит насытиться — и становится тошно. Лучше всех знают об этом танцовщицы, которые танцевали передо мной танец любви.

Я хотел бы помочь стать цельной той, что обирает мир и кормится репьями, — истинные плоды протягивают нам из-за предела осязаемого, а здесь каждый играет свою игру, и стоит ее разглядеть, как остывает сердце.

Но она просыпается, когда от человеческого существа повеет на тебя безнадежностью. Когда ты не чувствуешь в нем жизненности и видишь его заблудшей овцой, слабым ребенком или обезумевшей от ужаса лисицей, что вцепляется тебе в руку, если ты ее кормишь. Разве обидят тебя ее страх, ее ненависть? Неужели ты оскорбишься злобным словом или укусом? Стоит отвлечься от слов с их бессмысленным смыслом, как сразу ты ощутишь близость Господа.

Я первый за то, чтобы отрубить обидчику голову, если этого требует мое чувство справедливости, если мне нанесено оскорбление. Но я неизмеримо больше лисицы, мечущейся в ловушке, и могу — нет, не простить, меня не достигают обиды на вершине моей горы, где я всегда одинок, — я могу расслышать в ее бессмысленных воплях глухую безнадежность.

С самой прекрасной, благородной и совершенной из девушек ты можешь оказаться вдали от Господа. Ее не нужно утешать, собирать, укреплять. И если она просит тебя позаботиться о ней и целиком принадлежать любви, она призывает тебя к эгоизму на двоих, который по ошибке зовут светом любви, — нет, это бесплодный пожар, грабеж житниц.

Я коплю себя не для того, чтобы замкнуть себя женщиной и успокоиться.

Зато распутная, лживая, неверная требует от меня столько сердца, чтобы ее любить, столько терпения и молчаливости, которые так красноречиво говорят о подлинной любви, что благодаря ей я начинаю ощущать вкус вечности.

Есть время судить, но есть время сбываться...

А теперь я расскажу тебе, что означает принять человека. Если ты открыл дверь бродяге, он вошел и сел, не распекай его за бродяжничество. Не суди. Больше всего он нуждается в приюте — наконец-то пришел и принес кому-то груз своей усталости, воспоминаний, свою одышку, наконец-то поставил свою палку в угол. Ему нужно тихонько посидеть, он смотрит на твое спокойное участливое лицо, не вороша прошлого, своих явных изъянов и бед, потому что ты его не осуждаешь. Он позабыл даже о костыле, потому что ты не просишь его станцевать. Мало-помалу он успокаивается, ты наливаешь ему молоко, и он пьет, отламываешь хлеб, и он ест, и твоя улыбка, обращенная к нему, становится теплым плащом, словно солнце слепому.

Почему ты решил, что он низок и недостойн твоей улыбки? Почему решил, что дал ему что-то, если не дал главного — не принял его? Вот ты принял смертельного врага, и как благородны теперь ваши отношения! Ты хочешь выжать из него благодарность тяжестью своих даров? Он возненавидит тебя, если уйдет обремененный долгами.

Не смешивай любовь с жадной завладеть, которая приносит столько мучений. Вопреки общепринятому мнению, любовь не причиняет мук. Мучает инстинкт собственности, а он противоположен любви. Любя Господа, я, хромой, ковыляю по каменистой дороге, чтобы поделиться своей любовью с людьми. Мой Бог не раб мне. Я сыт тем, чем Он оделяет других. Истинную любовь я распознаю по неуязвимости. Умиравший во имя царства не обижается на него. Можно жаловаться на неблагодарность одного человека, другого, но можно ли говорить о неблагодарности царства? Царство создано твоими дарами, и как жалка будет арифметика, если ты потребуешь от царства возмещения почестями. Положивший жизнь на возведение храма — переливает себя в него, он любит свой храм и не видит от него ни в чем обиды. Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Чтобы научить человека любить людей, нужно научить его молиться, потому что молитва безответна.

Под личиной любви вы прячете ненависть, вы сделали стойку возле женщины или мужчины, вы превратили их в свою добычу и, стоя как собака над костью, ненавидите всех, кто косится на ваше пиршество. Эгоизм насыщения вы зовете любовью. Как только вам дарят любовь, вы так же, как в ваших фальшивых дружбах, обращаете свободного и любящего в слугу и раба, присвоив себе право обижаться. И чтобы заставить его лучше служить себе, казните ежечасным зрелищем своих страданий. Да, конечно, вы всерьез страдаете. Но именно ваше страдание и не нравится мне. А что в нем, скажите мне, хорошего?

В юности и я мерил шагами террасу под полыхающими звездами: сбегала рабыня, которая казалась мне единственным моим лекарством. Я поднял на ноги всех моих воинов и послал за ней вдогонку. Добиваясь ее, я бросил к ее ногам не одну провинцию, я заплатил бы ей и собственной жизнью, но, Бог мне свидетель, я никогда не называл любовью погоню за добычей.

Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, истинную любовь по невозможности быть обиженным.

Когда приходят к тебе и говорят: «Брось эту женщину, она тебя обижает...» — выслушай их со снисхождением и люби ее по-прежнему, ибо кто в силах тебя обидеть?

Тебе скажут: «Брось ее, ты же видишь, старания твои бесполезны». Выслушай их со снисхождением и люби ее по-прежнему: ты уже сделал свой выбор. И если можно украсть полученное тобой, то кто в силах отнять у тебя тобой отданное?

Тебе скажут: «Здесь ты в долгах. Там у тебя их нет. Здесь смеются над твоими заслугами. Там почитают их». Заткни уши, зачем тебе арифметика?

Всем ты можешь ответить: «Любить меня — значит вместе со мной трудиться».

Вот и в храм вошли только друзья, и несть им числа.

Я открыл тебе этот секрет и повторяю еще раз: твое прошлое — это медленное рождение тебя, точно так же, как все происходящее в царстве, вплоть до сегодняшнего дня, — рождение царства. Сожалеть о прожитом так же нелепо, как мечтать родиться в другом времени, в другом месте, остаться навсегда ребенком, и этими дурацкими претензиями

отравлять себе жизнь. Только безумец может метаться и скрипеть зубами, глядя в прошлое; прошлое — гранит: оно было. Прими этот день, он дан тебе, чтобы ты не боролся с непоправимым. Непоправимое не имеет никакого значения, прошлое никогда ничего не значит. Ведь не существует цели, которая может быть достигнута, периода, который завершился бы, эпохи, которая кончилась, — делят и обозначают границы только историки, — так откуда нам знать, о чем стоит жалеть на этом пути — пути, который не кончен и никогда не кончится? Смысл не в том, чтобы нажить запасы, сесть и не спеша ими пользоваться, смысл в неостывающих стремлениях, пути и переменах. Путь побежденного, что копит силы под сапогом победителя, удачливее, чем у его хозяина, который потребляет припас вчерашней победы и близится к смерти.

Ты спросишь меня, к чему же тогда стремиться, если нет никакого смысла в цели? Я открою тебе тайну, которую прячут нехитрые, заурядные слова, которую мало-помалу открывала мне мудрость жизни; знай:

приуготавливать будущее — значит всерьез заниматься настоящим. Тот, кто устремлен к будущему, а оно не более чем его собственная фантазия, истаёт в дыме утопических иллюзий. Подлинное творчество — это разгадывание настоящего в разноречивых словах и несхожих обликах дня. Но если ты пренебрегаешь сегодняшним из-за пустых и вздорных фантазий о будущем, ты — прожектер, который поверил, будто храм и колоннада возникнут из завитушек его пера. В мире вымысла нет врагов, но, не встречая сопротивления, как обрести форму? Вопреки чему потянется вверх колоннада? Одно поколение за другим выстраивает колоннаду, противясь изнашиванию жизни. Нельзя сочинить форму, можно ее нащупать, сопротивляясь жизни, которая хочет все сгладить. Только так рождаются великие шедевры и царства.

Приводить в порядок нужно всегда настоящее. Что толку обсуждать качество наследства? Ты не можешь предвидеть будущего, ты можешь позволить ему быть.

Конечно, у тебя будет немало работы, если сегодняшнее станет для тебя материалом для творчества. Вот и я, например, называю ячменные поля, дома, горы, коз и овец — в общем, все, что вижу вокруг, — обителью, крепостью, царством. Я превращаю их в то, чем они не были, ощущаю как единство и целостность, хотя коснись этой целостности разум, он разрушит ее, потому что бесчувственен, — так я укрепляю настоящее, так, не жалея сил, поднимаюсь на гору и складываю пейзаж: в нежной голубой дымке лежат на зеленом полотне полей, словно пасхальные яички, пестрые города. Моя картина не истинней и не лживей городов-кораблей, городов-храмов, она просто другая. В моей власти сделать так, чтобы людская жизнь помогала моей безмятежной ясности.

Знай, подлинное творчество вовсе не предвосхищение будущего, не ловля химер и утопий, оно — новая картина настоящего, а настоящее — всегда беспорядочная куча самых разнородных вещей и предметов, доставшихся тебе по наследству, доставшихся не для радости, не для горя, они — точно такие, как ты, и они и ты — есть.

Будущее? Пусть оно, как дерево, тянет вверх одну за другой свои ветви от настоящего к настоящему, дерево станет сильным и мощным, достигнет зрелости и примет смерть. Не беспокойся о моем царстве. С тех пор, как вместо дробного мира люди увидели целостную картину, с тех пор, как я взял на себя труд ваятеля и стал тесать камень, мощь моего творчества подхлестнула их судьбы. С этих пор они начнут побеждать, и мои сказители найдут, о чем слагать песни: вместо мертвых богов они будут славить жизнь.

Взгляни на мои сады: с рассветом в них приходят садовники растить весну, они не спорят о пестиках и тычинках, они сажают семена.

Так вот, отчаявшиеся, несчастные, побежденные, я говорю вам: вы — армия победителей, вы

выступаете в поход только сегодня, и как радостно быть настолько юным.

Однако не подумай, что обдумать настоящее легко. Оно противится, когда ты его обживаешь, противится так, как никогда не будут противиться твои вымыслы о будущем. Упавший на песок возле высохшего колодца изнемогает от жгучего зноя и так легко шагает в своих мечтах. Без усилий, огромными шагами торопится он к избавлению от жажды. Сладостно пить в мечтах, где шаги не потребовали усилий и одарили тебя водой, словно гибкие податливые рабыни, ты не встретил ни одного шипа, который вцепился бы в твою одежду.

Но покорное завтра не наступает, наступает агония, скрипит на зубах песок, колыхание пальм, полноводная река и пение прачек медленно уносят тебя в смерть.

Путник идет по земле, сбивает о камни ноги, кровавится о шипы, карабкаясь по склону. Ему выданы все трудности восхождения, и он должен преодолеть их одну за другой. Он создает воду напряжением собственного тела: мускулами, мозолями на ладонях, ранами на ногах. Вмешавшись в разброд противящейся действительности, он силой своих собственных рук выжимает воду из камней пустыни. Пекарь так месит тесто, он чувствует, как оно уплотнилось, противясь усилиям его рук, сбилось в тугой ком, который он должен разминать и разминать, но этот ком говорит: хлеб будет. Точно так же работает поэт и ваятель; как свободны они перед наплывающими строками, перед глыбой мрамора, они могут все — создать трагедию или комедию, наклонить голову вправо или влево, но до тех пор, пока у них столько возможностей, ничего не рождается. Но вот рыбка клюнула, удочка согнулась дугой. Ты не можешь сказать то, что тебе хотелось бы: поставленное слово мешает новому, но ты не хочешь вычеркнуть первое, оно тоже важно, а оба вместе не даются тебе в руки. Ты тасуешь слова то так, то этак, ты месить глину, стараясь поймать улыбку, которая от тебя убегает. Не логика тебе в помощь, она отсечет одно в пользу другого, ты ищешь ключ свода, он объединит твои противоречивые истины, ибо ни одна из них не должна потеряться, и вдруг чувствуешь: стихотворение вот-вот появится, мрамор вот-вот улыбнется, потому что тебя стеснили возлюбленные враги.

Никогда не слушайся тех, кто, желая тебе помочь, советует отбросить хоть одно из твоих исканий. Ты угадаешь свое призвание по той неотвязности, с какой оно тебе сопутствует. Предать его — значит покалечить себя, но знай: твоя правда будет обозначаться очень медленно, ее не сведешь к внезапно найденной формуле, она будет вырастать, как дерево, и работать на нее будет только время. А ты? Тебе надо сбыться подняться вверх по крутому склону. Рожденная дробным миром целостность, которую ты обретишь, будет не разгадкой ребуса, а преодолением противоречий и исцелением кровоточащих ран. Обретая эту целостность, ты ощутишь и ее могущество. Вот почему я так настаиваю, чтобы ты почитал тишину и неспешность — богов, о которых успели позабыть.

LVII

Хорошо быть такими юными и неискушенными, как вы, — обделенные, несчастные, побежденные, — вы, которые из своего богатого наследства взяли себе лишь дурноту вчерашнего дня. Но если я выстрою храм, вы придете в него и я зароню в вас зерна своей веры, а вы, укрытые могущественным покровом тишины, начнете неторопливо расти, чтобы стать великолепной жатвой, то найдется ли у вас время отчаиваться? Кто из вас не помнит утро победы: умирающие на одре болезни, изъеденные заживо метастазами, калеки на костылях, должники и судебные исполнители, узники и тюремщики превратились из врагов, потерпевших, страдальцев в народ, радующийся победе. Победа стала ключом свода, а многоликая разобщенная толпа — часовней в ее честь.

Кто из нас не видел, как ветвилась, передаваясь от сердца к сердцу, любовь, — любовь, которую пробудило, возможно, величайшее несчастье, ставшее ключом свода и повернувшее людей друг к другу, радуя их возможностью поделиться хлебом, потесниться у очага? Даже ты, недовольный ворчун-подагрик, в своем тесном домишке, который оказался все же слишком просторен для немногих твоих друзей, вдруг понял, что распахнулись двери храма и входят туда лишь друзья, которым несть числа.

Так есть ли место отчаянию? Вечное рождение — вот что есть. Есть и непоправимое, оно — знак свершившегося, а не причина для грусти или веселья. Непоправим факт моего рождения, раз я есть. Непоправимо прошедшее, но настоящее ждет строителя, валяясь под ногами грудой самого разнообразного материала, вы должны сложить его, чтобы у нас было будущее.

LVIII

Друг тот, кто не судит. Я уже говорил: открыв свою дверь бродяге на костыле и с палкой, друг поставит палку и костыль в угол и не попросит бродягу станцевать, чтобы убедиться, как плохо он танцует. Если бродяга заговорит о весне на дальних дорогах, друг порадует весне. А если тот расскажет о голоде в деревне, которую он проходил, друг разделит с ним огорчение. Я уже говорил, друг — это та частица в человеке, которая отдана тебе, тебе открывают дверь, которую, может быть, больше не открывают никому. Он твой истинный друг, все, что он говорит тебе, чистая правда, он любит тебя, даже если в другом доме он ненавидит тебя. В храме мне друг каждый, кого я, благодаря Господу, встречаю и задеваю рукавом, кто поворачивает ко мне лицо, освещенное светом нашего Господа, здесь мы одно, хотя, выйдя из храма, он — лавочник, а я — капитан, он — садовник, а я — матрос. Я встретил его, поднявшись над тем что нас разделяет, и стал ему другом. Я могу возле него стоять молча, не боясь, что он отправится бродить по садам в моей душе, по моим горам, крепостям и пустыням. Ты — мне друг, ты дождешься посланцев моего внутреннего царства и обойдешься с ними бережно. Ты примешь их, усадишь и выслушаешь. И обоим нам хорошо. А я? Разве видел кто-нибудь, чтобы я плохо обошелся с посольством или не принял его только потому, что вдали, в тысяче дней пути от меня, едят то, что мне не нравится, и обычаи их отличны от моих? Дружба — это всегда перемирие, это душевное согласие, отрешившееся от пошлых распрей повседневности. Гость за моим столом всегда безупречен.

Знай, что гостеприимство, обходительность и дружеское участие — это присутствие человеческого в человеке. Каково мне будет в храме, если Господь станет разбирать верующих по росту и дородству, как почувствую себя в доме друга, если он, заметив мои костыли, попросит станцевать, чтобы высказать свое мнение?

В мире достаточно судей. Помогать тебе меняться и закалять тебя будут враги. Это их дело, они с ним прекрасно справятся, бури неплохо помогают кедру. А друг создан для того, чтобы тебя принять. Знай и о Господе. Он не судит тебя, когда ты пришел к Нему в храм, Он тебя принял.

LIX

Если ты хочешь подружить тех, кто привык к вечному дележу и счетам, а значит, и к взаимной неприязни, — ты ведь помнишь: брось им зерно и узнаешь, как они ненавидят, — то

постарайся вернуть им чувство уважения, невозможно дышать среди тех, кто осуждает друг друга. Если ты плохо думаешь о друге и говоришь это, значит, видишься с ним не в храме, где собираются только друзья и единомышленники. Говоря тебе все это, я вовсе не поощряю тебя к снисходительности, малодушию или неустойчивости в добродетели. Просто дружба — это не жестокость. В другое время ты будешь судьей. Когда понадобится, ты без колебаний отрубишь голову. Напоминаю, ты приговариваешь к смерти, но ты же и лечишь обреченного, если он болен. Не страшись этих противоречий, недостаточен наш язык, когда речь идет о человеке. Противоречат друг другу слова, которыми мы изъясняем суть. В осужденном есть тот, кого ты отдал палачу, но есть в нем и другой, кого ты сажаешь с собой за стол и не имеешь права судить. Тебе заповедано судить человека, но заповедано также и почитать его. Обычно судят одного, почитают другого — неправильно: одного и того же судят и почитают. Таков один из законов моего царства, от несовершенства слов он так труден для понимания. Несовместимости, смущающие логиков, не смущают меня. Ненавистный враг, с которым я сражаюсь в пустыне, лучше всех помогает мне утвердиться в себе. Грозен наш поединок, но и это любовь.

LX

Я размышляю о тщеславии. Тщеславие всегда казалось мне не пороком, а болезнью. Вот женщина, которую заботит мнение толпы: на людях у нее меняется походка, голос, неизъяснимое удовольствие доставляют ей похвалы и комплименты, щеки у нее розовеют, если кто-то на нее взглянул, — уверяю вас, она не дурочка, она просто больна. Ведь обычно радости от других людей приходят к нам через любовь. Но для нее ни одно блаженство не сравнится с радостью удовлетворенного тщеславия, и ему она жертвует любыми другими удовольствиями.

Скудная, жалкая радость сродни калечеству. Сродни чесотке: кожа зудит и ее с наслаждением расчесывают. Нежность и ласка совсем другое, они — кров, они — надежность убежища. Я ласкаю малыша, и он знает, что он под защитой. Мой поцелуй на бархатистой щеке — знак, что его оберегают.

Тщеславная женщина наслаждается пародией чувств. Жизнь скудеет в тщеславном. Если хочешь только получать, что заставит тебя тянуться вверх, перерастая самого себя? Тщеславный стоит на месте, он ссыхается.

Но когда от моей похвалы краснеет и волнуется, как мальчишка, отважный воин, я не считаю, что в нем заговорило тщеславие. Что волнует одного? Что трогает другую? В чем их отличие? Тщеславная, когда она засыпает...

Нет, ей не понять цветка, который дарит ветру свое семечко, чтобы оно никогда к нему не вернулось.

Не понять дерева, которое отдает плоды и ничего не получает взамен. Не понять человека, который счастлив трудиться безвозмездно. Не понять стараний танцовщицы: она станцевала танец и осталась ни с чем.

Не понять воина, рискующего жизнью. Он перекинул мост над пропастью, я восхищаюсь им и говорю: «Жертвенность — самое человеческое в человеке». И он горд, но не за себя — за человека.

Тщеславные все превращают в пародию. Нет, я не ратую за скромников, мне по нраву жизнестойкость и устойчивость гордецов. Скромник пасует перед ветром, как флюгер. Любой

в его глазах значительнее, чем он сам.

Я хочу, чтобы животворило вас отданное, а не полученное, ибо возвышаешься — отдавая. Я не имею в виду отданного из пренебрежения. Каждый должен вырастить свой плод. Гордость печется о его стойкости. Без гордости плод по воле ветра будет менять вкус, цвет, запах.

Чем одарит тебя твой плод? Возможностью отдавать безвозмездно.

Красавица возлежит на роскошном ложе и собирает дань восхищения толпы: «Я одаряю красотой, изяществом, величавой поступью.

жизнь моя волей жребия — прекрасный храм, мужчины молятся на меня. Я есть, и это мое дарение».

У тщеславия и дары подложные. Одарить можно только тем, что сам пересотворил. Дерево дарит плод, плод — преображенная земля. Танец — преображенное умение ходить. Кровь воина преображается в храм и царство.

Но с каких пор даром стала течка? Конечно, кобели сбегались и все вокруг возбуждены. Но разве что-то преобразилось? Свои радости она украла у природы. Не прилагая усилий, расходует она на кобелей.

А как наслаждается тщеславица чужой завистью! Как ей лестны завистники!

И вот еще одна пародия на одаривание — хвалебная речь на торжестве. Гость встал, и, кажется, — дерево, отягощенное плодами, протянуло окружающим свои ветки. Но что сорвешь с них? Однако всегда найдется глупец, который верит, что сорвал с ветки плод, он польщен умом говорящего. Раз нашелся благодетельствованный, как усомниться, что ты благодетель? Две бесплодные смоковницы кланяются друг другу.

Отсутствие гордости, вечная оглядка на большинство, постыдное недоверие к собственным силам — вот источник тщеславия. Толпа необходима тебе как воздух, она убеждает тебя в твоей полноценности.

Король одарил улыбкой подданного. «Видите, король меня знает», — говорит тщеславный. Преданный королю молча зардеется от радости. «Король согласен, чтобы я отдал за него жизнь», — вот что прочитал преданный в королевской улыбке. И словно бы уже отдал свою жизнь королю и облекся королевским величием. «И я служу величию моего короля, — мог бы подумать он, — король велик гордостью за него подданных».

Но тщеславный завидует королю. Король улыбнулся ему, и, нацепив его улыбку, как орден, он разгуливает теперь пародией на короля, чтобы позавидовали и ему Король одел его на полчаса в свой пурпур. А под пурпуром

— ужимки и душа обезьяны.

LXI

Торговцы озабочены судьбой товаров, и для нас товары стали главной ценностью. Мы уверились: нет большей радости, чем покупки. Да и откуда нам быть иными, если потрачено столько усилий, чтобы укрепить нашу привязанность к вещам?

Да, конечно, любая вещь, если жертвовать для нее собой без остатка, обретет величие.

Например, драгоценный камень, если трудишься над ним, высвобождая свет. Камень способен стать твоей религией. Я знал куртизанку, за нетленный жемчуг она платила бранным телом. Я не презираю религии камня. Но недостойно кадить себе вещами. По правде сказать, в нас нет ничего, что было бы достойно каждения.

Но вот я протянул малышу игрушку, он забился в угол, боясь, как бы я ее не отнял. Здесь другое — малыш обрел божество и готов стоять за него, не щадя себя.

LXII

Я размышлял о безусловности власти. Мне жаль, что неосязаема пирамида, вершина которой — Бог, а основание — люди. Но возьмем короля и предположим, что власть его и впрямь безусловна, что власть его для тебя — неоспоримая данность, вроде пути из залы совета в гостиную в замке моего отца: к нему ведет вот эта лестница, а не другая, вот эта дверь, а не соседняя, и тебе незачем изыскивать другой путь, коль скоро существует этот. Ты следуешь установленным путем свободно, ты подчинен ему не из трусости, низости или искательства, и точно так же без трусости, низости и искательства ты служишь своему государю, когда власть его безусловна, а не обязана воле случая. Но если ты кажешься себе первым в царстве после государя, а для государя власть не исконная данность, а случайность политической интриги, спорный результат частных мнений или успех хитрости,

— ты будешь ему завидовать. Завидуют только тому, на чьем месте возможно оказаться. Негр не завидует белой коже. Человек не завидует птице смертельной завистью, которая жаждет уничтожить для того, чтобы воспользоваться самому. Пойми, я осуждаю не честолюбие, честолюбие тоже желание созидать. Я осуждаю зависть. От зависти рождаются только интриги, а интриги — гибель для творчества, которое в первую очередь чудо совместной работы всех с помощью каждого. Сперва ты судишь своего небезусловного государя, потом ты его презираешь. Ты знаешь, что он выше тебя, потому что у него больше власти, но отказываешь ему в справедливости, уме, благородстве сердца. Ты презираешь его, и его уважение к твоим трудам для тебя не награда. Уважение тех, кого мы презираем, оскорбительно нам. И вот твое положение становится для тебя невыносимым.

Приказы временщика унижают тебя, но ведь он и хочет тебя унижить, у него нет иного средства дать почувствовать весомость своей власти. Быть с тобой на равных, делить хлеб, расспрашивать, восхищаться твоими познаниями и достоинствами может только тот, кто стоит у власти так же естественно, как стоит крепость. Крепость стоит себе и стоит, чем тут наслаждаться, чему радоваться?

Вот я пришел и сел за стол последнего из своих слуг. Он вытер стол, поставил на огонь чугунок, он счастлив моему приходу. Разве камень фундамента упрекает замковый камень за то, что тот держит свод? Разве ключ свода презирает фундамент? Я и мой слуга, мы сидим друг напротив друга как равные. Только такое равенство я признаю исполненным смысла. И если я спрашиваю его о пахоте, то не из низкого желания польстить ему и расположить к себе — мне не нужны избиратели, — я спрашиваю, потому что хочу поучиться. Когда спрашивают и не выслушивают ответа, ощутимо презрение. И ответивший нащупывает в кармане нож. Но мне важно знать, сколько маслин приносит оливковое дерево, я внимательно выслушиваю ответ.

Я пришел в гости просто к человеку. И этот человек принимает меня как гостя. Мой приход для него подарок, его правнуки будут знать, на каком из стульев я сидел.

Моя власть безусловна, поступки мои не диктуются низкой корыстью, я способен чувствовать

свойственную людям благодарность. Вот мне улыбнулись, поздоровались, вот жарят для меня барашка, я — гость, он — хозяин, и, кроме других разных чувств, мы испытываем друг к другу просто человеческое тепло. Дары гостеприимства, будто стрелы, вонзаются в мое сердце. Вот и Господь слышит твою самую короткую молитву, самую мимолетную мысль: нищий вздохнул о Нем в раскаленной пустыне. Но если в гостях у тебя мелкий князек с сомнительными правами на власть, дары твои должны быть велики и обильны, по изобилию даров судит он о собственной значимости.

Незнакомец крутит скрипучий ворот, с усилием вытянул ведро на каменный край колодца и засмеялся маленькой своей победе, он идет под жарким солнцем в тень, в тени возле стены стою я, он наливает мне свежей воды, и сердце мое освежается любовью.

LXIII

На примере куртизанки объясню я то, что хочу сказать о любви. Материальные блага ты счел самоценными и ошибся. Пейзаж, открывшийся тебе с вершины горы, ты создал усилиями, затраченными на подъем, вот и любовь питается затраченными усилиями. Нет ничего, что обладало бы ценностью само по себе, — нити, связующие дробность в единое целое, придают отдельной вещи и цену, и смысл. Носа, уха, подбородка, второго уха мало, чтобы мрамор сделался лицом, необходима игра мускулов, связующая их воедино. Кулак, который держит. Звезды, число девять, родник еще не стихи, но они появились, когда я завязал все одним узелком, заставив девять звезд купаться в роднике. Я не спорю, связующие нити выявляются благодаря тем предметам, которые они между собой связали. Но не вещи главное. В ловушке для лисиц главное не веревка, не палка, не защелка — творческое усилие, которой соединило их, и вот ты слышишь твяканье пойманной лисицы. Я — поэт, ваятель, танцовщик, я сумею поймать тебя в свою ловушку.

То же творчество — и любовь. Чего ждут от куртизанки? Телесного отдыха после боевых трудов, которыми завоеван оазис. Ты не нужен ей, с ней тебя словно бы и нет. Любовь пробуждает спящего в тебе ангела и, преисполнившись благодарности, ты готов лететь на помощь любимой.

Разница не в доступности: раскрой объятия и любимая прильнет к тебе. Разница в даримом. Невозможно одарить куртизанку, все, что ни принесешь ей, она сочтет заслуженной мздой.

Но если существует мзда, ты прикидываешь, по карману она тебе или нет. Так расставлены фигуры в танце, который танцуются с куртизанками. Солдаты с тощими кошельками в сумерках разбрелись по веселому кварталу, они торгуются и покупают любовь, как хлеб. И, как хлеб, покупная любовь дает им силы шагать по пустыне дальше, усмирив тело и сделав радостным одиночество. Но, покупая любовь, они примерили фартук лавочника, они не почувствовали, что означает усердие.

Надо быть богаче короля, чтобы куртизанка поняла, что ее одарили, — но даже если подарить ей полмира, она поблагодарит себя, похвалит за удачливость и возгордится красотой и хитростью, благодаря которым ты так раскошелился. В этот бездонный колодец ты можешь спустить золото тысяч и тысяч караванов и все-таки ничего не подаришь. Нет того, кто принял бы от тебя дары.

Вот почему мои солдаты поглаживают вечерами и чешут за ухом маленького лисенка. Что-то похожее на любовь сжимает им сердце, когда им кажется, что они одарили дикого зверька теплом, они хмелеют от благодарности, если лисенок нечаянно к ним прижмется.

Но в каком из веселых кварталов куртизанка прижмется к тебе, потому что ты ей нужен?

Случается, однако, что кто-то из моих солдат, не богаче и не беднее прочих, тратит свои деньги не глядя, словно дерево, отдающее семена ветру, он — солдат, он презирает деньги.

Он заходит в один притон, в другой, ослепляя всех фейерверком своей щедрости. Он похож на сеятеля, спешащего насытить семенами жадно ждущую землю.

Мой солдат расстается со своим богатством и не хочет ничего сохранить для себя, он единственный понял, что такое любовь. И в ответ, может быть, проснется любовь и в куртизанках, потому что сейчас танцуется другой танец, и этот танец в радость и им.

Повторяю: принимать и брать не одно и то же, ты рискуешь всегда пребывать в заблуждении, если не поймешь разницы. Принимается подарок, а подарок всегда дар самого себя. Скуп не тот, кто пожалел денег на подарок, скуп тот, кто не расцвел и в ответ на твои дары. Скупа земля, если не оделась цветами, забрав у тебя семена.

А свет? Он вспыхивает иной раз и в куртизанке, и в пьяном солдате.

LXIV

Растратчиками — вот кем стали жители моего царства. Никто в нем больше не пестует человека. Одухотворенное лицо в нем уже не маска, оно — крышка пустой коробки.

Только и знали они, что разорять Сущее, и они его разорили. Я смотрю и не вижу среди них ни одного достойного смерти. А значит, и жизни. Потому что живешь тем, за что готов умереть. Но они насыщались, потребляя созданное, они развлекались грохотом камней, разрушая храмы. Храмов нет, но нет им и замены. Своими руками эти люди уничтожили все пути самовыражения человека. И уничтожили человека.

Ища радость, они ошиблись и сбились с дороги. В прежние времена говорили: «деревня», и возникало ощущение прочности быта, устоев, неизменности обрядов. Устоями поддерживалось усердие деревни. Но они пришли и все перемешали. Их не радовала неторопливо нажитая, устоявшаяся целостность взаимопроникающих связей, им хотелось найти готовый припас, который был бы всегда под рукой и служил безотказно, как чужое стихотворение. Тщетная надежда.

Многие, желая величия человеку, хотят для него свободы. Они видят:

принуждения сковывают возможности человека. Так оно и есть. Враг помогает тебе сформироваться и вместе с тем ограничивает тебя. Но не будь у тебя врагов, ты не родишься.

Часто верят, что радуется готовое. Что можно просто-напросто наслаждаться весной. Но нет сладости у весны, если ты не преобразился в растение, чтобы насладиться ею. Нет сладости у любви, если ждешь, что тебя одарит ею красивое лицо. Чужое произведение может растрогать тебя своей мукой, но песня галерников о лишениях и разлуке запомнится тебе, только если ты сам мучительно расставался, если неумолимая судьба казалась тебе галерой.

Тот, кто без тени надежды на успех выгребал к рассвету, поймет песню галерника; тот, кто изнемогал от жажды в пустыне, поймет песню о лишениях и разлуке. Но если ты ничего не выстрадал, ты пусти, и дать тебе что-то невозможно.

Нет, деревня не стихотворение, которым ты можешь безмятежно наслаждаться, восторгаясь горячей похлебкой на ужин, благорасположением людей, мирным запахом молока в хлеву и праздничным фейерверком на площади. Откуда взяться в тебе празднику, если он не завершил череду каждодневных тягот? Если он не напоминает тебе, как после долгих лет рабства наступила свобода, после долгих лет ненависти — любовь, если он не память о спасительном чуде, осветившем мрак безнадежности? Все вокруг для тебя молчит, и счастья у тебя не больше, чем у коровы. Но если ты сживешься с деревенской жизнью, то мало-помалу поймешь, что же такое деревня, — и это будет значить, что шаг за шагом ты поднялся на свою гору. Значит, я лепил тебя своими обрядами и обычаями, твоими лишениями и обязанностями, неизбежными вспышками гнева и раскаяния, и ты сменил привычное тебе на иное,

— в тот давний вечер ты восторгался призраком деревни, теперь ты узнал ее подлинную мелодию, ты учил ее долго-долго и так не хотел учиться вначале, но теперь она тебя не покинет, так запомни: нелегко становится человеком.

Но если ты пришел в деревню и все, чем она живет, для тебя — игра и забава, — ты ограбил ее; кто относится всерьез к забавам? И от деревни ничего не останется. Ни тебе, ни ее жителям...

LXV

— И мне нужен порядок, — говорил отец, — но не ценой упрощения и скудости. Я не экономлю на времени. Узнав, что люди сделались толще, занимаясь амбарами вместо храмов и водосточными трубами вместо скрипок, я не обрадуюсь. Самодовольное скопидомство, даже если оно лучится счастьем, достойно только презрения. Какой человек процветает — вот что меня заботит. Мне по душе человек, который не пожалеет времени на долгое омовение тишиной храма, на созерцание Млечного Пути, человек, который делает себя просторнее и упражняет сердце в любви безответной молитвой (если ответить, ты становишься только жаднее), тот, кто чуток к поэзии, — о таком человеке я забочусь.

Если не строить храмов и кораблей, снаряженных в неведомое, если не корпеть над стихами, которые разбередят человеку душу, конечно, сбережется немало времени, но стоит ли тратить его на утучнение человечества — не лучше ли на облагораживание? И вот я возвожу храмы и кропотливо отделываю стихи.

Сколько времени уходит на похороны! Сколько сил тратится на копанье могилы! А онигодились бы на пахоту, на жатву... Я запрещаю сжигать покойников. Мы ничего не выиграем, если станем меньше чтить мертвых. Кладбище — лучшая память об ушедших, медленно идут люди между могил, отыскивая своих близких, усопший для них — корень в земле, сама земля. Но они знают: от ушедшего что-то осталось, подобие святых мощей, пясть руки, которая когда-то ласкала, череп — опустевшая сокровищница, но как вспомнишь, сколько в ней было сокровищ! Когда-то я приказал строить дома для усопших — да, это дорого, да, бесполезно, — но зато в них собирались по праздникам и чувствовали не умом, а въяве, что живые и мертвые живут вместе, что они — единое дерево, которое тянется вверх. Если поколение за поколением учить наизусть те же стихи, восхищаться тем же кораблем и украшать ту же колоннаду, человек улучшится и облагородится. Глядя из близости, как смотрят близорукие, человек быстротечен, но никак не износится тень, отброшенная его светом, никак не умолкнет эхо. Не погребая усопших, не трудясь над надгробиями, я сберегаю время и хочу потратить его на укрепление связи между поколениями: пусть жизнь, словно дерево, тянется через них прямо к солнцу, рост вверх кажется мне достойнее роста вширь, и вот, хорошенько

все обдумав, я трачу сэкономленное время на погребения и труды над надгробиями.

— Да, я чту порядок, — говорил отец, — порядок жизни. Упорядочено дерево, хотя живут в нем разом и корни, и ствол, и ветви, и плоды, и листья; упорядочен человек, хотя живет он и умом, и сердцем, и никак не заставишь его только пахать землю или только совершенствоваться, нет, он копает землю и молится, любит и выстаивает перед соблазном любви, работает, и бездельничает, и вслушивается в мелодию вечера.

Но отдельные мои сограждане прознали, что могучие и победоносные державы славились порядком. А простодушные логики, историки и толкователи убедили их, что порядок и есть отец славы. Но я говорю вам: и порядок, и слава — плод совместного усердия. Чтобы все упорядочилось, нужна картина, которую любили бы все. А для этих порядок самоценен, они обсуждают его, совершенствуют и в конце концов приходят к упрощению и скудости. Людей просто-напросто лишают всего, что не поддается выражению в словах. Но сущностное всегда невыразимо, и ни один профессор не мог мне объяснить, почему я так люблю ветер, дующий в пустыне при свете звезд. Они сосредоточились на обыденном, потому что его легко уместить в слове. Кто обзовет тебя обманщиком, если ты скажешь, что три мешка овса лучше, чем один? Но мне кажется, я дам людям что-то лучше овса, если приведу к источнику, который расширит душу, если отправлю в путь по пустыне при свете звезд.

Порядок — это форма, которую принимает жизнь, но никак не причина жизни. Соразмерность стихов — свидетельство их завершенности. Но не с соразмерности начинаются стихи, она приходит, если ты как следует помучился. Однако любители порядка говорят ученикам: «Вглядитесь, это — великое произведение, и как идеально оно упорядочено. Заботьтесь прежде всего об упорядоченности, она — залог величия». Послушавшись их, вы создадите мертвый скелет или мумию для музея.

Я возвращаю любовь к царству, и благодаря ей все упорядочивается, на своем месте оказываются землепашец, пастух, жнец — и над ними зиждитель, оплодотворяющий их любовью. Так укладываются в ряд камни, когда ты понуждаешь их служить славе Господа. Их порядок рожден любовью зодчего.

Ты споткнулся о слова. Служи жизни, и все упорядочится. Служить порядку

— значит сеять смерть. Порядок ради порядка — это уродование жизни.

LXVI

Я задумался о красоте вещей. В этой деревне красиво расписывали миски, в соседней — некрасиво. И понял: нет средства, с помощью которого все миски расписывались бы красиво. Затраты на ремесленные школы, конкурсы, почетные дипломы не в помощь красоте. Больше того, можно трудиться день и ночь напролет, но если тебя занимает не роспись миски, а что-то еще, она получится вычурной, грубой и вульгарной. Ведь сна тебя лишала не миска, а жадность, тщеславие, честолюбие. Ты занят собой, ты не служишь Господу, который дал тебе возможность пожертвовать собой, самозабвенно претворяясь в вещь, Он дал ее тебе вместо алтаря, и она вместила бы все: твои морщины, тяжкий вздох, покрасневшие веки, дрожащие, утомленные вечной работой руки, блаженство вечернего отдыха и твое усердие. Благодатна только молитва, а молитва — это самозабвенное дарение себя, чтобы наконец сбыться. Ты же птица, она вьет гнездо, и в нем тепло; ты же пчела, она собирает мед, и он сладок; ты же человек, он лепит вазу, любя только вазу, только любя, а значит, молитвенно. Ты влюблялся в стихи, написанные ради денег? В стихах ради денег не бывает поэзии. В вазе для конкурса нет благоговения перед Господом. В ней есть твое тщеславие, корысть и притязания

невысокого полета.

LXVII

И вот все они пришли ко мне, поглупев от неопровержимости своих доказательств, средств и целей. Но я знаю: слово только обозначает, оно не в силах выразить, и любая речь дает представление лишь об образе мыслей, и только. Потому и бессмысленно возражать ей или ее поддерживать. Я посмеялся над ними.

— Твой генерал, он не прислушался к моим советам, — сказал один, — а все вышло так, как я говорил.

Да, конечно, бывает, что ветер слов и им принесет картинку, до которой снизойдет будущее и уподобится ей, но на следующий день тот же ветер принесет другую картинку, потому что каждый может сказать и говорит все, что угодно. И если генерал, который продумал, как ему расположить свое войско, взвесил шансы, прощупал обстановку, послушал, как спит его враг, и прикинул, каково будет пробуждение, если вдруг этот генерал меняет все свои планы, перемещает капитанов, разворачивает войска и импровизирует сражение только потому, что праздный прохожий пять минут обдувал его ветром слов и они повисли в воздухе изящной цепочкой доводов, — я лишаю такого генерала погон, сажаю в карцер и не даю себе труда его кормить.

Мне по нраву другой воитель, он приходит ко мне, засучивая рукава, как пекарь, и говорит:

— Я чувствую: надави покрепче на наших, что стоят в ложбинке, и они дадут деру. Чтобы воодушевить их, нужны победные фанфары слов, они чувствительны на ухо. Я смотрел, как они спят, и сон их мне не понравился. Теперь они проснулись и завтракают...

Я люблю танцоров, которые понимают толк в танцах, они хорошо танцуют. Танец — вот она, истина. Чтобы соблазнить, нужно сблизиться. И чтобы убить, тоже нужно сблизиться. Ты скрестил клинок с клинком, сталь танцует напротив стали. Ты видел когда-нибудь, чтобы человек сражался и размышлял? Где в бою время на размышление? А ваятель? Погляди, его руки мнут, топчут глину, и большой палец поправляет вмятину от указательного. Где время на размышления, на поверхностные несогласия? Да, конечно, поверхностные, потому что только слова обозначают и разделяют, на словах и существуют противоречия. А в жизни? Нет, она не простая и не сложная, не понятная, не загадочная, не противоречивая, не целостная. Она есть, и все. Язык упорядочивает ее, усложняет, проясняет, затемняет, разнообразит, объединяет. И если один выпад ты делаешь влево, а другой вправо, то не стоит выводить заключение, что существуют две истины, — она одна: истина встречи. И только танец сближает нас с жизнью.

Тот, кто понадеялся в жизни на разум, а не на богатство сердца, и продумывает, как разумнее всего действовать, никогда не примется за дело: на его разумное решение предложат еще более разумное, он поразмыслит и найдет третье, еще умнее. Веские доводы одного адвоката, еще более веские другого

— нет этому конца. Очевидна только вчерашняя истина, да и истинного в ней только то, что нечто стало данностью. И если ты хочешь разумно объяснить, чем это творение замечательно, ты объяснишь. Потому что заранее знаешь, что тебе придется объяснять. Но творчество не работает с готовым, оно по другой епархии. Бухгалтер, даже если ты дашь ему камни, не построит храма.

Но вот мои разумные инженеры обдумывают каждый свой шаг, словно ход в шахматах. И я готов согласиться, что в конце концов они выберут правильно. (Хотя сомневаюсь: шахматные задачи одномерны — проблемы жизни не решить взвешиванием. Вот, например, тщеславный скупец, скупость спорит в нем с тщеславием, и какой расчет, какое взвешивание определит, что возьмет верх?) Но предположим, что они вычислили самый верный шаг. Но они забыли, что имеют дело с жизнью. В шахматной партии противник дожидается, пока ты снизойдешь и сделаешь свой ход. Все происходит вне времени, которое только и питает дерево, торопя его расти. Но время не в помощь шахматам. Только жизнь органично связана со временем, она развивается, она растет, как растет живое существо, а не как механическое сцепление причин и следствий — хотя задним числом ты сможешь показать своим ученикам и эти причины, и эти следствия, удивив их стройностью. Причины и следствия лишь знаки совсем иной силы — силы всепреодолевающего творчества. В жизни противник не ждет. Он сделает двадцать ходов, пока ты размышляешь над своим. И твой ход окажется страшной нелепостью. А чего, собственно, ему ждать? Ты видел, чтобы ждал танцор? Он танцует в паре и, таким образом, ведет партнера. Те, кто действуют, положившись на разум, всегда опаздывают. Поэтому я приглашаю править моим царством тех, в чьих руках кипит работа, и видно, что их руки вымесят хлеб.

Работник будет работать и работать, а логик под давлением жизни будет менять и менять свою логику.

LXVIII

Ошеломило меня и еще одно открытие — счастье ровно ничего не значит для человека, равно как и корысть. Единственное, в чем он всерьез заинтересован, — это в том, чтобы неустанно жить. Если он богач — обогащаться, если моряк — плавать на корабле, если грабитель — сторожить в засаде при свете звезд. Но если счастье — это беззаботность и безопасность, то я видел не однажды, как легко от него отказывались.

Мой отец озаботился судьбой гулящих в том смрадном квартале, что, словно отбросы, сползал по откосу к морю. Они протухали в нем, как сало, и заражали гниением путешественников. Он отправил отряд солдат за шлюхами — так отправляют экспедицию за редкостными насекомыми, желая изучить их нравы. И вот отряд не спеша шагает меж отсыревших стен прогнившего квартала. Он видит: за окнами жалких лачуг, жирно пахнущих прогорклой стряпней, сидят под лампами, которые им вместо вывесок, оплывшие женщины, бледные, как тусклый фонарь под дождем, их красные, как кровь, губы на тупых коровьих лицах сложены в мертвую улыбку — девушки ждут клиентов. По обычаю, чтобы привлечь внимание прохожих, они тянут заунывную песню, — бесформенные медузы распространяют вокруг себя слизь.

Обезнадеживающая жалоба оплетает улочку. Мужчина поддался ей, за ним захлопнулась дверь на полчаса, и в горькой скудости совершается обряд любви, заунывная мелодия сменяется учащенным дыханием мертвенно-бледного чудовища и каменным молчанием солдата, который купил у призрака право больше не думать о любви. Он пришел вытравить цвет у мучительных снов, потому что родился, возможно, среди пальм и улыбающихся девушек. Понемногу в дальнем странствии густая зелень пальм отяготила его сердце невыносимой тяжестью. Мучительно зазвенело серебро ручья, и улыбчивые девушки с гибкими, грациозными телами, с угадываемыми под легкой тканью нежными теплыми грудями все больше и больше касались сердца. Он принес свое жалкое жалованье в веселый квартал, прося избавить его от снов. И когда дверь открылась вновь, он твердо стоял на земле, самодостаточный, жесткий, высокомерный, он погасил свет, в лучах которого играло и

переливалось единственное его сокровище.

Посланный отряд вернулся, отъединив несколько полипов, ослепив их стальным блеском собственной неуязвимости. Отец показал мне на бледные растения.

— Благодаря им, — сказал он, — ты узнаешь, что правит всеми нами. Он приказал их одеть в новые платья, поселил каждую в чистеньком домике с журчащим ручьем у порога и приказал плести для него кружева. Платил он им вдвое против того, что они могли бы когда-нибудь заработать. Следить за ними он не велел.

— Жалкая болотная цвель теперь счастлива, — сказал он. — Если счастье в чистоте, покое и обеспеченности...

Но одна за другой они сбежали и вернулись в свою клоаку.

— Им нужна была нищета, — сказал мне отец. — Не потому, что они глупы и предпочитают нищету благополучию, а потому, что важнее всего для человека напряжение сил и жизни. Уютный дом, кружева и свежие фрукты показались им каникулами, забавной игрой и бездельем. Все это не казалось им настоящей жизнью, и они тосковали. Долгие годы нужно жить на свету, в чистоте и плести кружева, чтобы все это перестало быть радующим глаз зрелищем, а стало обязанностью, необходимостью, которые выручают тебя и поддерживают. Они получили, но ничего не отдали. И поэтому стали сожалеть о тяжелых часах ожидания — не оттого, что они горьки, а вопреки их горечи, — часах, когда они сидели и смотрели на черный прямоугольник двери, в котором время от времени появлялся ночной гость, жесткий и полный ненависти. С тоской вспоминали они, как перехватывало у них дыхание, будто от глотка отравы, если солдат, прежде чем войти; смотрел тяжелым взглядом, словно собираясь вести на бойню, и щупал глазами грудь... Ведь бывало и так: какой-нибудь из гостей протыкал какую-нибудь из хозяек кинжалом, словно бурдюк, чтобы не орала, когда он, отодвинув кирпич или черепицу, заберет весь ее капитал — несколько серебряных монет.

Они тосковали по своей грязной трущобе, где жили своим мирком, пили чай, если кому-то приходило в голову прикрыть веселый квартал, подсчитывали барыши, ругались и гадали друг другу по грязным ладоням. И быть может, нагадывали уютный, увитый цветами домик, где жили те, что почище их. В построенных мечтами домиках они и жили такими, какими видели себя в мечтах. Но ведь не меняют же нас путешествия. Вот я поселил тебя в замке, а ты поселил в нем свои огорчения, недовольства, мании, ты идешь по нему, прихрамывая, если ты хром, потому что нет заклинания, которое вмиг бы тебя переменяло. Мало-помалу, при помощи принуждений и страданий, я заставляю тебя переродиться, чтобы ты наконец сбылся. Но с чего перерождаться той, что проснулась вдруг в чистоте и уюте, — она зеваает, и, хотя ей не грозят больше трепки, заслышав стук в дверь, невольно втягивает голову в плечи и, если продолжают стучать, невольно надеется на что-то, — невольно, потому что знает: ночь больше не пошлет ей гостей. Она не устает больше от гнусностей ночи, но и не рада свободе утра. Судьбе ее можно теперь позавидовать, но она лишилась ежевечерней игры судьбы, она переселилась в будущее и живет жизнью, какой никогда не жила. Она не знает, как ей справиться с внезапными вспышками гнева, они достались ей от той мрачной, нечистой жизни и мучают, как мучают животных, которые долго прожили возле моря, страх перед приливом, хотя теперь они живут на равнине. Гнев возвращается, но нет несправедливой судьбы, против которой так хочется кричать и жаловаться в голос, — они похожи на мать, потерявшую ребенка, — прибывает молоко, но оно никому не нужно.

— Человек ищет напряжения сил и жизни, а вовсе не счастья, — повторил отец.

Мне опять говорят: время нужно экономить. «Для чего?» — спросил я. И мне ответили: «Чтобы его хватало и на культуру». Можно подумать, что культура — какое-то особое занятие. Хорошо, возьмем, к примеру, мать семейства, она кормит детей, убирает дом, штопает белье, и вот ее избавили от ее обязанностей, без нее накормлены дети, вымыт дом, заштопано белье. У нее освободилось время, его надо чем-то заполнить. Я даю ей послушать песню о детях, полную поэзии взращивания их и вскармливания, поэму домашнего очага, воспевающую значимость дома. Но она зевает, слушая ее, — все это уже не ее дело. Я ничего не скажу тебе словом «гора», если ты путешествовал только в паланкине, если не обдирали руки о шипы на склоне, если из-под ног у тебя не катились камни, если ветер на вершине не дул тебе в лицо. Ничего не говорит ей и слово «дом», если дом никогда не требовал от нее ни времени, ни усердия. Если не танцевали пылинки в солнечном луче, когда поутру она распахивала дверь, выметая из дома прах вчерашнего. Если никогда она не была королевой, вновь и вновь призывающей к порядку жизнь — жизнь, которая вновь и вновь одним своим присутствием нарушает все порядки, оставляя на столе грязные миски, в очаге потухшие угли и в углу мокрые пеленки уснувшего малыша, потому что жизнь скудна и полна чудес. Если она никогда не вставала на заре, сама, без всяких будильников, чтобы вернуть своему дому первозданную новизну, — так поутру охорашивается птица на ветке, приглаживая клювом перышки; если никогда не возвращала вещам хрупкое совершенство порядка, чтобы новому дню было что нарушать своими обедами и завтраками, играми детей, возвращением с работы мужа, сменяя этот порядок, словно воск. Если она не знает, что дом поутру — податливое тесто, а вечером — книга, полная воспоминаний. Если никогда не готовила белоснежной страницы. Что ты ей скажешь словом «дом», когда нет в нем для нее никакого смысла?

Если ты хочешь видеть в женщине свет жизни, попроси ее отчистить до блеска потускневший медный кувшин, и что-то от его блеска заискрится в сумерках. Если ты хочешь, чтобы женская душа стала молитвой и поэзией, ты придумаешь мало-помалу для нее дом, который нужно обновлять на заре...

А иначе?.. Да, ты высвободишь время, но какой в нем прок?

Только безумец делит: вот это культура, а вот это работа. Человек тогда возненавидит работу — мертвый груз своей жизни, игру, где ничего не поставлено на кон и не на что надеяться. Игруют не в кости — в стада, пастбища, в собственное золото. Ребенок играет в песок, но перед ним не комочки грязи, а крепость, гора или корабль.

Конечно, знаю и я, какое наслаждение для человека отдых. Я видел, как дремлет под пальмами поэт. Видел, как воин пьет чай с куртизанками. Видел, как теплым вечером сидит на пороге своего дома плотник. И конечно, все они счастливы. Но повторяю: им было от чего устать, они отдыхали от людей. Воин слушал пение и смотрел на танцы. Поэт, валяясь на траве, мечтал. Плотник дышал свежим воздухом. К себе они шли не сейчас. Существом их жизни была работа. Возьмем, к примеру, зодчего: вот у него возник замысел, он загорелся им, но значим зодчий только тогда, когда руководит постройкой храма, а не тогда, когда играет с приятелями в кости. И это будет правдой для каждого. Если ты экономишь время на работе — я не имею в виду отдых, расслабленные руки, дремлющий после напряжения мозг, — ты получаешь мертвое время. Если тырываешь жизнь на две, несовместимые друг с другом жизни: на работу и на досуг, работа становится ярмом, для которого жаль души, а досуг — пустотой небытия.

Только безумцы могут хотеть, чтобы чеканка перестала быть религией чеканщика и стала его ремеслом, не требующим души; только безумцы могут считать, что искусно сделанный чужими руками кувшин способен облагородить человека, — культура не плащ, ею невозможно одеться. Не существует фабрики, которая изготовляла бы культуру.

И я — я настаиваю: для чеканщиков существует единственная культура — культура самих чеканщиков, и состоит она в их каждодневных трудах, горестях, радостях, страданиях, опасениях, взлетах и тяготах их работы.

Для истинной поэзии плодотворна только та часть твоей жизни, которой ты принадлежишь целиком, которая для тебя и голод, и жажда, и хлеб для твоих детей; и она же твое воздаяние, ты можешь получить его, а можешь и не получить. Иначе ты только играешь в жизнь, и культура твоя — только пародия.

Сбываешься только тогда, когда преодолеваешь сопротивление. Но если ты на отдыхе, если ничего от тебя не требуется, если ты мирно дремлешь под деревом или в объятиях доступной любви, если нет несправедливостей, которые тебя мучают, нет опасности, которая угрожает, — что тебе остается, как не выдумать для себя работу, чтобы ощутить, что ты все-таки существуешь?

Но не ошибись, игра мало чего стоит, она вне принуждения необходимостью, и в любой миг ты можешь перестать играть. Я запрещаю считать, что одно и то же: лежать днем в своей, пусть пустой, пусть темной

— ради отдыха глаз, — комнате и лежать в темной камере, куда тебя заточили навечно, хотя поза та же и так же пусто вокруг и темно. И пусть даже свободный вообразил себя узником. Навести одного и другого на закате первого дня. Свободный в восторге от необычной игры, узник поседел. Узник не в силах рассказать, что пережил, у него нет подходящих слов, он похож на путника, тот преодолел перевал и оказался в неведомом для себя мире, все для него изменилось, изменился и он сам, но какими словами расскажешь о перемене?

Только дети втыкают в песок ветку, обращаются к ней «ваше величество» и всерьез благоговеют перед своей королевой. Но если я, желая обогатить любовью и облагородить людей, затеваю такую же игру, мне придется сделать из своей ветки божка, заставить всех поклоняться ему и приносить тяжкие жертвы.

Жертва уже не игра, и ветка принесет плоды: в человеке зазвенит любовь или страх. И если добровольный узник узнает, что ему и впрямь до конца своих дней не покинуть своей полутемной комнаты, он переживет такое, о чем и не подозревал, и от неожиданных видений у него побелеют волосы.

Работа вживляет тебя в мир. Пахарю мешают камни на поле, глядя в небо, он ждет дождя или, напротив, машет на дождь рукой, он в общении, он распространился, он познает. Ни одно из его движений не остается без ответа. Всякая религия тоже общение, она предугадывает праведный путь, один верен ему, другой ловчит, один узнает, что такое душевный покой, другой — что такое раскаяние. Желая видеть людей такими вот, а не иными, выстроил свой замок мой отец, и каждый шаг в нем вел тебя к определенной цели. Отец не любил бессмысленного топтанья скотины в хлеве.

LXX

Да, она была прекрасна, эта танцовщица, которую наконец схватила стража моего царства. Она была прекрасна, и никто не знал, откуда она. Мне казалось, если доведаться, где она живет, в моем царстве откроются неведомые доселе земли, пространные равнины, темные ущелья, тропы в пустыне, открытые всем ветрам.

«И у нее есть дом», — говорил я. Но видно было, что она нездешняя и живет среди нас как

посланница моих врагов. Мои слуги попытались сломить ее молчание, но ее прекрасное открытое лицо затуманилось лишь печальной улыбкой.

Прежде всего я чту в человеке то, что неподвластно огню. Оболочка человека, ты пьяна от тщеславия, ты — само тщеславие, когда смотришь на себя с такой любовью, будто в тебе и впрямь кто-то есть. Но палач поднес поближе к тебе горящие угли, и нутро твое растопилось и потекло из глотки. Дородный министр, неприятный мне своим высокомерием и составивший против меня заговор, не устоял перед угрозой пытки. Мокрый от пота, он выдал мне всех заговорщиков, он исповедался, признавшись во всех своих верованиях, тайных пристрастиях и любовных связях, он вывернулся передо мной наизнанку

— те, кто носит картонные доспехи, не таит про себя ничего. После того как он оплевал и отрекся от своих союзников, я спросил у него:

— Как ты устроен? Для чего важно выставляешь вперед живот, гордо закидываешь голову, складываешь губы в высокомерную улыбку? Для чего тебе доспехи, если внутри тебя нечего защищать? Человеку свойственно таить в себе нечто большее, чем он сам. Как самое драгоценное упасаешь ты свои дряблые тела, гнилые зубы и толстый живот, продав мне то, чему верил и чему они должны были послужить. Ты — бурдюк, урчащий ветром дурацких слов...

Когда палач ломал ему кости, на него было противно смотреть и еще более отвратительно слушать.

Но танцовщица, которой я угрожал, склонилась передо мной в плавном поклоне:

— Я сожалею, государь...

Я смотрел на нее, не говоря ни слова, и ей стало жутко. Побледнев, она присела еще более плавно:

— Я сожалею, государь...

Она думала, какие страшные ее ждут муки.

— Ты же знаешь, — сказал я ей, — твоя жизнь в моей власти.

— Я чту вашу власть, государь...

Тайна, которую она хранила, и готовность умереть за нее исполняли ее необычайной значимостью.

Она казалась мне дарохранительницей с чудесным бриллиантом внутри. Но я должен был исполнить свой долг перед царством.

— Твои поступки заслуживают смерти.

— Увы, государь... — она стала еще бледнее, будто призналась мне в любви. — Это будет справедливо...

Я знаю людей и понял невысказанное: «Справедливым, наверно, будет не моя смерть, а сохранность моей тайны...»

— Ты таишь про себя то, что дороже тебе юности, прекрасного тела, сияющих глаз, — продолжал я. — Ты веришь, что сохраняешь в себе что-то, но не будет ничего, когда ты умрешь.

Она смешалась, но только потому, что не нашла слов для ответа.

— Может, вы и правы, государь...

Я чувствовал, моя правота существует для нее только в царстве слов, где она не умеет защититься.

— Итак, ты покоряешься.

— Покоряюсь, государь. Простите, но я не умею говорить... Я ни во что не ставлю тех, кого сбивают с ног доводы. Слова призваны выражать тебя, но никак не руководить тобой. Они могут обозначить, но сами по себе пусты. Моя танцовщица была не из тех, кого распахивает ветер слов.

— Я не умею говорить, государь, и покоряюсь...

Я чту тех, кто среди разноречивых потоков слов остается неизменным, как мидель-шпангоут, кто в обезумевшем море неколебимо следует за своей звездой. По звезде определяю я и его путь. Любители логики на поводу у собственных слов, они ходят по кругу, как цепная передача.

Долго и пристально смотрел я на нее.

— Кто выковал тебя? Ты откуда? — спросил я. Она улыбнулась и не ответила.

— Станцуй.

И она начала танцевать.

Необычаен был ее танец, но я и не ждал иного, ибо она хранила в себе большее, чем она сама.

Ты смотрел на реку с вершины горы? Вот ей встретилась скала, не в силах перепрыгнуть через нее, река ее огибает, извивается по равнине, следуя понижениям почвы, медлит в излучинах, потому что мал перепад и ослабла сила, влекущая ее к морю. Вот задремала, разлившись озером, и вновь торопливо устремилась вперед, разрезав равнину, будто клинок.

И танцовщица считалась с силовыми линиями, и это мне больше всего понравилось, она останавливалась здесь, вольно летела там. Только что улыбалась, а теперь с трудом сохраняет улыбку, будто язычок пламени перед налетевшим ветром, то скользит с легкостью, будто по невидимому склону, и вдруг замедлила шаг, словно через силу карабкаясь вверх. Мне понравилось, с какой внезапностью она замерла, будто перед стеной. И как радовалась преодолению. И то, что смерть оборвала ее танец. Мне понравилось, что она торила собственный путь среди гор и равнин, а они ей противились, что были в ней помыслы благие и грешные. Что вглядывалась она в дозволенное и недозволенное. Что она сопротивлялась, соглашалась, отказывалась. Мне не понравилось бы, если бы она, плавно кружась, текла во все стороны, словно желе. Мне нужен стержень и крепкий ствол живого дерева, оно не свободно, занимаемое им пространство предопределено особенностями семечка.

Танец — судьба, танец — жизненный путь. Я хочу понять, каков ты и к чему стремишься, только на такие танцы я смотрю с интересом. Поток преградил тебе путь, тебе нужно на другую сторону, ты танцуешь перед потоком. Ты догоняешь любимую, соперник встал на дороге, и опять ты танцуешь. Танцуют клинки, если ты решил его убить. Танцуют паруса, если задумал опередить его и причалить раньше в том порту, куда он направился, — паруса танцуют, ловя невидимые повороты ветра.

Для танца необходим противник, но какой противник удостоит тебя танцем клинка, если ты — пустое место?

Но вот танцовщица прижала ладони к вискам, и сердце мое защемило болью. Я увидел в ней маску. Нет, не маску поддельного сопереживания, которую нацепляет на себя оседлый, — это не маска, это крышка пустой коробки. Ты — пустое место, если ничего в себя не впустил. Я увидел в ней древнюю маску, хранительницу наследия многих поколений. Увидел прочность семечка, которое устоит и перед палачом, — нет жернова, который выжал бы из него масло тайны. Оно — залог, и во имя него идут на смерть, благодаря ему умеют танцевать. Упражняя душу молитвой, музыкой или поэзией, строишь себя и становишься человеком. Светло и ясно смотрит на тебя обитаемый человек. И если снять слепок с его лица, маска покажет его внутреннее царство. Ты поймешь, что для него главное и как он станцует против своего врага. Но что знать о танцовщице, если она — необитаемая пустошь? Оседлые не танцуют. Зато в краях, где земля скудна, где плуг тупится о камни, где знойное лето иссушает ниву, где человек противостоит варварству, где варварски уничтожают слабых, рождаются танцы, потому что значим твой каждый шаг. Танец — это борьба в ночи с ангелом. Танец — и война, и совращение, и убийство, и раскаяние. Но каких танцев дождешься от раскормленной скотины в хлеве?

LXXI

Я запрещаю торговцам расхваливать свой товар. Слишком быстро они становятся учителями и научают видеть в средстве цель. Они сбивают нас с дороги, мы сбились и покатались вниз. Если торговцам нужно сбыть с рук пошлятину, они постараются опошлить тебе душу. Кто спорит: хорошо, что делаются вещи, которые служат человеку. Но нехорошо, если человек становится мусорницей для вещей.

LXXII

Мой отец говорил:

— Созидать — вот главное. Если в тебе мощь созидателя, не работай устроителем. Сто тысяч помощников будут служить созданному тобой и питаться им, словно черви мясом. Зачиная религию, не пекись о догмах. Сто тысяч толкователей позаботятся, чтобы они были. Созидать — значит создавать жизнеспособное, в творчестве нет формул. Если однажды вечером я причалил к городскому кварталу, что сполз к морю, как нечистоты, то вовсе не для того, чтобы рыть там канавы, устраивать поля орошения и дорожную службу. Я принес любовь к выскобленному порогу, и эта любовь породит мойщиков тротуаров, службу полиции и мусорщиков. Не выдумывай Вселенной, где по твоему распоряжению работа будет не отуплять человека, а возвышать его, где культуру будет зарабатывать труд, а не досуги. Не иди против законов тяготения. Измени тяжесть вещей. Воздействуй, как воздействует поэзия, руки ваятеля или музыка. Выводи как можно отчетливее мелодию благородного труда, насыщающего жизнь смыслом, заглушай пение досугов, которые видят в работе тяжкий долг, которые делят жизнь на безрадостный рабский труд и пустое безделье, — пой и пой и не заботься о логике, доводах и специальных указах. Вот увидишь, непременно найдутся толкователи и начнут объяснять, почему хороши твои песни и как нужно браться за дело. Они выберут этот вот путь и сумеют доказать, что он единственный. Значит, возник перепад, значит, потечет вода, а река установит свой порядок, и правда твоя восторжествует.

Главное — изменить уровень почвы, направление, устремление к... В перепадах сила приливов и отливов, мало-помалу без помощи всякой логики подтачивают они скалы и расширяют морскую империю. Повторяю тебе: если в картине есть мощь, она воплотится. Не пытайся начать с расчетов, свода законов и всяческих нововведений. Не придумывай, каким будет будущий город, город, который будет, не сможет на него походить. Внуши любовь к башням, вздымающимся над песком. И рабы рабов твоих зодчих лучше тебя разберутся, как доставить камни. Ведь и вода своим неуклонным стремлением к морю находит способ обмануть бдительность копани.

— Потому и не может быть зримым созидание, — говорил мне отец, — незрима и любовь, объединяющая дробность мира в царство. Бороться с созиданием так же нелепо, как пытаться его показать. От невиданного ты заслонишься удивлением, и на все, что бы тебе ни показали, будешь предлагать другое, еще лучшее. Но скажи, как показать царство? Если, рассказывая, ты начнешь дотрагиваться до каждой вещи, то перед тобой окажется груда вещей. Представь, ты рассказываешь о тишине в полумраке храма и при этом разбираешь храм по камешку — что подтвердит твоя куча камней? Она так далека от тишины. Но вот я беру тебя за руку, и мы идем с тобой вместе. Дорогу нам преграждает гора, и мы взбираемся на нее. Мы усаживаемся на вершине, я говорю с тобой, и мой голос кажется тебе голосом твоих собственных мыслей. Гора, которую я выбрал, расположила все именно так, а не иначе. Отвлеченный образ превратился в картину Она реальна. Ты сам ее часть. С чем тебе спорить? Если я поселил тебя в доме, ты живешь в нем и судишь обо всем с точки зрения домовладельца. Если я оставил тебя наедине с красавицей, жаждущей любви, ты влюбишься в нее. Разве сможешь ты не влюбиться только потому, что мой произвол вынудил тебя встретить ее здесь и сейчас, а не в другое время и в другом месте? Самое важное — чтобы ты был где-то. И создаю я только тем, что выбрал день и час без обсуждений, и вот они существуют. Тебе смешон такой произвол. Но слышал ли ты когда-нибудь, что влюбленный перестал любить, рассудив, что встреча — это чистая случайность, что женщина, которая томит ему душу, могла бы уже умереть, или еще не родиться, или жить неведомо где? Выбрав час и место, я создал в тебе любовь; знаешь ты или нет о моем участии — что изменит твоё знание? Оно не защитит тебя — и вот ты у меня в плену.

Если я хочу видеть тебя горцем, шагающим ночь напролет к звездной вершине, я создаю картину, и для тебя становится очевидным, что только молочный свет горних звезд утолит твою жажду. Я для тебя буду только случайностью, высветившей твою собственную внутреннюю необходимость, вроде стихов, которые берегут твои чувства. Знаешь ты или нет о моем участии — что это меняет? Почему твоё знание должно помешать тебе пуститься в путь? Может ли быть, что, толкнув дверь и увидев впотьмах сияние бриллианта, ты не пленился им только потому, что дверь открылась случайно и могла привести тебя совсем в другую комнату?

Если я уложил тебя в постель с помощью снотворного, то и сон, и снотворное подлинны. Сотворить, создать — значит поместить человека туда, где мир явится ему как желанное, и совсем не значит предложить ему новый мир.

Если я не сдвинул тебя с места и хочу показать тебе новую, придуманную мной Вселенную, ты ничего не увидишь. И будешь прав. С твоей точки зрения, моя выдумка — ложь, и ты справедливо защищаешь свою истину. Я ничего не добьюсь красноречием, блеском остроумия, парадоксами, потому что речь красна и остроумие сверкает, когда на них смотрят со стороны. Ты в восхищении от меня, но я ничего не создал, я — жонглер, фокусник, мнимый поэт.

Но если я иду по дороге, которая не праведна и не лжива, а просто есть, то как можно отрицать ее? И если я привожу тебя этой дорогой туда, откуда тебе открывается новая истина, ты не видишь, что сотворил эту истину я, не замечаешь ни моего красноречия, ни блеска остроумия, ни парадоксов, просто мы шли с тобой шаг за шагом; и можно ли в чем-то

упрекнуть меня, если от распахнувшейся шири у тебя захолонуло сердце, если эта женщина и впрямь сделалась красивее, а равнина просторнее. Я господствую, но мое господство не оставляет следов, отпечатков, знаков, ты не видишь их, против чего тебе протестовать? Только так я воистину творец, воистину поэт. Поэт и творец ничего не выдумывают, ничего не показывают, они вынуждают быть.

Суть творчества в преодолении противоречий. Свет, тьма, гармония, дисгармония, простота, сложность — все внутри человека. Все это — есть, есть — все, все. И когда ты хочешь с этим «всем» справиться при помощи своих неуклюжих слов и заранее продумать свои действия, то, за что бы ты ни схватился, все оказывается сплошными противоречиями. Но вот прихожу я, обладающий властью, и не собираюсь ничего тебе объяснять при помощи слов, потому что твои противоречия и впрямь неразрешимы. Я не собираюсь упрекать язык в лживости, он совсем не лжив, он просто неудобен. Я собираюсь позвать тебя на прогулку, и шаг за шагом мы придем с тобой и усядемся на вершине; оглядевшись, ты не увидишь своих противоречий, и я оставлю тебя постигать твою новую истину.

LXXIII

Смерть показалась мне сладкой.

— Дай мне, Господи, покой хлеба, — взмолился я, — порядок среди вещей и собранную жатву. Дай мне побыть, не требуй от меня становления. Я устал хоронить свое сердце. Я слишком стар, чтобы опять и опять растить молодые ветки. Одного за другим потерял я друзей, врагов, и печальный свет пустоты засветил мне на дороге. Я ушел, вернулся и вижу: люди толпятся вокруг золотого тельца, не так уж они и корыстны, просто глупы. И дети, что родились сегодня, дальше от меня, чем не знающие о Боге варвары на заре веков. Во мне тяжесть сокровища, но оно бесполезно, как музыка, которой никому не слышно.

Я начал трудиться с топором дровосека в руках и хмелел от пения деревьев. Думаю, если бы я нуждался в беспристрастии, я затворился бы в башне. Но я подошел к людям слишком близко и устал.

Яви мне Себя, Господи, все невмоготу, когда отдаляешься от Тебя.

После упоения торжеством мне приснился сон.

Да, тогда я был победителем и вошел в город. Осененная цветением знамен толпа запрудила улицы, славя меня гимнами и восторженными криками. Цветы устилали путь нашей славы. Но Господь послал мне одно только чувство — горечь. Я чувствовал себя пленником немощной толпы.

Толпа — плоть твоей славы, но как ты в ней одинок! Все, что льнет к тебе, не может с тобой соединиться, близость приходит лишь на дороге к Господу. В том, кто уповает вместе со мной, обрел я себе близкого. Мы — зерна одного колоса, ссыпанные в один мешок, и предназначены для испечения хлеба. Обожанием толпа иссушила меня, как пустыню. Мне не за что чтить ее, она заблуждается, я не нахожу в себе того, кого можно было бы обожать. Я не чувствую чужого чувства о себе, я тягочусь собой и устал волочить себя за собой повсюду, я хочу избавиться от себя, чтобы наконец слиться с Господом. Они курят мне фимиам, наполняя меня тоской и печалью, я чувствую себя пустым колодцем, к которому, ощущая жажду, приник мой народ. Мне нечем утолить ее, но и они, уповая на меня, не могут мне дать и капли воды.

Я ищу того, кто похож на окно, распахнутое на море. Зачем мне зеркало с собственным отражением? Оно переполняет меня тоской.

В этой толпе только мертвые, которых оставила суетность, кажутся мне достойными.

И когда говор толпы отдалился, как ничтожный шум, в который незачем вслушиваться, мне привиделся сон.

Скользкая отвесная гора вздымалась над морем. Гром грянул, будто треснул бурдюк, и растеклась тьма. Я упрямо карабкался к Господу, чтобы спросить Его о смысле всех вещей, чтобы понять, куда поведет путь преображений, который так действительно Он вменил мне.

Но на вершине горы я увидел лишь большой черный камень — это и был Господь.

«Это Он, — сказал я себе, — неизменный и вечный». Сказал, потому что не хотел оставаться в одиночестве.

— Господи, научи меня, — взмолился я. — Мои друзья, сотоварищи, слуги — всего лишь говорящие марионетки. Я держу их в руке и передвигаю по своей воле. Но не их послушливость мучительна для меня — я рад, если моя мудрость становится их достоянием. Мучает меня то, что они сделались моим отражением, и теперь я одинок, словно прокаженный. Я смеюсь, и они смеются. Я молчу, и они затихают. Моими словами, каждое из которых мне знакомо, говорят они, будто деревья шумом ветра. Только я наполняю их. Нет для меня благодетельного обмена, в ответ я всегда слышу лишь собственный голос, он возвращается ко мне леденящим эхом пустого храма. Почему их любовь повергает меня в ужас, чего мне ждать от любви, которая множит лишь меня самого?

Мокрый, блестящий гранит каменно молчал.

— Господи, — молил я, — в Твоей воле молчать. Но мне так нужен знак от Тебя. На соседней ветке сидит ворон, сделай так, чтобы он улетел, когда я кончу молиться. Он будет взмахом ресниц другого, чем я, и я больше не буду одинок в этом мире. Темный, неясный, но пусть у нас будет с Тобой разговор. Подай мне знак, что мне все дано будет понять со временем, я не прошу большего.

Я перевел глаза на ворона. Он сидел неподвижно. Я упал ниц перед камнем.

— Господи, — сказал я, — Ты прав во всем. Не Твоему всемогуществу соблюдать мои жалкие условности. Если бы ворон улетел, мне стало бы еще горше. Такой знак я мог бы получить от равного, словно бы опять от самого себя, он был бы опять отражением — отражением моего желания. Я опять бы повстречался со своим одиночеством.

Я поднялся с колен и пустился в обратный путь.

И случилось так, что темнота отчаяния сменилась безмятежно ясным покоем. Я увязал в грязи, обдирал руки о колючки, превозмогал бешеные порывы ветра и нес в себе ясный, безмятежный свет. Я ничего не узнал, но и не хотел ничего узнать, любое знание было бы тягостно мне и не нужно. Я не коснулся Господа, но Бог, Который позволяет дотронуться до Себя, уже не Бог. Не Бог Он, если слушается твоей молитвы. Впервые я понял, что значимость молитвы в безответности, что эту беседу не исказить уродством торгашества. Что упражнение в молитве есть упражнение во внутренней тишине. Что любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Любовь — это упражнение в молитвенном состоянии души, а молитвенное состояние души — укрепление во внутреннем покое.

Я вернулся к моему народу и впервые обнял его молчанием моей любви, понуждая своим молчанием приносить мне дары всю их жизнь. Опьяняя тишиной сомкнутых губ. Я стал для

них пастухом, хранилищем песнопений, хранилищем судеб, хозяином добра и жизни и был беднее всех и смиренней в своей гордыне, которой больше не позволял сгибаться. Я знал, что не мне брать у них. Во мне они должны были сбыться, и душа их должна была зазвучать в моем молчании. С моей помощью все мы вместе становились молитвой, которую рождало молчание Господа.

LXXIV

Ибо я видел, как мяли они свою глину. Приходили жены, трогали их за плечо: наступил час обеда. Но они отсылали жен обратно к горшкам, не в силах оторваться от глины. Наступала ночь, и ты видел: при тусклом свете керосиновой лампы они ищут для своей глины формы — какой? Они не сумели бы сказать. Охваченные усердием, люди не выпускают из рук своего дела, они срослись с ним, как яблоня с яблоком. Они — ствол, наливающий его соком. Они не оставят его, пока оно само, словно зрелый плод, не отпадет от них. И когда они трудятся, не щадя сил, разве думают они о деньгах, славе или будущей судьбе их творения? Работая, они работают не на купца и не на самого себя, они работают на глиняный кувшин, на изгиб его ручки. Не спя ночей, они вынашивают его форму, и мало-помалу она наполняет радостью их сердце, как наполняет женщину радость материнства по мере того, как тело ее заполняется младенцем и он мягко толкается в нем.

Но если я собираю вас всех вместе, чтобы вы лепили огромный кувшин, который, по моему замыслу, должен быть в сердце каждого города хранилищем священной тишины, то этот кувшин, обретая форму, должен вбирать что-то от каждого из вас для того, чтобы вы его полюбили, и тогда он будет для вас благом. Хорошо будет, если я соберу вас всех вместе строить морской фрегат, вы сладите ему стройный корпус, палубы, мачты, и наконец в день, прекрасный, словно день свадьбы, вы благодаря мне оденете его белоснежными парусами и подарите морскому простору.

Стук ваших молотков будет звенеть тогда, как песня, ваш пот и крики «Эх, взяли!» станут усердием, чудом будет спуск корабля — вода расцветет цветком.

LXXV

Вот поэтому-то единство любви мне видится как разнообразие колонн, сводов, выразительных статуй. Если пытаешься передать единство, приходишь к нескончаемому разнообразию. Не пугайся его.

Значима лишь безоглядность, присущая вере, усердию, страсти. Едино стремление вперед фрегата, но двигают его и тот, кто заточил стамеску, и тот, кто отмыл палубу, и тот, кто поднялся на мачту, и тот, кто смазал втулку.

Вас смущает неупорядоченность? Вам кажется, что мощь людей возрастает, если все они двигаются в одном направлении и делают одно и то же? Но повторяю: если речь идет о человеке, свод замыкается совсем не на очевидном. Нужно подняться, чтобы понять, где находится ключ свода. Не упрекаете же вы скульптора за то, что, ища выражение чему-то очень сущностному, он, пусть предельно все упростив, передал его с помощью глаз, губ, морщин, пряди волос, он должен был сплести нити для той ловушки, которая сможет ловить добычу, — ловушки, благодаря которой, если только ты не слеп и не воротишь заранее носа,

ты узнаешь такую несказанную тоску, что в тебе откроется что-то новое. Не упрекай и меня за неупорядоченность моего царства. Единство людей — ствол, выбрасывающий разные ветви, — вот цельность, к которой я стремлюсь и которая и есть суть моего царства, она видна, когда отдались. А вблизи видишь суету матросов, каждый из них тянет в свою сторону свой канат. Издалека виден фрегат, плывущий по морю.

Скажу больше: если я воодушевлею мой народ любовью к морским странствиям, если их отягощенные любовью сердца подтолкнут их всех к единому руслу, ты увидишь, как по-разному каждый из них будет действовать в зависимости от склада своей природы. Один будет ткать паруса, другой блестящим топором валить сосны. Один ковать гвозди, другой наблюдать за звездами, чтобы научиться управлять кораблем. И все-таки они будут единым целым. Корабль строится не потому, что ты научил их шить паруса, ковать гвозди, читать по звездам; корабль строится тогда, когда ты пробудил в них страсть к морю и все противоречия тонут в свете общей для всех любви.

Поэтому все на свете союзники мне и я открываю объятья моим врагам, чтобы они укрепляли меня и возвышали. Я знаю: есть ступень, с которой наша схватка покажется мне любовным бореньем.

Я создаю корабль совсем не тем, что продумываю его во всех деталях. Если я примусь в одиночку чертить чертежи, я упущу главное. Когда дело дойдет до строительства, чертежи мои не понадобятся, их сделают другие. Не мне знать каждый гвоздь корабля. Мой долг разбудить в людях стремление к морю.

Я расту, словно дерево, и чем я выше, тем больше у меня корней. И мой храм — он целен, но строит его и тот, кто полон раскаяния и ваяет лик совести, и тот, кто умеет наслаждаться и ваяет улыбку. Строит тот, кто, противостоя мне, сопротивляется, и тот, кто предан мне и пребывает верным. Не упрекайте меня за неупорядоченность и отсутствие дисциплины, я признаю одну дисциплину — дисциплину жаждущего сердца, и, когда вы войдете в мой храм, вас покорит его цельность и величие тишины. Увидев, что молятся в нем преданный и непокорный, ваятель и каменотес, ученый и неграмотный, веселый и грустный, не говорите мне о чужеродности: всех их питает один корень, благодаря их общим усилиям возник храм, благодаря храму каждый из них отыскал собственный путь становления.

Не прав тот, кто печется о внешней упорядоченности, он печется о ней потому, что не может подняться на ту высоту, откуда видны храм, корабль и любовь. Вместо подлинного порядка он устанавливает полицейский режим, при котором все должны одинаково тянуть ногу и идти в одну сторону. Но если все твои подданные стали одинаковыми, то это совсем не значит, что ты достиг единства, среди тысячи одинаковых колонн ты не в храме — в зеркальной комнате. Совершенная упорядоченность в твоём понимании предполагает уничтожение всех твоих подданных, кроме одного.

Храм — вот подлинный порядок. Любовь зодчего, будто корень, питает и соединяет воедино строителей и строительные материалы, она создает цельность, длит и придает силу всему, что разнообразно.

Нет, дело не в том, чтобы возмущаться людской непохожестью, противоречивостью желаний и устремлений, несхожестью языка, — радуйся этому, потому что ты — творец, ты — зодчий, и тебе придется строить огромный храм, чтобы в нем поместились все.

Я зову слепцом того, кто, воображая, будто что-то создал, разобрал храм и сложил все камни в прямую линию.

Ты будешь говорить и в ответ услышишь возмущенные крики — не обращай внимания: новая истина — это всегда новизна нежданных связей (в ней нет доказательности логики, за которой можно проследить от следствия к следствию). Каждый раз, когда ты будешь указывать на деталь своей новой картины, тебя упрекнут, что во всех других ей отведена совершенно иная роль, и не поймут, что именно ты им показываешь, и будут спорить с тобой и спорить.

И тогда ты попросишь: «Откажитесь от того, что считаете вашим, позабудьте и вглядывайтесь, не противясь, в новизну моего творения. Станьте куколкой, только так вы сможете преобразиться. А преобразившись, вы мне скажете, стало ли в вас больше света, умиротворения и широты».

Ни истина, ни статуя, которую я ваяю, не открываются деталь за деталью, частность за частностью. Это — целое, и судить о них можно, когда они завершены. Находясь внутри картины, невозможно ее обозреть. Истинность моей истины в том человеке, который рождается благодаря ей.

Представь себе, что я решил отправить тебя в монастырь, желая, чтобы ты изменился. А ты просишь, чтобы монастырской стеной я окружил твою суетную жизнь, житейские заботы, ты желаешь понять, что такое монастырь здесь. Я не стану даже отвечать тебе, я промолчу в ответ на твою просьбу. Что такое монастырь, поймет иной, чем ты, и его я должен извлечь из тебя. Я должен принудить тебя к становлению.

Возмутит и твое принуждение, не обращай внимания. Крикуны были бы правы, если б ты насильствовал главное в них, лишал их величия. Чтить в человеке можно только благородство. Но они видят справедливость в том, чтобы жить без изменений, пусть даже в гниющих язвах, потому что с ними они появились на свет. Если ты вылечишь их, ты не оскорбишь Господа.

LXXVII

Вот почему я могу утверждать, что не отвергаю, но и не соглашаюсь. Я не податлив, не мягок, но и не прямолинеен. Я принимаю несовершенство человека, но к человеку я требователен. Противник для меня не шпион и не виновник наших зол, которого я хочу публично унижить и сжечь на площади. Я принимаю моего противника целиком, и вместе с тем я не соглашаюсь с ним. Хороша и желанна холодная вода. Хорошо и желанно вино. Но мешая воду с вином, я готовлю питье для кастратов.

Нет в мире людей заведомо неправых. Кроме тех, кто выводят заключения, доказывают, аргументируют: они в плену бессодержательного языка логики и не могут ни ошибиться, ни обрести правоты. Они просто шумят, но если возгордятся своим шумом, то из-за него может долго литься человеческая кровь. Этих я отсекаю от моего дерева.

Прав только тот, кто согласен пожертвовать своим телесным сосудом, чтобы спасти хранимое в нем. Я тебе уже говорил об этом. Покровительствовать слабым или помогать сильным — вот вопрос, который тебя мучает. Ты поддерживаешь сильных, а твой противник — он противостоит тебе, — он покровительствует слабым. И вы принуждены сражаться, один — желая предохранить свои земли от демагогической гнили, воспевающей язвы ради язв, другой — чтобы избавить свою землю от жестокости рабовладельцев, которые действуют бичом и принуждением и не дают возможности человеку стать самим собой. В жизни это противоречие так настоятельно, что приходится решать его оружием. Все идеи нужны,

потому что, когда остается только одна идея (и заполняет все, как трава) и нет противоположной ей, которая бы ее уравновешивала, идея станет ложью и пожрет жизнь.

Идею взрастило поле твоего разума, но какое оно крошечное, это поле, — посмотри! И вот еще о чем вспомни: представь, на тебя напал бандит, ты же не сможешь разом чувствовать боль ударов и продумывать тактику борьбы; в открытом море ты не сможешь разом бояться кораблекрушения и травить от качки, боится тот, кого не тошнит, а тот, кого тошнит, не боится. Если нет возможности объясниться по-новому, то как мучительно проживать одно и, по привычке, думать другое.

LXXVIII

Пришли ко мне с упреками — нет, даже не геометры моего царства, да и был он у меня один и уже умер, — пришли представители от толкователей моих геометров, а было этих толкователей десять тысяч.

Когда надобится корабль, хозяин заботится о гвоздях, мачтах, досках для палубы, он запирает в каземат десять тысяч рабов и несколько надсмотрщиков с бичом, и корабль является во всей своей славе. И я ни разу не видел раба, который тщеславился бы тем, что одержал победу над морем.

И когда надобится наука расчетов, ученый не разрабатывает ее сам, идя от следствия к следствию, потому что на этот труд у него не хватит ни сил, ни времени, он собирает десять тысяч помощников, которые оттачивают теоремы, разрабатывают плодотворные находки и пользуются плодами растущего дерева. Они уже не рабы, их не подгоняет бич надсмотрщика, и многие из них мнят себя равными единственно истинному геометру, во-первых, потому, что они его понимают, во-вторых, потому, что обогатили его творение.

Но я, зная, что работа их драгоценна, — ибо прекрасно, когда умножается жатва разума, — и не зная вместе с тем, как далека она от подлинного творчества, которое рождается в человеке всегда бескорыстно, непреднамеренно и свободно, не приближал их к себе, опасаясь, как бы их разросшаяся гордыня не сочла и меня равным им. И слышал, как, жалуясь на это, они переговаривались между собой.

И вот что они говорили:

— Мы протестуем во имя разума, — говорили они. — Мы — пастыри истины. Законы царства установлены божеством куда менее надежным, чем наше. За них стоят твои воины, и тяжесть их мускулов способна нас раздавить. Но разум, которым мы владеем даже в тюремных подземельях, будет против тебя.

Они говорили так, понимая, что им не грозит мой гнев. И переглядывались, довольные собственным мужеством. А я? Я размышлял. Единственно подлинного геометра я приглашал каждый день обедать. Ночами, томясь бессонницей, я приходил к нему в шатер и, благоговейно разувшись у порога, пил с ним чай, вкушая мед его мудрости.

— Ты — геометр, — говорил я ему.

— Я в первую очередь не геометр, а человек. Человек, который время от времени размышляет о геометрии, если не занят чем-то более существенным, например едой, сном или любовью. Но теперь я состарился, и ты конечно же прав: я теперь только геометр.

— Тебе открывается истина...

— Я бреду на ощупь и, как малый ребенок, осваиваю язык. Я не нашел истины, но мой язык доступен людям, как твоя гора, и с его помощью они создают свои истины.

— Слова твои горьки, геометр.

— Мне бы хотелось отыскать во Вселенной след Божественного плаща и прикоснуться к истине, которая существует вне меня, словно к Богу, что так долго прятался от людей. Мне хотелось бы ухватить эту истину за край одежды и откинуть покрывало с ее лица, чтобы показать всем. Но мне было дано открыть истину только о самом себе...

Так говорил геометр. А эти грозили мне гневом своего божества, вознося его над собой.

— Говорите тише, — попросил я. — Возможно, понимаю я плохо, но слышу хорошо.

И, умерив голоса, они продолжали перешептываться. Наконец один из них заговорил со мной. Они подтолкнули его вперед, потому что он уже начал сожалеть о взятой на себя смелости.

— Мы воздвигли перед тобой твердыню истины, — начал он. — Где ты видишь в ней произвол творчества, руку ваятеля или поэта? Наши теоремы вытекают одна из другой по законам строжайшей логики, в нашем творении нет ничего от человека.

Итак, с одной стороны, они притязали на владение безусловной истиной — вроде племен, утверждающих, что вот этот раскрашенный деревянный божок насылает молнии, — и, с другой стороны, равняли себя с единственно подлинным геометром, потому что с большим или меньшим успехом разрабатывали или открывали, но никак не творили.

— Посмотри, мы покажем тебе, как соотносятся элементы в различных фигурах. Твои законы мы можем нарушить, но преодолеть наши ты не в силах. Ты должен сделать министрами нас, ибо мы знаем.

Я молчал, размышляя о глупости. Мое молчание обеспокоило их, твердость их поколебалась.

— Прежде всего мы хотим служить тебе, — добавили они. И я им ответил:

— Вы настаиваете, что обошлись без творчества, и это прекрасно. Кривые творят кривых. Надутые мехи способны сотворить только ветер. Если вы займетесь царством, то почтение к логике, которая хороша для свершившегося события, законченной статуи и покойника, поведет к тому, что все в нем будет готово сдать мечам варваров.

Однажды ранним утром вышел человек из шатра и направился к морю, поднялся на отвесную скалу и упал с нее. С нами были логики; взглядыываясь в следы, они установили истину. Потому что ни одно звено не выпало из цепочки: шаг следовал за шагом, и не было ни единого, который бы не возникал из предыдущего. Следуя шаг за шагом, от следствия к следствию, была определена причина смерти, и мертвое тело принесли к шатру. Проделав обратный путь от причины смерти к ее возникновению, мы подтвердили неизбежность смерти.

— Теперь все понятно! — вскричали логики и поздравили друг друга.

А мне-то казалось, что понять — значит ощутить, как иной раз доводилось и мне, какой-то неуловимо счастливый проблеск, что пугливее замершей водной глади, потому довольно и промелькнувшей мысли, чтобы он исчез, — он мелькнул и словно бы не существует, он тронул лицо спящего — спящего чужака в шатре за сто дней пути от меня.

Потому что творческое озарение ничуть не похоже на то, что выйдет из-под твоих рук, оно исчезает безвозвратно, и никакие следы не помогут тебе его восстановить. Следы, отпечатки,

знаки говорят, выстраиваясь в цепочку, вытекая одно из другого. Логика и есть та тень, которую отбросило творческое озарение на стену реальности. Но эта очевидность не очевидна еще человеческой близорукости.

И поскольку мои логики ничего не поняли, я, по доброте своей, стал наставлять их дальше.

— Жил на свете один алхимик, — заговорил я, — он хотел раскрыть тайну жизни. И случилось так, что при помощи реторт, перегонных кубов, всяческих порошков и растворов ему удалось получить крошечный комочек живого теста. Набежали логики. Они повторили опыт, смешали порошки и растворы, зажгли огонь под ретортой и получили еще один живой комочек. Ушли они, громко крича, что тайна жизни больше не тайна. Что жизнь — естественная последовательность причин и следствий, взаимодействие при нагревании элементов, не обладающих жизнью. Логики, как всегда, все великолепно поняли. Но не поняли того, что природа созданного и природа творчества не похожи друг на друга, творческая сила, исчерпавшись, не оставляет следов. Недаром творец всегда покидает свое творение, и творение поступает в распоряжение логики. И я смиренно отправился за разъяснениями к моему другу геометру. «Где увидел ты новое? — спросил он. — Жизнь породила жизнь. Новая жизнь возникла благодаря алхимику, а алхимик, насколько я знаю, жив. О нем забыли, так оно и положено, творец растворяется и оставляет нам творение. Ты довел своего спутника до вершины горы, и он увидел примиренными все противоречия, гора для него — реальность, существующая помимо тебя, он на ней — в одиночестве. Никто не задумается, почему ты выбрал именно эту гору, она есть, и человек стоит на ней, потому что естественно, чтобы человек находился где-то».

Но мои логики не перестали перешептываться, на деле логики совсем не логичны.

— Вы самонадеянны, — сказал я им, — вы изучили танец теней на стене и уверились, что обладаете знанием. Шаг за шагом прослеживаете вы ход теоремы, забывая о том, кто положил свою жизнь на то, чтобы ее создать. Вы читаете следы на песке, не понимая, что прошел человек, которого разлучили с его любовью. Вы изучаете, как из мертвых элементов возникает жизнь, забывая о живом человеке, который подбирал эти элементы, ища и отказываясь. Не подходите ко мне, рабы, — в руках у вас жалкие молотки, но вы возомнили, что создали и пустили в плавание корабль!

Истинным геометром был тот, кто уже умер; если бы он захотел, я посадил бы его рядом с собой, и он направлял бы людей. В нем дышало дыхание Господа. Язык, которым он говорил, делал ощутимым присутствие далекой возлюбленной, которая не оставила следов на песке и о которой поэтому невозможно ничего узнать.

Из множества возможных вариантов он умел выбрать тот, который не обеспечил пока никому удачи, но был единственным, который открывал путь дальше. Нет путеводной нити в лабиринте гор, логик тебе не в помощь, если кончилась вдруг торная дорога, если перед тобой пропасть, если ни один человек не ступал на противоположный склон; тогда на помощь тебе посылается проводник — он словно бы уже побывал там, впереди, и намечает тебе дорогу. Пройденная дорога — очевидность. Ты забываешь о чуде, когда вел тебя вернувшийся к тебе из неведомого проводник.

LXXIX

Пришел противник моего отца.

— Счастье людей... — начал он. Отец прервал его:

— Не приноси в мой дом шелухи. Я принимаю лишь те слова, в которых ощутима внутренняя весомость, скорлупу я отбрасываю.

— И все же, — продолжал тот, — если правитель царства не озабочен в первую очередь счастьем подданных...

— Я не бегу со всех ног, стараясь припасти как можно больше ветра, — отвечал отец, — ведь стоит остановиться, ветер стихнет.

— Если бы я был государем, — настаивал тот, — мне хотелось бы, чтобы подданные мои были счастливы...

— Вот теперь, — отвечал отец, — я слышу тебя лучше. Слова твои не пусты. В самом деле, я видал людей счастливых и несчастных, видал толстяков и худышек, калек и здоровяков, живых и покойников, и мне нравятся счастливые люди, нравится, когда они живут, а не умирают. И еще мне нравится, когда одно поколение перетекает в другое.

— Стало быть, мы думаем одинаково! — вскричал тот.

— Нет, — ответил отец. И продолжил:

— Ты сказал — «счастье». Объясни, что ты имеешь в виду — душевное состояние, когда человек чувствует себя счастливым, как иногда чувствует себя здоровым? Но какое я имею отношение к усердию чужих чувств? Или счастье кажется тебе достижимым состоянием общества и я должен хотеть достигнуть его? Но каково оно, это состояние?

Один счастлив в покое, другой — в сражении, одного погружает в экстаз одиночество, другого — шумный и пышный праздник, один наслаждается научными изысканиями, ища ответы на вопросы, другой обрел благодать в вере, для которой не существует вопросов.

И если я начну объяснять, что такое счастье, то получится: для кузнеца

— счастье ковать, для моряка — уходить в плавание, для богатого — богатеть, но, сказав так, я ничего не объяснил. К тому же для богача счастьем может быть море, для кузнеца деньги, а для моряка безделье. Вот и ускользнул от тебя бесплотный призрак, который ты вознамерился поймать.

Не старайся во что бы то ни стало постичь смысл слова, подлинный смысл не в словах, но как вознаграждение он открывается тебе и в словах тоже. Такая же награда тебе красота, я ценю красоту, но не верю, что красоту можно создать целенаправленно. Разве говорит ваятель: «Из этого мрамора я высеку что-то необыкновенно красивое»? Изготовители безделушек тешат себя такой чувствительной чепухой. Настоящий ваятель говорит: «Что-то мучает меня, и я бьюсь над мраморной глыбой, чтобы это что-то выразить. У меня нет другого способа высказать это и избавиться от мучений». Пусть мраморное лицо будет обрюзглым и старым, пусть будет бесформенной маской, пусть будет сонным и юным — если скульптор велик, оно покажется тебе прекрасным. Красота не цель, она — вознаграждение.

И когда я сказал тебе, что для богатого счастье богатеть, я солгал. Счастьем называют упоение, венчающее победу, блаженство, вознаграждающее за усилия и труды. Если богач вдруг чувствует, что раскинувшаяся перед ним жизнь упоительна, то это будет та же радость, которой одарит тебя пейзаж, созданный твоим тяжким подъемом в гору.

И если я скажу тебе, что счастье грабителя — сидеть в засаде при свете звезд, значит, и в нем что-то можно спасти, это «что-то» и вознаграждает его счастьем. Как-никак он принял холод, опасность и одиночество. И уверяю тебя, от золота, которого он дожидается, он ждет внезапного преображения: в один миг преображается он в ангела, у него, телесного и

уязвимого, вырастают крылья, когда, прижав золото к груди, он мчится в тучный и изобильный город.

В молчании моей любви я подолгу наблюдал за теми, кто лучился счастьем. И видел: счастье озаряло их, будто красота статую, — тогда, когда его не искали.

Я убедился, счастье всегда знак того, что перед тобой хороший человек с добротным сердцем. Только той, что способна сказать: «Я так счастлива!» — открой свой дом на всю жизнь, потому что у нее благодарное сердце.

Так не требуй от меня, государя, счастья для моего народа. Не требуй от меня, ваятеля, красоты, — иначе я застыну на месте, не зная, где ее искать. Красота прилагается, как прилагается и счастье. Требуй, чтобы я вложил в мой народ такую душу, которую мог бы озарить свет счастья.

LXXX

Я вспомнил давние слова моего отца.

«Чтобы созрел апельсин, — говорил он, — мне нужны удобрения, навоз, лопата, чтобы выкопать яму, нож, чтобы отсечь ненужные ветки; тогда вырастет дерево, способное расцвести. Но я — садовник, я занят землей, я не забочусь ни о цветах, ни о счастье, потому что прежде цветов должно быть дерево и прежде счастья должен быть человек, способный стать счастливым».

Но собеседник продолжал спрашивать:

— Но если не к счастью — к чему тогда стремятся люди?

— Об этом я расскажу чуть позже, — отвечал отец. — Но вот что произошло: ты усвоил, что ощущение счастья сопутствует трудно доставшейся победе, и с присущей логике недалекновидностью заключил, что люди борются, стремясь обрести счастье. А я, пользуясь той же самой логикой, скажу тебе: поскольку жизнь завершается смертью, всю жизнь люди стремятся к смерти. И так мы будем перебрасываться словами, словно бесформенными медузами. Но я скажу тебе другое: случается, что счастливые отказываются от своего счастья и идут воевать.

— Только потому, что исполнение долга для них — высшее счастье.

— Мы не сможем разговаривать, если твое слово будет медузой, то и дело меняющей форму. Нагрузи слово смыслом, с которым можно согласиться или отвергнуть. Если счастье в одно и то же время и откровение первой любви, и предсмертная рвота, когда пуля, войдя в живот, открывает бездонный темный колодец, то как соотносить мне твое слово с жизнью? По существу, ты утверждаешь одно: люди ищут то, что ищут, и стремятся к тому, к чему стремятся. Возразить тебе невозможно, и мне нечего делать с твоей неоспоримой истиной.

Ты жонглируешь словами. Но если ты откажешься от своей чепухи и согласишься, что человек уходит на войну не за счастьем, и все-таки будешь настаивать, что все действия человека обусловлены стремлением к счастью, тебе придется признать, что уход на войну — сумасшествие. Тогда я попрошу тебя объяснить, что такое сумасшествие. И если сумасшедший — это тот, кто, бессмысленно глядя, пускает слюни или ходит на руках, то при виде марширующих солдат твое истолкование не покажется мне убедительным.

Но, возможно, язык, на котором ты говоришь, мешает тебе увидеть, к чему все-таки стремятся люди. И к чему стремлюсь привести их я. Ты взял слишком маленькие сосуды, вроде «счастья» или «сумасшествия», и попытался вместить в них жизнь. Ты похож на малыша с совком и ведерком, который собрался переместить Атласские горы.

— Так научи же меня, — попросил тот.

LXXXI

Если, живя жизнь, ты послушен не велениям души или сердца, но руководишься соображениями, которые возможно выразить словами и которые умещаются в них целиком, нам не о чем с тобой говорить. Значит, ты не знаешь, что слова не более чем знак. Возьми, например, имя твоей жены, оно только знак и само по себе ничего не содержит. Ты не можешь что-то постичь из имени, потому что не в нем суть. Тебе не придет в голову сказать: «Ее зовут Мари, поэтому она такая красивая».

Так что, сколько бы ты ни рассуждал о жизни, жизнь остается жизнью, а слова словами.

С чего же ты решил, что слова о жизни равны самой жизни? Слово обеспечено неким залогом, и случается, что залог надежней там, где слово менее искусно. Выигрыш на словах мало что значит. Жизнь — это то, что есть.

Если язык, которым ты говоришь со мной, объясняя, почему поступил так, а не иначе, не иносказание, как это бывает в поэзии, если я не чувствую сквозь него твоей глубинной сущности и стремления высказать несказанное, что мне в твоих доводах? Я отмечаю их, как пустой сор.

Если распорядилась тобой не любовь, внезапно настигшая тебя благодаря чудесно явленной картине, а бестолковый ветер слов, шуршащий бесплодной логикой, я отстраняюсь от тебя.

Не жертвуют жизнью знаку — умирают за то, что он обозначил. Но если ты попытаешься выразить, что же он обозначил, тебе не хватит книг всех библиотек мира. Ты ощутишь полновесность слова «гора» в моей поэме, только если сам карабкался по камням на вершину. Но сколько слов и сколько лет понадобится мне, чтобы объяснить тебе, что такое гора, если ты живешь на степном берегу у моря?

Как рассказать, что такое родник, если тебе никогда не хотелось пить, ты не складывал руки ковшиком и не зачерпывал ледяной воды? Я могу сколько угодно воспевать родники, но где память о трудной дороге, о ноющих от усталости ногах?

Я знаю, главное не родник, главное — Бог. Но для того, чтобы мои слова задели за живое, чтобы и для тебя, и для меня они стали врачующим скальпелем, они должны отыскать в тебе это живое место. Да, я хочу открыть тебе Господа, но сперва заставлю вскарабкаться на вершину горы, чтобы с тобой заговорили звезды. Отправлю умирать от жажды в пустыню, чтобы родник заморозил тебя. Полгода ты будешь ломать камень в каменоломне, и каждый день тебя будет палить нещадное солнце. А потом скажу: «Истомленный нещадным зноем, поднялся он в сумерках на вершину горы и под сияющими звездами в тишине напился из Господнего родника и больше не жаждал».

Ты согласишься в Бога.

Против чего тебе возражать? Ты ощутил, что такое Бог, и Он просто будет, как будет печальным лицом, если я его изваяю печальным.

Нет языка вне деяний твоих и поступков, Бог един. Поэтому я называю трудом молитву и молитвой труд.

LXXXII

Необходимость постоянства — вот что я ощутил как великую истину.

На что опереться, если все кончается вместе с тобой? Я вспомнил народ, который чтит как богов своих мертвых. Родовой склеп принимал одного за другим тех, кому пришел черед умереть. Склеп олицетворял постоянство.

— Вы счастливы? — спросил я.

— Мы знаем, как мирен ожидающий нас сон, и как же не быть нам счастливыми?

LXXXIII

Я устал. Изнемог. И, наверное, был бы честнее, если б сказал: чувствую, что оставлен Господом. Больше не было надо мной замкового камня, смолкло во мне эхо. Смолк тот голос, что говорил со мной в тишине. Я поднялся на самую высокую из башен и подумал: «Для чего они, эти звезды?» Оглядел мои земли и спросил: «Для чего они, эти земли?» Услышал жалобу сонного города и не понял: «Откуда она, эта жалоба?» Я был иноземцем, отчужденным от разноликой чужезычной толпы. Был платьем, брошенным на спинку стула. Был бессильным и одиноким. Опустелым, нежилым, как дом, и как мне не хватало замка свода! Все распалось во мне, ничто ничему не служило. «Однако я все тот же, — думал я.

— Все то же знаю, все то же помню, все то же вижу и, несмотря на это, тону в бессмысленном дробном мире». Самая прекрасная из часовен — мертвый камень и ничего больше, если перед ней никто не благоговеет, не вкушает ее тишины и, сподобившись благодати, не молится от всего сердца. Что толку в моей мудрости, чувствах, памяти? Я сухая колючка, а не травинка. И мне скучно, как бывает скучно оставшимся без Господа.

Я не мучаюсь, мучается человек, а я — пустое место. Мне так скучно, что хоть разорь сады, по которому я слоняюсь взад и вперед, словно жду кого-то. Жду и жду среди расплывающейся Вселенной. Я молился Господу, но молится человек, а я — оболочка, свеча, которую не зажгли. «Вернись ко мне, мое рвение, мое усердие», — просил я. Я знаю:

свяжи все воедино, и возникнет рвение. Оно есть, когда у корабля есть капитан. Когда есть паломники в часовне. Но что остается, кроме бессмысленного камня, если невнятен замысел ваятеля?

И тогда я понял: тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа. Он миновал вещь и потянулся за смыслом, отстранил слова, вслушиваясь в мелодию, отвел ночь и звезды, притрагиваясь к вечности. Господь и есть смысл твоих слов, и, напитавшись смыслом, слова открывают тебе Господа. Слезы малыша ножом полоснули сердце, и распахнулось окно на соленый океан. В тебе зазвенел не его плач — все плачи. Малыш взял тебя за руку и научил слышать.

— Для чего, Господи, заставляешь меня идти по пустыне? Я весь в шипах и колючках. По

одному твоему знаку пустыня бы преобразилась — желтый песок, дальний горизонт, жгучий ветер не жили бы по отдельности, стали бы царством, я воспрял бы духом и проникся Твоей близостью.

Но я понял: если Бог отдалился, Он подает о Себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла. Для мужа исполнена смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, эта любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему, нет Божественного узла, связующего все воедино. И у них нет больше ничего.

«Если Господь оставит и мой народ, как оставил меня, — думал я, — у меня будет муравейник с муравьями, потому что в душе их угаснет рвение. Не играют в кости, если кости — костяшки и ничего больше».

И я понял, что ум мне не в помощь. Да, конечно, можно продумать кладку храма, но кладка не главное — главное не в камнях. Да, конечно, можно продумать, какими будут нос, уши, губы статуи, но они не главное — главное не в глине. Главное — залучить Божественный свет. Он осеняет расставленные нами ловушки, чуждые его природе.

Я — ваятель, я высек статую, статуя есть принуждение. Образ всегда принуждение. Я что-то уловил и сжал кулак, желая не упустить. Не говори мне о свободе поэтического слова. Я подчинил слова друг другу следуя своему внутреннему порядку.

Может случиться, что мой храм разберут и сложат из камней другой. Есть смерть, есть рождение. Но не говори, что у камней есть свобода, — есть храм.

Я не вижу, в чем противоречит принуждение свободе. Чем больше проторил я дорог, тем свободнее ты в выборе. Хотя каждая из дорог — принуждение, потому что я оградил ее дорожными столбами. И что ты имеешь в виду, говоря «свобода» и не видя перед собой ни одной дороги? Или ты называешь свободой блуждание наугад в пустоте? Поверь, принуждение новой дороги увеличит твою свободу.

Без пианино, гитары сможешь ли ты свободно отдаться музыке? Твоей статуе необходимы уши и нос, вот тогда ты свободно ищешь улыбку. Запреты, ограничения, правила шлифуют, оттачивают культуру, благодаря им так утонченно изысканны ее плоды. За толстыми стенами моего замка душевная жизнь богаче, чем у подонков на пустыре.

Добровольные и недобровольные обязательства — вот отличие свободы от принуждения, с любовью или без любви, но мы обязаны поклониться королю. Желаящий подняться повыше или собрать духовное сокровище согласен на принуждения. Ты следуешь обряду, он стеснил тебя и устремил вверх. Глядя со стороны, как самозабвенно играют другие дети, огорченный ребенок требует, чтобы и его научили правилам игры, он тоже хочет играть, а значит, жить. Грустно тому, кого не зовет в храм вечерний благовест. Поет рожок, но не для тебя побудка, а твой счастливый приятель кричит: «Слышишь, меня зовут!» Глухое раздражение и скука — спутники тех, для кого нет ни благовеста, ни пения рожка. Они свободны, они вне жизни.

LXXXIV

Не стоит смешивать слова разных языков, хотя, верю, тебе так недостает прилагательного, чтобы передать яркую зелень ячменного поля, а у твоего соседа оно есть. Но слово только знак. «Жена у меня красивая», — сказал ты, но разве кто-то понял, как ты любишь ее? «Мой друг так скромн», — сказал я, но разве кто-то узнал, как я к нему привязан? Мы не передали

и малой толики того, что живит нас. Мы определили, как определили бы неодушевленный предмет.

Есть на свете народы, которые как качественное ценят иные, чем мы, качества, которые ищут имя совсем иной картине, что увиделась им сквозь общую для нас всех вещьность мира. И они нашли имя своей картине. Можно найти особое слово и для беспричинной тоски, что щемит вдруг сердце на пороге дома, когда садится солнце, меркнет свет и впереди лишь потемки с тусклой луной, тоска эта сродни страху перед смертью: как быстро сонное детское дыхание становится прерывистым дыханием болезни, похожим на последние усилия усталости, карабкающейся в гору, слыша его, тебе становится так же страшно: а что, если твой малыш не захочет карабкаться дальше? — и тебе так хочется взять его за руку и помочь. И вот ты это свое нажитое умечаешь в одно слово, им начинают пользоваться, и оно становится родовым наследием твоего народа.

Но передал ты всем нам уже известное. Мой язык не стремится передать цветущую полноту качества, в нем нет слова, обозначающего «розовый цветок», зато он умеет сплести слова и ловить тебя их сетью. Слова моего языка не представят воочию женского лица, но красоту его ты угадаешь по тому, как у тебя вдруг захолонет сердце, будто от глотка ледяной воды в зной.

Так дорожи возможностями, которыми одарила тебя душа твоего народа, дорожи умением сплести слова, как плетут ивовые корзины и рыболовные сети. Смешивая слова разных языков, ты не обогатишь человека — опустошишь. Человек, желая выразить переживаемое, отыскивает новые средства, но ты предложил ему готовое, стертое, и он успокоился; он стремился передать нового себя, себя прозревшего: вернувшись из пустыни, он понял, как ярк зеленый ячмень, но ты предложил ему чужой запас, он перестал вглядываться в себя, он им походя воспользовался.

Ты занялся бестолковой работой, решив дать названия всем на свете цветам и оттенкам, собирая названия повсюду, где они только есть; решив поименовать все оттенки чувств и обращаясь за именами во все края, где переживают и чувствуют, заимствуя из тех языков, которые по воле случая запечатлели в слове опыт поколений или личный опыт души, например ощущение щемящей тоски сумерек. Тебе кажется, всемирная тарабарщина обогатит людей. Но не словарный запас — божественное достояние человека, — изъяснение самого себя, своей сокровенной сущности, которой не исчерпать никаким словом. В наших силах дать ее только почувствовать, но слов, будь их как песчинок в пустыне, как капель в море, все равно окажется мало.

Какое имеет отношение то глубинное, что ищет сказаться в тебе, к куче наворованных слов, что засорили твой язык и мешаются?

Именованье стоит лишь горные пики, отличные от уже известных, благодаря которым ты по-новому увидел мир. Я создал произведение и, возможно, с его помощью сотворил в тебе новую истину — назови ее, и она останется божеством в святилище твоего сердца. Только божество по-иному связывает для нас знакомое, заставляет по-новому увидеть давно известное.

Так пойми же, я постиг. И рад коснуться раскаленным железом твоего сердца, оставив клеймо, которое поможет тебе расти. Рад, потому что не хочу, чтобы ты блуждал впотьмах.

Но имей в виду, словом ты только обозначаешь ключ свода, постигаю я его не словесно, невозможно обозначить ни собственную суть, ни жизнь. Я не умилюсь, не растрогаюсь, если ты раскрасишь небо алым, а море синим, — не задаром ли ты хочешь получить доступ к моей душе?

Связующие нити твоего языка — вот путь ко мне, стиль — это пути Бога, говорю я. С ним ты

передал мне устойчивость твоего костяка, ритм твоей жизни, ни у кого другого таких не сыскать. А если со всех сторон только и твердят что о звездах, да о горах, да о родниках, кому придет в голову подниматься на вершину, чтобы из звездного родника утолить нестерпимую жажду светящимся молоком?

Даже если в чужом языке уже есть слово для того, что я ищу выразить, и, выразив это, я ничего не создам и не обогащу мир, не отягощай этим чужим словом свой язык, если оно не надобно тебе каждый день. Бог, которому молятся изредка, не настоящий.

Но если моя картина озарила тебя иным пониманием вещей, уподобилась вершине, что упорядочила пейзаж, став подарком тебе от Господа, дай ей имя, придумай слово, чтобы она не забылась.

LXXXV

Извечная тоска по жизни души истомила меня. И я почувствовал — ненавижу приверженцев насущного. Они твердят о своей любви к реальности, но что, кроме хлеба, предлагают они человеку? Хлеба, чей вкус мало изменила цивилизация? И я до сих пор говорю о воде, преобразившейся в поэзию.

Ты доволен, став губернатором моей провинции, доволен потому, что я зодчий, я выстроил свое царство и сумел восхитить тебя им. Своей радостью ты обязан мне, хотя сейчас меня нет рядом и я тебе не в помощь. Тешит тебя не реальность — утехи тщеславия неосязаемы, — тешит та значимость, какую обрела она, сделавшись царством.

До пятнадцати лет умащали юницу благовонными маслами, она знает, что такое поэзия, изящество, тишина. От нежного лица ее веет покоем, сколько в нем глубины и значимости, покой ее сродни освежающей воде родника — так неужели ты мне скажешь, что твою ночную жажду утолят одинаково и она, и купленная тобой девка только потому, что тела их схожи?

Тебе кажется, ты стал богаче оттого, что не отличаешь одну от другой, не тратишь времени на ухаживание, — и, конечно, девкой делаются куда скорей, чем принцессой, но поверь мне, ты обеднел.

Может быть, тебе не понравится принцесса, стихи тоже не даются задаром, как нежданное наследство от дядюшки, они — твое собственное восхождение вверх; может быть, тебе не по вкусу будет ее утонченность, ведь есть музыка, которой тебе никогда не услышать, потому что ты не пожелал учиться, — но это вовсе не значит, что принцессы плохи, это значит, что тебя еще нет.

В молчании моей любви я слушал, как двое беседуют. Беседа перешла в крик. Засверкали ножи. Так решают спор подонки, живущие в грязных лачугах. Они жадны только до жратвы и дерут глотки только из-за того, что уместилось в их несколько скудных слов. Но не за женскую плоть ты готов пришить соперника, эта женщина для тебя — кров, без нее ты бесприютный изгой. И вечерний чай не в чай тебе, потому что ее нет рядом.

Но если, увидев, как дорожат люди вечерним чаем, ты, из присущей людям близорукости, возвеличишь чаепитие и заставишь всех поклоняться чайнику, они разлюбят чай, и у тебя не будет ни вечерних чаепитий, ни любви.

Если ты проникся значительностью материнства и радостью иметь детей, видя, каким благоговением окружена роженица — возле ее постели тишина, словно у алтаря, — ты снова

не видишь целого. И вот ты стараешься, чтобы рожали как можно больше, строишь повсюду больницы, огромные, как хлев или конюшня, и размещаешь в них стада беременных женщин.

Ты убиваешь то, ради чего старался, — никому не интересны чувства коровы, когда идет массовое разведение скота.

Я возвращаю в человеке душу, поэтому ставлю перед ним преграды и границы, загораживаю от каждого сад: я хочу благоговения перед детьми, и поэтому требую, чтобы детей было как можно меньше, на словах, только на словах, — потому что они должны стать дорогими сердцу. Я не доверяю логике, я верю только в перепады почвы, поощряющие прилив любви.

Если ты есть, ты растишь свое дерево, но, если дерево задумываю и создаю я, — я протягиваю тебе только семечко. Оно — возможность, в нем таятся самые разные цветы и плоды. И если ты принимаешь его и начинаешь расти, то вырастешь моим, но непредсказуемым деревом, потому что предсказаниями я не занимаюсь. Я дал тебе возможность жить, жить самим собой. Но твоя любовь будет плодом моей любви.

LXXXVI

Я споткнулся о порог — бывают времена, когда распадается язык и при помощи слов ничего не улавливается, ничего не предсказывается. Эти люди пришли ко мне, предложили вместо ребуса мир и потребовали разгадки. Нет у мира разгадки, потому что нет в мире смысла.

— Скажи, что нам делать — покоряться или бороться, — спрашивают они. Нужно покориться, чтобы выжить, нужно бороться, чтобы продолжать быть. Предоставь все жизни. Правда жизни едина, но открывается всегда как противоречие, это и есть злоба дня. Но не тешь себя иллюзиями: сегодняшней ты всегда уже мертв. Твоя противоречивость — противоречивость преображения, ты меняешь кожу, поэтому тебе так больно, поэтому ты страдаешь. Кожа трескается, лопается. Твое молчание — молчание зерна в земле, оно должно прозябнуть, прежде чем пуститься в рост. Твое бесплодие — бесплодие куколки. Но когда ты переродишься, у тебя появятся крылья.

И, глядя с вершины горы, откуда ты увидишь разрешенными все свои проблемы, ты удивишься: «Как же я сразу не понял?» Слово существовало то, что возможно было понять.

LXXXVII

Тебя не ободрят; знамение, которого ты так ждешь, — молчание. Камни не знают и не могут ничего знать о храме, который сложен ими. Ничего не знает нарост коры обо всем дереве, одетом и этим кусочком, и всеми остальными. А дерево и дом ничего не знают о царстве, которое они совместно составляют. Ты не знаешь о Боге. Чтобы узнать, камню должен явиться храм, кусочку коры — дерево, но и это бессмысленно, у них нет языка, чтобы вместить огромность, столь их превосходящую. Язык — это иерархия, которую представляет собой дерево.

И понял я это после паломничества к Господу.

Всегда один, замкнут в себе, один на один с собой. Собственными усилиями мне не разомкнуть одиночества. Камню перестать ли быть камнем? Но в работе он объединяется с

другими камнями и становится частичкой храма.

Я уже не жду появления ангела — может быть, он незрим, а может быть, его нет. Дожидающиеся от Господа знака уподобляют Его себе и остаются опять наедине с собой. Но вот я слился с моим народом, любовь обняла меня своим теплом и преобразила. Она и есть знак близости Господа. Потому что наступившая тишина тиха для каждого камня.

Ведь сам по себе, вне других людей, я ничто, и ничто мне не будет в радость.

Так будьте же зернами, они сложены на зиму в житницу и пока спят.

LXXXVIII

Ох уж это нежелание выйти за пределы самих себя...

«Я! — говорят они. — Я!»

И похлопывают себя по животу. Будто там кто-то есть, будто кто-то жив благодаря им. Так могли бы кричать камни храма: «Я! Я!»

Так кричали и те, кого я отрядил добывать алмазы. Пот, катящийся градом, оупение усталости преобразались в сверкающие бриллианты. Алмазы обеспечивали людям жизнь, алмазы делали людей значимыми. Но однажды люди взбунтовались. «Я! Я! Я!» — закричали они. Они не желали больше служить алмазам. Не желали наработать себя. Они требовали почтения к себе — к таким, каковы они есть. Вместо алмаза они предложили себя как перл созданыя. Но сами по себе они мало чего стоили, облагораживали их алмазы. Так камни облагораживают храм. Дерево — отчее гнездо. Река — принадлежность к царству. Реку царства воспевают: «Мать наших стад, неспешная кровь полей, водительница стругов...»

Но бунтари сочли, что они цель и венец творения, они стали заботиться, чтобы им служили, отказавшись служить тому, что превосходило их.

Они перерезали князей, стерли в порошок алмазы, чтобы всем досталось понемножку, засадили в тюрьму ищущих другую правду, чтобы никто не взял однажды над ними верх. «Настало время храму служить камням», — сказали они. Им казалось, они стали богаче, когда каждый потащил к себе кусочек храма; лишились они святилища, приобрели кучу щебня.

LXXXIX

А ты все спрашиваешь и спрашиваешь:

— Скажи, что такое рабство, где начало его и где конец? И что такое общность, где начинается она и где кончается? И человек — на что он имеет право?

Я знаю только права храма, который придает смысл существованию камней; права царства, которое наполняет смыслом человеческую жизнь, права стихотворения, которое обогащает смыслом слова. Я не признаю за камнями права восставать на храм, за словами права разрушать стихотворение, за людьми права бунтовать против царства.

В эгоизме нет истины, эгоизм — калечество. Тот, кто идет один, твердя: «Я, я, я...» — изгнал себя из царства. Он — камень, откатившийся от стены храма, слово-пустышка, не ставшее стихотворением, — отнятая рука.

Но отцу возразили:

— А почему бы не уничтожить все царства и не собрать всех под сенью одного храма, чтобы жизнь стала еще полнее смыслом?

— Ты говоришь так потому, что ничего не понимаешь, — отвечал отец. — Посмотри, вот камни, из них изваяна рука, смысл существования этих камней в этой руке. Смысл существования других — в торсе, третьих — в крыльях. Но торс, руки, крылья — вместе это ангел. Одни камни сложили стрелку свода, другие — колонну. А из ангелов, стрелки, колонн сложился храм. Храмы, собранные в одном месте, стали святым городом, который управляет твоим путем, потому что ты в пустыне и стремишься к нему. Так неужели ты думаешь, что камень лучше послужит святому городу, если вместо того, чтобы служить руке, а благодаря руке — ангелу, а благодаря ангелу — храму, а благодаря храму — святому городу, он встанет в ряд с другими, точно такими же камнями? Единство города так ослепительно оттого, что составляет его богатство разнообразия. Колонна прекрасна благодаря капители, стволу, плинту, она едина, но состоит из разных частей. Чем сущностней истина, тем выше ты должен подняться, чтобы обозреть ее и постигнуть. Жизнь едина, как един и уровень моря, но, наполняя жизненной силой существо за существом, она становится похожей на лестницу с самыми разнообразными ступеньками. Един парусник, но составлен из разного. Подойди поближе — и увидишь паруса, мачты, нос, корпус, якорь. Подойди еще ближе — и различишь канаты, скрепы, доски, гвозди. И каждый гвоздь, каждый канат ты можешь делить и делить.

Если я сложу мое царство из ровных рядов камней, оно обесмыслится, в нем не останется жизни, в нем не будет ни городской сутолоки, ни парадно стоящих по стойке «смирно» солдат. Мне нужен очаг. Очаг собирает семью. Семьи складываются в род. Роды — в племя. Племена становятся царством. И вот ты видишь: в моем царстве — на западе и на востоке, на севере и на юге

— кипит усердие, царство мое похоже на парусник в открытом море, его гонит ветер, гонит только в нужную сторону благодаря разнообразию парусов, которые ловят изменчивый ветер.

Царство построено, теперь продолжай свою работу, улучшай, собирай из разных царств более обширный корабль, который устремит их в одну сторону, который благодаря разнообразным парусам поставит себе на службу любой ветер и не изменит ведущей его звезде. Собрать воедино — значит связать крепко-накрепко все разнообразие, все особенности каждого, а вовсе не уничтожать их ради бесплодного порядка.

(На самом деле в жизни нет ступенек. Ты назвал ступенькой эту группу людей. И следующей — ту группу, которая включила в себя первую. Но и то, и другое — условность.) ХС Но вот пришло время тебе встревожиться: ты видишь — жестокий тиран уничтожает людей. Ростовщик держит их в рабстве. Строитель храма служит не Господу, а себе, выжимая себе на потребу из людей пот. И не заметно, чтобы людей это облагородило.

Значит, ты плохо вел их в гору. Ведь дело не в том, чтобы, подымаясь, во что бы то ни стало сложить из сопутствующих тебе камней руку, из руки и крыльев — ангела, из ангелов, колонн и стрелки — храм. Тогда каждый своевольно остановится там, где пожелал. Плохо, если ты насильственно принудишь людей служить рукой, и ничуть не лучше, если принудишь их стать храмом. Ни тирану, ни ростовщику, ни руке, ни храму не дано пустить в рост людей и, обогатившись, сделать богачами и их тоже.

Не почвенные соли, объединившись по воле случая, начинают восхождение вверх, чтобы

стать деревом, — чтобы вырастить дерево, ты должен бросить в землю семечко. Деревья приходят сверху, а не снизу, Что за смысл в возводимой тобой пирамиде, если не венчает ее Господь? Он преображает людей и открывается преображенным. Ты вправе беззаветно служить князю, если сам он беззаветно служит Господу. Добро твое вернется тебе, но иным будет его вкус, иным смысл и полнота. Ты не увидишь вокруг себя: вот ростовщик, вот рука, вот храм, вот статуя. Откуда взяться руке, как не от тела? А тело — вовсе не механическое соединение различных частей. Суть парусника не в том, что объединилось разнородное, а в том, что единое стремление к морю проявилось так разнообразно и даже противоречиво; вот и в теле множество непохожих частей, но оно не сумма их — каждый, кто знаком с творчеством, любой садовник и любой поэт, скажет тебе: не от частности к частности возникает целое, оно рождается сразу и осуществляется в частностях. Мне достаточно воспламенить людей любовью к башням, что оживят плоскую пустыню, и рабы рабов моих зодчих изобретут тележку для перевозки камня и еще множество полезных приспособлений.

ХСІ

С помощью правил мы делаем значимыми те или иные понятия, они не пустая условность, и если ты не знаешь об этом, то впадаешь в ошибки. Упорядочив правилами любовь, я утверждаю определенный тип любви. О том, какова она, говорят те принуждения, которые я ей навязал. Принуждать может обычай, но может и жандарм.

ХСІІ

Темна была эта ночь, я смотрел на нее с высоты моей крепости — крепости, что утверждала мою власть над городом — городом, что благодаря моим гарнизонам утверждал мою власть над всеми другими городами царства, передавая вести сигнальными огнями с холма на холм: так перекликаются порой скучающие дозорные, прохаживаясь взад и вперед по крепостной стене. (Они узнают потом, что их ночные прогулки были исполнены смысла, но пока он невнятен дозорным, у них нет языка, благодаря которому на каждый шаг откликалось бы сердце, они не знают, чем заняты на самом деле, им кажется, что они скучают и ждут ужина. Но я-то знаю: не стоит вслушиваться в людскую болтовню; знаю: мои зевающие в ожидании ужина дозорные ошибаются. За ужином мои дозорные едят, смеются и шутят, у них просторно внутри — а позволь я им сидеть все время вокруг котла, они стали бы домашней скотиной.) Так вот, эта ночь была так темна потому, что царство мое дало трещину, потому, что в ночи ощутимо недоставало сигнальных огней на холмах и ночь могла преуспеть и погасить один за другим оставшиеся, а это значило бы, что царство мое погибло. Гибель царства коснется каждого, переменится вкус вечерней похлебки и материнский поцелуй малышу перед сном. Если твой ребенок не частичка царства, он совсем другой ребенок, целую его, ты не приникаешь к Господу.

От пожара обороняются встречным огнем. Я расставил кругом преданных мне воинов и уничтожил все, что попало внутрь железного круга. Я испепелил тебя, преходящее поколение, но что мне в этом пепле? Я спасал святыню осмысленного мира. Жизнь научила меня: не калечество причиняет страдание и не смерть. Благодаря храму человеческая жизнь осмыслялась, и его величие наделило величием людей. Вскормленный царством и отторгнутый от него чувствует себя изгоем и узником в тюремной камере, он трясет решетку и отказывается от воды, язык, на котором он привык говорить, утратил смысл. Кому как не ему рвать волосы, обдирать на руках кожу? Отец переполнен ответственностью отцовства, и

вдруг у него на глазах его сын тонет в реке — разве удержать отца на берегу? — с криком он вырвется из твоих рук и кинется в воду, иначе язык, которым он привык говорить, лишится смысла. Ты увидишь горделивое торжество подданного в день, когда восторжествует царство; ты увидишь счастье отца в день рождения сына. Горькие муки, великое счастье ты черпаешь из одного источника. Муками и радостями плодоносит твоя привязанность. Я сумел привязать тебя к царству. И теперь хочу спасти в тебе человека, пусть даже угрожая жизни, пусть даже толкая на путь страданий, посадив отца семейства в тюрьму и отлучив его от семьи, изгнав верного слугу царства, отлучив его от царства, потому что люблю семью, люблю царство, ты клянешь меня за страдания, но я говорю тебе: ты не прав, я спасаю в тебе то, что живет тебя.

Преходящее поколение, дарохранительница, куда спрятан храм, ты о нем, возможно, не подозреваешь, ты от него отвернулось, но ему, и только ему, ты обязано простором своего сердца, смыслом слов, сиянием глубинной радости — я спасаю храм. Так значим ли железный круг моих воинов?

Меня называли справедливым. Да, я справедлив. И если проливал кровь, то не для того, чтобы утвердиться в жестокости — чтобы обрести возможность являть милосердие. Теперь мне дано благословить того, кто коленапреклоненно целует мне руку. Благословение мое для него настоящее богатство. Он уходит с миром в душе. Но если не верить в мое право на власть, что толку в моем благословении? Я сложил пальцы, умягчил уста медом улыбки, но неверу некуда принять даруемое благо. Он уходит нищим. Одиночество, кричащее: «Я, я, я!..»

— не обогащает, нечем ответить на этот крик Если меня сбросят с крепостных стен, тосковать они будут не обо мне. А о сладостном чувстве сыновства. Умиротворении после полученного благословения. Об облегченном прощении сердце. Им будет недоставать надежного крова, осмысленности каждого дня, теплого плаща пастуха. Так пусть они лучше преклонят колени и почувствуют себя одаренными моей добротой, пусть воздают мне почести, и я возвеличу их. И разве о себе я сейчас говорю?

Не собственной славе принуждаю я служить людей, я смиренно преклонен перед Господом, Господа они славят, и Он укрывает их всех Своею славою. Не ищу я и величия царства, сделав людей его подножием. Царство — подножие человеку, его хочу возвысить и облагородить. И если я присваиваю плоды их трудов и усилий, то отдаю их Господу, чтобы вернулись обратно благословенным дарением. И вот как воздаяние течет к ним из моих житниц зерно. Оно — пища им, но еще и свет, и песнопение, и душевный покой.

Вещь должна исполниться для человека смысла, обручение исполняет смысла кольцо, свирепые кочевники — военный лагерь, Бог — свой храм, царство — реку.

А иначе чем бы владели люди?

Складывают царство вещи и невещественное. Царство вбирает в себя окружающее вещество.

XCIII

Существуют люди, существует преданность. Преданностью я называю твою связь с людьми через твою мукомольню, храм или сад. Преданность саду придает тебе вес, ты — садовник.

Но вот приходит человек, который не понимает, что значимо на самом деле. Наука, что

познает, разлагая на части, внушила ему ложные представления о сущем. (Разложить — значит утратить содержимое, забыть о главном: о тебе в деле. Перемешай в книге буквы — уничтожишь поэта. И если сад — это сорок яблонь, то нет и садовника.) Беспонятным все смешно, они не знают дела, они только насмеваются. Насмешники не читают книг, они перемешивают в них буквы. «Почему, — спрашивают они, — нужно жертвовать собой ради храма, ради упорядоченной кучи мертвых камней?» Тебе нечего им ответить. Они спрашивают: «Зачем умирать ради сада, ради всяких там былинки и травинки?» Тебе нечего им ответить. «Зачем умирать ради букв в алфавите?» Незачем. И тебе не хочется умирать.

Но на деле они обокрали тебя, сделали нищим. Ты не хочешь умирать, значит, ты ничего больше не любишь. Тебе кажется, ты поумнел, — нет, по глупости растратил силы и разрушил уже построенное; ты расточил свое сокровище — смысл вещей.

Насмешник тешит свое тщеславие, он — грабитель, кому он помог своей насмешкой? Помог тот, кто шлифовал каждое слово, оттачивал способ выражения, стиль, а значит, совершенствовал инструмент, который позволит ему работать дальше. Насмешник работает на эффекте неожиданности, он грохнул о землю статую и позабавил всех бессмыслицей обломков, взорвал храм, который был для тебя прибежищем тишины и молитвенного раздумья, теперь перед тобой куча мусора, и, конечно, ради нее не стоит умирать.

Тебе показали, как легко убивать богов, но тебе больше нечем дышать, жить. Любая вещь драгоценна ореолом света, пучком нажитых связей, эти связи мы именуем культурой, они — наш язык. Очаг для нас обозначает любовь, звезды — свет горнего мира, дело, которое я тебе доверил, — царскую почесть, я приобщил тебя к своему царскому клану. Но что тебе делать с камнями, делами, цифрами, если они только камни, дела, цифры?

Разрушили одно, разбили другое, что у тебя осталось? Только ты сам — единственный источник света, способный расцветить черепки, которым нечем больше тебя напитать. Вот ты и завяз в болоте тщеславия. Раз все вещи вокруг обесмыслились, ты сам наполняешь их смыслом. Ты остался в одиночестве и одедаешь все вокруг собственным скудным светом. Вот новое платье, оно твое. Вот стадо, оно твое. И вот эта земля, что богаче других, тоже твоя. Но все, что не твое — другое платье, земля, стадо, — враждебно тебе. Соседнее царство, созданное по тем же законам, соперничает с тобой. Ты обречен посреди своей пустыни настаивать на довольстве собой, потому что, кроме тебя самого, у тебя больше ничего нет. Ты обречен кричать в своей пустоте:

«Я! Я! Я!» — и не получать ответа.

Я ни разу не встретил тщеславного садовника, если он на самом деле любил свой сад.

XCIV

Все освещено присутствием божества. Божество исчезнет, и переменится все вокруг. Что тебе тогда дневная дань, если она не украшение чего-то иного? Ты знал: день дается тебе для постижения запредельного, и вдруг оказалось — постигать нечего. Для чего тебе кувшин из звонкого серебра, если трапеза вдвоем уже не обряд, предваряющий любовь? Для чего самшитовая флейта на стене, если ты не играешь на ней для возлюбленной? Для чего ладони, если их лишили сонной тяжести любимого тела? Ты не у дел, в твоей лавочке все продается, все ищет себе места и хозяина; и ты тоже. Ко всему прицеплены этикетки, все ждет, что вот-вот начнется жизнь.

Пуст день, если не ждешь больше легких шагов, если не расцветает на твоём пороге улыбка,

медовую сладость которой в тишине и тайне собирала для тебя любовь и которой ты сейчас насладишься. День пуст, если нет рокового часа прощанья. Пуст, если нет забвения сна, когда страсть набирается сил.

Нет храма, есть груда камней. Нет и тебя тоже. Так как же тебе не хотеть нового божества и храма, даже если ты знаешь, что позабудешь и этот, что опять будешь строить новый? Так устроена жизнь: настанет утро и вернет тебе серебряный кувшин, пушистый ковер, полдень и вечер, вновь обретет смысл дань твоего дня и твоя усталость, вновь ты будешь близок или далек, будешь идти или уходить, находить или терять. А сейчас, пока нет в твоей жизни ключа свода, ты не идешь, не находишь и не теряешь, не помогаешь и не мешаешь ничему в мире.

И даже если тебе кажется, что тебе необходимы вещи, что их ты завоевываешь, от них отказываешься, на них полагаешься, их ломаешь, раздаешь, добиваешься, владеешь, — ты ошибаешься: берешь, удерживаешь, обладаешь, теряешь, полагаешься, жаждешь ты только света, которым наделило их солнце. Нет мостка между тобой и вещью, есть мосток между тобой и незримой картиной, которая может быть Богом, царством или любовью. Я вижу, ты стал моряком и ушел в море — значит, долгое отсутствие представилось кому-то сокровищем, значит, давние матросские песни рассказали о счастье возвращаться, значит, по-прежнему передаются из уст в уста легенды о чудесных островах и коралловых рифах. И я уверен, волны нашептывают тебе песню триер, хотя триер давным-давно нет, а коралловые рифы, несмотря на то что твой парусник пока не подходил к ним, меняют для тебя цвет воды с наступлением сумерек. А кораблекрушения, о которых тебе рассказывали? Пусть тебе самому не доведется испытать ничего подобного — из-за них в жалобном вое волн, бьющихся о скалы, слышишь ты плач о мертвых. Но если ничего этого для тебя нет, ты зеваешь, когда тянешь грубые канаты, а натянув их, складываешь на широкой, как море, груди праздные руки и опять зеваешь. Ничего и не появится, если не построить сперва в твоём сердце храма, не показать тебе картины, не обогатить связующими нитями культуры.

Получив наследство, год за годом живя любовью к нему, ты не сможешь отказаться от самого себя. Не станешь искать иного смысла жизни.

Что такое тюрьма для любящего? Не в вещном живет он-в царстве смысла вещей, а в нем нет стен. Пусть любимая далеко, пусть она даже спит и словно бы не существует, и что ее хрупкие руки против стен, что ты воздвиг между ними? Но в таинственной тишине души он питает своей любовью. И не в твоих силах отлучить его от любви.

Как любовь, питает тебя и Божественный узел, что связал для тебя воедино весь мир. Та, которую ты не любишь, к которой лишь вождедеешь в разлуке, не насыщает, хотя ты не спишь из-за нее ночами, но ведь и собака не сыта воображаемым мясом, — бдит в тебе только плоть, в тебе не родилось божество, что умеет проходить через стены, душа твоя спит. Я уже говорил тебе о князе, хозяине царства, что идет поутру по росистой траве. Царство ему сейчас не в помощь. Перед ним — пустынная дорога. И все-таки его не спутать ни с кем другим — так просторно его сердце. Говорил о дозорном моего царства: все его владения — круглая каменная площадка башни и звезды над головой. Он ходит по ней туда и обратно, и отовсюду ему грозит опасность. Кто обездоленной этого пленника, заключенного в тюрьму величиной в сто шагов? Его отягощает оружие, ему грозит карцер, если он присядет, смерть — если заснет. Он мерзнет в мороз, мокнет в дождь, обжигается раскаленным песком в жару, ждет он только пули из ружья, надежно укрытого темнотой и нацеленного ему прямо в сердце. У кого жизнь более безнадежна? Любой нищий счастливее и богаче: нищий может идти куда хочет, он свободен глазеть на толпу, с которой смешался, свободен из всего устроить для себя развлечение.

Но мой дозорный — частичка царства. Царство переполняет, питает его. Нищему с ним не сравниться, настолько богаче и просторнее сердце дозорного. Даже смерть будет ему

богатством, он сольется со своим царством.

Моих узников я отправил в каменоломню. Они ломают камень, и на душе у них пусто. Но если ты строишь собственный дом, разве тот же камень ты ломаешь? Ты кладешь стену, и каждое твоё движение не наказание, а праздник.

Понимание изменяет перспективу. Конечно, ты увидишь, как счастлив тот, кому грозила смерть, — он спасся и продолжает жить. Но если ты поднялся на гору по соседству и увидел, что жизнь твоя завершена и похожа на увязанный сноп, то, наверное, тебя больше обрадует смерть, потому что в ней для тебя главный смысл.

Смерть была исполнена смысла и для «языка», которого по моему приказу поймали ночью и у кого я хотел вызнать намерения моих врагов. «Я рожден своей родиной, — ответил он мне, — твоим палачам ничего не поделаться с этим...» У меня не было жернова, который выдавил бы из него масло тайны, он принадлежал своему царству.

— Несчастный, ты целиком в моей власти, — сказал я.

Он рассмеялся, услышав, что я назвал его несчастным, счастье его было с ним, и не в моей власти было отнять его.

Потому я и говорю о непрестанном упражнении души. Истинное твоё богатство не в вещном: оно значимо, пока ты пользуешься им, — осел, если взнуздал и поехал, миска, если налил суп и ешь; но вот осел в стойле, миска на полке — что они для тебя? Или ты взял и уехал, как уехал от женщины, которую только желал, но так и не полюбил.

Конечно, животному прежде всего доступно вещное, а не аромат, не ореол, как принято говорить. Но ты — человек, и питает тебя смысл вещей, а не вещи.

А я? Я творю тебя, веду со ступени на ступень, учу. Не камень показываю я тебе — величие погибшего воина, каким увидело его сердце ваятеля. И твоё сердце стало богаче оттого, что где-то помнят погибшего воина. Из овец, коз, домов и гор я творю для тебя царство, поднимаю тебя на следующую ступень. Оно вроде бы тебе не в помощь, но ты все-таки полон им. Я соединяю обычные слова, и возникает стихотворение, ты стал еще богаче. Я связал горы и реки между собой, и возникло царство и озарило сердце воодушевлением. Царство празднует победу, и в этот день умирающие в больнице от рака, узники в тюрьме, должники, замученные кредиторами, — все гордятся, потому что нет таких стен, больниц и тюрем, которые помешали бы ощутить благодать. Разброд сущего я преобразил в бога, божество смеется над стенами, и что ему пытки?..

Поэтому я и говорю: я творю человека, разрушаю стены, вырываю решетки, мой человек свободен. Я творю человека, он неизменен в своих привязанностях, и что ему крепостные стены? Что тюремщики? Он смеется над пытками палачей, потому что они не в силах его принизить.

Я говорю «общение», но имею в виду не беседы то с одним, то с другим. Я имею в виду твою привязанность к царству и привязанность другого к царству

— к тому самому царству, что значимо для вас обоих. И если ты меня спросишь: «Как мне догнать любимую, нас разлучил мир, а может быть, мор, а может быть, смерть», — я отвечу: «Не зови ее, она не услышит, лучше оберегай ее присутствие, которого не отнять у тебя никому, сохраняй облик созданного ею дома: чайный поднос, чайник, пушистый ковер — она им хозяйка, ключ свода, жена, которая устала и заснула, ведь тебе дано любить ее и спящей, и далекой, и в разлуке...»

Поэтому я и говорю: создавая человека, не заботься о знаниях — что толку, если он станет

ходячей энциклопедией, — поднимайся с ним со ступеньки на ступеньку, чтобы видеть не отдельные вещи, а картину, созданную тем Божественным узлом, который один только и способен связать все воедино. Ничего не жди от вещей: они обретают голос, став знаком чего-то большего, и сердцу внятны только такой разговор.

Вот, к примеру, твоя работа: она может быть хлебом для твоих детей, а может быть расширением в тебе пространства. И твоя любовь может стать большим, чем жажда обладать телом, потому что радости тела слишком тесны.

Ты вернулся из пустыни и скучной душной ночью идешь в веселый квартал, чтобы выбрать ту, с которой забудешь о любви; ты ласкаешь ее, она что-то спрашивает, ты отвечаешь, но объятия разомкнутся, и ты уйдешь опустошенный: даже если она была красива, тебе нечем вспомнить ее.

Но если то же лицо, стать и слова окажутся у принцессы, которую так медленно из далекой дали везли мои караваны, которую пятнадцать лет возвращали музыка, поэзия и мудрость, научив на оскорбления отвечать гневом и хранить верность в испытаниях, выковав в ней твердость и преданность богам, которым она не умеет изменить — не задумываясь, пожертвует принцесса своей красотой, но не снизойдет и не вымолвит слова, которого потребовал палач, так естественно для нее благородство, и последний ее шаг будет выразительней танца, — так вот, если эта принцесса будет ждать тебя в залитом лунным светом зале, и, протянув руки, пойдет к тебе навстречу по мерцающим плитам, и скажет тебе те же слова приветствия, но в голосе ее ты услышишь совершенство души, — уверяю тебя, на рассвете ты уйдешь в свою скалистую пустыню обновленным, благодать будет петь у тебя в душе. Не телесная оболочка, не толкотня мыслей — значима только душа, ее простор, ее времена года, горные пики, молчаливые пустыни, снежные обвалы, цветущие склоны, дремлющие воды — вот он, этот весомый для жизни залог, незримый, но надежный. В нем твое счастье. И тебе никак себя не обмануть. Разные вещи — странствие по могучему океану или по скудной речонке, пусть ты даже закрыл глаза, чтобы лучше почувствовать качку. Разная радость, пусть брошки будут одинаковы, от стекляшки и алмаза чистой воды. И та, что сейчас примолкла, совсем не похожа на ту, что ушла в глубины своего молчания.

Да ты и сам никогда не ошибешься!

Потому я и не хочу облегчать твой труд, раз женщины сладки тебе. Не стану облегчать тебе охоту за добычей, пустив на ветер условности, запреты, отказы, благородство обхождения и души: вместе с ними я уничтожу и то, что ты так жаждешь поймать.

Гуляющие предоставляют тебе одну возможность — возможность забыть о любви, а я занят лишь тем, что придаст тебе сил для завтрашних свершений, я побуждаю тебя преодолеть эту гору, чтобы завтра ты преодолел другую, еще выше. Я хочу, чтобы ты узнал любовь, и побуждаю тебя преодолеть неприступную душу.

XCV

Алмаз — плод политой потом земли, земли, политой потом целого народа, но алмаз, добытый такими трудами, невозможно поделить, невозможно съесть, невозможно раздать каждому из работников понемножку. Должен ли я из-за этого отказаться от добычи алмазов — звезд, проснувшихся в земле? Если я изгоню из цеха чеканщиков, тех, кто чеканит золотые кувшины, — золотой кувшин тоже невозможно поделить, потому что он стоит целой жизни и всю эту жизнь я должен кормить мастера хлебом, который добывают другие, — и если, изгнав этих мастеров, я пошлю их пахать землю и золотых кувшинов больше не будет, зато будет

больше пшеницы, которую можно поделить, — ты одобришь меня и скажешь, что жизнь без бриллиантов и золотых кувшинов послужит к чести человека? Но скажи, как облагородится ею человек? Об алмазах ли я пекусь? В угоду завистливой и жадной толпе я бы согласился сжечь на огромном костре все добытые за год алмазы в день всенародного праздника или одел бы сиянием алмазов праздничную королеву, чтобы народ гордился своей бриллиантовой царицей. Алмазы вернулись бы к ним царским величием или блеском пышного празднества. Но чем обогатят их бриллианты, если запереть их в музей, где они попадутся на глаза двум-трем праздным зевакам и грубому толстяку-смотрителю?

Согласись, ценится лишь то, на что затрачено немалое время, например, храм; согласись, слава моего царства сияет в тех самых алмазах, которые я заставил добывать, и к славе этой приобщен каждый, любясь горделивой королевой в бриллиантах.

Я знаю одну свободу — свободу упражнять свою душу. Любая другая иллюзорна, я докажу тебе, смотри: ты нуждаешься в двери, не умея проходить через стены, не волен обрести молодость, не волен наслаждаться солнцем среди ночи. Я заставил тебя выбрать эту дверь, а не другую, и ты жалуешься на притеснение, но ты забыл — будь дверь только одна, ты был бы притеснен точно так же. Я запретил тебе соединить твою судьбу с той, что кажется тебе красавицей, и ты кричишь о моем тиранстве, но ты не знаешь, что все красавицы твоей деревни косят, потому что никогда не покидал своей деревни.

Ты женишься на той, которую я принуждал сбываться и ради тебя пестовал в ней душу, — теперь вы вдвоем обретете единственную свободу, суть которой полнота смысла и непрерывное расширение души.

Своеволие изнашивает тебя. Мой отец говорил: «Не быть — не значит жить свободно».

XCVI

Я буду говорить с тобой о необходимости или безусловном: это и есть Божественный узел, что связует все воедино.

Невозможно до смерти увлечься игрой, если кости всего-навсего костяшки и ничего больше. Вот я отдал приказ отплыть в море, море беспокойно, и капитан долго и пристально вглядывается в него — взвешивает тяжесть туч, словно силу противника, прикидывает высоту валов, определяет напор ветра. Своим приказом я связал для него воедино тучи, ветер и волны. Мой приказ — необходимость, с которой не поспоришь, мы с моим капитаном не на ярмарке, не на базаре, мы — святилище, где я — ключ свода, утверждающий его незыблемость. И как не преисполниться ему величия, правя своим кораблем?

Вот другой, он не подчинен мне, он приехал полюбоваться морем, он может идти куда хочет, может повернуть назад с полдороги, он не подозревает о святилище, тучи для него не испытание, не угроза — красивая декорация, не больше, крепнувший ветер не грозит опрокинуть мир, он обдувает ему щеки, а морские валы опасны разве что качкой, неприятной и тягостной для желудка.

Поэтому я и говорю: долг — тот же Божественный узел, что связует все воедино. Но царство, храм и твой дом построятся только тогда, когда долг станет для тебя неоспоримой необходимостью, когда перестанет быть игрой, в которой можно менять правила.

— Долг не выбирают, — говорил мой отец, — в этом его главная особенность.

Поэтому и обречены на неуспех те, кто хочет в первую очередь нравиться. Желание нравиться делает их податливыми и гибкими. Они бегут тебе навстречу и предают на каждом шагу, желая остаться желанными. На что мне медузы без костяка и формы? Я изрыгаю их, возвращая хаосу: вы придете ко мне, когда создадите самих себя.

Даже женщина устает от возлюбленного, если он только эхо ее и зеркало,

— кто нуждается в собственном отражении? Ты мне нужен, если выстроил себя как крепость, если внутри тебя я чувствую плотную сердцевину. Садись рядом, ты есть.

Преданного царству выберет себе в мужа женщина и будет ему служить.

XCVII

И вот что я хотел еще сказать о свободе.

Мой отец после смерти стал для подданных горным хребтом, заслонившим горизонт. Логики, историки и критики очнулись, раздулись от ветра слов и объявили, что человек прекрасен.

Да, созданный моим отцом человек был прекрасен.

— Раз он так прекрасен, — шумели логики и критики, — отпустите его на свободу. На воле он расцветет, каждый шаг его будет чудом. Принуждения застыт идущий от него свет.

А я вечерами гуляю среди апельсиновых деревьев, ветки их обрезают, верхушки вытягивают. Почему бы мне не сказать:

— Деревья мои прекрасны, они сгибаются под тяжестью апельсинов. Для чего обрезать им ветки, которые тоже могут плодоносить? Нужно дать дереву волю. На свободе оно расцветет. Мы мешаем полноте цветения.

Логики освободили человека. Люди выпрямились еще больше, потому что росли с прямой спиной. И когда пришли жандармы, захотев подчинить их былым принуждениям, но не потому, что видели в них материнское лоно, рождающее совершенство, а из низменного желания повелевать, люди взбунтовались против утеснения. Жажда свободы воспламенила их, и пожар восстания вспыхнул во всех концах моего царства. Быть свободными означало для них быть прекрасными. Умирая за свободу, они умирали за величие своей души, и в их смерти было величие. Слово «свобода» звенело чище серебряной трубы.

Но я вспомнил, что говорил мне отец:

— Свобода для них — это свобода не быть никем.

Посмотри, вместо свободы возникла сутолока, как на городской площади. Ты протоптал тропку здесь, твой сосед стал ходить там, но дороги у вас нет. Свою часть дома ты покрасил в красный цвет, твой сосед — в синий, а квартирант свою — в желтый; неведомо какого цвета у вас дом. Вот вы решили устроить праздничную процессию, но каждый настаивает на своем маршруте, неразумие размело вас, словно пыль, и не было никакого праздника. Если свою власть ты делишь между всеми, наступит безвластие. Если каждый выберет место для храма и начнет сносить туда камни, ты увидишь каменистую пустыню, а не храм. Творец всегда один, твое дерево — взрыв одного семечка. И конечно, это дерево — вопиющая несправедливость, потому что другие семена уже не проросли.

Желание подавить всех я не назову силой, а назову глупой гордыней. Но если это сила создающего творца и она противостоит естественному течению событий, превращающему горный ледник в болото, храм в песок, жар солнца в скудное тепло, книгу в кипу разрозненных страниц, язык в смесь чужеродных слов, — течению, которое уравнивает все возможности и уравнивает все усилия, рано или поздно развязывая тот Божественный узел, что связал все воедино, заменяя картину разбродом сущего, — я приветствую эту силу и прославляю ее. Она сродни кедру, который положился на каменистую пустыню, который углубляет свои корни в почву, хотя нет в ней обильных питательных соков, который протянул ветви солнцу — тому самому солнцу, что уподобило песок бесстрастному зеркалу, выгладило все, выровняло и уравнило, но теперь это злое солнце в помощь несправедливому кедру, который преобразует песок и камни, который раскидывает в солнечных лучах смолистый храм, который поет вместе с ветром, как эолова арфа, и возвращает движение неподвижному.

Ибо жизнь — это единство связей, сплетение силовых линий и несправедливость. Увидев детей, томящихся от скуки, что ты делаешь, как не навязываешь им принуждение, которое зовется «правила игры», и вот они уже бегают в догонялки.

Наступило время, когда нечего стало высвобождать и свободой стали называть дележку материальных благ среди равных и равно ненавидящих друг друга.

Ты свободен, ты толкаешь соседа, а он толкает тебя. Шарик толкается, катится и если вдруг остановится, то остановку ты называешь отдыхом. Такая свобода требует непременно равенства, а равенство неизбежно требует равновесия, а когда все уравновешено, наступает смерть. Не лучше ли жизнь, она поведет тебя за собой, ты столкнешься с силовыми линиями, и они покажутся тебе препятствием, но они — направляющие для растущего вверх дерева. Единственная зависимость, которая может тебя умалить и которую должно ненавидеть, — это зависимость от недовольства соседа, от зависти равного тебе и необходимость не выделяться из толпы. Попав в плен подобных зависимостей, ты превратишься в отброс среди кучи других отбросов. Но если речь идет о растущем вверх дереве, каким нелепым покажется тебе ветер слов, гудящий о тирании.

Так вот, наступили времена, когда свободно стало не лучшему в человеке, а худшему — тому, чему потворствует толпа, а человеческое стало таять и таять. Но толпа не свободна, она никуда не стремится, в ней есть только тяжесть, и эта тяжесть придавливает ее к земле. Толпа называет свободой свободу гнить и справедливостью — свое гниение.

Так вот, наступили времена, когда слово «свобода», которое звенело когда-то призывно, словно военный рожок, сникло, полиняло, и люди стыдливо мечтают о новом звонком рожке, который разбудит их на заре и позовет строить.

Потому что хорош только тот рожок, который тебя разбудил. А принуждение плодотворно только тогда, когда, служа храму, ты служишь и самому значимому в себе. Камни не могут сами стронуться с места и построить собственный храм, но если для камня нашлось его место, то неважно, чему он служит, — полученное будет значимо. Подчинись рожку, если он разбудил в тебе большее, чем ты сам. Те, что умерли за свободу, выбрали ее, потому что она была самым лучшим в них и возможностью еще большего совершенства. Они служили радости быть свободными и подчинились зову рожка, поднявшись ночью, отказавшись от свободы спать дальше или обниматься с женой, они стали ведомыми, и если ты послушен голосу долга, зачем мне знать, где были жандармы — рядом с тобой или в тебе самом.

И если они были в тебе, то, значит, когда-то были рядом, потому что чувство чести ты унаследовал от отца, который растил тебя с честью.

Когда я говорю «принуждение» — я подразумеваю противоположность своеволия, в котором всегда есть недобросовестность, но не имею в виду принуждений моей полиции, — я бродил

по городу в молчании моей любви, видел играющих детей, они подчинялись правилам игры, им было стыдно их нарушить. Они дорожили игрой, тем, что получали от игры. Дорожили рвением и радостью справиться с заданной игрой задачей, дорожили своей юной дерзостью — словом, вкусом этой игры, а не другой, этим вот божеством, которое сделало их дерзкими и радостными. Ведь каждая игра требует от тебя своего, и, желая измениться, ты меняешь игру. Но вот ты, который только что был в игре всемогущ и благороден, вдруг сплутовал и тут же понял, что разрушил собственными руками то, ради чего играл, — всемогущество и благородство. И все-таки ты успел полюбить их, а значит, примешь принуждение правил.

Что может создать жандарм? Всеобщее единообразие. Откуда ему знать о большем? Порядок для него — порядок в музее, где все выстроено в ряд. Но единству моего царства не нужны подобия. И ты, и твой сосед лепите себя как частичку царства, как колонну, как статую в храме, который сам по себе един.

Мои принуждения сродни ухаживанию за любимой.

XCVIII

Если ты любишь без надежды на взаимность, молчи о своей любви В тишине она делается плодоносной. Кто, как не она, направляет твою жизнь, и любой путь тебе на пользу, ибо подходишь, удаляешься,ходишь, выходишь, находишь, теряешь. Ты ведь тот, кто должен жить. Но нет жизни, если ни один бог не напряг вокруг тебя силовых линий.

Если тебя не любят, а у тебя недостает твердости души молчать о своей любви и ты вымаливал ответную любовь как вознаграждение за верность, но тщетно, попытайся найти врача и исцелиться. Потому что вредно путать любовь с рабством сердца. Прекрасна любовь, которая молится, но та, что клянчит и вымогает, сродни лакею.

Если бесстрастное течение жизни поставило на пути твоей любви преграду вроде изгнания или молчаливых монастырских стен и тебе надо преодолеть ее, возблагодари Господа, если твоя любимая отвечает тебе взаимностью, пусть в этот миг она для тебя все равно что слепоглухонемая. Знай, в этом мире мерцает для тебя негасимый огонек ночника. И поверь, совсем неважно, видишь ты его или нет. Умиравший в пустыне богат теплом своего далекого дома, несмотря на то, что умирает.

Если я пестую величие души и выбрал самую совершенную, чтобы она вызревала в тишине и молчании, тебе, наверное, покажется, что совершенство ее никому не в помощь. Но посмотри, благодаря ей облагородилось все мое царство. Издалека приходят к ней на поклон. Являются чудеса и знамения.

Если любят тебя, пусть даже неощутимо, и ты любишь в ответ, ты идешь в луче света. Когда чувствуешь Господа, благодатна та молитва, на которую отвечают тишиной Если твоя любовь взаимна, если тебе раскрыты объятия, молись Господу, чтоб Он спас твою любовь от порчи, я боюсь за сытое сердце.

XCIX

И поскольку я все же полюбил свободу, научившую петь мое сердце, поскольку проливал кровь, чтобы ее завоевать, и видел сияющие глаза тех, кто бился со мной рядом (видел я и

Других, низких сердцем, — угрюмо привыкшись, помились они к кормушке и, отвоевав себе место в хлеву, превращались в чавкающих свиней).

Поскольку я видел и тех, кого оживил свет свободы, и тех, кого тирания превратила в скотов.

Поскольку я живу жизнь и не отворачиваюсь от малой малости в самом себе, но зато не принимаю всерьез разногласия идей, твердо зная, что, если слова сделались тесны для жизни, нужно их поменять; если тебя поставило в тупик неразрешимое противоречие, нужно перестроить фразу, нужно, чтобы поднялась гора, с которой видна будет целиком вся равнина.

И поскольку я знаю, что благородство души закладывается, выстраивается и создается, словно крепость, что создает его принуждение, вера и безусловность долга, которые овеществились в традициях, молитве и обрядах.

Поскольку я знаю, что прекрасны только гордые души, которые не желают сгибаться и помогают человеку держаться прямо даже под пыткой, которые освобождают от тирании самолюбия, но умеют хранить верность себе, выбирать, решать и жениться на любимой вопреки наговорам толпы и немилости короля...

Потому я и понял, что главное не свобода и не принуждение. Главное — не отвернуться ни от одного из биений жизни. А слова? Пусть дразнят друг друга, показывая язык.

С Если ты заранее определил, что такое зло, и стал за него наказывать, злодеев окажется очень много (ты можешь посадить в тюрьму всех, потому что в каждом есть крупица зла, которое ты искореняешь, а если карать за недозволенные желания, то в тюрьму отправятся и святые). Страшна твоя предвзятость, ты поднялся на запретную гору, одетую кровавым туманом, и вслепую уничтожаешь человека вообще. Ты видишь его злодеем, но в нем есть и ангел. Ты уничтожаешь их вместе.

Если твои жандармы — а они неизбежно тупые исполнители твоей воли, тупость — их профессия, от них не требуется чутья, напротив, оно им запрещено, потому как не их дело вникать и судить, их дело выявлять по данным тобой признакам, — так вот, если твои жандармы получают приказ разделить всех на черных и белых — а других цветов для жандармов не существует — и к черным ты отнесешь, например, того кто насвистывает в одиночестве, кто порой сомневается в Боге, кто зевнул, копая землю, кто вот так думает, поступает, любит, ненавидит, восхищается, презирает, — тогда наступают отвратительные времена и оказывается, что у тебя не народ, а сплошные предатели, и сколько ни руби голов, все будет мало, и в толпе так и кишат подозрительные и шпионы. Ты поделил не людей, разведя направо одних и налево других, чтобы картина стала яснее, — ты разрубил человека, разделил, разлучил его с самим собой, завербовал в нем соглядатая, сделал подозрительным для самого себя и готовым себя предать, потому что в одну из томительных ночей каждый сомневался в Боге. Потому что каждый насвистывал в одиночестве, зевал, копая землю, и думал, делал, любил, ненавидел, восхищался или презирал не должное. Ибо человек живой, и он живет. Но святым, праведным и желанным тебе показался тот, кто громыхает сегодня одной идеей, завтра другой, смешной ярмарочный паяц; тебе оказался ненужным тот, кто живет сердцем.

А раз ты послал жандармов искать не какого-то человека, а человеческое В человеке, то с присущим им усердием они отыщут его в каждом, ужаснутся обилию зла, ужаснут тебя своими донесениями и убедят в необходимости самых срочных мер. Ты согласился и построил тюрьму, куда заключил весь свой народ.

Но если ты все-таки хочешь, чтобы крестьяне у тебя пахали землю, полагаясь на щедрое солнце, чтобы ваятели резали камень, геометры чертили фигуры, ты должен подняться на другую гору. С другой вершины теперешние каторжники покажутся тебе святыми, и ты

воздвигнешь памятник тем, кого послал ломать камень.

С I

Наконец-то я понял, что такое грабеж, я давно размышлял о нем, но не был просветлен Господом. Я знал и раньше, что грабительствует писатель, ломая основы стиля, корежа устоявшиеся средства выражения, желая эффектной выразить себя. На первый взгляд что тут непохвального? Средства выражения и выработаны для того, чтобы выражать себя. Но ты, вместо того чтобы пуститься в путь, сломал повозку, ты похож на неразумного хозяина, невероятной кладью он перешиб хребет своему ослу. Набавляя день за днем понемногу, он мог бы приучить своего осла к более тяжелой клади, и осел служил бы ему лучше, чем раньше. Я гоню нарушителей, пусть все выражают себя по правилам, — только так у них появятся свои собственные.

Однако оказывается, что свобода — свобода человека быть прекрасным — тоже своеобразный грабеж и растрата наготовленного впрок Конечно, запас, лежащий без движения, бесполезен, не извлечешь ничего и из красоты, доставшейся по наследству, потому что тебе никогда не извлечь на свет той формы, в которой ее отливали. Да, хорошо построить хранилище, сыпать в него зерно, с тем чтобы черпать оттуда в зимнюю бескормицу. Суть хранилища прямо противоположна хранению, в него складывали, чтобы из него черпать. Неуклюжий язык — единственная причина противоречия, дерутся между собой слова «складывать» и «черпать», так что не стоит утверждать: «Хранилище — место, куда складывают», — логик может тут же возразить: «Хранилище — место, откуда берут»; ты справишься с ветром слов, обозначив хранилище как перевалочный пункт.

Но ведь и свобода — вкушение тех плодов, которые были возвращены моим принуждением, ибо только принуждение способно созидать то, что достойно свободы. Созданный мной человек свободен от страха пыток, он не хочет отказываться от себя, он противится приказам тирана и его палачей, и я называю его свободным. Свободен и тот, кто способен устоять перед низменной страстью. Но как назвать свободным того, кто попадает в рабство любому соблазну. Сам он зовет это свободой, он свободно выбрал для себя вечное рабство.

Что значит создать человека? Мне кажется, это значит высвободить в нем ту деятельность, что свойственна человеку, — так, создать поэта означает высвободить в нем стихи. И если я хочу видеть тебя ангелом, я высвобождаю из тебя окрыленные слова и уверенные движения танцора.

С II

Я сторонюсь тех, кто судит обо всем с определенной точки зрения. Вот этому борцу кажется, что он борется за великое дело; кроме своего дела, он ничего не видит вокруг. Мне важно, чтобы в нем очнулся человек, когда я заговорю с ним. Но я не верю, что от нашей встречи будет какой-то толк. Наш разговор станет военным маневром и плутовством, собеседник переиначит мою истину, чтобы она послужила его собственному царству. И я не буду упрекать его, раз он ощутил себя значимым благодаря своему делу.

Идеально поймет и не исказит моих истин тот, кого я назвал бы совершенным и просветленным, он не превратит их в свои и не повернет при случае против меня, он не

работает, не действует, не борется и не разрешает никаких проблем. В моем царстве есть бесполезный светильник, он освещает лишь самого себя, но бескорыстно, он — самый утонченный и хрупкий цветок моего дерева, бесплодный цветок, ибо слишком чист.

Вот она, проблема взаимопонимания, проблема мостика между борцом за великое дело, совсем не похожее на мое, и мной. Проблема смысла в нашем языке.

Объединяет только Бог, который сделался явью. Ощутимое понятие «царство» связывает меня и моего воина, потому что и для него, и для меня оно одинаково значимо. Любящий вопреки всем стенам — одно целое с той, что стала душой и теплом его дома, которую дано ему любить и далекой, и спящей. Но вот передо мной посланник иного царства, и, если я хочу играть с ним в игру более сложную, чем шахматы, если хочу встретиться с ним как с человеком, перешагнув ступеньку подвохов и взаимообманов, — ведь и воюя, мы можем уважать друг друга и чувствовать взаимное приятство, как это было с восточным государем, возлюбленным моим врагом, — так вот, если я хочу поговорить с ним по-человечески, мне нужен новый образ, новая картина мира, которая станет для нас новой мерой всех вещей.

Если он верит в Бога и я тоже, если он хочет привести к Богу свой народ, а я хочу открыть Божественное своему, то мы встретимся с ним как равные в шатре перемирия посреди пустыни, вдалеке от наших коленопреклоненных воинов, и будем молиться вместе, потому что нас объединяет Бог.

Но если для нас не найдется Бога, который превосходил бы и его, и меня, у нас нет и надежды на взаимопонимание, на связующие нити, ибо одна и та же вещь обладает различным смыслом, принадлежа твоей целостности и моей, из одинаковых камней наши архитекторы строят разные храмы, и как нам договориться, если слово «победа» для тебя означает то, что я побежден, а для меня то, что я победил?

И я понял, зная, что в разговоре ничего не значат сами слова, а только залог — тот, что обеспечивает их смысл и весомость, зная, что житейское не затрагивает ни души, ни сердца и просьба «передай мне чайник» взволнует только потому, что перед глазами возникло любимое лицо, что чайник был частичкой твоего домашнего царства, когда вы вдвоем пили чай после вашей любви, или, наоборот, возлюбленная навещала тебя только изредка и чаепитие для вас было редкостным праздником... Так вот, я понял, почему берберы-изгнанники, для которых развязался Божественный узел, оставив их среди хаоса разноликих вещей, стали похожи на бессмысленную скотину, — кормили их хорошо, но они не преобразили хаос в незримую часовню, зримыми камнями которой были бы сами, — они были хуже скотины, потому что коровам не нужны незримые часовни, их небогатая радость в переваривании малой толики вещности.

Я понял, почему перевернула им душу песня сказителя, которого послал к ним мой отец, — сказитель пел о том, как безликие вещи, отражаясь друг в друге, обретают лицо и значимость.

Какое богатство — три белых камешка в руках мальчишки, хаос разноликого мира ничто перед ним.

С III

Мои тюремщики разбираются в людях лучше, чем геометры. Поручи им дело

— и убедишься. А если речь зашла, кому править царством, я подумаю еще, кому его

поручить — генералам или тюремщикам. Но уж, конечно, предпочту тюремщика геометру.

Да, геометры научены вычислять, соразмерять, но они перепутали:

искусство вычислений вовсе не мудрость. «Мы владеем истиной», — твердят они. Да, истиной вычислений. Конечно, можно попробовать управлять и с помощью их языка, но как он неуклюж, как неприспособлен для управления! И сложно и кропотливо ты будешь сопоставлять и соизмерять, прежде чем принять меры, и меры твои будут всегда отвлеченными. Реальные меры умеют принимать только танцоры и тюремщики. Потому что узники те же дети. И остальные люди тоже.

CIV

Геометры донимали моего отца.

— Править людьми должны мы, — утверждали толкователи геометрии. — Мы владеем истиной.

— Истиной геометров... — отвечал им отец.

— Так что же? Разве она не истинна?

— Нет, — отвечал отец.

— Они знают истину треугольников, — говорил он мне. — Пекарь знает истину хлеба. Если плохо вымесил тесто, хлеб не поднимется. Если перегрел печь — подгорит, если недогрел — сядет. И хотя мой пекарь печет пышный хлеб с хрустящей корочкой и есть его одно удовольствие, он почему-то не приходит ко мне требовать, чтобы я поставил его управлять царством.

Ты можешь согласиться, что, возможно, я прав относительно геометров, но есть еще историки, критики. Они показывают нам деяния людей. Они разбираются в людях...

— Но я, — продолжал отец, — отдаю управление государством тем, кто сродни черту. Надо сказать, что с некоторых пор черт весьма усовершенствовался и недурно проясняет тьму человеческих взаимоотношений. Но скажи, есть ли чертовщина в пересечении линий? Потому-то я и не жду, что геометры, копаясь в треугольниках, сообщат мне что-то новенькое о дьяволе. В их треугольниках нет ничего такого, что помогло бы управлять людьми.

— Ты говоришь темно, — сказал я отцу. — Выходит, ты веришь в дьявола?

— Нет, — ответил отец.

И добавил:

— Что, собственно, значит верить? Я верю, что летом вызревает ячмень, вера моя не полезна и не вредна, потому что я просто обозначил лето как время года, когда вызревает ячмень. Некая уверенность есть у меня и относительно других времен года. Но вот я сопоставил свои уверенности и вывел некоторую закономерность: рожь, оказывается, созревает раньше ячменя, и я верю в это, потому что так оно и есть. Мне не важен ячмень, не важна рожь, мне важно было соотношение летних месяцев, я поймал его, а ловушкой были рожь и ячмень.

И он продолжил:

— Я могу объяснить тебе то же самое на примере статуи. Вряд ли ты думаешь, что для скульптора важнее всего нос именно такого рисунка, такой вот рот и подбородок. Нет, конечно. Ему важно их соотношение, которое воплотит, например, человеческую скорбь, потому что человек общается не с вещами — с тем узлом, который связывает их воедино.

Один дикарь верит, что звук спрятан в барабане. Он боготворит барабан. Другой верит, что звук в палочках, он боготворит палочки. Третий верит, что всему причиной его сильные руки, и посмотри, как он гордится ими, поднимая их вверх. А ты уверен, что барабанная дробь прячется не в барабане, не в палочках и не так уж зависит от силы рук; искусство барабанщика — вот для тебя главное.

Не будут править моим царством истолкователи геометрии, подспорье они возвели в абсолют, их позвали помогать строить храм, а они обожествили свою власть над камнями. И теперь с помощью законов о треугольниках хотят управлять людьми.

Мне стало горько.

— Что же, истины нет? — спросил я.

— Если бы ты сумел мне назвать то, что мучается в тебе от безответности, — улыбаясь, сказал мне отец, — я заплакал бы вместе с тобой, чувствуя себя калекой, лишенным возможности двигаться. Но я просто не вижу, что же ты пытаешься поймать. Влюбленный читает письмо любимой и счастлив независимо от качества бумаги и чернил. Любовь исходит не от чернил, не от бумаги.

CV

И вот что я еще понял: люди попались в плен словесным фантомам, и они убедили их, что знания добываются путем расчленения целого; теперь, расчленяя, люди уничтожают собственное наследство. Уничтожают, потому что все относительно верное для телесного неверно для духовного. А человек — ничего не поделать — создан так, что вещи для него пусты и мертвы, если не связаны и с бестелесным тоже; богатый скупец выбирает для себя все-таки самую красивую вещь, потому что собственный дом он представляет богатым и прекрасным и золото для него — средоточие незримых сокровищ; и его жена просит драгоценную диадему не для того, чтобы прическа стала тяжелее, но потому, что эта диадема — условный знак, ступень иерархии, эмблема тайного господства.

Я отыскал тот единственный родник, что утолит жажду твоей души и сердца. Единственный хлеб, который напаяет тебя. Единственное достояние, которое нужно спасти. И если ты растратил его, то должен нажать непременно. Оглянись, ты оказался среди кучи обломков, и если животному в тебе хорошо и так, то человек в тебе голодает, не зная даже, какая пища утолит его голод,

— ты так создан: чем больше ты пьешь, тем больше жаждешь, но если ослаб без живительной влаги и трудов и погрузился в полудремоту, то уже не ищешь себе ни трудов, ни чистой воды.

Поэтому нет у тебя возможности узнать, в чем твое спасение, и кто-то должен спуститься с горы и осветить тебе путь. Как не узнать тебе, сколь бы умно тебе ни рассказывали, — какого ты наработаешь в себе человека, его же еще пока нет.

Мое принуждение сродни власти растущего дерева, дерево — это путь, преобразующий и песок, и камни.

Ступень за ступенью приобщаю я тебя к сокровищам все более весомым и всеобъемлющим. Хороши любовь, дом, царство, храм и год, что похож на часовню, освященную праздниками, но если ты позволишь мне помочь тебе подняться на самую высокую из вершин, ты увидишь, есть у меня и другие сокровища, но добыть их так трудно, что многие отказываются от них по дороге, ибо новую картину я складываю из камней, взятых от тех храмов, что дороги их сердцу.

Но те, кто все-таки рассмотрел мою новую картину, так вдохновлены ею, что в душе их пламенеет огонь. Открывшаяся цельность так светла, что кажется душе пламенем. Пылающими любовью назвал бы я этих людей.

Доверься мне и позволь созидать тебя, в душе твоей загорится свет.

Но тускнеет и ощущение Господа. Я уже говорил тебе: приходит день — и стихи смолкают. Как бы ни были они хороши, они не в силах питать тебя каждый день... Дозорный, что день и ночь ходит взад и вперед, не может все время пламенеть усердием во имя царства. То и дело развязывается для человека Божественный узел, что связует все воедино. Загляни к ваятелю. Ему сегодня грустно. Глядя на мрамор, он покачивает головой: «К чему этот нос, подбородок, ухо?» — он не видит того, что хотел поймать. Сомнение — тоже твоя дань Господу, тебе недостает Его, и ты страдаешь.

CVI

Исполняя ритуал, ты приобщаешься. Рассеянно послушав музыку, обведя глазами храм, ты остаешься прежним, в тебе ничего не рождается, не напивается. У меня нет иного способа открыть тебе жизнь, которой я хочу для тебя. Я могу только принудить тебя к ней, чтобы ты почувствовал ее вкус. Как мне объяснить тебе эту музыку? Ты слышишь и не слышишь ее, сердце у тебя не готово, ему некуда принять ее и напиться. Как уязвима твоя картина царства, от одного дуновения рассыпается она в пыль. Насмешка бездельника, недосып, капанье воды из крана — и вот ты уже лишился Господа. Ты уже оставлен. Сидишь на пороге у запертых дверей, ты в разладе с миром, и мир — только свалка ненужных вещей. Потому что привязан ты не к вещам — к Божественному узлу, связующему все воедино.

Как мне приживить тебя, когда ты так легко выскользываешь? Вот почему я заставляю чтить мои ритуалы, я хочу упасти тебя от поражения, когда выпадет тебе час сидеть на пороге у запертых дверей. Вот почему я так не люблю беспорядочного чтения. Я строю тебя изо дня в день, поддерживаю твой дух бодрствующим, чтобы ты принимал к источнику не по минутной слабости сердца, а пил из него постоянно, чтобы стал торной дорогой, открытой дверью, благодатным храмом, всегда готовым принять. Стань скрипкой, которая ждет скрипача.

И стихи, что я приготовил для тебя, это тоже твой путь вверх.

Истинное знание — у тех, кто восстанавливает позабытые дороги и подбирает людей, раскатившихся, словно щепень, Я хочу, чтобы ты нашел свою родину, под стать и душе твоей, и складу. И опять и опять я повторяю: принуждение мое освобождает тебя, принося единственно ощутимую свободу. Ты зовешь свободой возможность разрушить храм, перемешать слова в стихотворении, уравнивать дни года, который я с помощью ритуалов превратил в часовню. Твоя свобода сродни пустоте пустыни. И где тебе обрести себя? А я? Я зову свободой высвобождение тебя из тебя. Потому и спрашиваю у тебя: какая свобода?

Свобода раба или человека? Свобода язвы или здоровья? Справедливость для человека или для грабителя? Против тебя, через тебя и ради тебя моя несправедливость. И конечно, раз я принуждаю отказаться от привычного и искать себя, я несправедлив к грабителю и бездельнику — гусеницам, которые не желают преобразиться, и заставляю их силой отказаться от привычного и все-таки обрести самих себя.

CVII

Приучить — уже принудить. Но принуждение, ставшее привычкой, незаметно; ты не станешь упрекать меня и жаловаться на то, что коридор поворачивает, ведя к выходу.

Правила детских игр — тоже принуждение. Но детям нравится подчиняться им. Как интригуют мои именитые граждане ради почетных обязанностей, а что они, как не принуждение? А женщины? Как послушны они моде, выбирая свои наряды, а мода меняется что ни год. Мода — тоже язык, а значит, и принуждение. Никто не хочет остаться непонятым, хотя это обещает свободу.

Если камни, сложенные таким образом, я называю домом, ты не волен именовать их по-другому, потому что иначе останешься в пустыне непонимания.

Если я объявил этот день веселым и радостным праздником, ты не волен сделать его будним днем, иначе останешься в одиночестве, отделив себя от народа, к которому принадлежишь.

Если я объединил в одно целое и назвал царством коз, овец, дома и горы, ты не волен отъединиться от него, иначе останешься в одиночестве, нет у тебя соратников, потому что все трудятся на благо царства.

Твоя свобода растопила горный ледник и превратила его в лужу: первое, чего ты добился, — одиночество: ты уже не крупинка ледника, который добрался до солнца, укрытый снежным плащом, ты — равный среди равных, ты такой же, как все, и все же вы все разные и готовы возненавидеть друг друга, ваш покой — покой на секунду замерших шариков, ничто не превосходит вас в вашем мире, от всего вы свободны, даже от безусловных условностей языка, — все возможности общаться друг с другом утрачены, каждый ищет собственный язык, каждый празднует собственные праздники, все отделены друг от друга и более одиноки, чем одинокие звезды, затерянные в пространстве.

Чего ждать от братства? Дерево не знает братства, а вы — частички дерева, оно вбирает вас в себя, оно приходит за вами извне, поэтому я и не устаю повторять: кедр — это принуждение для песка, не песок порождает кедр, а семечко.

Но как вам стать кедром, если каждый хочет вырастить свое дерево, а эти и вовсе не желают подчиняться дереву, они зовут его тираном и жаждут сами сделаться тиранами? Вас нужно расставить по местам и научить служить дереву, глупо настаивать на том, что дерево должно служить вам.

Поэтому я бросаю семечко и хочу подчинить вас его власти. Да, я несправедлив, если справедливость — это равенство. Я создаю картины, силовые линии и напряженность. Но благодаря мне вы преобразитесь в обильную крону, и питать вас будет солнце.

CVIII

Я увидел: дозорный спит.

Его ждет казнь. От его бодрствования зависят слишком много спящих, дыхание их замедлилось, жизнь течет сквозь них, словно волны по тихой бухте. Зависят храмы, сокровища и святыни, что копились долго и медленно, словно мед, — потом, мозолями на руках, ударами резца, ударами молотка, тяжестью камней, глазами, что слепнут от танца иголки по золотой парче, расцветающей цветами и узорами благодаря старанию набожных рук. Зависят житницы, полные зерна, собранного, чтобы облегчить суровую зиму. Священные книги в житницах мудрости, где покоятся залоги, обеспечивающие человеческое в человеке. Тяжелобольные, которым я облегчил мысль о смерти: смерть — необходимый, совершаемый в кругу семьи обряд, она легка и почти незаметна, она — передача в родные руки наследства. Дозорный, дозорный, ты — смысл моих стен, а они — оболочка хрупкого тела города, они не дают ему расточиться; появишься в них брешь — и тело обескровится. Ты ходишь по стене взад-вперед, вслушиваешься в шорохи пустыни, что вечно бряцает оружием, постоянно волнуется, словно морская зыбь, вечно угрожает тебе и своей угрозой закаляет и укрепляет тебя. Как отделить то, что уничтожает тебя, от того, что тебя создает? Один и тот же ветер строит дюны и разрушает их, один и тот же поток выглаживает скалу и стирает ее в песок, одно и то же принуждение выковывает в тебе душу и лишает тебя души, одна и та же работа дает тебе жизнь и отнимает ее, одна и та же любовь переполняет тебя и опустошает. Враг придает тебе форму, он принуждает тебя к строительству внутренних укреплений, он для тебя то же, что море для корабля: море — враг, оно готово поглотить корабль, и корабль без усталости сопротивляется ему, но то же море для корабля опора, ограничение и возможность обрести форму, веками форштевень разрезал волны, а они, обхватывая судно, лепили ему корпус, делая его все более обтекаемым и изящным. Ветер рвет паруса и надувает их, делая похожими на крылья. Не будь у тебя врагов, у тебя не было бы ни меры, ни формы.

Но что значат стены, если нет дозорного?

Часовой заснул — город беззащитен. Идет враг и топит спящего в его собственном сне.

А дозорный мой спал, привалившись головой к плоскому камню, приоткрыв рот. Спал с младенческим выражением лица. Он прижал к себе ружье, будто игрушку, которую берут с собой в сон. Я смотрел на него, и мне его было жалко. Жаркой ночью мне жаль человека за то, что он так непрочен.

Нестоек дозорный, бдительность его усыпил варвар. Пустыня одолела его, и он позволил воротам бесшумно повернуться в ночной тишине на смазанных петлях, чтобы варвары оплодотворили крепость, истощенной крепости нужен варвар.

Спящий часовой. Авангард противника. Ты уже завоеван, твой сон означает, что ты уже не принадлежишь городу, узел развязался, ты ждешь преобразования, ты — поле, приготовившееся принять семена.

А я представил себе город, разрушенный по милости твоего сна, потому что ты узел всему и ты всему развязка. Как ты прекрасен, дозорный, когда ты настороже, ты — чуткие уши и зоркие глаза моего города... Как благородна твоя любовь к городу и куда умнее рассуждений всех логиков, которые не любят, а делят его. Для них вот здесь больница, там тюрьма, а тут дом друзей. И дом этот тоже разделен на части, они видят одну комнату, другую, третью. А в комнатах видят вещи — одну вещь, другую, третью. И что они сделают с такой грудой вещей, из которой ничего не хотят построить?

Но, дозорный, если ты не спишь, ты оберегаешь город как целое, город, раскинувшийся под звездами. Не этот дом и не другой, не больницу и не дворец

— весь город. Оберегаешь не стонущего при смерти, не кричащую роженицу, не блаженный стон влюбленных, не писк новорожденного — оберегаешь многообразное дыхание единого тела разом. Целый город. Не бессонницу этого, не сон другого, не стихи поэта, не эксперимент ученого — переплетение сна и усердия, угли, подернутые пеплом, на которые смотрит Млечный Путь. Целый город. Дозорный, дозорный, ты приник ухом к груди возлюбленной и слушаешь тишину, покой и вздохи, которые не имеет смысла делить и различать, потому что это биение ее сердца. Просто биение сердца. И ничего другого.

Дозорный, если ты не спишь, ты равен мне. Город покоится на тебе, а на городе покоится царство. Хотя я не сомневаюсь, что, когда я прохожу, ты преклонишь колени: таков порядок в этом мире, так восходит сок от корней к листве. Прекрасно, что ты воздаешь мне почести, — кровь течет по жилам царства, течет любовь от юного мужа к юной жене, течет молоко матери к младенцу, течет уважение неоперившихся к мудрым — но ты же не скажешь, что кто-то что-то получил? Ибо прежде других я служу тебе.

Когда ты стоишь в профиль и опираешься на ружье, равный мне, подобие мое в Господе, никто не различит краеугольный/камень и ключ свода, и разве кто-то из них ревнив к другому? Вот поэтому сердце мое переполнено к тебе любовью, и все-таки я позову стражу и отправлю тебя под арест. Под арест, потому что ты спишь. Спящий часовой. Мертвый часовой. Я смотрю на тебя с ужасом — в тебе спит, в тебе умирает царство. В тебе я вижу свое царство больным, о его болезни сообщает мне сон дозорных...

«Да, — думал я, — палач справится со своим делом и утопит моего дозорного в его собственном сне...» Но жалость поставила меня перед новым, неожиданным противоречием. Сильные царства отрубая голову уснувшим дозорным, но царство, что снаряжает своих часовых для того, чтобы они хорошенько выспались, не вправе казнить. Ни в коем случае нельзя заблуждаться относительно суровости. Рубя головы спящим часовым, не пробудишь омертвелое царство, хотя царство неусыпно бдящее отсекает сонных стражей. Смотри, не перепутай причину и следствие. Ты видел, что сильные царства рубят головы, и хочешь обрести силу казнями — нет, ты по-прежнему останешься бессильным паяцем посреди кровавого месива.

Разбуди любовь, и в дозорных проснется бдительность, они сами осудят тех, кто способен заснуть на посту: этот пренебрег царством, значит — отринул себя сам.

Ты справляешься с собой при помощи дисциплины, к которой принуждает тебя начальник-капрал. Капралов школят сержанты. Сержантов — капитаны. И все вместе вы зависите от меня, которого ведет Господь Бог. Но если я усомнюсь, все мы окажемся посреди пустыни и над нами нависнет катастрофа.

Так вот, я хочу поговорить с тобой об одной таинственной вещи — о преданности. Ты спишь, жизнь для тебя словно бы исчезла. Исчезает она и тогда, когда помрачается в тебе вдруг сердце и ты чувствуешь только усталость. Вокруг ничего не переменилось, все переменилось в тебе. Ты — дозорный, ты наедине с городом, но ты не влюбленный, что приник к груди любимой, ловя биение ее сердца, ты не знаешь, размеренно оно бьется или учащенно, слушать его стук можно только любя; твоя любимая затерялась в ночной разноголосице, ты слышишь голоса, мешающие друг другу: пьяная песня заглушает стон больного, плач по усопшему

— крик новорожденного, шум ярмарки — пение в храме. Ты спрашиваешь себя: «При чем тут я? На что мне эта суতোлка, этот балаган?» Ты забыл, что перед тобой дерево с корнями, стволом, ветками, листьями, что нет для них общей мерки. Но откуда взяться преданности, если не ощущаешь того, кто в ней нуждается? Я уверен, ты не уснул бы, сидя у постели больной возлюбленной. Но сейчас расплылось то, что ты мог любить, ты — перед свалкой вещей, чужих, ненужных.

Развязался Божественный узел, что связывал их воедино. Но знаю: ты вернешься, и хочу, чтобы сейчас ты хранил верность хотя бы самому себе. Я не требую от тебя лицемерия, не требую, чтобы ты сейчас же что-то понял или что-то почувствовал, я слишком хорошо знаю, сколько душевных пустот проходит самая страстная любовь. Глядя на любимейшую из любимых, ты вдруг думаешь: «Вот, оказывается, какое у нее лицо... Как я мог полюбить его? И какой тонкий голос. Какую страшную глупость она сейчас сказала. Как нелепо поступила...» Твоя любимая расплылась на досадные частности, она больше не вдохновляет тебя, и тебе кажется — ты ее ненавидишь. Но как ты можешь ненавидеть ее? Раз сейчас ты не в силах любить...

И ты замолкаешь, смутно догадываясь, что настало для тебя какое-то помрачение. Любимая стала чужой и тебе не нравится. Не понравятся и стихи, если начать их читать. Чужими покажутся дом и царство. Ты утратил возможность голодать, насыщаться, ощущать Божественные узлы, что связуют все воедино, теперь ты ничего не любишь, ничего не понимаешь. Мой уснувший дозорный, твои привязанности вернуться к тебе, и не по одной, а все вместе, как родная любимая семья, но, когда тебя постигло горе неверности, должно чтить в тебе дом, что опустел на время.

Вот мои часовые обходят по кругу крепость, и я вовсе не думаю, что все они пылают усердием. Большинство зевает и мечтает об ужине. Если все боги спят в тебе, то не спит желание телесного довольства: все, кому скучно, думают о еде. И я вовсе не жду, что их души будут непрестанно бодрствовать. Сопричастность целостности, Божественному узлу, что связует все воедино, зову я душой, душа не ведает о преградах. Я жду, чтобы в одном из моих дозорных замерцала душа. Забилось сердце. Проснулась любовь, и на миг он ощутил щемящую значимость городской многоголосицы. Ощутил вдруг в себе пространство, дотянулся до звезд, обнял горизонт и стал сродни раковине, шумящей шумом моря.

Мне достаточно, если хоть раз тебя осенит такое и ты во всей полноте ощутишь, что значит жить человеком, ощутишь готовность принимать эту полноту, потому что, как сон, желание, голод, она будет к тебе возвращаться, а твои сомнения — только недолгая отлучка, и мне хочется тебя утешить.

Если ты ваятель, к тебе вернется исполненный смысла образ. Если пастырь

— вернется ощущение близости Господа, если влюбленный — вернется полнота любви. Если дозорный — вернется значимость царства. Чаша наполнится, если ты сохранишь и себе верность, если будешь блюсти свой дом, пусть сейчас он пуст и оставлен, но твой дом — единственная для тебя возможность насытить сердце. Ты не знаешь часа исполнения, но знаешь — и это самое главное, — что только благодаря полноте ты полноценен.

Нудными часами учений складываю я в тебе то, что однажды воспламенится от прочитанного стихотворения, отягощая исполнением обрядов и ритуалов царства, чтобы царство проторило путь к твоему сердцу. Ибо нет возможности одарить, если ты не готов принять подарок. Гость не придет, если ты не построил дома, чтобы принять его.

Ах, дозорный, дозорный, расхаживая взад-вперед по смотровой площадке, томясь тоской и скукой, что приходят жаркой душной ночью, слыша городской шум, который тебе безразличен, глядя на дома, которые кажутся муравейниками, чувствуя себя в пустыне и все же, несмотря на пустоту, стараясь любить, хотя нет любви, стараясь верить, хотя нет веры, стараясь сохранить преданность, хотя это бессмысленно, — ты готовишь себя к озарению, которое приходит как награда и дар любви.

Нетрудно быть верным себе, когда ты в ладу с собой, но мне хочется, чтобы, памятуя о своей полноте, ты повторял про себя: «Пусть мой дом озарится светом. Я построил его и содержу в чистоте...» Принуждение мое тебе в помощь. Своих пастырей я принуждаю приносить

жертвы, хотя кажется, жертвы эти бессмысленны. Принуждаю ваять моих ваятелей, хотя они разуверились в собственных силах. Принуждаю моих дозорных под страхом смерти проходить туда и обратно свои сто шагов, потому иначе они погибнут, — смерть уже в их душе, и они отъединили себя от царства.

Я спасаю их моей суровостью.

Представь себе воина, что собирается в путь в пустой караульне. Я посылаю его разведчиком в стан врага. Он знает: ему не вернуться. Враг наш настороже. Он предчувствует пытки, которыми будут выжимать из него, вместе с криками, тайны царства. Но он из тех, кого повязала любовь, он снаряжается с радостью, потому что радостно слиться навек со своей любовью, он готовится к брачной ночи. Обнимая любимую в день свадьбы, ты счастлив не тем, что завоевал ее и она наконец телесно принадлежит тебе: для тела сколько угодно девушек в веселом квартале, и есть такие, что похожи лицом на твою любимую,

— нет, благодаря твоей юной жене мир наполнился иным смыслом, все обрело в нем иной цвет, иной тон. Иным стало вечернее возвращение домой, иным — утреннее пробуждение, ты словно бы копишь наследство, ты ждешь детей, ты научишь их молиться. Все изменилось, даже чайник, он мурлычет о вашем с ней чаепитии перед ночью любви. Она переступила твой порог — и превратила пушистый ковер в мягкий луг. Тебя одарили счастьем. Вселенную твою одарили смыслом, но это счастье так далеко от вещей, которыми ты пользуешься. Счастье не от подарков, не от телесных ласк, не от полученных привилегий — оно от Божественного узла, связавшего все воедино.

Вот воин, он идет на смерть, и тебе кажется: в этот миг он лишается всего, у него не будет даже прощального поцелуя, ждет его только жажда, палящее солнце, ветер и скрипящий на зубах песок, ждут враги, чтобы выжать из него тайну; воин снаряжается на смерть, чтобы войти в эту смерть в своей одежде смертника, и тебе кажется: он должен стонать от смертной муки, как стонал преступник, приговоренный к виселице, и точно так же отбиваться от палачей, заступаясь за свое несчастное тело; так вот, воин который снаряжается на смерть, совершенно спокоен, — посмотри, у него спокойные глаза, он шутит с товарищами, шутки его — знак дружеской привязанности, а вовсе не фанфаронство, не нарочитое мужество, не пренебрежительное отношение к смерти, в нем нет преувеличенного, наносного, он спокоен, словно вода, и, словно спокойная вода, он ничего от тебя не скрывает, ему немного грустно, и без смущения он говорит о том, что ему грустно. Скрывает он только свою любовь. Потом я скажу тебе почему.

Он без страха застегивает кожаные ремни, но против него у меня есть оружие, и оно для него страшнее смерти. Он ведь так уязвим. Уязвимо каждое божество его сердца. Обыкновенная ревность может стать угрозой для царства, для смысла всех вещей, для радости вернуться домой, в один миг издерет она в клочья блаженное состояние покоя, умудренности и самоотречения. Сколько всего ты забираешь у него, ведь Господу он должен вернуть не только любимую, но и дом, и виноград своих виноградников, и шуршащие снопы ячменя со своего поля. И не только свои снопы, свой виноград, свои виноградники, но и свое солнце. И не только солнце, но и ту, что освещает его дом. Смотри, он отказывается от стольких сокровищ и не замечает разорения. Но укради у него улыбку возлюбленной, и он потеряет сам себя и превратится в сумасшедшего. Подумай, не здесь ли кроется величайшая из загадок? Ведь ты держишься не вещностью, что находится в твоём распоряжении, — смыслом, которым наделил ее Божественный узел, связавший все воедино. Поэтому и предпочитает воин собственную гибель гибели того, на что тратит жизнь и что в ответ насыщает его жизнь смыслом. Он оберегает питающий ток. Моряк по призванию готов на гибель при кораблекрушении. Хотя в миг кораблекрушения он может пережить животный страх — страх перед захлопнувшейся ловушкой, — но он честен, он заранее согласен на этот страх, он пренебрегает им, потому что ему по сердцу мысль, что умрет он в море. И когда я слышу жалобы моряков на неизбежность своей жестокой смерти, я понимаю: они не

похваляются, соблазняя женщин, они стыдливо высказывают тайное желание своей любви.

Нет языка, на котором ты мог бы выразить себя. Говоря о царстве любви, ты говоришь «она» и веришь, что и впрямь говоришь о ней, но на деле ты ведешь речь о смысле вещей, и «она» для тебя — Божественный узел, благодаря которому все вокруг связано с Господом, а Господь и есть смысл твоей жизни, поэтому ты и служишь ей. Выбрав служение, ты выбрал для себя способ общения с миром. Вобрал в себя море, будто раковина, и душа звучит в тебе плеском морских волн. Ты можешь сказать «царство» с уверенностью, что тебя поймут, если вокруг люди, столь же естественно, как ты, чувствующие его присутствие, но над тобой посмеются другие, те, что видят вокруг лишь хаос разноликих вещей: у тебя и у них разные царства. И тебе станет неприятно оттого, что они подумали, будто ты готов пожертвовать жизнью ради универсального магазина...

Словно бы что-то прибавляется к вещам и к предметам, превосходит их и становится зримым для твоей души и для сердца, хотя ум может и не понимать, что же это такое. Это «что-то» управляет тобой лучше, а может быть, жестче и вернее, чем нечто понятное и разумное (хотя ты вовсе не уверен, что и другие вместе с тобой ощущают его и видят), оно принуждает тебя к молчанию, тебе не хочется быть ославленным сумасшедшим, не хочется насмешек бездельников над явственной для тебя картиной. Насмешки уничтожат ее, и станет очевидным, что сделана она из сущей чепухи. Как объяснишь насмешникам, что все это совсем о другом, что все это для души, а не для глаз?

Я много размышлял о просветлениях души, только о них мы и можем просить, и, когда нам дают их, они чудеснее, чем то, о чем, терзаясь сомнениями душевной ночью, мы привыкли просить. Усомнившись в Господе, мы привыкли просить, чтобы Он явился нам, словно визитер с визитом, — но, явись Он, Он стал бы нам ровней и похожим на нас, и куда бы Он нас повел? Одиночество твое стало бы еще отчаянней; но хотел ты не приобщения к Божественному — развлечения вроде ярмарочного балагана, и теперь коришь Господа. Но кому в помощь низкое? (Ты хочешь, чтобы высокое опустилось до тебя, навестило на той ступеньке, где ты стоишь, такого, каков ты есть, непонятно ради чего снизившись до тебя, но Господь не снизится — я помню, как просил я Его, как молился, — нет, Он приоткроет тебе царство духа, ослепит явлением чего-то незнаемого, того, что не для ума и не для зрения, а для души и для сердца, и если ты не пожалеешь сил, то поднимешься на ту ступень, где вещей уже нет, а есть только связующие их воедино Божественные нити.) И тогда тебе не страшна смерть: боясь смерти, боятся потери. Но что тебе терять? Ты остаешься связующей нитью. Таково твое вознаграждение за прожитое.

Ты и сам шел на смерть без страха, видел пожар, рисковал, спасая жизни. Тонул, спасая других при кораблекрушении.

Посмотри, да, они умирают, но они согласны умереть, у них в глазах свет истины, хотя они краснели и чувствовали себя обворованными уродами от чужой насмешливой улыбки.

Скажи им сейчас, что они заблуждаются, — они рассмеются.

Но ты, мой дозорный, заснул не потому, что сбежал от города, — потому что город оставил тебя, и я, вглядываясь в твое бледное детское лицо, беспокоюсь за мое царство, раз оно больше не в силах будить засыпающих часовых.

Конечно, я ошибаюсь, когда слышу громкий голос города, когда вижу связанным воедино то, что для тебя распалось. Но знаю, тебе следовало бы ждать, вытянувшись, как свеча, и однажды ты был бы вознагражден вспыхнувшим в тебе светом, ты воодушевился бы своими хождениями по кругу, словно таинственным танцем под звездами в мире, где все исполнено смысла. Потому что там, внизу, в толще ночи, корабли сгружают золото и слоновую кость, и ты, часовой на крепостной стене, охраняешь их, а значит, украшаешь золотом и серебром

царство, которому служишь. Где-то молчат влюбленные, не решаясь заговорить, они смотрят друг на друга и хотят сказать, что... Но если один заговорит, а другой закроет глаза, то вся Вселенная изменит свой ход. И ты охраняешь их молчание. Где-то умирающий готовится в последний путь. Все склонились над ним, ловя последнее слово, последнее благословение, чтобы унести в своем сердце, ты оберегаешь слово умирающего.

Дозорный, дозорный, я не знаю, где кончаются границы твоего царства, когда Господь освещает твою душу светом бдения, какое пространство делает он твоим. Мне не важно, что вскоре ты снова будешь мечтать о супе, ропща на свое ярмо. Хорошо, что ты спишь, хорошо, что забываешь. Плохо, что, позабыв, ты разрушаешь свой дом. Преданность — это в первую очередь верность себе. Я хочу спасти не только тебя, но и твоих товарищей. Я хочу от тебя той душевной устойчивости, которая свидетельствует об основательности наработанной тобой души. Ведь не рушится дом с моим отъездом. Не исчезают розы, если я отвожу взгляд. Они растут и растут, пока новый взгляд не заставит их расцвести.

Так что я пойду, позову мою стражу. Ты умрешь, как положено умирать дозорным, заснувшим на посту. Тебе ничего не остается, кроме как собраться с силами и уповать, что твои муки все-таки помогут тебе преобразиться, ну хотя бы в бдительность часовых.

СIX

Да, горько видеть, как обошелся циничный себялюбец с бесхитростной и нежной невинностью: чистота поругана, доверчивость обманута. И вот ты хочешь защитить от опасности невинную девушку, сделав ее душу опытнее, искушеннее. Девушки твоего царства стали подозрительны и скупы на улыбки — ты разрушил то, что хотел сберечь. Нет неуязвимых добродетелей, каждой есть предел. Захребетник рано или поздно изнурит великодушное благородство. Циник развратит целомудрие. Хамство обозлит доброту. Живущее всегда в опасности, ты захотел обезопасить его и умертвил. Отказался строить прекрасный храм, испугавшись землетрясения.

Но я-я хочу, чтобы невинность стала как можно доверчивее, хотя только доверчивость и можно обмануть. Если оболъститель надругается над одной из моих простодушных роз, я буду ранен в самое сердце. Но, возвращая могучих воинов, разве не должен я помнить, что война их может убить? Ты хочешь спасти добродетель, заковав ее в броню неуязвимости, но добродетель уязвима всегда, а неуязвимая добродетель уже не добродетель.

Ты пожелал совместить несовместимое, и у тебя ничего не получилось. Тебя восхищает человек, созданный укладом твоего края, но уклад тебе ненавистен, ибо принуждает служить себе совершенного человека. Да, уклад — принуждение, он и принудил человека стать совершенным. И если ты уничтожишь уклад, вместе с ним ты уничтожишь и человека, которого задумал спасти.

Посмотри: страшась бесстыдства, хамства, цинизма, что чинят обиды великодушию и благородству, ты предлагаешь благородным и великодушным усвоить замашки хама, бесстыдника и циника.

Но я-я люблю все хрупкое, все уязвимое. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость — свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушения, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность измен и соблазнов, только благодаря им так драгоценны неподкупность и преданность. Я люблю солдат, мужественно стоящих под пулями. Нет мужества, нет и воина. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдата,

благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых.

Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его у меня сможет слабое дуновение ветра.

Как мне дороги юные лица, беззащитные перед старостью. Как мила улыбка, беззащитная передо мной и готовая смениться слезами.

СХ

Наконец-то я понял, как выбраться из противоречия, что так долго меня мучило. Я — царь, со смятенной душой склонился я над уснувшим на посту дозорным и не мог разбудить спящего счастливым сном ребенка, чтобы передать его смерти, чтобы он за свое недолгое бодрствование столь многое претерпел от людей.

Я увидел, что он проснулся сам, провел рукой по лицу и, не замечая меня, поглядел на звезды, потом легонько вздохнул, вновь взваливая на себя тяготу службы. Тогда я понял: я должен завоевать его сердце.

И вот я, повелитель и царь, повернулся и вместе с моим дозорным стал смотреть на город, город был один, но смотрели мы на него по-разному. «Не в моих силах наделить дозорного усердием и любовью, — подумал я. — Но если предложенная мной картина станет для него счастливым откровением, если дробность, которую он видит, окажется связанной воедино Божественным узлом, он станет моим единомышленником». И я понял разницу между завоеванием и принуждением. Завоевать означает, переубедив, обратить в единоверца. Принудить — значит, держать в вечном плену. Я завоевал твое сердце, человек в тебе свободен. Если я тебя принудил, я связал в тебе человека по рукам и ногам. Завоеывая, я строю нового тебя с твоей собственной помощью. Принуждая, выстраиваю камни в ряд. Что построишь потом из этих рядов?

Я понял: каждого человека нужно завоевать. Того, кто бодрствует, и того, кто спит; того, кто ходит вокруг крепостных стен, и того, кто живет внутри них. Того, кто радуется новорожденному, и того, кто плачет об усопшем. Того, кто молится, и того, кто усомнился: Завоевать — означает вложить в тебя остов и пробудить в твоей душе вкус к истинной пище. Ибо существуют озера, которые утолят твою жажду, но надо показать дорогу к ним. Я поселю в тебе своих богов, чтобы они тебе светили.

Я понимаю: завоевывать тебя нужно с детства, потому что потом ты уже слеппен, затвердел и тебе невозможно освоить иной язык.

СХI

Настал день, и я убедился: нет, я не ошибся. Не потому, что оказался сильнее или рассудительнее других, а потому, что не доверился логике, которая последовательно выстраивает постулат за постулатом. Я знаю, логика обслуживает свершившееся, она в подчинении у него, в ее ведении следы на песке, а не танцор, что прошел по песку и если был гениален, то привел всех к спасительному колодцу. Я убедился: все свершения поступают в ведение логики, потому что каждое из них было цепочкой шагов. Логика умеет читать следы, но ходить, бегать, танцевать, сделать движение рукой, что взрастит будущее, она не умеет. Я

убедился: культура ветвится, как ветвится дерево, и для того, чтобы она зародилась на свет, необходимо семечко, она — единство, хоть и существует в миллионах облиций, в ней непременно будут и корни, и верхушка, и ствол, и листья, и цветы, и плоды, но все это вместе живительная сила одного-единственного семечка. Я знаю: если оглядеть путь, пройденный культурой, он потянется к истокам без пустот и зияний, логики охотно следят эту дорогу вспять, но они не могут идти вперед, потому что не слышат вожатого. Я видел: люди в спорах не находят истины. Я слышал, как рассуждают толкователи геометрии, они не сомневаются, что владеют истиной, но если вдруг спустя год один из них отказывался от общей истины, как корили они коллегу за святотатство, как цеплялись за свое шаткое божество! Я сидел за столом с единственным подлинным геометром, он был моим другом, он знал, что ищет доступный людям язык, как ищет его поэт, стремясь передать свою любовь, он говорил как равный с камнем и со звездой и понимал, что год от года язык будет изменяться, и это будет означать, что человек переходит с одной ступеньки на другую. Понял и я: не существует лжи, потому что не существует истины (изменяющееся, растущее дерево — вот единственная истина), поэтому я в молчании моей любви терпеливо слушал бессмысленный лепет, гневные вопли, смех и жалобы моего народа. Еще в юности я понял: язык неловок и неуклюж, и оставил споры, ибо они бессмысленны. Сколько я ни приводил доводов, стремясь сказать лишь самое насущное, не увлекаясь цветами красноречия, мои доводы никого не убеждали, в споре со мной всегда находился более искусный в доводах противник, чем я. Однако и его искусство только помогало мне сохранять верность себе; слушая его возражения, я понимал одно: свое я не сумел выразить, но со временем я найду более действенные средства, ибо, если хочет сказаться в тебе нечто и впрямь подлинное, убежденность твоя неисчерпаема и похожа на родник. Раз и навсегда отказался вникать я в людскую разноголосицу. Я решил, куда плодотворнее послушание мне, и позволил семечку в себе расти, превращаться в дерево, множить корни, тянуть вверх ствол, пушить ветки, чтобы не о чем стало спорить: вот оно, дерево, что в нем выбирать? Оно широко раскинуло ветви, оно может приютить всех.

Я уверился, что невнятица, противоречивость, смутность моих слов совсем не означают, что невнятно, противоречиво или смутно то, что я хочу выразить,

— просто я дурно владею языком, ибо душевная потребность, ощущение внутренней значимости не бывают невнятными, смутными, противоречивыми и не просят для себя обоснований и подтверждений, они просто есть, как есть потребность у скульптора, который принялся лепить; эта потребность не обрела еще формы, но станет тем лицом, которое он вылепит.

СХII

Отказом от иерархии мы поощряем тщеславие. (Вспомни распри генералов и губернаторов.) Иерархия, властно и безусловно расставив всех по местам, сводит тщеславие на нет. Сейчас все вы подобны одинаковым шарикам, для вас нет никого, кто был бы авторитетней вас и придавал своим авторитетом значимость всему окружающему, а если так, то любой, кто бы ни занял место короля, будет не освящать, а отбрасывать тень, все вы соперничаете с ним, тщеславитесь, завидуете, ненавидите.

Есть у меня и еще один враг — вещи. Пришло время тебе понять величайшее из своих заблуждений: ты слишком доверился вещам. Но я говорю тебе: значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем подобно яблоку, ободравший руки о камни, копясь в земле и глине, и нашедший за весь год один-единственный чистой воды алмаз — счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов, но что ему в них, они тусклее стекляшек!

Ибо не в вещах нуждаешься ты-в божестве.

Да, вещь ты получаешь навсегда, но не всегда она тебя радует. Назначение вещи — тянуть тебя вверх, она тебе в помощь, пока ты ее завоевываешь, а не тогда, когда заполучил. В друзья я взял себе того, кто вопреки трудностям понуждает тебя карабкаться в гору, взяться за тяжкий труд, пробиваться к стихам, добиваться любви недоступной красавицы, ибо он понуждает тебя сбыться. Чему служат запасы готового? Спячке. Ты добыл алмаз

— что тебе делать с ним?

Я возвращаю вкус празднику, что давным-давно позабыл. Праздник — это завершение долгих приуготовлений к празднику, вершина горы после изнурительного подъема, алмаз, который тебе позволено добыть из глубин земли, победа, увенчавшая долгую войну, первый завтрак после мучительной болезни, предвкушение любви, когда в ответ на признание она опустила глаза...

Если бы я захотел, я придумал бы для тебя вот какую жизнь: жизнь, что была бы исполнена труда и усердия, — люди, сплотившись, увлеченно и жадно трудились бы, а наработавшись, радостно возвращались домой, они любили бы жизнь и ждали чудес от завтрашнего дня. Сверканье звезд рождало бы в тебе стихи, хотя ты только бы и знал изо дня в день, что копать землю, стремясь отобрать у нее алмаз. (Алмаз — крупца солнца, огонек папоротника в туманной ночи, преображенный свет.) Ты увидишь: насыщенной и полнокровной станет твоя жизнь, если я заставлю тебя изо дня в день добывать алмазы, а в конце года приглашу на пышное празднество — празднество преображения алмазов, которые будут гореть перед добывавшими их в поте лица людьми, становясь опять светом. В моем мире душа не служила бы добытым вещам, насыщалась бы их смыслом. Впрочем, я могу и не сжигать алмазы, я могу украсить ими королеву, чтобы ты почувствовал себя королем, могу украсить ими святилище храма, чтобы они засверкали еще ярче, но не для глаз — для души (для души ведь не существует стен). Но если отдать этот алмаз тебе в руки,

— что изменит он в твоей жизни?

Я говорю тебе это, потому что постиг глубинный смысл жертвенности, ты отдаешь не ради того, чтобы испытать чувство обездоленности, ты отдаешь, чтобы почувствовать себя щедрым богачом.словно к материнской груди, тянешься ты к вещи, но питает тебя, будто молоко, лишь смысл, которым она наделена. Вот я поселил тебя в царстве, где каждый вечер одевают привезенными неведомо откуда алмазами, они покажутся тебе речной галькой, они лишились того, чем ты стремился завладеть. Старатель, что изо дня в день дробит тяжелым молотом скалу и раз в год, во время великолепного празднества, сжигает свой тяжкий труд, любуясь ослепительной вспышкой света, куда богаче праздного богатея, что получает готовое, не требующее от него ни траты сил, ни душевного участия.

(Как увлекательно играть в кегли: сбил и торжествуешь свою победу. Но вот тебе предложили сотню уже опрокинутых кеглей, куда пропал твой азарт?) Празднество и жертвенность сродни друг другу: радостью тебя полнит отданное. Ты — дровосек, что праздничнее для тебя костра из твоих поленьев? Отдых после тяжелого подъема в гору разве не праздник? Сбор винограда на твоём заботливо обихоженном винограднике? И много ли было у тебя радости, когда ты поедал запасенное впрок? Праздник — всегда завершение изнурительного пути. Что праздновать, если ты не сдвинулся с места? Карабкайся! Карабкайся вверх каждый день, не обживайся в чужой музыке, стихах, завоеванной женщине, картине, открывшейся с вершины горы! Если дни твои станут ровной гладью, я потеряю тебя среди этой равнины. Дни должны надуваться, как паруса корабля, плывущего в неизведанное. Если ты одолел стихи, они — праздник. Праздник — храм, потому что укрыл тебя от сует. Что ни день, город дробит тебя своим торопливым бегом. Подгоняет тебя нужда в куске хлеба, хвори близких, тот вопрос, та проблема, ты нужен здесь, нужен там, с одним горюешь, с другим радуешься. Но приходит

безмятежный час тишины. Ты поднимаешься по ступеням, толкаешь дверь и оказываешься в небесной безбрежности, мерцающей звездами Млечного Пути, в безмолвии, отрешенном от насущного. Безмолвие, безбрежность, как ты нуждаешься в них! Они тебе вместо пищи, потому что измучила тебя дробная конкретность событий, дел, вещей, которая тебе не впрок. Тебе нужно сосредоточиться, собрать самого себя воедино, протянуть между вещами связующие нити и, насытив смыслом дробную Драму дня, сложить ее в целостную картину. Но на что тебе храм, если ты не жил жизнью города? Не боролся, не преодолевал, не страдал? Если не принес с собой камней, из которых можешь себя построить? Мы уже говорили о войне и любви. Если ты влюбленный, и только, чем жить в тебе? Женщина с тобой соскучится. Любят воинов. Но если ты только воин, некому умирать в тебе, ты — насекомое и хитиновом панцире. Только человек, любящий человек согласен на гибель. И если в моих словах тебе чудится противоречие, то это по вине неуклюжих слов, что дразнят друг друга. Противоречит ли плод корням дерева?

СХIII

Беда в том, что мы никак не можем согласиться между собой, что же такое действительность. Для меня действительно совсем не то, что можно положить на весы (весомость такого рода смешна мне, раз я не весы, действительность веса меня не интересует). Действительно для меня то, что весомо ложится на сердце, — твое огорченное лицо, песня, усердие моего царства, жалость к людям, благородный поступок, желание жить, оскорбление, сожаление, разлука, дружество, родившееся во время сбора винограда. (Оно мне дороже урожая, собранные грозди могут увезти и продать где угодно — главную драгоценность я уже получил. Я похож на представленного королем к награде: он празднует, греется в лучах пролившейся на него славы, его поздравляют друзья, он горделиво наслаждается триумфом, но король упал с лошади и умер, не успев приколоть к его груди металлической побрякушки. Неужели ты считаешь, что человек не получил награды?) Кости — действительность для твоей собаки. Тяжесть гири — действительность для весов. Природа твоей действительности иная.

Потому мне и кажется легкомысленным финансист и мудрой танцовщица. Я совсем не гнушаюсь ремеслом финансистов, мне смешны их самодовольство спесь, самоуверенность, они не сомневаются, что в них соль земли, они — альфа и омега Вселенной, но они только обслуга, и обслуживают они танцовщиц.

Смотри не ошибись в значимости трудов. Есть насущные труды, вроде стряпни у меня во дворце. Без еды нет человека. Необходимо, чтобы человек был сыт, одет, имел крышу над головой. Необходимо, но не больше. Насущное не есть существенное. Не ищи в необходимом существенного, оно для тебя в ином. Питают человека, насыщая его жизнь смыслом, танцевание танцев, писание стихов, чеканка кувшинов, решение геометрических задач, наблюдение за звездами — занятия, которым можно предаваться благодаря стряпухам.

Но когда ко мне приходит стряпуха, ничего не выдавшая, кроме своей кухни, снабжающая действительность лишь тем, что кладут на весы, да еще костями для собак, я не слушаю ее рассуждений о человеческих нуждах, потому что главное осталось вне ее разума, она будет судить о человеке со своего шестка, как фельдфебель: для него человек — это тот, кто умеет стрелять из винтовки.

Казалось бы: танец бесполезен, а отправь танцовщиц на кухню, на обед они состряпают лишнее блюдо. Для чего золотые кувшины? Прикажи штамповать оловянные, и у тебя будет

куда больше необходимой посуды. Для чего гранить алмазы, писать стихи, смотреть на звезды? Если всех отправить пахать землю, станет куда больше хлеба...

Но когда в твоём городе обнаружится нехватка чего-то — чего-то насущного для души, а не для глаз, не для рук, — ты станешь искусственно восполнять его, и не восполнишь. Хотя наймешь сочинителей, чтобы писали стихи, наделаешь механических кукол, чтобы танцевали, заплатишь мошенникам, чтобы выдавали гранёные стекляшки за бриллианты, желая помочь людям жить. Но кому в помощь жалкая уродливая пародия? Суть танца, стихотворения, алмаза в преодолении. Незримое, оно насыщает твои труды смыслом. Любая подделка — солома для подстилки в хлеву. Танец — это поединок, соращение, убийство, раскаяние. Стихотворение — восхождение на вершину горы. Алмаз — год трудов, засиявший звездой. Подделка — оболочка без нутра.

Посмотри на игру в кегли: как ты рад, сбив ещё одну в ряду. Но вот ты изобрёл машину, чтобы сбивать их сотнями, много ли прибавилось тебе радости?..

СXIV

Не подумай, что я считаю пустяком твои нужды. Не считай, что противопоставляю существенное насущному. Нет, я просто излагаю тебе мою истину при помощи слов, а они дразнят друг друга и показывают языки: насущное отталкивает бесполезное, причина мешает следствию, кухня — танцевальному залу. Я ничего не противопоставляю, противопоставляют неуклюжие слова. Гора слов мешает рассмотреть человека.

Если Господь изострит взор и слух часового, он увидит существо города и не станет противопоставлять крик новорожденного плачу по умершему, ярмарку

— храму, веселый квартал — супружеской верности:

все это вместе ощутит он как город, поглощающий, сливающий, объединяющий, — город, похожий на дерево, растящее себя из чуждых ему и разнородных крупниц; похожий на храм, что обнял молитвенной тишиной статуи, колонны, алтарь и своды. Вот и я тоже, размышляя о человеке, вижу его совсем не на той ступеньке, где певец противопоставлен жнецу, танцор молотильщику, астроном кузнецу, — если я стану делить тебя, человек, я ничего в тебе не пойму и тебя потеряю.

Поэтому я затворился в молчании моей любви и наблюдаю за людьми. Я хочу понять их.

Заметка для памяти: не подчинишь работу заранее продуманной идее. Рассудок слеп. А творение совсем не сумма составляющих его частей. Нужно семечко, чтобы возникло тело. Оно будет таким, какова двигающая тебя любовь. Но предвидеть заранее, каким оно будет, невозможно. Однако логики, историки, критики, пользуясь нелепым языком логики, разнимут твоё творение на составляющие и докажут, что одно в нём надо было бы увеличить, а все остальное уменьшить, и с той же логичностью докажут совершенно противоположное, ведь когда живешь в царстве абстракций, когда кухня и танцевальный зал для тебя только слова, между ними нет особой разницы, ничего не стоит что-то уменьшать, что-то увеличивать. Слова и есть слова. Что бы мы ни говорили о будущем, разговоры наши бессмыслица. Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Пробуди страсть, она изменит настоящее, а следом и будущее. Не занимай сегодняшним завтрашними заботами. Питает тебя настоящее, а если ты отвернешься от него, ты умрешь. Жизнь — это осваивание настоящего, оно сплетено из множества продлевающих нитей, устоявшихся связей, но язык не в силах вместить их и выразить. Равновесие настоящего составлено из тысячи равновесий. И если ты, проводя

задуманный эксперимент, нарушишь одно из них, — у слона-великана рассечешь одну узенькую жилку, — слон умрет.

Нет, я не о том, чтобы ты ничего не менял. Ты можешь изменить все. На бесплодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена. И тогда в каждый миг семечко или то, что растет из него, будет в равновесии с настоящим.

С множества точек зрения можно судить об одном и том же. И если с моей вершины я примусь делить людей с точки зрения их права быть сытыми, вряд ли кто-то сочтет мою точку зрения несправедливой. Но если я поднимусь на другую гору и по-иному взгляну на людей, то, полагаю, справедливым мне покажется что-то иное. А мне хотелось бы не позабыть ни об одной из справедливостей. Поэтому я наблюдаю за людьми.

(Справедливость не одна, их бесконечное множество. Я могу распределить моих генералов по возрасту и старейшим воздавать почести и назначать их на все более ответственные посты. Или, наоборот, могу вознаграждать их отдыхом, с годами предоставляя им все больше прав на него и перекладывая ответственность и обязанности на плечи более молодых. Я могу судить обо всем с точки зрения царства. Могу судить с точки зрения частного лица. Могу судить с общечеловеческой точки зрения, ратуя за частное лицо или против него.) Основа моей армии — иерархия, но стоит мне попытаться определить, что для моей армии справедливо, а что несправедливо, как я попадаю в сеть неразрешимых противоречий. О человеке можно судить по заслугам, по способностям и исходя из соображений высшего блага. Вот я построил лестницу неоспоримых достоинств, но стоило поместить их в другое измерение, как они оказались спорными. И если мне наглядно доказывают, что решения мои чудовищны, я не впадаю в смятение. Я знаю заранее, непременно найдется точка зрения, с которой они поразят именно своей чудовищностью, но я хочу, чтобы новое прижилось к уже существующему, чтобы оно пустило корни, чтобы истина не была словесной, чтобы в ней была ощутимая для всех весомость.

СХV

Мне показалось бессмысленным выяснять, кто и какими привилегиями пользуется в моем городе. Права каждого можно оспорить. Не это моя задача. Вернее, она второстепенна. Главное для меня, чтобы привилегии облагораживали обладателя, а не превращали его в скотину. Поэтому мне важно узнать, каков он, мой город.

И вот я отправился на прогулку, и меня сопровождал лейтенант, который расспрашивал прохожих.

— Чем ты зарабатываешь на жизнь? — спрашивал он наугад у одного, у другого.

— Плотничаю, — ответил один.

— Огородничаю, — сказал другой.

— Кую, — сказал третий.

— Пасу, — ответил четвертый.

Рою колодцы. Ухаживаю за больными. Пишу за неграмотных прошения и письма. Разделяваю туши. Чеканю чайные подносы. Тку полотно. Шью одежду. Или...

Я подумал: каждый из них трудится для всех. Потому что каждый ест мясо, нуждается в воде,

лекарствах, досках, чае, одежде. И никому из них ремесло не приносит больших избытков, потому что мясо едят раз в день, раз в жизни тяжело болеют, носят один костюм, пьют раз в день чай, отправляют одно-два письма, спят на одной постели, в одном и том же доме.

Но слышал я и другие ответы:

«Строю дворцы, граню алмазы, ваяю из мрамора статуи...»

Эти работают не для всех, они трудятся для избранных, ибо сделанное ими поделить невозможно.

Да и как иначе? Художник потратил на роспись вазы год, и возможно ли оделить всех его расписными вазами? Получается, что в городе один работает на многих, потому что есть в нем женщины, есть больные, калеки, есть дети, старики и те, кто сегодня отдыхает. Есть в городе и те, кто служит царству и не производит никаких вещей, — это мои солдаты, жандармы, поэты, танцовщицы, губернаторы. Но и они, как все остальные, едят, пьют, одеваются, обуваются, спят в кровати под кровом дома. Им нечего дать взамен необходимых для них вещей, мне приходится обирать тех, кто производит необходимое, чтобы снабдить им тех, кто его не производит. Любой ремесленник в своей мастерской делает больше вещей, чем нужно ему самому. И все же всегда есть такие вещи, какими ты не сможешь оделить всех, потому что мало кто их делает.

Но согласись, очень важно, чтобы находились охотники делать эти как бы ненужные вещи, ибо излишества и есть прекрасное существо возвращаемой тобой культуры. Вещь, что обошлась дорого, значима для человека, — вещь, на которую потрачено много времени. В затраченном времени — суть бриллианта, год трудов стал слезой величиной в ноготь. Тачка розовых лепестков — каплей духов. Что мне за дело, чьей будет алмазная слеза, капля аромата? Я заранее знаю: на всех не хватит, но знаю и другое — о культуре судят по вещам, которые она произвела, а не по тому, кто владел этими вещами.

Я — господин, я обираю моих работников, отнимая у них хлеб и одежду, чтобы накормить и одеть моих солдат, женщин, стариков.

Что смутит меня, что помешает отнять у них хлеба побольше и накормить моих скульпторов, гранильщиков, поэтов, которые, кроме поэзии, питаются еще и хлебом?

Без них у меня не будет бриллиантов и дворцов, о которых мечтают, к которым страстно стремятся.

Ты говоришь, скульпторы и гранильщики не сделают мой народ богаче? Неправда, разве многообразие занятий не богатство? Ведь кроме насущных трудов есть еще и труды по возвращению культуры. Конечно, подобные занятия требуют досуга, но немногие занимаются ими в моем городе — я убедился в этом, расспрашивая людей.

И вот что я понял: раз диадему нельзя поделить на всех, значит, вопрос, чьей она будет, бессмыслен, и я не вправе считать ее владельца грабителем, обделившим остальных. Владельцы, заказчики — основа, на которой ткются узоры культуры, не стоит тревожить их и нарушать плетение, у них своя роль, и не мое дело, хороши они или дурны и есть ли у них моральное право на роскошь.

Не спорю, действительности не чужды проблемы этики. Но есть в ней и другое, что вне этики. И если я буду разрешать проблемы при помощи слов, которые не вмещают противоречивой действительности, мне придется отказаться от света в моем царстве и погасить его.

Заметка для памяти: беженцы-берберы не желали работать, они лежали. Бездействовали. Я пекусь не о трудах — о связующих нитях. Дни я делю на будни и праздники. Людей на старших и младших. Строю дома, более или менее красивые, и пробуждаю зависть. Ввожу законы, более или менее справедливые, и побуждаю пуститься в путь. Я забочусь не о справедливости, справедливо было бы оставить это болото в покое и не мешать ему гнить. Но я навязываю свой язык, ибо люди способны понять его смысл. Я плету сеть условностей и с ее помощью хочу выудить из людей, словно из слепоглухонемых, — человека, но пока еще он крепко спит. Ты обжег слепоглухонемого и назвал: огонь. Ты несправедлив к оболочке, ты причинил ей боль, ты справедлив к человеку, укрытому ею, — ты дал ему свет, открыл, что такое огонь. Больше тебе не понадобится обжигать его, при слове «огонь» он отдернет руку. И это будет знак, что он родился на свет.

Каждый, сам того не подозревая, словно сетью, опутан множеством условностей, но не в состоянии ощутить их на себе, ибо они есть. Есть разные дома. Есть разная еда. (Я установил великий праздник, чтобы они ждали его, чтобы верили: с этого дня начинается новая жизнь. Что им делать, как не следовать направлению русла? Да, направленность уже несправедливость, но и праздник в чередке будних дней та же несправедливость.) Благодаря красивым домам одни что-то получили, другие что-то потеряли. Вошли, вышли. Мой лагерь я расчерчу белыми линиями — в нем будут опасные зоны и безопасные. Вот я обозначил запретную зону, за приближение к ней я буду карать смертью. Так я строю костяк в медузе. Скоро она начнет передвигаться самостоятельно, как отрадно!

Человек получает слова пустыми. Но по мере того как они насыщаются смыслом, они становятся шпорами, уздой, удилами. Появляются жестокие слова, от них плачут. Появляются певучие слова, от них светлеет на сердце.

«Я сделал вещи доступными...» — считай, что ты проиграл, не богатство беда, беда — отсутствие трамплинов, что вынуждали тебя двигаться путем созидания, теперь ты используешь готовое. Беда не в том, что ты дал, беда в том, что ничего не требуешь. Когда больше даешь, больше и спрашивай.

Справедливость, равенство — от них веет покоем смерти. Что такое братство, знает лишь растущий кедр. Не путай с братством круговую поруку и соглашательство — соглашательством живет толпа, над ней нет Бога, под ней

— питающих подземных вод, а в ней самой нет мускулов, она не спеша гниет, и только.

Они лишились формы, живя толпой равных по законам справедливости. Они стали горстью одинаковых шариков.

Брось в эту толпу семечко, ее должна преобразить несправедливость дерева.

Я заметил, мой восточный сосед внимателен не к событиям в своем царстве, не к устройству и не к учреждениям, не к вещам, а только к перепаду высот. И если ты захочешь узнать мое царство и отправишься сперва к кузнецам, ты увидишь, они куют гвозди, они влюблены в гвозди, речи их — славословие ковке гвоздей. Потом ты пойдешь к лесорубам, увидишь, как

валят они деревья, как увлечены рубкой; первый треск мощного ствола для них — праздник, падение дерева-гиганта — радостное торжество. Ты наведишь астрономов, они погружены в наблюдение за звездами, ты постоишь, послушаешь их молчание. Кузнецы, лесорубы, астрономы любовно делают свое дело. И если я спрошу тебя: «Что творится у меня в царстве? Что у нас будет завтра?» — ты ответишь: «Будут ковать гвозди, валить деревья, наблюдать звезды, у тебя, стало быть, будут запасы гвоздей, древесина, звездные карты». Не видящий дальше собственного носа, ты проглядел строительство корабля. Конечно, никто не сказал тебе: «Завтра мы выйдем в море». Каждый убежден, что служит своему богу. Язык каждого так ограничен, что ему не воспеть бога богов — корабль. Но корабль щедр, благодаря ему кузнец влюблен в свои гвозди.

Ты видел бы будущее яснее, если бы приподнялся над дробностью мира и ощутил ту жажду морского простора, какую я разбудил в душе моего народа. Тогда ты увидел бы фрегат — он сделан из гвоздей, досок, стволов деревьев, он послушен звездам, он медленно вырастает в тишине, словно кедр, что вытягивает соли и соки из каменистой почвы и окунает их в солнечный свет.

Если бы ты встал повыше, это устремление в будущее стало бы для тебя очевидным. Ты не ошибся бы — повсюду, где только возможно, явлено тяготение к морю. Ничего ведь не сделать и с земным тяготением, — я выпустил из руки камень, он непременно упадет на землю.

Вот я смотрю на человека. Он отправился на прогулку и пошел на восток. Я не могу предсказать, куда он идет. Пройдя сто шагов и убедив меня в неизменности направления, он возьмет и свернет в сторону. Но ближайшее будущее моей собаки мне известно, стоит ослабить поводок, как она потянет меня к востоку, оттуда пахнет дичью, и, если я спущу ее, она ринется туда со всех ног. Натяжение поводка сказало мне больше, чем пройденная человеком сотня шагов.

Я смотрю на узника, он сидит или лежит ничком, кажется — он подавлен и ничего не хочет. Нет, он хочет свободы. Устремление его явственно для меня, и мне достаточно указать ему на щель в стене, как он вздрогнет, напряжется и преисполнится внимания. И если щель ведет за городские стены, покажи мне узника, который бы не разглядел ее!

Но если ты погружен в размышления, то, занятый собственным ходом мыслей, ты можешь не заметить ни этой щели, ни другой. Или, заметив ее, начнешь рассуждать, удобно ли будет ею воспользоваться, и решишься слишком поздно — каменщики успеют ее заделать. Но покажи мне воду, заключенную в бассейн, какой из щелей она пренебрежет?

Потому я и говорю: внутреннее предрасположение, тяготение, Которое не выразишь словом — язык наш не приспособлен для этого, — могущественнее всех умствований, только оно ведет нас и нами правит. Потому я и говорю: разум в услужении у души, склонности души управляют им, а он лишь обозначает всякий раз направление, обосновывает его предложениями, а тебе кажется, будто ты послушен своим разбредующимся мыслям. Но я тебе говорю: управляют тобой только божества — храм, дом, царство, страсть к морю, жажда свободы.

И я тоже, как мой сосед, что правит по другую сторону горы, не стану следить за тем, что делается. Мне не угадать по полету голубя, свернет ли он к голубятне или подчинится воле ветра. Мне не понять, возвращается человек домой, потому что любит свою жену или подчиняется тяжкому долгу, не понять, что сулит его возвращение — любовную встречу или разрыв. Но когда речь идет об узнике, я не сомневаюсь: он не упустит случая, поставит ногу на оброненный мною ключ, ощупает каждый прут решетки, не качается ли один из них, присмотрится к каждому тюремщику, — я уже вижу, как исчезает мой узник в просторе за городскими стенами.

Я не стремлюсь узнать, что делает мой сосед, я хочу узнать, чего он не забывает сделать. Тогда я узнаю, какому божеству он послушен, и, даже если сам он не знает своего будущего, я могу судить, какое будущее его ждет.

СХVIII

Я вспомнил пророка, недобр был его косящий взгляд. Он пришел ко мне, и я почувствовал: он переполнен гневом. Гнев его темен и тяжел.

— Сотри их с лица земли, — сказал он.

И я понял: он жаждет совершенства. Ибо совершенна только смерть.

— Они грешат, — сказал он.

Я молчал. Я зримо видел его душу, изостренную, будто меч. И думал:

«Он живет борьбою со злом. Он живет благодаря существованию зла. Что с ним станет, если зла не будет?»

— Что тебе нужно для счастья? — спросил я.

— Торжество добра.

И я понял, что он обманывается. Разве счастье для него бездействие и пятна ржавчины на его мече?

Медленно разгоралась и наконец ослепила меня необычайная истина: любящий добро снисходителен к злу. Любящий силу снисходителен к слабости. Враждуют друг с другом одни слова, в жизни добро и зло сплетаются: бездарные скульпторы — почва для взращивания даровитых, тираны выковывает гордость души, противостоящую тирании, голод вынуждает делиться хлебом: возникшее дружество слаще, чем хлеб. Заговорщики, которых схватила моя стража, сидят в темноте подземелья и готовятся умереть, принеся себя в жертву другим, они согласились на опасности, нищету и несправедливость из любви к свободе и справедливости. Эти люди всегда казались мне ослепительно прекрасными, нестерпимо было их сияние в камере пыток, и я никогда не унижал их в смерти. Что такое алмаз, если нет твердой породы, которую нужно преодолеть, чтобы до него добраться? Что такое клинок, если нет врагов? Что такое возвращение, если нет отсутствия? Что такое верность, если нет соблазна? Торжество добра

— это торжество покорных волов вокруг кормушки. Я не жду ничего хорошего от оседлых и перекормленных.

— Ты борешься со злом, — сказал я пророку, — любая борьба — это танец. Ты наслаждаешься своим танцем, танцуя во имя зла. Я хотел бы, чтобы ты танцевал из любви.

Я творю, я создаю царство, где всех вдохновляет поэзия, но наступает час, приходят логики и принимаются размышлять. Они ищут, что может угрожать поэзии, и обнаруживают, что грозит им ее противоположность — проза, словно есть на свете противоположности!.. Следом появляются жандармы, любовь к стихам им заменяет ненависть к прозе, они уже не любят, а ненавидят. Будто истребление олив равнозначно взращиванию кедра. Жандармы отправят в застенок музыканта, ваятеля, астронома, подчинившись пустым словам, ветру слов, слабому дрожанию воздуха. С этой минуты царство мое обречено на гибель, ибо рубить оливы,

уничтожать запах роз не значит выращивать кедры. Пробуди в душе твоего народа любовь к фрегату, она соберет усердных со всех концов твоего царства и преобразит их в паруса. Ты захотел сделать паруса из преследования, выслеживания, из уничтожения несогласных. Все, что не фрегат, сделалось врагом фрегата, ибо логика приводит туда, где назначаешь ей свидание. Ты принялся очищать свой народ, ты вынужден будешь его уничтожить, ибо окажется: каждый кроме фрегата любит и еще что-то. Больше того, ты уничтожишь сам фрегат, потому что любовь к нему в кузнеце стала любовью к гвоздям. Кузнеца ты отправишь в тюрьму. Откуда взяться гвоздям?

Если ты захочешь помочь величию скульпторов, истребив бездарных и слабых, подчинившись пустому ветру слов, который противопоставил их даровитым, у тебя не будет скульпторов вообще. Ты и сам запретишь своему сыну это ремесло, сулящее так мало шансов выжить.

— Если я правильно понял тебя, — закричал косой пророк, — я должен поощрять пороки?!

— Нет, ты меня совсем не понял, — отвечал я.

СХІХ

Ведь если я не хочу воевать и меня мучает ревматизм в колене, он вполне может стать препятствием, помешавшим мне начать войну, и наоборот, если я хочу воевать, я решу, что движение — лучшее средство против ревматизма. Мое стремление к миру воспользовалось как предлогом ревматизмом, но предлогом могла стать любовь, или домашний уют, или почтение к моему противнику, или что угодно иное. Так что если ты хочешь понять людей, начни с того, что перестань их слушать. Кузнец толкует тебе о гвоздях. Астроном о звездах. И никто не вспомнит о море.

СХХ Имей в виду, мало посмотреть, чтобы увидеть. С самой высокой из моих башен я показал моим гостям пределы моего царства, они закивали головами: «Конечно, конечно...» Я повел их в монастырь, стал рассказывать об уставе, они тихонько зевали. Показывал новый храм, картину, статую, художника, архитектора, сказавших новое, небывалое слово.

Но они отвернулись. Других могло бы взять за живое, но эти остались равнодушными.

И я подумал: «Даже те, кто умеет видеть за вещным Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не картину — немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит еще крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты готов увидеть, если вызрело в тебе еще не известное тобой решение, молния озарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Потому я и приурочиваю их к любви долгой молитвой. Этот приготовился, и робкая улыбка сразит его, будто меч. Но большинство живет в царстве неосуществленных желаний. Я стал баюкать их северными легендами: заплескали крылами лебеди, потянулись над равниной серые гуси, будя ее тревожными кликами, — окованный льдами темный Север, похожий на храм из черного мрамора, наполнился голосом тревоги, и вот мои слушатели готовы залюбоваться серыми северными глазами, мерцающий в них свет улыбки кажется им светом таинственного приюта, манящего посреди снегов. Я понимаю: взгляд светлых глаз заставит забиться их сердце. Но те, кого испепеляет в пустыне жажда, не заметят света серых глаз».

Если с детства я леплю тебя подобным твоему окружению, ты увидишь ту же картину, что видит твой народ, ты будешь любить то, что любит он, ты будешь говорить на одном с ним языке. Я не про слова, с которыми ты обращаешься к соседу, я про цепочку Божественных

узлов, связующих дробность мира воедино: нужно, чтобы для всех они были одними и теми же, эти узлы.

Я говорю «одними и теми же», но не подумай, что я стремлюсь к упорядоченности строя солдат, прямого ряда камней; этот порядок — смерть и небытие. Я хочу научить вас видеть одну и ту же картину, а значит, чувствовать одни и те же связующие нити и привязанности.

Теперь я знаю: полюбить — значит разглядеть сквозь дробность мира картину. Любовь — это обретение божества.

Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуи, стихи, царство, любимая, Бог слились для тебя воедино, — я назову любовью окно, что распахнулось в тебе. И скажу, что любовь умерла, если вокруг ты видишь дробный мир, хотя вокруг ничего не переменялось.

Нет сообщения среди знающих лишь о насущном. Отвернувшись от божества, становишься животным.

Вот почему моих гостей, зрячих, но не умеющих видеть, нужно приобщить к моей вере. Вера затеплит в них свет, сделает души вместительней. Вера избавит их от избыточного. А иначе что им в радость, кроме приятной сытости желудка, чего хотят они, куда идут?

Приобщить к своей вере — значит повернуть тебя лицом к божеству и сделать его зримым.

Но где взять мосток, чтобы перекинуть от себя к тебе? Ты оглядываешь поля, а, я дорожной палкой обвожу, показывая тебе, пределы моей земли, но не в силах поделиться своей к ней любовью: не достается легко любовь. Долго и трудно будешь ты подниматься в гору, опираясь на палку, и, когда обведешь ею пределы раскрывшейся перед тобой земли, задохнешься от волнения.

Но испробовать на тебе, каково оно, мое царство, я могу. Верю я прежде всего в работу. Не увидеть, что идеи рождаются делом, может только ребенок или слепец. Ребячество разбирать и раскладывать по полочкам идеи, будто они уже и не идеи вовсе, а товар на ярмарке.

Я доверяю тебе волов и повозку или цеп на току. Или лопату, чтобы рыть колодцы. Поручу собирать оливки. Играть на свадьбах. Копать могилы. Дам тебе какое-то дело, чтобы ввести тебя в незримый замок, подчинить силовым линиям, облегчить одни пути, закрыть другие.

У тебя появятся обязательства, запреты. Одно поле можно вспахивать, другое нет. Этот колодец — спасение деревни, другой — проклятие. Девушка выходит замуж, ее деревня распевает песни. А соседняя плачет об усопшем. Стоит потянуть за одну ниточку, как открывается вся картина. Пахарь пьет из колодца воду. Колодезник выдает дочь замуж. Невеста ест хлеб пахаря, пьет колодезную воду, и все они празднуют одни и те же праздники, молятся одним и тем же богам, оплакивают одних и тех же усопших. Станешь и ты таким, каким ты нужен деревне. Ты мне скажешь, каким ты стал. И если сам себе не понравишься — значит, моя деревня тебе не по вкусу.

Ничего не разглядит зевака. Праздный взгляд отмечает дома, деревья как увидеть за ними Бога? Бог открывается трудами сердца.

Истина для меня то, что тебя воодушевило. Все, что ты видишь, не хорошо и не дурно. Но вот ты увидел картину и замер. Ты понял: эта картина прекрасна. «Истинна и прекрасна», — скажешь ты мне, и точно так же ты можешь открыть для себя свою землю, царство. Обжив его сердцем, ты пойдешь за него на смерть. «Камни подлинны, подлинен и храм», — скажешь ты мне.

В тайная тайных монастыря я приготовил для тебя чудесную икону, чтобы душа твоя затеплилась молитвой, — ты плачешь и молишься перед ней — что ты тут можешь отринуть? Сможешь ли ты сказать: истинна красота лика, но не истинен Бог?

Неужели ты думаешь, что родился, умея видеть прекрасное? Нет, ты научился его видеть. Прозревший слепорожденный не обрадовался обращенной к нему улыбке. Ему нужно было узнать, что такое — улыбка. Но ты знаешь с детства: улыбка сулит тебе радость, она таит в себе приятный сюрприз. Зато нахмуренные брови обещали неприятности, дрожание губ предвещало слезы, загоревшиеся глаза — увлекательную выдумку, кивок головой — примирение, протянутая рука — доверие.

Ты живешь, накапливаешь опыт, и мало-помалу у тебя в душе складывается картина, мерцает некий идеальный образ, все в нем тебе по сердцу, он радуется тебе, наполняет жизнью. И вдруг в толпе мелькнуло похожее на него лицо, ты скорее умрешь, чем его потеряешь.

Молния поразила тебя в самое сердце, но сердце твое готово было загореться.

Не спеша нарабатывается любовь и только тогда рождается. Ты открываешь для себя хлеб после того, как я дал тебе возможность поголодать. Я натянул в тебе струну, что откликнется на стихи. Стихи запели у тебя в душе, другой, их читая, зевает. Я стремлюсь пробудить в тебе голод, о котором ты пока не подозреваешь, страсть, которая пока для тебя безымянна. В ней пучок твоих дорог, твой стержень, твоя форма. Божество, которое ее разбудит, выявит в тебе все разом, и дороги потянутся для тебя лучами света. Но ты еще ни о чем не знаешь, не ищешь. Если бы искал, то знал бы уже по имени, а значит, нашел.

СХХI

Заметка для памяти: задурив себе головы, они решили, что и в жизни существуют противоположности, противостояния, — о, глупцы! Суровость, решили они, противостоит болтовне. Но жизнь — переплетение, стоит тебе уничтожить противоборствующего противника, как ты гибнешь с ним вместе.

Я повторяю: противопоставляется жизни одна только смерть.

Любя совершенство, ты уничтожаешь несовершенное. Вымарывание за вымарыванием — ты уничтожил текст. Все ведь несовершенно. Если любишь совершенство, не уставай совершенствовать.

Ты решил истребить низость, спасая благородство. Ты истребишь всех людей — ни один не сделан из чистого благородства.

Этот человек уничтожил своего противника. Он жил борьбой с ним. Теперь он и сам мертв. Противник корабля — море. Море сделало таким совершенным форштевень и корпус корабля. Противоположность огня — пепел, пепел сберегает бодрствующий огонь.

Не надо бороться с рабством и опираться на ненависть, нужно бороться за свободу и призывать на помощь любовь. В любой иерархии можно увидеть рабство, можно счесть рабами камни, сложившие фундамент храма, благодаря которым другие, более благородные, дотягиваются до неба; если ты последователен, ты должен разрушить храм.

Но кедр не отвергает, не ненавидит все то, что не кедр, он питается каменистой почвой и превращает ее в кедр.

Против чего бы ты ни боролся, у тебя на подозрении весь мир, потому что повсюду может оказаться кров, припас и пища для твоего врага. Против чего бы ты ни боролся, ты должен уничтожить и самого себя, потому что и в тебе есть твой враг, как бы слаб он ни был.

Единственная несправедливость, которую я приемлю, — несправедливость творчества и созидания. Ты не уничтожил соки, которые питают колючки, ты создал кедр, он питается соками, и для колючек их не осталось.

Если ты стал вот этим деревом, ты не можешь уже стать другим. Стало быть, ты — несправедливость по отношению к другим деревьям.

...Когда усердие в тебе иссякает, ты продлеваешь жизнь царству с помощью жандармов. Но если только жандармы в силах поддержать жизнь твоего царства, значит, оно уже мертво. Принуждаю и я, но принуждаю, как дерево, оно узел для соков земли, я не истребляю колючки и соки, которые их питают,

— я сажаю кедр, и теперь они вынуждены питать его.

Где ты видел, чтобы боролись против чего бы то ни было? Благоденствующий кедр уничтожает кустарник, но ему и дела нет до кустарника. Он не знает даже о его существовании. Он борется за кедр и превращает в кедр кустарник.

Ты хочешь заставить своих воинов умирать против рабства, несправедливости! Кто захочет умирать? Захотят убивать, а не умирать. Отправиться сражаться — значит дать согласие на смерть. На смерть соглашаются ради того, на что положили жизнь. Иными словами, ради любви.

Эти ненавидят тех. Будь у них тюрьмы, они набили бы их узниками. Но тюрьмы выковывают врагов, они пламенеют ярче монастырей.

Казнит и сажает в тюрьмы неуверенный в себе. Он уничтожает свидетелей и судей. Но для того чтобы обрести величие, недостаточно истребить свидетелей собственной низости.

Казнит и сажает в тюрьмы тот, кто перекладывает свои ошибки на других. Значит, он слаб. Чем ты сильнее, тем больше ошибок ты берешь на себя. На них ты учишься побеждать. Генералу, который потерпел поражение и пришел с повинной, отец сказал: «Не льсти себя мыслью, что ты способен ошибиться. Если я сел на коня и конь заблудился, виноват не конь — виноват я».

«Извинение предателей, — говорил отец, — в том, что они нашли силы предать».

СХХII

Если истины очевидны и противоречат одна другой, тебе ничего не остается, как искать другой язык.

Логика не в силах задеть тебя за живое, с ее помощью не перебраться на ступеньку выше. Исходя из камней, не узнать о сосредоточенности. Камней недостаточно, чтобы ее постичь. Тебе нужно придумать, как сложить по-новому камни, и то, что ты сложишь, ты обозначишь новым словом. Родилось новое существо, цельное, необъяснимое, потому что объяснить — значит расчленивать. Но оно едино, и ты окрестил его, дав ему имя.

Чему служат рассуждения о сосредоточенности? О любви? О царстве? Любовь, царство — не

предметы, они — божества.

Я видел человека, он согласен был умереть, наслушавшись сказок Севера, он узнал: раз в году наступает необыкновенная ночь, люди идут по скрипучему снегу под льдистыми звездами и подходят к деревянной избушке. Светится окно, после долгой тьмы тыходишь в свет и, заглядывая в дом, приближаешь лицо к стеклу — в комнате мерцает странное дерево. Говорят, эта ночь сродни расписной деревянной игрушке и пахнет запахом воска. Говорят, лица у людей в эту ночь — настоящее чудо. Потому что они ожидают чуда. Ты увидишь стариков, они затаили дыхание и смотрят на детей, приготовив сердце к величайшему таинству. Вот сейчас в детских глазах промелькнет что-то неуловимое, драгоценное. Целый год ты творил ожидаемое сокровище рассказами, таинственными намеками, туманными посулами и безграничной любовью к малышу. Сейчас ты снимешь с елки смешную деревянную игрушку и, согласно издревле установленному обычаю, протянешь ее ребенку. Вот он, этот миг. Все затаили дыхание, малыш сидит у тебя на коленях, дремотно моргает, его только что вытащили из теплой постельки, ты вдыхаешь сладкий запах сонного ребенка, и, когда он тебя целует, ты чувствуешь: жаждущее сердце наконец наполнилось из родника. (Горе детям, их обокрали, если никто не нуждается в роднике, что таится в них без их ведома, роднике, к которому приникают постаревшим сердцем, чтобы омолодиться.) Но сейчас не до поцелуев. Малыш смотрит на елку, ты смотришь на малыша. Сейчас ты сорвешь редкостный цветок, расцветающий единственный раз в году посреди снежных сугробов, — цветок восторженного изумления.

Как ты счастлив, глядя на потемневшие глаза ребенка. Он погрузился в созерцание своего сокровища, получив свое сокровище в руки, он засветился и похож на морской анемон. Если ты отпустишь его, он убежит. И догнать его нет никакой надежды. Не говори с ним, он тебя не услышит.

Его потемневшие глаза, чуть-чуть потемневшие, будто на луг набежала тень тучки, — не говори мне, что они ничего не значат. Даже если это единственное твоё воздаяние за прожитый год, за твою тяжкую работу, за потерянную на войне ногу, бессонные ночи, обиды и страдания — все возмещено тебе сполна, и ты счастлив. Ты в выигрыше, ты выгодно поменялся.

Какой логикой выведешь твою любовь к царству, молитвенную сосредоточенность в храме, этот несравненный миг?

И вот мой солдат готов умереть, — мой солдат, который видел только песок и солнце, который никогда не видел мерцающих деревьев и весьма приблизительно знает, где находятся северные страны, — он готов умереть, потому что гибель грозит запаху воска и потемневшим детским глазам, он узнал о них из стихов, и они были будто легкий аромат, принесенный ветром с дальнего острова. Я не знаю более важной причины для смерти.

Бывает, что питает тебя Божественный узел, связующий все воедино. Не преграда ему ни стена, ни море. Ты в пустыне, но переполнен дальним, неведомым тебе, даже чуждым — этих людей ты себе не представляешь, не представляешь и страны, — но переполнен ожиданием, ты ждешь и хочешь увидеть потемневшие глаза ребенка, он не сводит их со смешной деревянной игрушки, и она тонет в них, будто камень в неподвижной воде.

Бывает, что полученное тобой от этой картины так для тебя драгоценно, что ты готов умереть за нее. И если для меня это будет так, я подниму моих воинов, чтобы спасти рассеянный где-то в мире запах воска.

Но я не стану братья за оружие, защищая накопленные запасы. Когда их накопили, ждать можно только одного — превращения в тупую скотину.

Вот почему, когда умерли твои боги, ты ни за что не хочешь умирать. Но ты и не живешь.

Потому что нет в твоей жизни смерти. Слова «жизнь» и «смерть» дразнят друг друга, но жить ты можешь только тем, за что согласен и умереть. Тот, кто отказывается от смерти, отказывается и от жизни.

Если нет ничего, что было бы больше тебя, тебе неоткуда получать. Разве что от себя самого. Но что получишь от зеркала?

СХХIII

Я говорю для тебя, потому что ты одинока. Я хочу перелить в тебя свет.

Я знаю, ты молчишь, ты одинока, но все же и твое сердце может получать пищу. Божествам смешны моря и преграды. Ты тоже станешь богаче оттого, что где-то пахнет воском. Даже если никогда не вдохнешь его.

Но какова она, моя пища, я могу узнать, только посмотрев на тебя. Какой ты стала, напившись ею? Мне хотелось бы, чтобы ты молчаливо скрестила руки и глаза у тебя потемнели, как у малыша, которого я одарил сокровищем, он не в силах оторвать от него глаз. Мой подарок малышу не вещь, не предмет. Если камешки для него военный флот, устоявший в бурю, то мои деревянные солдатики будут и войском, и капитанами, и верностью царству, и смертью от жажды в пустыне. Ведь и музыкальный инструмент не инструмент вовсе, он — силки, чтобы тебя пленить. И твой плен так далеко увел тебя от силков. По-иному ты смотришь из окна на уснувший город, если помнишь мои слова о дремлющем под пеплом огне. Мой дозорный ходит уже не по кругу, если круглая площадка башни — вершина царства.

Отдавая, получаешь больше, чем отдал. Потому что тебя не было и вот ты возник. И что мне тогда за дело, если слова снова дразнят друг друга.

Я говорю для тебя, ты одна, мне хочется тебя приютить. Может, слепота или сухая рука помешали тебе ввести в свой дом мужа. Но есть присутствие более осязаемое, я видел, как поутру, когда мы победили, даже больной на смертном ложе был другим, и, хотя из-за толстых стен не было слышно победных труб, казалось, все в его комнате трубит о победе.

Что же проникло извне вовнутрь, как не связавшая всех воедино победа, которой нет дела до стен и которой морской простор не преграда? Разве не существует Божественного узла еще горячее? Он воспламенит в тебе сердце, и ты станешь преданной и совершенной.

Любви не растратишь. Чем больше даешь, тем больше остается. Когда черпаешь из живого родника, то с каждым днем он щедрее. Животворящ и запах воска. Если сосед подышит им, он станет для тебя еще драгоценнее.

Муж опустошит твой дом, если, устав любить тебя, улыбнется другой.

Но вот к тебе прихожу я. Нам не нужно знакомства. Я — узел царства, я придумал для тебя молитву. Я — ключ свода, наделяющий вещи смыслом. Я протягиваю нить и тебе. Ты больше не одинока.

Как тебе не последовать за мной? Разве я не ты? Ведь и музыка оживляет в тебе связующие нити, обжигает тебя. Музыка не истинна, не лжива. Просто ты начинаешь существовать.

Я не хочу, чтобы совершенство опустошило тебя. Опустошило и наполнило горечью. Я бужу в

тебе рвение, которое всегда обогащает и никогда не обделяет, рвение, которое никогда не требует возмещения потраченных усилий или запаса впрок.

Стихи прекрасны не логикой — дарованным свыше. Чем просторнее ты становишься от них, тем они тебе дороже, тем ты взволнованней. Ты тоже — музыкальный инструмент, ты тоже можешь запеть, в тебе разные голоса. Есть в мире и дурная музыка, она прокладывает путь ничтожеству, и в тебя входит ничтожество. Бог, что посетил тебя, жалок. Но бывает, на тебя изливается столько любви, что, утомленная, ты засыпаешь.

И я для тебя, одинокой, придумал молитву.

СХХIV

Молитва одиночества.

«Пожалей меня, Господи, тяжело мне мое одиночество. Мне некого ждать. Комната будто тюрьма, вещи в ней молчаливы. Я прошу не о гостях, на глазах людей я еще оставленной. У меня соседка, она тоже одна, и комната у нее похожа на мою, но она счастлива теми, кого любит. Нежность ее сейчас праздна, она не слышит, не видит своих близких, не чувствует ответной любви. И все-таки счастлива, в доме у нее не пусто.

Господи, не о человеке прошу Тебя, не о зримом присутствии. Я знаю, неосязаемы твои чудеса. Вылечи меня, освети мне душу, я хочу понять, где приют мой и где мне жить...

Странник в пустыне, Господи, оставив кров и близких, даже на краю света утешен своим домом. Что ему расстояние? Душа его занята, и если он умрет, то умрет любя... Я не прошу Тебя, Господи, чтобы и у меня появился такой дом...

Человек заметил в толпе лицо, и оно стало для него божеством, пусть девушка так и осталась незнакомкой. Так солдат влюбляется в королеву. Он живет как солдат королевы. Я не прошу Тебя, Господи, чтобы подобный кров был мне обещан...

По морским просторам странствуют влюбленные в несуществующие острова. Они слагают песни об островах — и счастливы. Не острова делают их счастливыми — песни. Я не прошу, Господи, чтобы дом для меня где-то был...

Одиночество, Господи, плод души-калеки. Смысл вещей — вот родная земля души. Храм — смысл существования камней. Душа расправляет крылья только на просторах смысла, не вещи нужны ей — картина, что возникла, когда они слились воедино. Научи меня видеть сквозь дробность целое.

Тогда, о Господи, я перестану быть одинокой».

СХХV

Подобно тому, как я могу назвать храм — внятный душе порядок, претворивший безликие камни в силовые линии, — могу назвать его укладом для камней... И уклад этот чаще всего прекрасен...

Подобно тому, как могу я назвать литургию моего года — внятный душе порядок, претворивший безликие дни в силовые линии (есть у нас дни поста, праздники и дни отдыха — силовые линии, направляющие тебя), — могу назвать укладом дней. Год благодаря ему оживает.

Подобно тому, как есть свой уклад и у черт лица. Лицо тогда чаще всего приятно. Есть уклад и у моей армии — протянутые мной силовые линии позволяют тебе одно, запрещают другое. Повинуйся, ты становишься моим солдатом. Армия чаще всего становится сильной.

Есть уклад и у моей деревни, со своими праздниками, днем поминовения усопших, сбором винограда, помощью при постройке, раздачей хлеба и воды во времена голода или засухи: полный бурдюк — он не для тебя одного. Благодаря укладу у тебя есть родина. И от нее чаще всего тепло на сердце.

На что я ни посмотрю, вижу уклад. Храма нет без архитектуры, года без праздников, лица без пропорций, армии без устава, отчины без обычаев. Не будь уклада, ты не сладил бы с беспорядком.

Почему же ты говоришь мне, что окружающая тебя дробность — она подлинная, а уклад — это мнимость? Разве любая вещь не уклад составляющих ее частей? По-твоему, армия менее реальна, чем камень? Но и камень я могу назвать укладом пылинок. Год — укладом дней. Почему тогда год менее реален, чем камень?

Этих заботит отдельный человек. Кто спорит, прекрасно, если каждый будет процветать, будет сыт, обут и страдать будет не чрезмерно. Но в каждом умрет главное, жители твоего царства станут рассыпанными камнями, если не будет в твоём царстве человеческого уклада.

Без уклада нет человека. Оплакивать покойного брата ты будешь не дольше, чем оплакивает собака утонувшую товарку. И возвращение брата тебя не порадует. Радованье брату должно строиться будто храм, он рухнет со смертью брата.

Я не видел, чтобы беженцы-берберы оплакивали своих мертвых.

Как мне показать тебе то, что я ищу? Я ищу не вещь, которую можно потрогать, я ищу осязаемое для души. Не требуй, чтобы я обосновал свой уклад. Логика хороша для дробного мира, Божественный узел связывает дробность по-своему. Мне пока неведом этот язык.

Ты, наверно, видел, как слепые гусеницы ползут вверх по дереву, поближе к свету. Посмотрев на них, ты скажешь, к чему они стремятся, скажешь: «К свету» или: «К вершине», — потому что ты человек. Но они-то не знают к чему. Вот и ты получаешь от моего храма, года, картины, родины незнаемое, оно становится твоей истиной, и я не вслушиваюсь в ветер слов, он гудит о вечном. Ты — гусеница. Ты не знаешь, чего ищешь.

Но если из моего храма, года, царства ты выходишь совершеннее и просветленнее, если незримая пища напитала тебя — я подумаю про себя: «Это хороший для человека храм. Хороший год. Хорошее царство». Даже если я не могу определить, чем они хороши.

Просто-напросто я, как гусеница, нашел что-то для себя необходимое. Так слепец зимой ищет на ощупь очаг. И находит. Он ставит свою палку и садится возле него, скрестив ноги. Он не знает об огне того, что знаешь о нем ты, зрячий. Он нашел необходимую ему истину телесно, и увидишь, он не стронется с места.

Но ты упрекаешь меня, говоря, что найденная мной истина неподлинна, и поэтому я расскажу тебе, как умирал мой друг, единственный подлинный геометр, он приготовился к смерти и попросил меня побыть с ним.

Тихими шагами подошел я к нему, я любил его.

— Геометр, мой друг, я помолюсь за тебя Господу. Но он устал мучиться.

— Не жалею моего тела. У меня отнялась рука, отнялась нога, я похож на сухое дерево. Не мешай дровосеку.

— Ты ни о чем не жалеешь, геометр?

— О чем мне жалеть? Я помню здоровую руку, здоровую ногу. Жизнь — это непрекращающееся рождение, и себя принимаешь таким, каким становишься. Ты когда-нибудь сожалел о младенчестве, отрочестве, зрелых годах? О них сожалеют плохие поэты. Не сожаление — сладкая печаль без тени страдания, тонкий аромат вина, веющий над опустевшим бокалом. В день, когда ты теряешь глаз, ты рыдаешь и жалуешься, потому что любое преображение болезненно. Но жизнь с одним глазом вовсе не повод для вечного страдания. Я видел, как весело смеются слепые.

— А память о минувшем счастье?

— Откуда ты взял, что она приносит боль? Конечно, видел и я, как страдал от разлуки влюбленный, любимая была смыслом его дней, часов, всего на свете. Храм его обрушился. Но я никогда не видел, что страдает тот, кто пережил высшее напряжение любви и разлюбил, для кого погас согревающий его очаг. Стихи взволновали тебя, а потом ты ими пресытился. Кто страдает по отмершему? Душа погрузилась в спячку, человек погрузился в небытие. Скука далека от сожаления. Сожалеть о любви — значит по-прежнему любить... Если не любишь — не сожалешь. Тоскуешь, скучаешь, опустившись на ступеньку, где тебя окружили только мелкие вещи, потому что им нечем напитать тебя. Когда обрушивался ключ свода и жизнь моя ломалась, я мучился муками преображения, но как я могу чувствовать их теперь? Разве не теперь увижу я истинный ключ свода, истинный смысл всего? Так что мне до былого, в котором не было света истины? О чем тосковать мне, если я вижу, что часовня наконец построена, завершена, если я вижу, что в ней наконец затеплится свет?

— Геометр, мне кажется, ты не прав. Мать плачет, вспоминая умершего ребенка.

— Она плачет, когда он умирает. Потому что все вокруг лишается смысла. Приходит молоко, а ребенка нет. Тебе столько нужно сказать любимой, и нет любимой. Если дом твой разорен, продан, что тебе делать с любовью к дому? Но это значит, что наступил час преображения, а он всегда причиняет боль. Ты ошибся, потому что слова только запутывают человека. Наступает час, когда прожитое обретает свой истинный смысл и ты понимаешь — оно помогло тебе сбыться. Приходит час, когда ты чувствуешь себя богаче, потому что когда-то любил. Час нежной, сладкой печали. Приходит час, когда постаревшая мать, глаза ее смягчились и умудрилось сердце, — никому не признаваясь в этом, потому что слова страшат ее, — с нежностью вспоминает своего умершего малыша. Видел ли ты мать, которая сказала бы тебе, что лучше бы не иметь ребенка, не кормить его молоком, не ласкать?

Долго молчал геометр, а потом сказал:

— Вот и моя жизнь, бережно сложенная, стала прошлым, стала воспоминанием...

— Поделись со мной, геометр, новой истиной, что исполнила тебя такой безмятежностью.

— Может быть, постичь истину — значит чувствовать ее безмолвно?.. Может быть, постичь истину — значит обрести право умолкнуть навсегда? Я говорил не однажды, что истинно дерево, ибо оно — обретенное согласие корней, ствола и веток. Истинен лес как согласие деревьев. Истинен край как согласие леса, луга, реки и деревни. Истинно царство как согласие деревень и городов. Истинен Бог как идеальное согласие царств и всего, что существует в мире. Бог так же истинен, как дерево, но увидеть его куда труднее. Мне больше не о чем спрашивать, и я молчу. Он задумался.

— Другой истины я не знаю. Знаю какие-то соотношения, соответствия, с их помощью более или менее удобно объяснять мир. Но... Он долго молчал на этот раз, и я не решался его тревожить.

— Но иногда мне казалось, что они и впрямь чему-то соответствуют...

— Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь сказать?

— Когда ищешь, находишь, потому что душе хочется найти только то, что в ней уже есть. Найти — значит увидеть. Как искать то, что для меня еще лишено смысла? Как хотеть того, о чем и не подозреваешь? И все же было во мне что-то вроде тоски о том, что не имело для меня пока смысла. Иначе почему я приходил к тем истинам, которых не мог предвидеть? Я шел вперед, и было похоже, будто я знаю дорогу, но шел я к неведомому колодцу. Я ощущал связующие нити, ощущал соответствия, как твои слепые гусеницы ощущают солнце.

Вот ты построил храм, он прекрасен, но разве для тебя ясно, с чем он в глубинном согласии?

Ты сделал законом определенный уклад, заботясь, чтобы души людей не остывали, — слепой так ищет тепло у очага. Не все храмы красивы, не все уклады охраняют огонь.

Гусеницы не знают солнца, слепой не знает огня, а ты не знаешь, с чем в согласии храм, который ты строишь, и почему благодаря ему расширяется в человеке душа...

Что-то светило мне и просветляло меня, притягивало меня к себе, и я шел за ним. Но и сейчас я не знаю...

И в этот миг Господь открыл Свое лицо геометру...

CXXVII

Низкому делу в помощь низкая душа. Благородному — благородная.

Низкие поступки рождаются из низких побуждений. Благородные — из благородных.

Если мне понадобилось предательство, я найду предателя, чтобы совершить его.

Если мне нужно строительство, я позову каменщика.

Если я добиваюсь мира, переговоры я поручу трусу.

Если готовлю гибель, войну объявит герой.

...Многообразие побуждений очевидно, и если одно побуждение возобладало над другими, значит, кричало громче, и тот, кто за него ратовал, возьмется его осуществить. Если путь твой сейчас неизбежно низок, в помощь тебе тот, кто так жаждал низости и без неизбежности, из одной только низости души.

Заставлять подписать капитуляцию героя трудно, трудно посылать жертвовать собой трусов.

И если необходимо сделать что-то, с некоторой точки зрения унижительное, — с некоторой, потому что нет на свете ничего одномерного, — я подтолкну вперед того, кто больше смердит и меньше ворочит нос. Брать в мусорщики брезгливого я не стану.

Если мой враг одержал надо мной победу, переговоры с ним я поручу тайным друзьям своего врага. Но не считай, что я зауважал этих тайных друзей и добровольно подчинился победителю.

Да, если ты разговоришь моих мусорщиков, они признаются, что копаются в мусоре, потому что любят запах гнили.

Признается мой палач, что ему по нраву запах крови.

Но ты будешь не прав, если осудишь меня за потворство низменному. Ненависть к грязи и восхищение сияющим чистотой домом заставили меня призвать на помощь мусорщиков. Ужас перед невинно льющейся кровью заставил меня уделить место палачу.

Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят. Ибо если я решил вступить в бой, спасая закрома моего царства, вперед выйдут самые воинственные, те, для кого смерть — символ веры, и говорить они будут о славе и почетной смерти в бою. Потому что никто не умирает ради закровов.

Но если я решил пойти на мировую, чтобы избежать разграбления тех же закровов, пока их не спалил огонь войны, или заведу речь не о войне и не о мире, но о мирном сне мертвых, то подписывать договоры я позову самых миролюбивых и снисходительных к нашему врагу, и говорить они будут о благородстве устанавливаемых ими законов, о справедливости принятых решений. Они будут верить в свои слова. Хотя дело снова совсем в другом.

Если мне нужно отвергнуть что-то, отвергать будет тот, кто отвергает все и вся. Если нужно что-то принять, принимать будет тот, кто все приемлет.

Ибо мощное царство всегда тяжело и грузно, ветру слов не сдвинуть его. Этой ночью с высоты моей башни я смотрел на темную землю, где тысячи тысяч спят и бодрствуют, счастливы и несчастны, довольны и недовольны, полны веры или отчаяния. И понял: царство немо, оно — великан без голоса и языка. Так как же мне заставить тебя услышать царство — его желания, старания, усталость, мольбы, если я не умею найти слова, чтобы объяснить тебе, что такое гора, — тебе, который видел только море?

Каждый говорит от имени царства, и все говорят противоположное. Они вправе говорить от имени царства. Пусть у немого великана будет возможность кричать.

Я одобряю это. Я ведь говорил о совершенстве. Прекрасная песня рождается из множества неудачных. Если люди боятся петь, не жди прекрасных песен.

Они противоречат друг другу, потому что нет еще языка, который был бы в согласии с царством. Не мешай им. Выслушивай всех. Все правы. Но никто из них еще не поднялся в гору так высоко, чтобы видеть правоту другого.

И если они начинают враждовать, сажать друг друга в тюрьмы и убивать друг друга — значит, они ищут язык, который никак не может сложиться.

А я? Я прощаю им косноязычие.

СХХVIII

Ты спросил меня: «Почему народ принял рабство, почему не сопротивлялся до конца?»

Нужно отличать самопожертвование во имя любви — благородное самопожертвование — от самоуничтожения из-за отчаяния — низменного и недостойного. Жертвуют собой божеству, им может быть царство, содружество, храм, что примет отданную тобой жизнь — жизнь, на которую ты себя тратишь.

Есть люди, которые готовы пойти на смерть во имя других, даже если эта смерть бесполезна. Она облагораживает живых, у живущих прозревают глаза и сердце.

Какой отец не вырвется из удерживающих его рук и не бросится в бездну, где гибнет сын? Ты захочешь и не сможешь его удержать. Но можно ли хотеть, чтобы оба они погибли? Кому стало лучше от двух смертей?

Почетно сияющее самопожертвование — не самоуничтожение.

СХХIX

Если ты судишь мое творение, суди о нем, позабыв обо мне. Я пишу картину, трачу себя на нее, служу ей. Я ей, а не она мне. Я готов даже умереть, лишь бы ее закончить.

Так не щади мое самолюбие, я люблю не себя — картину. Но если моя картина переменяла тебя, одарив чем-то еще небывалым, не щади мою скромность. Нет во мне скромности. Мы с тобой на стрельбище. Исхода стрельбы мы не знаем. Я — стрела, ты — мишень.

СХХХ В мой смертный час.

— Господи! Я иду к тебе, я пахал свою пашню во имя Твое, Тебе собирать жатву.

Я отлил свечу, Тебе зажигать ее.

Я построил храм, Тебе жить в его тишине.

Добыча не для меня, я только расставлял ловушки. Я расставлял их, чтобы очнулась душа. Я растил человека, следуя Твоим Божественным силовым линиям с тем, чтобы он шел и шел вперед. Тебе пользоваться этой повозкой, если она покажется Тебе достойной.

Глядя со стен моей крепости, я глубоко вздохнул.

«Прощай, мой народ, — думал я. — Я излил всю свою любовь и ухожу в сон. Но я неодолим, как неодолимо зерно. Я не высказал в полноте того, что есть в моей картине. Но созидать не означает выразить словесно. Я все высказал, воскликнув так, а не иначе. Привыкнув к этому, а не к другому. Кладя в тесто дрожжи, а не соду. Все вы теперь мои дети, потому что, делая следующий шаг, невольно вступаете на мой незримый склон и растите мое дерево, а значит, я помогаю вам сбыться.

Конечно, вам станет куда вольнее после моей смерти. Вольна река стремиться к морю, а брошенный камень к земле.

Мой возлюбленный народ, я обогатил твое наследство, храни его, передавая от поколения к

поколению».

Я молился, дозорные обходили мою крепость. Я погрузился в раздумье.

Царство посылает мне бдительных часовых. В каждом я зажег тот огонь, который в моем дозорном стал неусыпным бдением.

Годится мне только зрячий солдат.

CXXXI

Я преображаю для вас мир, как ребенок преображает свои три камешка, он отводит каждому роль в игре и, значит, наполняет каждый особым смыслом.

Не камешки, не правила игры значимы для ребенка — они всего лишь удобная ловушка, значима увлеченность игрой, своим желанием играть он преображает камни.

Но что тебе до утвари, скарба, дома, до твоих домашних, до музыки, которую слышишь, зрелищ, какие видишь, если они не кирпичики незримого дворца, который преобразил их в единство?

Те, у кого нет царства, что наделяет материальный мир смыслом, сердятся на вещи. «Может ли быть, чтобы, разбогатев, я не стал богаче?!» — негодуют они и подсчитывают, сколько еще нужно накопить, потому что богатства явно недостает. И они собирают еще и еще, жизнь их загромаждается все больше и больше, а они становятся все жестче и жестче от своей неизбывной неудовлетворенности. Они не знают, что нужно им иное, не знают, потому что ни разу не встречались с этим иным. Они видели счастье влюбленного, он читал письмо от любимой. Они заглянули ему через плечо и догадались — радость его от черных букв на белой бумаге, — и повелели слугам на сотни ладов писать черные буквы. А по том высекли слуг за то, что те не сумели изготовить талисман, наделяющий счастьем.

Нет у них того, что связало дробность воедино, сделало бы одну вещь значимой благодаря другой. Они живут в пустыне, и вокруг них — рассыпанные камни.

Но прихожу я и строю из камней храм. Теперь камни одаряют их благостью.

CXXXII

Я постарался, чтобы они стали чувствительны к смерти. И не жалею. Они острее чувствуют жизнь. Вот я наделил правами твоего старшего брата и, конечно, дал тебе основания его ненавидеть, но ведь и любить тоже, и оплакивать после смерти. Несмотря на то что я, дав ему права, утеснил тебя. Умер старший брат, ты будешь плакать о нем — он был главным, отвечал за семью, руководил ею, укреплял. Если умрешь ты, он будет оплакивать свою овцу, которой помогал, любил любить, наставлял при свете вечерней лампы.

Но если я вас сделаю равными, смерть одного из вас ничего не изменит для другого. О чем вам горевать? Я видел это бесчувствие, наблюдая своих воинов в бою. Твой соратник упал, но ничего не изменилось, на его место тут же встал другой. Свою сдержанность по отношению к убитым ты называешь солдатским мужеством, видишь в ней согласие с

необходимыми жертвами, сухие глаза для тебя — знак благородства и достоинства. Я, наверно, обижу тебя, но все же скажу: «Ты не плачешь, потому что тебе не из-за чего плакать». Ты еще не знаешь, что твой товарищ умер. Он умрет позже, когда наступит мир. А пока всегда есть другой с тобой, рядом, другой справа и другой слева, и вы вместе стреляете. У тебя нет времени, человек тебе не нужен, не нужно и то, чем этот человек, один-единственный, способен одарить. Только старший брат оберегает и покровительствует. Но в строю то, что может один, может и другой. Шарики в мешке не горюют о потере шарика — мешок полон, и все они одинаковы. Об умершем ты говоришь: «У меня нет времени, он умрет позже». Но он уже не умрет, потому что война кончится и разъедутся все живые. Ваш отряд распадается. Живые смешаются с мертвыми. Отсутствующие станут все равно что мертвые, а мертвые все равно что отсутствующие.

Но если вы — дерево, то каждый зависит от всех и все зависят от каждого. Вы заплачете, когда одного из вас не будет.

Если вы составляете собой какую-то фигуру, то между вами существует иерархия и связь. И видна необходимость одного в другом. Если нет иерархии, нет и братьев. Я слышал, говорят «мой брат», когда ощущают свою зависимость.

Я не хочу в вас безразличия к смерти. Если вы перестанете бояться крови или ударов, ваше безразличие благородно, но смерть переживается тем легче, чем меньше значимого уходит вместе с ней. Чем меньше радовал ваше сердце брат, тем меньше вы будете плакать о нем на похоронах.

Я хочу вас сделать богаче, я хочу, чтобы брат вам стал дороже. Хочу, чтобы ваша любовь, если вы полюбили, открыла вам царство, а не была пеной забродившего в бурдюке вина. Бурдюки не плачут. И если умрет любимая, вы очнетесь на чужбине, в изгнании. Но если вы когда-нибудь услышите, будто кто-то отнесся к смерти любимой по-человечески, знайте, он отнесся к ней по-скотски... И умри он, его возлюбленная отнесется к его смерти точно так же, сказав: «Смерть на войне — достойная для мужчины смерть». Но я хочу, чтобы вы воевали. Кого и любить, как не воина? Потворствуя малодушию, вы сделали из сокровища побрякушку, чтобы меньше жалеть о нем. Кто умрет тогда? Бесчувственный автомат? Где жертва тогда? Где царство?

Я требую, чтобы мне отдавали лучшее. Иначе вам не обрести благородства.

Я поощряю вас не в пренебрежении жизнью, нет — в любви к ней. Поощряю в любви к смерти, если она — дарение себя царству. Здесь нет противоречия. Любя Господа, ты крепче любишь царство. Любя царство, крепче любишь родную землю. Любя родную землю, крепче любишь жену и детей. Любя жену, любишь ничтожный серебряный поднос, потому что вы привыкли пить чай вдвоем после того, как любили друг друга.

Да, я хочу сделать смерть для вас невыносимой. И я же хочу утешить вас. Я сложил эту молитву для плачущих. Молитву против боли смерти.

СXXXIII

— Стихотворение я написал. Осталось его поправить. Мой отец возмутился:

— Ты написал стихотворение и теперь собираешься его поправлять? Но что значит писать стихотворение, как не поправлять его? Что значит лепить статую, как не поправлять ее? Ты видел, как работают с глиной? От поправки к поправке все явственней выявляется лицо, и

первая вмятина на коме глины — уже поправка. Закладывая город, я поправляю пустыню. Перестраивая, поправляю город. Поправки и есть мои шаги к Господу.

CXXXIV

Ты открываешь себя, связывая в целое дробность. Ударяешь в колокол, заставляя отозваться других. Неважно, что послужило тебе колоколом. Любое творение — только возможность уловить, хотя по обличию ни одно из них не сходно с ловушкой. Я уже говорил тебе: все ищет быть связанным, все взаимопроникает друг в друга.

Танец, музыка длятся, ты даешь мне время вникнуть в смысл твоего послания. Повторяешь, медлишь, поднимаешься, опускаешься, и наконец я улавливаю эхо — отзвук твоей сущности.

Но вот передо мной статуя, готовая целостность, мне нужен ключ, чтобы заглянуть в тебя. Если бы не нос, рот, уши, мне бы не понять, что ты подчеркнул, а без чего обошелся, чему придал вес, а что облегчил, что возвысил, а что принизил, что опустошил, а что наполнил. Если бы не заранее сложенное представление о лице, я бы не понял твоего послания, не уловил эха твоего голоса. Но у меня есть ключ, я знаю, какое лицо совершенно, а какое заурядно.

Но, показав мне совершенно заурядное лицо, ты ничего не сообщил мне, оно только код, точка отсчета, классическая модель. Пойми, не потрясений я жду — сообщения о тебе. Посылая мне безликий образчик, ты умолчал о себе. Так измени его, сомни, но постарайся, чтобы я все-таки догадался, от чего ты ушел. Нос посреди лба не смутит меня.

Другое дело, что я упрекну тебя в неискренности, в грубой прямолинейности: начинающий музыкант трубит во всю мочь, лишь бы его услышали; поэт доводит свой стиль до гротеска, лишь бы заметили, что у него есть стиль.

Храм построен? Убери леса. Зачем мне знать, как ты его строил. В совершенном творении не заметны швы и стыки. Не нос главное, и не стоит привлекать к нему все мое внимание, поместив его на лбу. Не стоит выбирать самое яркое слово, оно заслонит образ. И образ не должен быть чересчур броским, иначе он нарушит стиль.

Я жду от тебя того, что ничуть не похоже на материал, из которого ты ладишь ловушку. Ожидаемое сродни молитвенной тишине в храме, сложенном из камней. Ты твердишь, что презираешь материал, что доискиваешься до сути, и, обуреваемый похвальным стремлением донести до меня свое труднодоступное послание, громозишь такую необычайную мышеловку, что я, подавленный ее величиной, пестротой и причудливостью, уже не различаю маленькой мышки, ради которой ты ее громоздил.

Пойми, если я признал, что ты красноречив, остроумен, что сыплешь парадоксами, — значит, я не получил от тебя письма, ты просто выступил жонглером на ярмарке. Ты потратил силы впустую, выставил себя, превратив в товар, но я не покупатель. Не важнее ли завоевать мою душу? А пока я посмотрел, как ты размахиваешь цветными тряпками, пугая воробьев, и пошел дальше искать себе пристанища.

Вожатый покажет мне путь, но пройду его я сам, он оставит меня в одиночестве, уверив, будто я сам открыл Вселенную. Я шел за ним, но нашел свое.

Однако не думай, что сделаешься ненавязчивым вожатым, протянув мне гладкий шар с едва намеченными носом, губами, подбородком, — если ты так презираешь средства, которыми

пользуешься, не навязывай мне тогда и мрамора, глины, бронзы, они еще материальное, чем форма губ.

Ненавязчив тот, кто не навязывается мне со своим видением, а помогает увидеть мир таким, каким увидел сам. Ты обошелся без носа, я сразу увидел это, потому что видел за свою жизнь много лиц, но зачем мне знать о твоей нелюбви к носам? И если свою статую ты поставишь в темный угол, я тоже не сочту тебя ненавязчивым.

Единственная и впрямь невидимая картина, от которой нечего взять, — стертый образ.

А вы огрубели, вам кажется, что надо орать во всю глотку, чтобы вас расслышали.

Не рисуй мне пестрого ковра, он одномерен, красноречив для глаз, нем для души и сердца.

CXXXV

Твой блаженный остров — мираж, я хочу, чтобы ты это понял. Тебе кажется, что на воле, среди рощ, лугов и пестрых стад, на просторе, возвышающем душу одиночеством, в горении безграничной любви ты устремись вверх, будто дерево. Знай, самые стройные деревья, которые я встречал, выросли вовсе не на вольном просторе. Свободные не торопятся расти, они медлят, ощупывая пространство, и вырастают причудливыми и узловатыми. Растущие в девственном лесу, окруженные соперниками, крадущими у них свет, рвутся к солнцу вертикалью, похожей на крик о помощи.

Остров не усилит в тебе чувства освобожденности, не поощрит рвения, усердия и страсти.

Если ты жаждешь уединиться в пустыне — я не имею в виду мечту об отдыхе, что баюкает тебя в городской суете и спешке, — пустоту пустыни нужно оживить, чтобы она питала душу и сердце, чтобы питала усердие и рвение, — твою пустыню нужно пронизать силовыми линиями. Их может напрячь природа, может — царство.

В твоей пустыне я размещу колодцы, но скупое, очень скупое, чтобы путь к каждому из них стал ощутим. Чтобы на седьмой день ты начинал беречь в бурдюках воду. Чтобы мечтал добраться до колодца. Чтобы добирался и ощущал себя победителем. Хотя, может быть, дорогой терял одного или двух верблюдов

— слишком долог путь по бесплодной пустыне. Однако принесенные жертвы делают колодец еще драгоценней. Караваны, что не сумели до него добраться и погибли в пути, осеяют его особой славой. Белеют кости на твоём пути, и вдали светится колодец.

Ты готовишь караван в дорогу, проверяешь вьюки с товарами, подтягиваешь веревки, укрепляешь кладь, смотришь, сколько запасено воды, ты обращен к лучшему в самом себе. И вот ты отправился в дальнее селенье, твое желание попасть в него сделало воду в колодцах благословенной драгоценностью. Колодцы посреди раскаленных песков, которые ты преодолеваешь, — ступени лестницы; пески — твой враг, ты его побеждаешь, ибо танец начат и ты должен станцевать его до конца. Потому что тебя подчинил себе уклад пустыни. Потому что я ращу не только мускулы, но и душу.

Но вот я захотел, чтобы ты стал еще богаче, чтобы колодцы, будто магниты, притягивали и отталкивали, а пустыня лепила тебя, словно руки скульптора, придавая форму душе и сердцу, и я населил ее врагами. Я отдал врагу все колодцы, и для того, чтобы напиться, тебе понадобится хитроумие, мужество и умение побеждать: Ты будешь идти по чужой земле, завися от племени, которое живет на ней, жестокого или не очень, сходного с тобой в

обычаях или чуждого тебе, и шаги твои будут то громче, то тише, то осторожнее, то беззаботнее, а пройденный путь каждый день будет иным и особым, хотя все та же пустыня тянется перед твоими глазами. Все вокруг намагнитится, напряжется, однообразная бескрайняя желтизна окажется многоцветней благодатных краев с голубыми горами, зелеными долинами, пресными озерами и травой на лугах.

По своей пустыне ты идешь, как приговоренный к смерти, а потом как отпущенный на свободу, то подготовившись к любой неожиданности, то избавленный от всех неожиданностей, то как преследователь, а то с болезненной осторожностью, будто в спальне любимой, сон которой боишься нарушить.

И хотя твои странствия чаще всего будут мирны и благополучны, окружающее потеряет для тебя свою монотонность, неукоснительно будешь следовать ты распорядку к которому принудила тебя пустыня, а танец твой будет щедр на выдумку, богат и разнообразен. И вот что еще примечательно: если я отправлю с твоим караваном путешественника, который не знает твоего языка, твоих опасений, надежд и радостей, который увидит только, как похлопывают верблюдов твои погонщики во время нескончаемого пути по однообразным бесплодным пескам, он почувствует лишь томительность нескончаемого пути и будет зевать всю дорогу и ничего не откроет для себя в моей пустыне. Он увидит не колодец, а дырку в песке, которую нужно бы расширить. Враги? Откуда ему догадаться о врагах? Враг невидим, он подобен пригоршне семян в руке ветра, для знающего эта малость преобразила всю округу, как щепотка соли воскресную похлебку.

Если я сумею подчинить тебя правилам игры моей пустыни, власть ее над тобой будет так велика, что какой бы ты ни был в городе себялюбец, пошляк или циник, какой бы ни был бездельник и лентяй в оазисе, достаточно будет одного-единственного странствия, и в тебе расцветут душа и сердце. Ты вернешься ко мне, сбросив старую кожу, и захочешь жить жизнью сильных. Если я сумею приобщить тебя к языку пустыни — не пустыня главное, главное — напрягающий уклад жизни, — то пустыня, будто солнце, заставит тебя выпустить росток и расти.

Ты пройдешь через нее, словно через сказочные кипящие котлы, и когда выйдешь на другом берегу, то радостно рассмеешься, ощутив свои силу и мужество; женщины сразу признают в тебе того, кого ищут, и твоего пренебрежения будет достаточно, чтобы приручить их.

Разве что сумасшедший понадеется осчастливить людей, исполнив их желания; он увидел: они в пути, он поверил: цель для них главное. Будто есть у людей какая-то цель.

Еще и еще повторяю тебе: всего важнее для человека — туго натянутые силовые линии, они держат его в напряжении, рождают рвение, усердие, одухотворенность, важны эхо, отзывающееся на каждый шаг, нужда в колодцах и трудность горного подъема. Тот, кто вскарабкается на вершину, ободрав колени и локти, не сравнит свою радость с умеренным удовлетворением оседлого, который в воскресный день втащил свои одряблые тела на пригорок и разложил их на травке.

Все размагнитится, стоит тебе уничтожить Божественный узел, связующий все воедино. Видя, что человек силится дойти до колодца, ты решил, что главное — колодцы, и накопал их великое множество. Видя, как дожидаются люди воскресного отдыха, ты сделал воскресеньем каждый второй день. Видя, как люди жаждут бриллиантов, ты раздал каждому по блестящему камешку. Видя, что люди боятся врагов, ты изничтожил врагов. Видя, что люди хотят любви, ты построил веселый квартал величиной с добрый город, где все до единой женщины продаются. И вот тут стало ясно, что ты круглый дурак Ты похож на моего игрока в кегли: он думал, что чем больше кеглей собьют его рабы, тем ему будет веселее.

Но не подумай, что главное для меня — неудовлетворенные желания. Конечно, желать

необходимо, без этого не напрягаются силовые линии. И колодец, даже если он рядом, нужен тебе тогда, когда тебе захотелось пить. Но если колодец недоступен и ты никогда не ходишь к нему по воду, то его словно бы и нет для тебя. Как нет случайной прохожей на улице, она для тебя невидимка. Она идет с тобой рядом по тротуару, но дальше от тебя, чем та, что живет в другом городе, потому что вышла туда замуж. Но вмиг все изменится, если я расположу связующие нити так, что ты сможешь мечтать, как ближайшей ночью придешь с лестницей к окну незнакомки, похитишь ее и помчишь, перекинув через седло, в свой охотничий домик. Или сделаю тебя солдатом, а ее — королевой, и ты сможешь мечтать, что погибнешь ради нее в сражении.

Нет проку в искусственных нитках, что связывают все вокруг понарошку. Но если ты в самом деле жаждешь бриллианта, то почему бы тебе не приближаться к нему не спеша, год от года замедляя шаги, чтобы воодушевление страсти озаряло тебя до конца твоих дней? У тебя самого сил на это не хватит, рано или поздно иссякнет твое рвение, о нем должен позаботиться я. Неторопливость должна диктоваться укладом жизни, он свяжет тебя и запретит торопиться, а ты изо всех сил будешь ему противиться. Ты спешешь, я препятствую твоей торопливости. Я не запрещаю тебе иметь бриллиант — недоступный, он потеряет для тебя всякую цену: посмотрел и прошел мимо. Я не дарю его тебе, мне нужны твои усилия, но всамделишные усилия; искусственные препоны — жалкая пародия на жизнь. Обогадишься ты, только преодолев мощное силовое поле. Дать тебе сильного врага — вот моя главная забота. Только так я помогу тебе. И нечему удивляться: силовое поле всегда создается двумя полюсами.

Ты обогащаешься, копая колодец, ожидая отдыха, добывая алмаз, завоевывая любовь.

Ты нищаешь, если у тебя уже есть колодец, досуг, бриллианты, возможность любить, когда хочешь. Или если ты мечтаешь об этом, не пошевелив и пальцем, чтобы добиться.

Но не думай, что желание иметь и обладание — антиподы, их противопоставили друг другу слова. В жизни есть еще ты сам — человек, ты снимаешь все противоречия. Если жажда заполучить в тебе и впрямь смертельна и мешают тебе не досужие выдумки, а сама жизнь, если она твоя соперница и напарница в танце, — ох как ты запляшешь! Но если ты взращиваешь в себе хотение, запрещая себе брать с полки пирожок, то скажу тебе прямо: ты маешься дурью. Много ли проку от игры с самим собой в орла или решку?

Если в моей пустыне слишком много колодцев, пусть Господь наведет порядок, уничтожив лишние.

Силовые линии должны тяготеть над тобой, напрягать, направлять, толкать вверх и вперед, всякий раз они будут явлены тебе как некие обстоятельства, отнюдь не всегда благоприятные, но не оценивай! Их языка ты еще не постиг. А я, пытаюсь объяснить тебе суть этого языка, рассказал тебе о пустыне, о пути от колодца к колодцу.

Так не уповай на чудесный остров, похожий на запасенное впрок благо, блага в нем не больше, чем в обильной жатве деревянных кеглей. Ты на нем превратишься в сонного вола. Сейчас сокровища твоего острова кажутся тебе нетленными, но как скоро ты перестанешь их замечать! И чтобы сделать их опять сокровищами, мне придется придумать для тебя пустыню, натянуть силовые линии, сотворить картину, драгоценную своей цельностью, но далекую от вещности.

Если я захочу сберечь для тебя твой остров, я подарю тебе уклад жизни, в которой остров будет главным сокровищем.

Если ты хочешь рассказать мне о беспомощном, бледном солнце, скажи «октябрьское солнце». Солнце в октябре, холодея, делится с нами угасанием старости. Но солнце ноября, декабря еще ближе к смерти, и ты начинаешь толковать мне о нем. Я отвернулся — ты мне больше неинтересен. Ибо теперь ты делишься не предчувствием смерти, а своим удовольствием предчувствовать смерть.

Если слово гордо вздыбит голову посреди фразы, отруби ему голову. Для чего показывать мне слова? Фраза — ловушка, она должна что-то ловить. Зачем же привлекать мое внимание к ловушке?

Ты ошибаешься, если думаешь, что передаваемое тобой возможно уместить в слове. Будь это так, ты сказал бы «печаль» — и я бы опечалился... Но не слишком ли это просто? Конечно, мы пользуемся своеобразной мимикрией и подделываемся под услышанные слова. Я сказал «разыгрался шторм» — и ты ощутил легкое покачивание. Я сказал «воину грозит смерть» — и ты слегка обеспокоился судьбой моего солдата. Такая у нас привычка. Мы это делаем не всерьез. Единственное, что можно сделать всерьез, это привести тебя туда, откуда ты увидишь, каким мне представляется мир.

Стихи, поэтические образы — вот моя возможность воздействовать на тебя. Я не объясняю тебе то или это и не внушаю это или то, как полагают, говоря о трудноуловимых образах, потому что важно не то и не это — важно, чтобы ты стал вот этим, а не другим. В статуе при помощи рта, носа и подбородка я создаю некий лад, заманивая тебя в сети; заманиваю и поэтическими образами, ясными и неясными, желая тебя изменить.

Если в моем стихотворении мерцает лунный свет, не подумай, что я назначаю тебе свидание только при луне. Нет, и при солнце, и дома, и любящим. Я хочу встречи с тобой. Лунный свет я выбрал как условный знак, желая, чтобы ты меня заметил. Воспользоваться сразу всеми знаками я не могу. Зато может случиться чудо: мое творение может разрастись, измениться, оно может стать подобием дерева, хотя поначалу было очень простым, — было семечком и ничем не напоминало кедр, — но из семечка возникли корни и ветви, когда оно распространилось во времени. И в человеке может что-то распространиться. Я могу дать человеку что-то очень простое, что уместится в одной фразе, но мало-помалу наберу в нем силу, пущу ветви, корни и изменю его изнутри, и он станет другим и при луне, и любя, и дома.

Вот почему я говорю тебе, что картина, если она воистину картина, — это путь просвещения и облагораживания, путь цивилизации, на который я поставил тебя. Но ты не сумеешь сказать, чем эта картина в тебе распорядилась.

Может случиться, однако, что сеть моих силовых линий окажется для тебя слабой. Воздействие ее иссякнет вместе с концом страницы. Бывают семена с ослабленной всхожестью, бывают люди без творческого порыва. И все же ты мог бы постараться и прорастить это семечко, чтобы построить мир...

Когда я говорю «солдат королевы», то, думаю, всем понятно, что речь не идет об армии или власти, но о любви. Особой любви, что ничего для себя не ищет стремясь прикинуть к неизмеримо большему, чем ты сам. Любви, которая облагораживает и возвышает. Солдат королевы сильнее, чем просто солдат. Посмотри, как чтит он свое достоинство, чтя свою королеву Он никогда не предаст, хранимый любовью к королеве, царящей у него в сердце. Ты видишь, каким гордецом он вернулся к себе в деревню, но смутился и покраснел, когда его спросили о королеве. Ты знаешь, его позовут воевать, он оставит жену и дом, но воюет он совсем не так, как солдаты короля, — те кипят ненавистью и готовы вколотить своего короля врагу в кишки. Солдат королевы любит, даже сражаясь, и учит любить других. И вот еще что...

Но продолжи я говорить, я пойму, что метафора исчерпала себя, — в общем, довольно слабая метафора. Я не смогу тебе сказать, что отличает солдата короля от солдата королевы, когда они сидят за столом и едят свой хлеб. Образ, картина, зажженная лампа светит во Вселенной, но освещает ничтожную ее часть.

Однако все, что стало для тебя очевидностью, обретает силу зерна, из которого ты можешь взрастить свой мир.

И я повторю: если ты заронил зерно, тебе нет надобности в толкованиях, теориях, догмах, поисках путей и средств воплощения. Зерно укоренится в земле людей, и у тебя появится тысяча тысяч последователей и помощников.

Если ты убедишь человека, что он — солдат королевы, твое царство

—обогатится вожделенным благородствам. И со временем все забудут о прекрасной королеве.

CXXXVII

Не забывай: слово — уже воздействие. И если ты хочешь понудить меня к действию, ничего мне не доказывай. Неужели ты веришь, что сдвинешь меня с места доводами? Я найду повесомее и двину их против тебя.

Случалось ли тебе снова влюбиться в женщину после того, как на суде она доказала, что была кругом права? Тяжбы озлобляют. Не вернет она тебя и постаравшись стать прежней, той, которую ты полюбил, от этой прежней ты и ушел. Я наблюдал, как бедняжка, что вышла замуж, растрогав сердце жалобной песней, накануне развода запела ее. Муж разъярился.

Но если разбудить в нем того, кто когда-то ее полюбил, он, возможно, к ней и вернется. Но это уже творчество, нужно что-то заронить в человеческую душу, как я заронил страсть к морю и дождался строителей корабля. Из семени растет и ветвится дерево. Может, муж и попросит снова спеть ему грустную песенку.

Ты полюбишь меня, если я проразу в тебе то, что ко мне потянется. Но не жалобами на страдания — они скоро опротивеют тебе. Не упреками — они озлобят тебя. Не доводами, почему ты должна меня любить, — нет на свете таких причин и доводов. Основание для любви — любовь. Я не стану стараться быть таким, каким ты когда-то меня полюбила. Такого меня ты не любишь больше. Иначе была бы по-прежнему со мной. Я постараюсь разбудить в тебе что-то мое. И если во мне есть сила, ты увидишь вместе со мной ту картину, которая сделает тебя моим другом.

Позабытая мной будто ранила стрелой мое сердце, спросив: «Слышите позабытый вами колокольчик?».

Что же, в конце концов, я хочу тебе сказать? Часто поднимаюсь я на свою вершину и смотрю на город. Или брожу по нему в молчании моей любви, прислушиваясь к словам. Одни слова вызывают, не медля, действие, к примеру, отец приказал сыну: «Пойди принеси кувшин воды...» — или капрал солдату: «В полночь сменишь караульного...» Слова эти казались мне всегда плоскими. Чужеземец, не зная нашего языка, видя, как верно слово служит насущному, мог бы решить, будто живем мы жизнью муравьев, отлаженной и одномерной. А я, глядя на повозки, дома, мастерские, рынки, больницы моего города, не находил ничего отличного в нем от жизни стада, только животные моего стада были более деятельными,

изобретательными, понятливыми. И для меня стало очевидным:

обыденная жизнь не требует присутствия человека.

Однако, не зная языка, исходя лишь из порядков муравейника, невозможно было объяснить поведение горожан, что, усевшись в кружок на рыночной площади, самозабвенно слушали старика-сказителя, и, если он был талантлив, в его власти было поднять их и повести за собой поджигать город.

Мне случалось видеть, как преображалась мирная толпа, внимая хриплым пророчествам и, послушная им, пламенея, кидалась в пекло битвы. Ветер слов приносил что-то необычайное, раз толпа отказывалась от муравьиной жизни и превращалась в обреченный смерти гибельный пожар.

Те, кто уцелел после него, вернулись домой преображенными. Мне показалось, что не стоит ходить к колдунам за магическими заклинаниями, до меня и без них долетали магические слова и уводили от дома, работы, привычного уклада жизни, заставляя жаждать гибели.

Потому я и прислушиваюсь так пристально, отделяя пустые слова от действенных, определяя, что же они несут. Я не о содержании, оно не имеет значения, а если б имело, каждый был бы великим поэтом. Каждый увлекал бы за собой, воскликнув: «Вперед! На приступ! Запах пороха...» Попробуй позови их, они в ответ рассмеются. Как смеются над теми, кто ратует за доброту.

Но я слышал слова, которые доходили до сердца и изменяли людей. Я просил Господа просветить меня и научить различать в ветре слов редкостные крупинки семян.

CXXXVIII

Я задумался, что же такое счастье, и, мне показалось, что-то понял. Оно представилось мне благодатным плодом жизненного уклада, который вытруживает в тебе день за днем душу, способную чувствовать себя счастливой, а вовсе не получением задаром множества бестолковых вещей. Бессмысленно снабжать людей счастьем как заготовленным впрок припасом. Много разного давал мой отец беженцам-берберам, но счастья не дал, тогда как в скудной, полной лишений пустыне я видел людей, лучащихся счастьем.

Не сочти, будто я хоть на миг подумал, что осчастливию тебя, оставив в одиночестве среди нищеты и лишений. С еще большим основанием ты впадешь в безнадежное отчаяние. Просто я выбрал самый наглядный пример, желая показать, что счастье не зависит от того, сколько у тебя материальных благ, показать, что счастье зависит скорее от добротности жизненного уклада.

И если я убедился на опыте, что счастливых людей куда больше в монастырях и пустынях, где люди жертвуют собой, и куда меньше в изобильных оазисах и на благодатных островах, то это вовсе не значит, что я сделал дурацкий вывод, будто сытная пища во вред счастью.

Нет, я понял другое: там, где больше всяческих благ, людям легче ошибиться, им начинает казаться, что счастьем и впрямь наделяют вещи, хотя одаряет им смысл, приданный этой вещи царством, отчим домом, родным краем. Живя среди цветущего изобилия, легче ошибиться и в причине несчастья: люди винят в своих бедах избытки, называют суетностью и хотят избавиться именно от них.

У пустычника и монаха ничего нет, источник их счастья очевиден, и они усердно и ревностно

служат ему.

Жизнь аскета сродни вечной борьбе с врагом, ты можешь возвыситься, можешь погибнуть. Но если ты поймешь, в чем истинное счастье, и сумеешь быть ревностным и усердным на изобильном острове или в оазисе, человек, родившийся в тебе, будет более велик, чем тот, кого рождает пустыня; у многострунного инструмента звучание богаче, чем у одной струны. Сандал и эбен, шелк и бархат, изысканные яства и вина добавляли благородства благородному замку моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла.

Позолоте на складе грош цена, она обретет цену, если ею позолотят дом, обратив его в дворец.

CXXXIX

Снова пришел ко мне пророк, день и ночь раздувал он в себе священное пламя гнева, тот самый пророк, что вдобавок еще и косил.

— Заставь их приносить жертвы, — сказал он.

— Заставлю, — согласился я. — Если частичка их богатств перестанет быть запасом впрок, потеряют они немного, зато как обогатятся чувством значимости своего богатства; богатство неощутимо, если ему не нашлось места в общей для всех картине.

Но он не слушал меня, клокоча яростью.

— Принудь к покаянию, — продолжал он.

— Обязательно, — согласился я, — пост поможет им сохранить вкус к пище, они лучше поймут голодающих не по своей воле, и, возможно, постясь, одни станут совершеннее и ближе к Господу, а другие не разжируют.

Ярость по-прежнему клокотала в нем.

— Но полезнее всего их всех обречь на мучения... Я понял: если выдать человеку жесткую подстилку, лишить хлеба, света, свободы, мой пророк станет к людям терпимее.

— ...потому что нужно в них уничтожить зло, — сказал он.

— Ты рискуешь их просто уничтожить, — отвечал я ему. — Может, лучше не уничтожать зла, а растить добро? Создавать празднества, которые облагораживали бы? Одевать получше, чтобы не носили лохмотьев? Сытнее кормить детей, чтобы они учились молиться, не мучаясь голодными резами в животе?

Дело совсем не в том, чтобы урезать необходимое человеку, дело в том, чтобы сохранить силовые линии, они одни поддерживают в человеке человеческое, — сберечь картину, она одна значима для его души.

Кто способен построить лодку, пусть правит лодкой, я отправлю его рыбачить. Кто способен построить корабль, пусть строит, я отправлю его завоевывать мир.

— Я вижу, ты хочешь сгубить их изобилием!

— Я пекусь не о запасе впрок, не хочу жить, потребляя готовое, — ответил я. — Ты ничего не понял.

Если ты собрал жандармов и поручил им построить царство, как бы ни было оно желанно, царство не выстроится, потому что жандармы не из тех, кто воодушевляет людей. Жандармы занять! не людьми, а исполнением твоих приказов, конкретных приказов: необходимостью платить налоги, не воровать у ближнего, соблюдать такие вот правила. Душа твоего царства — его внутренний уклад, он лепит такого вот человека, а не иного, он напрягает силовые линии, которые одухотворяют человека. Что смыслят жандармы в одухотворенности? Жандармы — стены, жандармы — опорные столбы. Они безжалостны, но не ставь им безжалостность в вину, столь же безжалостна ночная тьма, лишившая нас солнца, необходимость иметь корабль, чтобы переплыть море, выходить через дверь справа, раз нет двери слева. Так оно есть, и ничего больше.

Но если ты расширишь полномочия жандармов и поручишь им судить, каковы люди, изничтожая то, что они сочтут по собственному разумению злом, то получится вот что: поскольку нет в мире ничего одномерного, поскольку мысль человеческая текуча и не вмещается в слова, поскольку слова противоречат друг другу, а жизнь не знает противоречий, в твоём царстве останутся на свободе и будут распоряжаться одни пустозвоны и негодяи — те, кого не отвратила от соучастия твоя безобразная пародия на жизнь. В твоём царстве порядок будет предшествовать усердию дерева, а дерево должно будет вырастать не из семечка, а из разработок логиков. Упорядоченность — следствие жизнедеятельности, а никак не ее причина. Порядок — свидетельство силы города, но никак не источник этой силы. Жизнь, страсть и усердие создают порядок. Но порядок не создает ни жизни, ни усердия, ни страсти.

В твоём царстве возвеличатся те, кто из низости души согласился жить в послушании у пискливой разноголосицы идей, которую жандармы возвели в закон и объявили руководством для жизни, кто принес в жертву свою душу и сердце пустому грому ханю слов. Как бы ни был высок твой идеал человека, как бы ни была благородна цель, знай — все станет низко и тупо в руках жандармов. Не облагораживание дело жандарма — запрет, и жандарм запрещает, не ища понять почему.

Свободный человек, направляемый силовыми линиями безусловных принуждений, которые и есть незримые жандармы, — вот справедливость моего царства.

Поэтому я созвал жандармов и сказал:

— В вашем ведении только те поступки, которые поименованы в уложении. Я принимаю вашу несправедливость, хотя она может быть ужасной, в вашей стене нет ворот, и порой она в помощь грабителям:

ограбленная женщина зовет на помощь за стенами города. Но стена есть стена, и закон есть закон.

Однако я запрещаю вам судить и осуждать людей. В молчании моей любви я понял: если хочешь понять человека, не слушай его. Не в моих силах понять, где добро, где зло, искореняя зло, я и добро могу бросить в топку А тебе, откуда видеть тебе, что хорошо и что плохо, если я тебя сделал слепой стеной?

Пытая, я узнал, что вместе со злом выжигаю и добро, оно видно при вспышке огня. Но спасая целое, я жертвую ему частью. Казнь преступника я подтягиваю рессоры, которые не должны ослабнуть в пути.

Я начну свою речь так

— Человек! Тебе мешают осуществить свои желания, ты тяготишься своей силой, тебе не дают выпрямиться и расти!

И ты согласишься со мной, потому что и впрямь неудовлетворен в своих желаниях, тяготишься нерастраченными силами и тебе мешают выпрямиться и расти.

И ты пойдешь за мной сражаться против государя за общее равенство.

Или я скажу по-другому:

— Человек! Ты нуждаешься в любви, а она рождается вместе с деревом, которым вы станете, став единым целым.

И ты согласишься со мной, потому что и впрямь нуждаешься в любви, а она возникает вместе с общим делом, которому служишь и ты.

И ты пойдешь за мной сражаться за то, чтобы вернуть государю трон. Теперь ты видишь: я могу сказать тебе все, что угодно, потому что все — правда. Но если ты спросишь меня, как узнать заранее, какая из правд будет живительней и плодотворней, я отвечу: та, что может стать ключом свода, общим для всех языком и разрешением твоих противоречий. Мне неважно, красивы мои слова или нет. Важно, чтобы они помогли тебе обрести позицию. И если, приняв мою точку зрения, ты увидишь, что непримиримые для тебя противоречия исчезли и ты можешь смотреть на вещи по-новому, то что за беда, если здесь я выразился неуклюже, а там ошибся? Ты прозрел, только этого мне и хотелось, я принес тебе не цепочку рассуждений — привел на вершину горы, откуда тебе открылись новые просторы и ты можешь по-иному рассуждать.

Да, существует множество языков, объясняющих тебе устройство мира и тебя самого. Языки эти враждуют друг с другом, и пусть. Связные языки, основательные. Равноправные. Ты не осилишь противника доводами, у него правоты не меньше, чем у тебя. И враждуете вы во имя Господа.

— Человек производит и потребляет... Правда, производит и потребляет...

— Человек пишет стихи и читает по звездам... Правда, пишет стихи и читает по звездам...

— Человек обретает высшее блаженство в Господе...

Правда, радости он учится в монастыре...

Но нужны слова, которые уместили бы все высказанное разом, отдельные суждения — повод для взаимной ненависти. Светлое поле сознания слишком узко, и каждый, кто обрел для себя истину, не сомневается, что все остальное человечество лжет или заблуждается. Но правы и правдивы все.

Я живу каждый день и убедился: производить и потреблять насущно, но не сущностно, кухня в замке насущна, но сущности его она не определяет. Это соотношение важно для меня. Насущное мне не в помощь для главного. Почему бы мне не решить: «Главное для человека — здоровье» — и на этой основе построить свое царство, сделав врача судьей поступков и

мыслей? Но на собственном опыте я убедился: здоровье — средство, оно не цель, и пусть так оно и будет у меня в царстве. Если ты не поглупел окончательно, ты увидишь и так: существуют производство и потребление, незачем их возводить в главный принцип, незачем внедрять особый режим для сохранения всеобщего здоровья. Семечко было единым, но как преобразилось по мере роста; единой была картина мира, но как разнообразна выросшая на ее основе культура, и вы будете все разными в соответствии со своим складом и состоянием, но, чтобы расти, все вы нуждаетесь в сущностном, внятном для души животворящем семени.

Вот что я скажу о человеке: «Человек сбывается лишь благодаря напряжению силового поля, человек понимает других, когда все вы вместе чтите одно божество, человек радуется, тратя себя на любимое дело, он умирает счастливым, если осуществил себя в нем, человек расточает запасы, вдохновляет его целостная картина мира, человек всегда стремится узнать и воодушевляется тем, что узнает, человек...»

Определяя человека, главное не исказить, не нарушить воодушевляющей его устремленности. Если во имя порядка я должен жертвовать духом творчества, мне не нужен такой порядок. Если должен пожертвовать силовым полем в угоду желудку, не стану потворствовать культу желудка. Но не желаю и порчи человека среди хаоса в угоду творческому духу, мне не нужно самосжигающее творчество. Так же, как не нужны жертвы ради силового поля. Если нет человека, то для чего оно мне, силовое поле?

Я — капитан, я бодрствую над своим городом. В этот вечер я намерен говорить о человеке, наше странствие будет зависеть от устремленности, которую я создам.

CXLII

Кому, как не мне, знать, что я никогда не достигну той очевидной непререкаемой истины, которая убедит всех моих противников, я и не ищу ее — я творю картину, творю образ человека, преисполненного сил, поощряю все, что мне кажется благородным, подчиняя благородству все остальное.

А значит, мне неинтересен человек-производитель, человек-потребитель, я не пожертвую ему в угоду пылкостью любви, драгоценностью познаний, сиянием радостей, хотя постараюсь по мере сил ублажить и желудок, — я не вижу тут противоречия или хитрости, ведь и радители собственного брюха всегда твердят, что не чужды духовности.

Если в моей картине достаточно силы, она пустится в рост, словно зерно, и, набрав в конце концов весу, перетянет колеблющихся на свою сторону. Скажи мне, разве страсть к морю не преображается в корабль?

Никогда я не считал познания сущностным. Образованность и благородство

— разные вещи, не знания облагораживают человека, благороден инструмент, который их накапливает.

Под рукой у тебя всегда одни и те же составляющие, пренебречь нельзя ни одной, но картин из них можно составить великое множество.

Ты упрекнул мою картину в произвольности, упрекнул, что я подчиняю произволу людей, заставляя их, к примеру, умирать ради никому не нужного оазиса, только из-за того, что схватка — прекрасна; я отвечу:

ничего не подтверждают твои доводы, картина моя сосуществует со множеством других,

столь же подлинных, — боремся мы за божества, которым хотим служить и которые превращают дробность в целостность, а составляющие целостности всегда одни и те же.

Но если ты будешь рассказывать мне, что видишь ангелов, я не пойму тебя. Что-то от дешевого балагана видится мне в твоих ангелах. Если Бог так похож на меня, что я могу смотреть на Него, Он не Бог. А если Бог, то восчувствовать Его способен мой дух, но не чувство. Знание моего духа о Боге

— трепет сродни трепету перед величавой красотой храма. Я — слепец, ищущий огонь, протянув ладони, мое знание об огне — тихое радование оттого, что вот я искал его и теперь нашел. (И если я говорю, что я изошел из Бога, то Бог и приведет меня к себе.) Посмотри на благоденствие кедра, он благоденствует благодаря солнцу, погружаясь в него и не зная, что же такое солнце.

Единственный подлинный геометр, мой друг, говорил: «Нам свойственно уподоблять связующие нити, которые мы отыскиваем на ощупь, какому-то образу, картине, ибо путь нам неведом и неведомо, что за родник утоляет томящую нас жажду. И если я именую Богом неведомое мне солнце, что питает во мне жизнь, то правильность моего понимания картины мира может подтвердить только язык, которым я пользуюсь: если он снимает противоречия, картина моя достоверна.

Я стою и смотрю на город, этой ночью я — капитан корабля в открытом море. Ты уверен, что правит человеком выгода, стремление к счастью и рассудок. Я отвергаю выгоду, счастье и рассудок как главных властителей человека. Я понял: выгодой или счастьем ты привык именовать то, к чему человек тяготеет, и именуешь так самые разные вещи; мне нечего делать с медузами, что постоянно меняют форму. А рассудок, который найдет разумное обоснование для любого желания, кажется мне цепочкой следов на песке — оставило их неведомое. Разве рассудку понять, разве охватить его?

Нет, не рассудком руководствовался мой друг, единственный подлинный геометр. Рассудок толкует, выводит закономерности, упорядочивает, от причины к следствию доводит он дерево — от семечка до того дня, когда оно засыхает, но дальше рассудок бессилен, ибо нужно новое семечко.

Но я, стоя над городом, словно капитан корабля в открытом море, знаю: только дух ведет и управляет человеком, управляет им безраздельно. И если человек ощутил связующие нити и выразил их стихотворением, он заронил зерно в человеческое сердце, и зерну этому, словно слуги, будут служить выгода, стремление к счастью и рассудок, воплощая изменения растущего в тебе дерева биением сердца, тенями на стене реальности.

Нет у тебя защиты от духа. Я поставил тебя на вершину этой горы, а не другой, и ты не можешь отрицать, что города и реки расположены так, а не иначе, — они есть, и ничего больше.

Потому я и говорю, что принуждаю тебя сбыться. Я отвечаю за тот, за настоящий путь, которым движется мой корабль под взглядами звезд, а город мой спит, и, глядя на дела человеческие, только и увидишь что поиски выгоды, счастья и повеления рассудка.

...Путь, что ведет людей, незрим для них, они убеждены, что действуют из выгоды, ищут себе счастья, слушаются повелений разума, они не знают, что и разум, и счастье, и выгода меняют и облик, и суть, завися от царства.

В царстве, которое предлагаю я, главная выгода — увлеченность, ребенок всему предпочтет игру, которой увлекся. Счастье — трата себя на творение своих рук, что будет жить и после твоей смерти. Разум — натягивание связующих нитей путем превращения их в закон. Разум армии — устав, так, а не иначе соотнес он и соподчинил людей, оказавшихся в его ведении,

разум корабля — корабельный устав, разум моего царства — свод его законов, обычаи, уклады, традиции, так, а не иначе согласуют они между собой общие для всех на свете вещи, создавая особое созвучие.

А я? Я — камертон, задающий тональность созвучию.

Ты, верно, спросишь: «Зачем тебе принуждение?»

Я обозначил картину и не хочу, чтобы она исчезла. Статую из глины я обжигаю в печи, чтобы прибавить ей твердости и долголетия. Моя истина принесет плоды, укоренившись во времени. Как любить, если менять что ни день привязанности? Каких ждать подвигов во имя любви? Постоянство обеспечивает плодотворность твоим усилиям. Редко когда творят мир заново, если дадут тебе это пережить, то ради твоего спасения, но нет беды хуже, чем переделывать мир заново что ни день. Чтобы появился в тебе человек, мне понадобится не одно поколение. Желая улучшить породу, я не вырываю каждый день росток, сажая новое семечко.

CXLIII

Я знаю одно: все рождается, живет и умирает. Вот ты собрал коз, овец, дома, горы, и родилась новая целостность, которая преобразит взаимоотношения людей. Какое-то время она будет жить, потом истощится и погибнет, исчерпав свою жизненную силу.

Рождение всегда сотворение неведомого, оплодотворение небесным огнем. Жизнь непредсказуема. Вот перед тобой яйцо. Оно незаметно меняется, следуя внутренней логике яйца, и в один прекрасный миг из него появляется кобра — как переменялись твои заботы!

Вот строители, вот груда камней. Вот логика, управляющая строительством. Но приходит час, двери открывает храм, и, войдя в него, человек преображается. Как преобразились его заботы!

Я хочу облагородить жизнь, я заронил в тебя облагораживающее зерно, мне нужна длительность длиннее человеческой жизни, чтобы оно проросло, пустило ветки, оделось листвой, принесло плоды. Я не собираюсь менять картину каждый день, от изменений ничего не родится.

Величайшее из заблуждений — хотеть уместить все в человеческую жизнь. Но кому передаст себя человек, умирая? Мне нужен Бог, который бы меня принял.

Я хочу умереть, зная, что все идет своим естественным чередом. Что мои оливки соберет мой сын будущей осенью. Тогда я умру спокойно.

Нет, не стоит слушать людей, если хочешь понять их. Вот я смотрю на своих горожан, никто из них не помнит о своем городе. Они знают о себе, что они архитекторы, каменщики, жандармы, священники, ткачи, думают, что заняты выгодами или добиваются счастья, и не знают, что любят, как не думает о любви жена, занятая домашними хлопотами. День — пространство, занятое суетой, хлопотами, перебранками. Но приходит ночь, и те, кто ссорился, нежно влюблены друг в друга, любовь прочнее словесного сквозняка. Мужчина облокотился на подоконник, глядит на звезды, он опять отвечает за спящих, за хлеб будущего дня, за покой лежащей рядом жены, такой уязвимой, хрупкой, преходящей. Любовь не надумаешь. Она есть.

Но слышна любовь, только когда тихо. Любовь к дому и любовь к городу. Любовь к городу и

любовь к царству. В душе наступает небывалый покой, и ты видишь свои божества.

Занятые дневной суетой, люди не знают, что готовы пойти на смерть. Патетикой дурного тона сочтут они твои славословия городу, но ты можешь поговорить с ними об их успехах, удачах, выгодах. Они не подозревают, что счастьем обязаны городу. Их язык тесен, ему не вместить сущего.

Но если ты поднимешься повыше и отступишь во времени на несколько шагов вспять, сквозь людскую суетность, своекорыстие, смуту ты различишь медленное и плавное движение корабля вперед. И когда, несколько веков спустя, станешь искать следы прошлого, найдешь стихи, статуи, теоремы и храмы, все еще не погребенные под песком. Насущное растаяло, исчезло. И становится понятно: счастьем, успехом, выгодой люди считали жалкую тень подлинного величия.

Только так и движется человек, поверь мне.

Вот мое войско встало лагерем. Завтра утром я пошлю его в жаркое пекло пустыни драться с врагом. Враг — горнило для моего войска: испытывая, оно расплавит его, потечет кровь, и под знойным солнцем сабельный удар положит предел сотне отдельных удач и счастья. Но в сердцах моих воинов нет возмущения, они идут на гибель не ради человека — ради человеческого.

И хотя, я знаю, завтра многие примут смерть, я в молчании моей любви, бродя среди костров и шатров, не услышу благостных речей о смерти.

Здесь подшучивают над твоим кривым носом. Там ругаются из-за куска мяса. А тут, сбившись потеснее в кучку, кроют предводителя твоей армии так, что тебе невольно становится обидно... И если сказать кому-то из них, что в нем бродит хмель жертвенности, он рассмеется тебе в лицо, сочтя тебя глупцом и пустозвоном, который ни черта не смыслит в его драгоценной персоне. Что он, дурак? Да не собирается он умирать за своего капрала, который, прямо скажем, болван болваном и ничем не заслужил такого подарка! Но завтра он умрет за своего капрала.

Нет, ни в одном из них ты не увидишь величия, что бросает вызов смерти и жертвует собой ради любви. И если доверишься ветру слов, то, медленно возвращаясь к своему шатру, ощутишь на губах горечь поражения. Солдаты твои насмешничают, ругательски ругают войну и кроют начальство... Все так, ты опять смотрел на матросов, что дряют палубу и натягивают паруса, на кузнецов и гвозди, но, не видя дальше собственного носа, не заметил величаво плывущего корабля.

CXLIV

Между тем я осмотрел вечером мои тюрьмы. И еще раз убедился:

жандармы не умеют отличать виноватых от безвинных, они отправляют в застенки тех, кто верен себе, кто не умеет кривить душой, кто не в силах отречься от очевидной для него истины. На свободе они оставили всех, кто отрекался, кривил душой и врал. Так запомни мои слова: «Как бы ни были благородны твои жандармы и ты сам, если ты сделаешь жандармов судьями, выживут одни подлецы. Любая правда, человеческая, а не тупицы-логика, покажется жандарму заблуждением и пороком. Жандарм добивается, чтобы на свете была одна книга, один человек и одно правило. Строя корабль, жандарм постарается уничтожить море».

CXLV

Я устал от слов, что дразнятся и показывают язык друг другу, мне не кажется нелепым знать, насколько помогли свободе мои принуждения.

Как послужила мужественность на войне нежности в любви.

Лишения — излишества.

Примирение со смертью — радости жизни.

Почитание иерархии — счастливому ощущению себя равным всем, которое я называю союзничеством.

Отказ от жизненных благ — умению наслаждаться ими.

Безграничная преданность царству — личному достоинству.

И скажи мне, чему ты хочешь помочь, если оставляешь человека одиноким? Я видел, каково оно, одиночество моих прокаженных.

Скажи, что хочешь вырастить с помощью свободы и изобилия? Я видел, что проросло в моих беженцах-берберах.

CXLVI

Объясняю тем, кто не понимает смысла моих принуждений. Малые дети, видя кувшины у себя в доме, считают, что кувшины — такие, и, увидев чужой, иной, недоумевают, что это с ним сделалось? Видя человека соседнего царства иным,

— он любит, чувствует, жалуется, ненавидит иначе, — недоумеваешь и ты: для чего ему это понадобилось? Ты заблуждаешься, словно малое дитя. Прекрасный храм — краткий миг торжества человека над природой; если не знать, как уязвима его будущность, не возникнет нужды оберегать его. Ты не станешь оберегать храм, если не знаешь, что держит его ключ свода, подпирают колонны и контрфорсы.

Ты не замечаешь грозящей тебе опасности, видя в чужом творении кратковременное заблуждение, и только. Ты не понимаешь, что чужое творчество грозит уничтожить творимого мной в тебе человека, уничтожить его навсегда.

Ты считаешь, что свободен, ты оскорбляешься, когда я напоминаю о своих принуждениях. Но они не усатые жандармы, они незаметны и действенны, они сродни воротам в стене; ты делаешь небольшой крюк, выходя из дому, но разве свобода твоя ущемлена?

Если ты хочешь увидеть силовое поле, что формирует тебя и заставляет так, а не иначе чувствовать, думать, любить, горевать, ненавидеть, приглядишься к корсету, в котором ходит сосед, и тогда почувствуешь свой собственный.

Иного способа почувствовать его нет. Падающий камень не чувствует силы, притягивающей его к земле. Весом неподвижный камень.

Только противостоя, ощущаешь сдвигающую тебя силу. Для листка, летящего по воле ветра, нет ветра. Для свободно падающего камня нет веса.

Ты не замечаешь самых действенных принуждений, они подобны стене и незримы до тех пор, пока ты не вздумал поджечь город.

Ты же не замечаешь, что язык, на котором говоришь, тоже принуждение.

Принуждение — это упорядоченность, но незримая.

CXLVII

Я изучал княжеские указы, имперские законы, религиозные обряды, похороны, крестины, свадьбы — моего народа и других, в прошлом и в настоящем, ища непосредственную связь между душой народа и укладом, который вынуждал эту душу, наставлял, хранил, но не нашел такой связи.

Однако имея дело с подданными соседнего царства, где требуют иных жертв, я чувствовал особый аромат их любви и ненависти, ибо каждый любит и ненавидит по-своему. И конечно, я задумался о причинах и спросил себя: «Как получается, что обычай, который, как мне кажется, упорядочил военные действия, которые так далеки от любви, пестуют именно любовь, и вот такую, а не иную? Какова же она, эта связь между душой и стенами, что ее окружают, рождая такую улыбку, а не другую — улыбку, какой улыбаются наши соседи?»

Занимало меня не пустое, живя жизнь, я успел убедиться, что люди сильно разнятся между собой, хотя непохожесть их тебе поначалу незаметна и не сказывается в разговоре, потому что ты сам себе служишь переводчиком, подбирая на своем языке слова, больше всего подходящие к тому, что тебе передается на другом языке. И вот переводишь любовь любовью, справедливость справедливостью, ревность ревностью, радуясь вашей схожести, хотя каждое из этих слов наполнено для вас разным смыслом. Исследуя одни слова, переходя от перевода к переводу, ты и будешь видеть лишь подобия, но то сущностное, что ты хотел бы понять, ускользнет от тебя.

Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят. Существование различий неоспоримо. Любовь, справедливость, ревность, смерть, молитва, отношения с детьми, с государем, с возлюбленной, творчество, понимание счастья и успеха не совпадают у одного и другого. Я видел, как человек сдержанно улыбается и опускает глаза, изображая скромность, довольный, что замечены его холеные руки, и такую же улыбку и опущенные глаза я видел у других, когда на ладонях их замечали мозоли. Одним придавали весу в собственных глазах золотые слитки в подвалах, а тебе эти люди со своими слитками казались омерзительными скупцами; другие обретали то же горделивое удовлетворение, вкатив бесполезный камень на вершину горы.

И я понял, как нелепы мои попытки построить с помощью разума лестницу, что вела бы наверх. Попытка моя нелепа, как нелепы объяснения болтуна: глядя на статую, он объясняет очертаниями носа или величиной уха суть сказанного художником — томительность праздника, например. Суть — это пленница, пойманная в ловушку, но что общего у нее с ловушкой?

Я понял, что был не прав, пытаюсь объяснить дерево, исходя из минеральных солей, тишину, исходя из камней, грусть, исходя из черт лица, благородство души, исходя из уклада, я нарушил присущую созиданию последовательность, мне нужно было бы постараться и

прояснить, как растущее дерево заставляет перемещаться минеральные соли, стремление к тишине выстраивает камни, печаль меняет черты лица, строй души создает созвучный себе уклад. Строй души не выразить словами, чтобы уловить его, поддерживать и длить, мне предлагается ловушка в виде уклада, вот такого уклада, а не иного.

В юности и я охотился на ягуаров. На проложенной ими тропе рыли яму, усаживали ее кольями, привязывали ягненка и забрасывали сверху травой. Я приходил на рассвете к ловушке и находил мертвого ягуара. Если знаешь повадки ягуаров, то придумаешь яму с кольями, ягненком и травой. Но если не видел ягуара в глаза, то, изучив яму, траву, колья, ягненка, ягуара не выдумаешь.

Потому я и говорю, что мой друг геометр был подлинным геометром, он чувствовал близость ягуаров, изобретал для них ловушки, и они в них ловились, хотя до поимки он и в глаза не видел ягуаров. Зато благодаря ему увидели ягуаров все остальные, они рассмотрели и поняли, как делаются ловушки, и принялись ловить весь остальной мир в яму с кольями и ягненком. Они исходили из логики: ловушка для того, чтобы ловить, и пожелали поймать истину. Но истина сбежала от них. Бесплодны и бессмысленны труды логиков до того дня, пока нет творца, он не знает, кто такой ягуар, но чувствует его и придумывает ловушку, он ведет тебя к попавшемуся ягуару с такой уверенностью, будто сто раз ходил по этой дороге.

Мой отец тоже был геометром, он создал свой уклад, стремясь залучить к себе таких людей, а не иных. Были другие времена, другие складывали свои уклады и залучали к себе других людей. Но пришло время близоруких логиков, историков, критиков. Они изучают твой уклад, но не понимают, с каким строем души он в согласии. Путем логики не вывести человека, и вот, послушные ветру слов, который они именуют рассудком, логики ломают сколоченные тобой ловушки, рушат твой уклад и позволяют сбежать добыче.

CXLVIII

Я странствовал по незнакомым угольям, постигая: повиновение каким запретам складывает человека. Моя лошадка неспешным шагом трусила проселком от одной деревни к другой. Дорога могла бы пройти напрямик по полю, но нет, бережно обогнула его, и я потерял несколько минут на объезд, повинувшись прямоугольнику ячменя. Я мог проехать прямо, но признал значимость поля и обогнул его. Прямоугольник ячменя потеснил мою жизнь, отнял малую толику времени, что могла бы послужить чему-то иному. Я подчинился ячменному полю, согласившись объехать его, мог пустить лошадь напрямик, но отнесся к нему почтительно, будто к святыне. Долго я ехал и вдоль стены, огородившей чьи-то владения, прихоти стены стали моей дорогой. Дорога моя чтит чужие владения и плавно волнилась по выступам и нишам стены. За стеной я видел макушки деревьев, они росли гуще, чем в наших оазисах, видел пруды с пресной водой, они поблескивали между ветвями. Слышал тишину. Вот ворота, затененные листвою. Здесь моя дорога раздвоилась, одна ее ветка потянулась служить огороженному стеной владению, другая повела меня вдаль. Странствовал я неспешно, лошадь то спотыкалась о рытвину, то тянула шею к траве, пробившейся возле стены, и у меня появилось ощущение, что дорога моя, с ее уклонами и поклонами, с ее неторопливостью и задаром растроченным временем, была своеобразным обрядом, была залом, где ждут появления короля, была очерком лица властелина и каждый, кто следовал ей, в тряской ли тележке, на ленивом ли ослике, сам того не ведая, упражнялся в любви.

CXLIX

Мой отец говорил:

— Им кажется, чем больше у них слов, тем они богаче. Конечно, может быть словом больше, и слово это обозначит «октябрьское солнце», выделив его среди всех других солнц. Однако мне не кажется, что благодаря новому слову я что-то приобрету. Напротив, потеряю — потеряю ощущение связи октябрьских листьев, последних яблок и холодеющего солнца, которому никогда не стать знойным, потому что оно устало, наработавшись за лето. Немного на свете слов, что обозначают разом многое, благодаря которым я что-то выигрываю, но такие тоже есть, например слово «ревность». Я сказал его и передал тебе все изобилие связей в том, что им обозначил. Я сказал, например, «жажда — это ревность к воде». Я же видел, как жаждут. Жажда ведь не изнурительная болезнь вроде чумы, что обессиливает тебя, вызывая тихие стоны. Нет, ты готов реветь и вопить, так ты жаждешь этой воды. И во сне тебе являются те, кто пьет ее. И вода, что течет неведомо где, кажется тебе предательницей. Как женщина, что улыбнулась твоему сопернику. Твои терзания сродни терзаниям раненой любви, уязвленного воображения, они не похожи на физические страдания болезни. Ведь живешь не вещественностью — царством смысла вещей.

Твое «октябрьское солнце» мало чему поможет, оно частность.

Но ты стал бы и в самом деле богаче, если б я научил тебя из одних и тех же слов строить любые ловушки, для самой разнообразной добычи. Научил бы вязать узлы из слов, как вяжут их на веревке: один пригоден, чтобы поймать лисицу, другой для паруса, чтобы поймать ветер. Игра моих вводных предложений, игра времен и глагольных наклонений, ритм и дыхание моих периодов, энергия дополнений, аллитерации и повторы — сложный танец, который ты должен суметь станцевать, танец, который, будучи станцован, должен суметь передать другому то, что ты хотел сказать ему: книга — ловушка, возможность уловить то, что ты жаждешь настичь, постичь и понять.

— Нароботав собственный стиль, получаешь доступ к постижению, — сказал как-то мой отец.

— Постигание, — любил он повторять, — вовсе не накопительство множества чужих идей, не любование их разноголосицей. Познания — те же вещи, коллекция или инструмент твоего ремесла, они пригодны, чтобы построить мне мост, добыть золото или сообщить, каково расстояние между столицами. Но справочник и человек — не одно и то же. Осознать, постичь вовсе не означает расширить свой словарный запас. Расширение словаря позволит тебе разве что быть смелее в сравнениях. Если ты хочешь приобщить и меня к воодушевляющей тебя страсти, только твой стиль вовлечет меня в стремящий тебя поток. Если нет стиля, а только обозначения, выжимки мыслей, что они мне? Ощутимое «октябрьское солнце» я предпочитаю новому слову, пустому для глаз и сердца. Твои камни — камни, и только, но, соединившись, они могут стать колоннами, а колонны превратятся в храмы. Если построения становятся все пространственней, значит, таков талант моего архитектора, стиль его требует мазков все крупнее и крупнее, все большее пространство подчиняет он своему стилю, все мощнее подчиняет своим силовым линиям камни. Строя фразу, и ты создаешь силовое поле. Только оно и значимо.

— Возьмем как пример дикаря, — предложил мне отец. — Ты можешь научить его множеству слов, и он станет несносным болтуном. Можешь сообщить ему все свои познания, и он станет вдобавок высокомерным и спесивым. Тебе уже с ним не сладить. Он будет упиваться пустым плетением словес. А ты, слепец, примешься рассуждать: «Как же так? Моя культура, моя цивилизация не облагородила дикаря, а испортила его. Вместо мудреца, который должен был получиться, получился отброс, и делать мне с ним нечего. Только теперь я понял, как благородно и чисто было его неведение!»

Но не надо было делать дикарю подарков, желая поскорее от него отвязаться. Нужно было медленно формировать в нем стиль. Вместо того чтобы играть всевозможными сведениями, словно цветными шариками, забавляясь их мельканием и своим жонглерством, может быть, стоило взять этих сведений совсем немного, но с их помощью разбудить в несведущем желание пуститься в путь — только оно способно облагородить человека. Вот он оробел, примолк, ты как будто подарил ребенку коробку с мозаикой; не умея играть в нее, он с интересом прислушивается, как она гроыхает. А ты показываешь ему, как цветные шарики складываются в одну картинку, в другую, говоришь, что картинок может быть великое множество, он задумывается, замолкает. Он забился в уголок, наморщил лоб, в нем рождается человек.

Обучи сначала невежду грамматике, покажи управление глаголов, особенности предлогов. Вручи инструмент, а потом уже дай материал, над которым он будет трудиться. Несносные утомительные болтуны, распираемые всевозможными идеями, замолчат тогда и откроют для себя тишину.

Обретенная тишина — признак человеческой полноты и совершенства.

CL

Истину рождает несхожее с ней.

Ты удивлен? Но тебя же не удивляет, что вода, которую ты пьешь, хлеб, который ты ешь, преобразаются в сияние глаз, не удивляет, что солнце становится листвой, плодами, семенами. Хотя в семени нет ничего схожего с солнцем и с будущим кедром тоже.

Порожденное не означает подобное.

Сродство в подспудном течении, оно незримо для глаз, для ума, его чувствует душа. Незримое течение я и имею в виду, говоря, что творение сродни Творцу, плод сродни солнцу, поэзия сродни жизни души, человек, которого я из тебя нарабатываю, сродни укладу моего царства.

Сказанное мной важно. Без чуткости к незримому, подспудно ощущаемому течению, ты не увидишь в несхожем преимущества, уничтожишь несхожее и лишишься возможности расти дальше, Ты станешь деревом, которое, не узнав в своих плодах солнца, отгородилось от солнца. Книги не могут рассказать о породившем их веющем духе, — ученый, тщательно изучив, как они построены, и построив свою книгу, пустую, никчемную, не найдет для нее читателя: все разбежались.

Лучше логики, историков, критиков чувствуют подспудное сродство мои мельники, пастухи, нищие. Ни пастуху, ни мельнику не понравится, если спрямить их прихотливый проселок. «Почему?» — спросишь ты. Потому что они его любят. Их любовь и есть то таинственное подспудное течение, что питает их. Любя, непременно обогащаешься. И неважно, что не умеешь сказать чем. А логики, историки, критики слышат лишь то, что умеют назвать. Но мне-то кажется, дитя мое, человек, ты только и делаешь всю жизнь, что, передвигаясь на ощупь по поверхности мира, нащупываешь свой язык. Мир ведь велик, нелегко уместить его в слова.

А логики, историки, критики доверчиво и простодушно согласились, что мир равен скудному содержимому их разноречивых идей.

Если ты воротишь нос от моего храма, уклада, проселка из-за того, что не умеешь выразить

словом суть их даров, я ткну тебя носом в, твою собственную несостоятельность. Ведь миры, где нет слов, чьей разноголосицей ты мог бы меня оглушить, нет зримых картин, которыми мог потрясать передо мной как вещественным доказательством, все же посылают тебе весть, хоть она и несказанна? Ты ведь слушаешь музыку? Почему ты ее слушаешь?

Как все на свете, ты считаешь, что обряд погружения солнца в море очень красив. Почему ты так считаешь?

Поверь, если ты протрусил на осле вдоль проселка, о котором я тебе говорил, ты переменялся. И что за беда, если не сможешь сказать, в чем и почему.

Все уклады, обряды, ритуалы, пути и дороги действенны, но не все хороши. Есть среди них и дурные, вроде пошлой музыки. Однако отличаю я хорошее от дурного не умствованием. Я сужу о них по тому, каков ты.

Если я хочу узнать, какова дорога, обычай или стихотворение, я смотрю, какой человек в дружбе с ними. Вслушиваюсь в ритм биения его сердца.

СЛІ

Мы ошибаемся, как ошиблись бы кузнец с плотником, утверждая, что корабль — это доски, сбитые гвоздями, что без досок и гвоздей нет корабля и, значит, плотник и кузнец на корабле главные и должны управлять им.

Мы ошибаемся, и ошибаемся всегда в одном и том же, нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Корабль притягивает их к себе, как кедр вбирает песок и камни и вырастает с их помощью.

Плотники, кузнецы должны заниматься досками, гвоздями. Они должны знать толк в гвоздях и досках. Любовь к кораблю на языке кузнецов и плотников должна быть любовью к гвоздям и доскам. О корабле я буду говорить не с ними.

Мытарь собирает для меня налоги. Не он в ответе за благородство моего царства. От него я требую только послушания.

Я придумал быстроходный парусник, мне нужны другие гвозди, другие доски. Работники мои ропщут и возмущаются. Им кажется, я посягаю на корабль, его суть для них в привычных гвоздях, знакомых досках.

Но суть корабля в моей страсти к морю.

Поменял я систему финансов, изменил налоги, ропщут и возмущаются мои мытари, ибо я разрушил царство, опорой которому была их косность.

Я велю им всем замолчать.

Я чту молчаливых. Если все они проникнутся моей верой, мне не придется вмешиваться и поучать, как ковать гвозди и стругать доски. Не мое это дело. Своим храмом зодчий вдохновил скульптора, и тот принялся за работу. Но не зодчему решать — улыбаться или не улыбаться статуе. Мы не можем тут ничего решить. Подобные решения — мнимые решения.

Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться

будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни: в свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них — значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей, формой досок распорядится жизнь, и, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники.

Чем заразительней окажется моя страсть, влекущая тебя к морю, тем меньше я буду казаться тебе деспотом. Нет деспотизма в растущем дереве. Деспотизм — принуждать минеральные соли преобразиться в дерево. Но дереву питаться минеральными солями естественно.

Повторяю опять и опять: строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее. Строить корабль — значит будить и будить страсть к морю.

Ибо нет — и никогда не было — логики, которая помогла бы тебе перейти из мира вещей в мир смысла, единственно сущностный для тебя мир. Поглядев на деревья, горы, города, реки, людей, не выведешь логически царства. Пропорции носа, подбородка, уха не обоснуют логически печали мраморного лица. Молитвенное сосредоточение в храме не объяснить, исходя из камней. Домашний уют не возникнет логически из стен и крыши, дерево — из минеральных солей. (Ты — деспот, если добиваешься небывалого, озлобляешься от неудач, винишь в них окружающих и жестоко наказываешь их.) Нет логики в языке, нет логики и в преемственности. Ты не заставишь минеральные соли породить дерево, для него нужно семечко.

Только деланье исполнено смысла, но смысл его не уместишь в слове, потому что оно и творчество, и узнавание о созвучности одного многому, и путь, которым снисходит Господь к вещи, насыщая ее значимостью, цветом и движением. Царство наделяет таинственной властью свои деревья, горы, стада, рвы и крепости. Вдохновенное усердие ваятеля наделяет таинственной властью глину и мрамор, храм исполняет смысла камни, превращая их в хранилище тишины, дерево вбирает минеральные соли, чтобы перенести их в обитель света.

Два рода людей говорили со мной о созидании нового царства. Первые — логики, они строили его логически при помощи рассудка. Они — иллюзионисты. От них ничего не родится, потому что рассудок не умеет рождать. Картины их

— картинки учителя рисования. Художник может быть и умен, но творчество его не от ума. Логик не может не быть бесплодным тираном.

Вторых воодушевляла некая очевидность, которой они не умели дать имени. Они были вроде пастухов или плотников, не слишком умны и не обладали даром рассуждать, но ведь творчество и не рождается от рассуждений. Ваятель мнет и мнет глиняный ком, сам не зная хорошенько, что из него получится. Он недоволен, он еще раз надавливает на ком большим пальцем слева. Потом снизу. Лицо, которое он лепит, все больше и больше сродни чему-то безымянному, что у него на сердце. Лицо это все больше напоминает то, что и не лицо вовсе. Честно говоря, «напоминает» не совсем удачное слово. Вот лицо вылеплено, оно соответствует тому, что словесно выразить невозможно, но передает то несказанное, что подвигло ваятеля на работу. И теперь это «что-то» легло, как когда-то ваятелю, нам на сердце.

Не рассудок растревожил ваятеля — дух. Потому я и говорю тебе: дух властвует над миром — не рассудок.

CLII

И вот что еще я тебе скажу: «Если перед нами не слепые рабы, то каждый думает то так, то этак. Не потому что люди непостоянны, а потому что очевидная для них истина не может отыскать слов себе по росту, вот они и берут немножко оттуда, немножко отсюда...»

Свобода, принуждение — что это, как не твое упрощение? Ты колеблешься, выбирая то свободу, то принуждение, но истина не в одном, и не в другом, и не посередине, она вне их. Каким чудом сможешь ты вместить эту истину в одно-единственное слово? Слова — тесные вместилища. И неужели все необходимое тебе для дальнейшего роста поместится в такой тесноте!

Как свободно льется твоя песня, ты импровизируешь, подыгрывая себе на гитаре, но разве я не должен был научить тебя петь, разве ты не тренировал свои пальцы? А ученье — всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Ты свободно влезаешь на любую скалу, но разве я не тренировал твои мускулы? А тренировка — всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Чтобы вольно текли стихи, разве не должно натренировать руку и мозг, отточить стиль? Эта работа тоже борьба, принуждение и терпеливость.

Вспомни, к счастью приводит не поиск счастья. Если искать его, сядешь и будешь сидеть, не зная, в какую сторону податься. Но вот ты трудишься не покладая рук, ты творишь, и в награду тебя делают счастливым. А путь к счастью всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Вспомни, красота приходит не тогда, когда ее ищешь. Если искать красоту, сядешь и будешь сидеть на месте, не зная, куда податься. Но вот ты завершил свое творение, и в награду тебе его наделили красотой. А путь к красоте всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Из борьбы, принуждения, терпеливости рождается и твоя свобода. Одарить свободой невозможно. Если искать свободу, сядешь и будешь сидеть, не зная, куда податься. Если ты наработал в себе человека и обрел царство, где не щадя себя трудишься, то в вознаграждение чувствуешь себя свободным. А путь к свободе всегда борьба, принуждение и терпеливость.

Ты не поверишь мне и даже оскорбишься, но я все же скажу, что братство не дается равенством, что и братство — награда, а равны мы все только перед лицом Господа. Дерево — иерархия, но разве листва или ветки — это подавление корней или корни — угнетение листвы? Храм — иерархия. Он опирается на фундамент, и свод его замкнут ключом. Но можешь ли ты сказать, что ключ значимей фундамента? Чего стоит генерал без армии? Армия без генерала? Равны все перед царством, а братство дается как награда. Братство ведь не возможность амикошонствовать и хамить. Братство, повторяю тебе, — вознаграждение, даруемое твоей иерархией, твоим храмом, где кто-то фундамент, а кто-то ключ. Братство я видел в патриархальных семьях, где чтят отца, где старший брат опекает младших, а младшие доверяются старшему. Теплы были их вечера, праздники и возвращения домой. Но если все сами по себе, если никто друг от друга не зависит, а только перемешаны в кучу и толкают друг друга, будто шарики, где ты видишь братство? Если кто-то умирает, его тут же замещают другим, он не был ни для кого необходимым. Чтобы любить тебя, я должен тебя выделить, у тебя должно быть свое особое место.

Если я вытащил тебя из воды, я полюблю тебя, почувствовав себя в ответе за твою жизнь. Полюблю, выйдя от тяжелой болезни. Я люблю тебя, если ты — мой старый слуга и всю свою жизнь провел возле меня, словно ночник, или если ты пасешь мое стадо и я приду к тебе попить козьего молока. Я возьму у тебя, ты отдашь мне. Ты у меня возьмешь, и у меня найдется что тебе дать. Но о чем нам говорить с тем, кто с пеной у рта настаивает на нашем с ним равенстве, не хочет зависеть от меня и не хочет, чтобы я от него зависел. «Я люблю»

означает, что твоя смерть всегда будет для меня невозвратимой потерей.

CLIII

Этой ночью, в молчании моей любви, я опять решил подняться на вершину горы и опять посмотреть на мой город, упорядочив его взглядом с высоты, город тихий и неподвижный, но на полдороге остановился, жалость остановила меня, я услышал жалобы, несущиеся с равнины, и захотел понять их.

Жалобилась скотина в хлеву. Жалобились лесные звери. Небесные птицы и приречные. У животных есть голос в караване жизни, растения безголосы, научился молчанию и человек, живя жизнью духа. Ты видел, как кусает губы и молчит больной раком, — из страданий суетной плоти растит он духовное дерево, что раскидывает ветви и множит корни, но не в царстве вещности — в царстве смысла вещей. Вот почему больше тебя молчаливое страдание. Молчаливое страдание заполняет комнату. Заполняет город. Нет расстояния, на котором его не услышать. Если вдалеке от тебя страдает любимая, любя ее, ты мучаешься ее страданием.

Так вот я услышал, как жалуется жизнь. Ибо живы и хлев, и лес, и берега вод. Рожая, мычат коровы в хлеве. Распевает любовь в каждом хмельном от лягушек болоте. Пронзительно вскрикивает насилие — квохчет отчаянно вересковая курочка в лисьей пасти, жалобно блеет козленок, которого ты предназначил себе в пищу И вдруг раскатывается хищный рык, вся округа смолкает, царит мертвая тишина, все живое обливается потом страха. Стоит хищнику зарычать, как каждая его жертва излучает ощутимое для него мерцание, словно весь лесной народец засветился. Но вот миновал цепенящий ужас, и снова твари земные, небесные, прибрежные завели свои жалобные песни, мучаясь родами, любовью, страхом смерти.

«Что ж, — подумал я, — скрипят повозки, жизнь перебирается от одного поколения к другому, и в этом странствии по времени пронзительно взвизгивают оси тяжело груженных телег...»

Так мне дано было что-то понять и о тоске человеческой, ибо и люди, покидая самих себя, перебираются из одного поколения в другое. День и ночь и по всем городам и весям пересотворяется живая ткань, обрывается, латается кожа, и в себе самом я ощутил тянущую боль раны — мучительное, нескончаемое пересотворение.

«Но ведь люди, — подумал я, — живут не вещностью, а таимым в ней смыслом, они должны передавать друг другу пароль».

Так оно и есть, и я вижу, как люди, стоит у них родиться ребенку, учат его разбираться в употреблении слов, как учили бы тайному шифру — ключу ко всем их сокровищам. Желая передать ему дорогостоящее наследство, они кропотливо торят в нем дороги, по которым станет возможным доставить ему драгоценный груз. Ибо нелегко собрать воедино и поименовать эту весомую, но незримую жатву, которую одно поколение должно передать другому.

Да, эта деревня излучает свет. А этот деревенский дом согревает душу. Но если новое поколение расселится по домам, зная о них только то, что они предназначены для жилья, — что оно будет делать в этой пустыне? Ведь для того, чтобы твои наследники наслаждались игрой на скрипке, нужно обучить их музыкальному искусству, и, точно так же, для того, чтобы они стали людьми, нужно дать им возможность узнать человеческие чувства, научить их видеть за дробностью мира единую картину — облик дома, владения, царства.

Если ты не научишь их видеть свою картину, новое поколение будет похоже на племя варваров, раскинувшее лагерь во взятом приступом городе. Чем порадуют варваров твои сокровища? У них нет к ним доступа, раз они не получили ключа к языку, на котором ты говоришь. Для тех, кто ушел в смертную сень, деревня эта была музыкальным инструментом, особой струной была каждая ограда, каждое дерево, колодец, дом. У каждого дерева была своя история. В каждом доме был свой уклад. У каждой ограды свои секреты. Прогулка становилась мелодией, каждый шаг звучал по-особому, и ты складывал ту, какую хотел. Но варвар, остановившийся на постой, не умеет заставить петь твою деревню. Ему скучно, не умея проникнуть вглубь, он только и делает, что наталкивается на стены и рушит их, разоряя все вокруг. Мстя инструменту за свое неумение играть, он поджигает его, чтобы вознаградить себя хотя бы каплей света. А потом сникает и зевает со скуки. Нужно знать, что горит, для того чтобы свет был прекрасен, как пламя поставленной тобой свечи, осветившей лик твоего божества. Но пламя, охватившее твой дом, безмолвно для варвара — для него это не жертвенное пламя.

Меня преследует видение: новое поколение, как насильник, вторгается в обжитую раковину предыдущего. И мне показалось, что самое главное в моем царстве — уклад, ибо он принуждает человека передавать и принимать наследство. Мне нужен житель, а не кочевник, приходящий неведомо откуда.

Вот почему я принуждаю вас тщательно исполнять все обряды и ритуалы, и с их помощью я связываю рвущиеся нити, оберегая цельность моего народа, с тем чтобы ничего не потерялось из его наследия. Да, конечно, дерево не печется о своих семенах. Налетает ветер и уносит их, и это благо. Да, конечно, насекомые не пекутся о своем потомстве. Его растит солнце. Их единственное богатство — телесность, телесность они и передают.

Но что станет с тобой, если некому взять тебя за руку и подвести к собранному меду, он не веществен, он — смысл этих вещей. Да, конечно, и ты увидишь в книге буквы. Но я должен изрядно тебя помучить, чтобы подарить тебе с их помощью ключ к стихам.

Я настаиваю: погребение должно быть торжественным. Дело ведь не в том, чтобы опустить тело в землю. Дело в том, чтобы не потерять ничего из того достояния, хранителем которого был усопший, чтобы оно не расточилось, словно из разбитого сосуда. Трудно спасти все до капли. Долго приходится подбирать за мертвецами. Долго придется тебе оплакивать их, размышлять об их жизни, отмечать годовщины. Много раз придется тебе оборачиваться назад и смотреть, не потерял ли ты чего-нибудь сущностного.

Торжественной должна быть и свадьба, что приуготовляет вскрик рождения. Ибо дом, укрывающий вас, разом и хранилище, и житница, и запасник. Кто может перечислить, что в нем содержится? Нужно и вам копить умение любить, смеяться, наслаждаться поэзией, умение чеканить серебро, умение плакать и размышлять, с тем чтобы в свой час вам было, что передать. Я хочу, чтобы ваша любовь была кораблем, способным принять груз и перевезти его через пропасть, отделяющую одно поколение от другого, я не хочу, чтобы она была сожителем, основанным на проживании собранных запасов.

Торжеством должно быть и появление новорожденного, он и есть рана, которую придется сшивать.

Потому я требую церемоний и тогда, когда ты женишься, и когда рождаешь, и когда умираешь, когда разлучаешься и когда приезжаешь обратно, когда начинаешь строить, когда вселяешься в дом, когда жнешь хлеб и когда собираешь виноград, когда начинаешь войну и когда заключаешь мир.

Вот почему я требую, чтобы ты растил детей похожими на себя. Никакому наставнику не передать им твоего наследства, его нет в учебниках. Любой научит твоего ребенка тому, что

ты знаешь, передав ему твой небольшой запас разноречивых идей, но, если отделить его от тебя, он лишится того, чего не найдешь в учебниках и не выразишь в слове. Расти их подобными себе из опасения, как бы жизнь для них не стала безрадостным постоем на земле, где гниют сокровища, от которых у них потерян ключ.

CLIV

Меня удручают чиновники моего царства, они преисполнены довольства.

— Все хорошо и так, — твердят они. — Ведь совершенство недостижимо.

Спору нет, совершенство недостижимо. Назначение его в том, чтобы сиять тебе подобно путеводной звезде. Оно направляет тебя и ведет. И значим всегда только путь, нет наготовленного, которое позволило бы тебе сесть и отдыхать. Стоит исчезнуть силовому полю, что напрягает тебя, и вот ты уже подобен мертвецу.

А что, если мне неинтересна звезда, мне хочется сесть и подремать? Но где же ты сядешь? Где сможешь подремать? Я не вижу места для отдыха. Если ты нашел такое и отдыхаешь — значит, ты что-то преодолел. Но за отдыхом вновь

— поле боя, где ты должен опять побеждать. Не превращай одержанную победу в паланкин, настаивая, что носилки и есть жизнь.

И с чем, если нет совершенства, сравнивать тебя, твоё творение, чтобы ощутить счастье?

CLV

Ты удивлен, что я придаю столько значения моим обрядам, полевому проселку? Ты удивляешься, потому что слеп.

Взгляни на ваятеля, его мучает то, что невозможно сказать словами. Душа человеческая неуловима, другое дело — скелет, что остался от мертвеца. И, стремясь передать несказанное, скульптор лепит из глины лицо.

Ты идешь, ты проходишь мимо его творения, смотришь на вылепленное им лицо, может быть, грозное, а может быть, печальное, и продолжаешь свой путь. Но ты уже не тот, что был. Чуть-чуть, но все же другой — другой, потому что ненадолго, но поглядел в другую сторону, ненадолго, но все-таки поглядел.

Ваятель ощущает невыразимое, пальцы его мнут и мнут глину. Лицо из глины он поместил на твоём пути. И если ты следуешь этим путем, то и ты почувствовал то, что чувствовал он.

Неважно, что тысяча лет отделяет движение его рук от твоего пути.

CLVI

Налетела песчаная буря, обрушила на нас обломки хижин дальнего оазиса, туча птиц укрыла наш лагерь. В каждом из шатров были птицы, они жили с нами и, не пугаясь, охотно садились на плечо, но им не хватало пищи, и, что ни день, они гибли сотнями, мгновенно превращаясь в подобие древесной коры. Они заражали воздух, и я приказал подбирать их. Их складывали в огромные корзины и ссыпали крошащийся прах в море.

К полудню солнце побелело от зноя, мы впервые изнемогали от жажды и тогда увидели мираж— Геометрически четкий город необыкновенно явственно отражался в спокойной воде. Один из нас, обезумев, пронзительно вскрикнул и пустился бежать к городу. Я понял: вскрик его, словно вскрик улетающей дикой утки, перебудоражил всех остальных. Все были готовы бежать вслед за одержимым, толкаясь и задыхаясь, к миражу, к гибели. Меткий выстрел сбил его с ног. Он был теперь мертвецом, и только; все образумились.

Один из моих солдат плакал.

— Что с тобой? — спросил я его. Я думал, он оплакивает убитого.

Но он увидел на песке сухую, мертвую птицу и оплакивал небо, помертвевшее без своих птиц.

— Когда небо лишается крыльев, оно грозит и человеческой плоти, — сказал он.

Мы вытянули работника из нутра колодца, и он потерял сознание, едва успев дать нам понять, что колодец сух. В здешних местах есть подземные пресные воды. И на протяжении нескольких лет они текли к северным колодцам. Текли и позволяли течь по жилам животворящей крови. Сухой колодец пригвоздил нас к земле, словно булавка бабочку.

Всем невольно подумалось об огромных корзинах, полных сухой шелухи.

На следующий вечер мы добрались до колодца Эль Бар.

С наступлением ночи я собрал проводников.

— Вы обманули нас. Эль Бар сух. Как мне поступить с вами? Чудесные звезды украшали эту горькую и великолепную ночь. Вместо воды у нас были алмазы.

— Как мне поступить с вами? — повторил я проводникам.

Но что за польза от человеческой справедливости? Мы все должны были превратиться в сухую колючку.

...Всходило солнце и за песчаным маревом казалось треугольным. На наши лбы будто собрались поставить клеймо. Солнечные удары валили людей с ног. Люди теряли разум. Но не миражи своими сияющими городами сводили их с ума. Не было больше миражей, не было отчетливого горизонта, не было четких очертаний. Будто дышащая жаром печь, окружал нас песок.

Я поднял голову: в мареве тлела бледная головешка, готовясь разжечь пожар.

«Бог собрался нас метить, как скот», — подумал я.

— Что с тобой? — спросил я спотыкающегося на каждом шагу человека.

— Ослеп.

Я приказал оставить в живых каждого третьего верблюда, остальным вспороть брюхо, и мы выпили ту жидкость, что была у них внутри. На оставшихся нагрузили пустые бурдюки, и я

повел караван, отрядив несколько человек к колодцу Эль Ксур, о котором слухи были разноречивы.

— Если и Эль Ксур сух, — сказал я, посылая их, — вы умрете там, как умерли бы здесь.

Они вернулись через два долгих медлительных дня, которые стоили жизни трети моих воинов.

— Колодец Эль Ксур — окно в жизнь, — сообщили они.

Мы напились и двинулись к Эль Ксуру, чтобы пить еще и еще и пополнить наши запасы воды.

Песчаная буря улеглась, и к ночи мы подошли к Эль Ксуру. Возле колодца росла колючка. Но первыми нам бросились в глаза не безлистые скелеты кустов, а чернильные кляксы на них. Мы не поняли, что это, но, когда приблизились к кустарнику, кляксы стали гневно взрываться. Вороны облюбовали его и теперь шумно поднялись в воздух; похоже было: сорвались лохмотья плоти, обнажив белизну костей. Стая была так плотна, что заслонила лунный свет, и мы оказались в потемках. Улетать они не хотели и долго кружили над нами хлопьями черной сажи.

Мы убили три тысячи ворон, потому что у нас кончилось продовольствие.

Какое это было празднество! Люди рыли в песке печурки, набивали их сушняком, что пылал, будто сено. Аромат жаркого носился в воздухе. Дежурный отряд не выпускал из рук двадцатипятиметровой веревки — пуповины, питающей нас жизнью. Другой отряд обносил водой лагерь, словно обихаживал апельсиновый сад в засуху.

А я, по своему обыкновению, не спеша расхаживал по лагерю, глядя, как оживают люди. Потом я ушел от них и, затворившись в своем одиночестве, обратил к Господу такую молитву:

«На протяжении одного дня, Господи, я видел, как иссыхала плоть моего войска и как она ожила. Она была корой сухого дерева, но вот бодра и деятельна. Наше освеженное тело отправится, куда только пожелает. Но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног.

Я слышал, как они смеялись и пели. Войско, которое я веду за собой, несет с собой груз воспоминаний. Оно — узел множества жизней, текущих вдалеке. На моих воинов надеются, из-за них мучаются, отчаиваются, радуются. Войско мое не обособленность, оно — частичка огромного целого. И все-таки достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног.

Я веду своих воинов завоевывать оазис. Они станут семенем для варварских племен. Они принесут наш уклад людям, которые о нем не ведают. Мои воины, что сейчас едят, пьют и живут, как счастливое стадо, попавшее на плодородную равнину, изменят все вокруг себя — не только язык и обычаи, но и храмы, и крепости. Они перегружены силой, которая стронет с места вереницу веков. Но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног.

Они об этом не знают. Им хотелось пить, они напились и счастливы. Но колодец Эль Ксур спас для жизни стихи, города и чудесные висячие сады, потому что я решил украсить садами пустыню. Вода колодца Эль Ксур изменила облик мира. Но стоит солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног.

Те, что вернулись первыми, сказали: «Колодец Эль Ксур — окно в жизнь». Ангелы уже

приготовились собирать мое войско, словно сухую кору в свои корзины, и опрокидывать в Твою вечность. Мы сбежали от них через узкий прокол иглы. Я смотрю на своих людей и никак не могу опомниться. Давным-давно, поглядев на ячменное поле под солнцем, — ячмень — равновесие грязи и света, способное напитать людей, — я увидел в ячменном поле незримый путь, не ведающий, каким повозкам он служит и куда ведет. Теперь я вижу: поднялись города, храмы, крепости и чудесные висячие сады из колодца Эль Ксур.

Мои солдаты пьют воду и думают только о своих животах. Довольство их — животное довольство стада. Они сгрудились вокруг прокола иглы. В глубине его

— колыханье черной воды, стоит ведру ее потревожить. Но когда вода эта поит сухое зерно, которое не знает иной радости, кроме радости пить, в зерне пробуждается неведомая дотолемощь и тянутся вверх города, храмы, крепости, расцветают чудесные висячие сады.

Но сбдусь я в своем народе, только если Ты будешь ключом свода, нашей общей мерой, смыслом и для друзей, и для врагов. Если Ты нас оставишь, Господи, и ячменное поле, и колодец Эль Ксур, и мое войско — лишь груды камней. Стараясь узреть в них Тебя, я различу стрельчатый город, что тянется вверх, к звездам».

CLVII

Вскоре нас разглядывал город. А мы — мы видели лишь его небывалой высоты красные стены, они высокомерно повернулись к пустыне, словно бы изнанкой, нарочито лишенной всяческих украшений, выступов и зубцов, откровенно не предназначенной для взглядов со стороны.

Ты разглядываешь город, а он разглядывает тебя. Он вздымает против тебя свои башни. Он присматривается к тебе из-за своих зубцов. Он распаивает или запирает свои ворота. Он может хотеть быть любимым и улыбается тебе, маня своими украшениями. Все города, которые мы брали, казалось, сами отдавались нам: так хороши они были, так изукрашены для стороннего взора. Бродяга ты или завоеватель — величавые ворота и нарядная главная улица примут тебя по-королевски.

Но до чего же стало не по себе моим воинам, когда стены, вырастая по мере приближения, так откровенно и с таким каменным спокойствием отвернулись от нас, свидетельствуя, что на свете нет ничего другого, кроме этого города.

Первый день мы потратили на медленный обход его стен, отыскивая в них трещину, неровность, пусть заложенный, но вход. Ничего похожего. Мы были досягаемы для ружейного выстрела, но ни один не потревожил мертвой тишины, хотя кое-кто из моих людей, не выдержав напряжения тревоги, вызывающе стрелял в воздух. И все-таки за этими стенами был город, он дремал, будто кайман, защищенный своей броней, и не снисходил до Тебя, не считая нужным ради тебя просыпаться.

С далекого холма, с которого невозможно было заглянуть внутрь города — города, заботливо скрытого стенами, мы увидели зелень, яркую и густую, словно кресс-салат. Но возле стен не росло ни былинки. Насколько хватало глаз, вокруг тянулась каменистая пустыня, иссушенная солнцем: так тщательно высасывал оазис воду только на свои нужды. Его стены, будто каска волосы, спрятали в себе всю растительность. Мы бессмысленно топтались в нескольких шагах от рая, изобильного, с мощными деревьями, цветами, птицами, стянутого поясом стен, будто кратер базальтом.

Когда мои воины поняли, что в стене нет ни единой щели, кое-кто из них ужаснулся. Ибо город этот на памяти людей ни разу не снарядил и ни разу не принял каравана. Ни один путешественник не принес в него вместе со своим багажом отравы чужедальних обычаев. Ни один торговец не ввел в его обиход незнакомой вещи. Ни одна пленница, захваченная вдалеке, не прибавила капли крови к их породе. И моим воинам показалось, что они ощупывают панцирь неведомого чудовища, у которого все не так, как у других племен. Ведь девственность самых затерянных островов нарушали кораблекрушения, и всегда находится между людьми то, что подтверждает их родственность в человеческом и располагает к ответной улыбке. Но если бы это чудовище показалось нам, оно не имело бы облика.

Были среди моих воинов и те, что не пугались; им щемила сердце неизъяснимая, особенная любовь. Как волнует душу красавица, что неизменна и постоянна, в чьей крови нет ни капли чужеродной крови, та, что сохранила в девственности язык своих верований и обычаев, что никогда не окуналась в котел, где вперемешку полощутся все народы, в котел, растопивший ледник в большую лужу. Как она прекрасна, эта возлюбленная, столь ревностно хранимая среди ароматов своих садов и обычаев!

Но все мы, и я тоже, перейдя пустыню, остановились перед непроницаемым. Ибо тот, кто противостоит тебе, открывает тебе дорогу в собственное сердце, открывает свою плоть твоему мечу, и ты можешь надеяться, что победишь его, полюбишь или погибнешь. Но что ты можешь против того, для кого тебя нет? Боль пронзила меня, и тут мы заметили вокруг глухой и слепой стены полосу песка белее, чем остальной песок, ее выбелили кости, свидетельствуя о судьбе чужестранных посланцев, она была похожа на пенный след на утесе, что оставляют набегающие одна за другой морские волны.

Вечером с порога моего шатра я смотрел на твердыню неприкасаемости, что высилась посреди моего лагеря, размышлял, и мне показалось, что город, который мы стремились завоевать, осадил и завоевывает нас. Если ты вдавливаешь твердое округлое зерно в рыхлую почву, вовсе не земля, окружившая его, взяла его в плен. Прозябнув, зерно возьмет верх над землей. «Если за этими стенами, — думал я, — есть неведомый нам музыкальный инструмент, если музыка его терпка и печальна и разбудит в нас неведомые нам чувства, если вдруг эти незнакомцы воспользуются своим сокровищем и рассыпят среди моих воинов свое богатство, я знаю, потом вечерами, в лагере, я услышу, как мои воины подбирают на своих гитарах, на которых нечасто играют, мелодию, пленившую их сердца новизной. Мелодия эта изменит их сердца».

Победитель, побежденный, думал я, мне их не различить. Вот молчаливый посреди толпы. Толпа окружила его, сдавила, тащит. Если он пуст, она сомнет и раздавит его. Но если он хорошо обжит внутри и надежно выстроен — вроде той танцовщицы, которую я заставил танцевать для меня, — и если он вдруг заговорит, то вот он уже пустил в толпе свои корни, раскинул свои ловушки, подчинил толпу своей власти, и толпа последует за ним, увеличивая его силу.

Достаточно, чтобы в этих местах жил один-единственный мудрец, избравший для себя тишину и молчание и успевший сбиться, чтобы сила моего оружия истощилась, ибо он подобен зерну. Но как мне отыскать его, чтобы обезглавить? Он явлен лишь силой своего воздействия и существует в той мере, в какой существенно исходящее от него. Такова особенность жизни, что уравнивает себя с миром. Бороться ты можешь лишь с безумцем, который предлагает тебе утопии, но не с тем, кто размышляет и трудится над настоящим, потому что настоящее — вот оно, есть, такое, какое есть. Такова особенность любого творения, творец его уже покинул. Если с горы, куда я привел тебя, ты увидел, что все твои затруднения разрешены таким вот способом, а не иным, то как тебе от меня защититься? Ты ведь должен всегда быть где-то.

Вот кочевник, сокрушив стены, завладел королевским дворцом и ворвался к самой королеве.

Бессильной королеве, потому что все ее слуги и воины перебиты.

Когда играешь в игру ради самой игры и вдруг допускаешь промах, то краснеешь, униженный, и хочешь его поправить. Хотя судьей тебе только ты сам, игра создала в тебе игрока, игрок возмутился. Остерегаешься ты и неверного движения в танце, хотя нет над тобой никого, кто был бы вправе упрекнуть тебя за ошибку. Поэтому, если я хочу взять тебя в плен, я не буду брать тебя силой или властью — я разбужу в тебе желание танцевать. Ты пошел туда, куда мне хотелось.

И поэтому королева, обернувшись к вождю кочевников, что высадил дверь и стоит грубиян грубияном с кровавым топором в руке, дымясь силой и мощью, пенясь безудержным хвастливым желанием удивить собой, — поэтому королева улыбается грустной улыбкой, исполненной тайного разочарования, утомленного снисхождения. Удивлена она лишь совершенством тишины. Она не снисходит услышать шум и гвалт, как ты не снисходишь до работы мусорщиков, хотя не сомневаешься в ее необходимости.

Выдрессировать — значит научить пользоваться тем единственным путем, который приносит пользу. Если ты хочешь выйти из дому, то, не задумываясь, поворачиваешь по коридору и находишь дверь. Если твоя собака хочет получить кость, она становится на задние лапы, как ты учил ее, и она мало-помалу усвоила самый короткий путь к вознаграждению. Хотя стояние столбиком, на посторонний взгляд, не имеет никакого отношения к кости. Собака следует инстинкту — не разуму. Танцор ведет партнершу, подчиняясь правилам игры, о них не думая. У них общий тайный язык. И точно такой же язык у тебя и у твоей лошади. Ты научил ее слышать твои движения.

Желание удивить королеву стало ахиллесовой пятой кочевника, инстинкт подсказал ему, что удивит он ее одним — тишиной; поступи он иначе, она станет еще отстраненной, разочарованней, — и он стал играть в тишину. Вот королева и начала менять на свой лад варвара, предпочитая свисту топора молчаливые поклоны.

Поэтому мне сейчас и показалось, что, окружив этот город-магнит, что притягивал наши взгляды, закрыв свои глаза крепко-накрепко, мы навязали ему опасную роль, наделив благодаря нашему приходу той властью, какой обладают монастыри.

Я созвал моих генералов и сказал:

— Я завоюю этот город удивлением. Нужно, чтобы его обитатели о чем-нибудь нас спросили.

Мои генералы, умудренные многолетним опытом, мало что поняли из моих слов и недовольно зашумели.

А я вспомнил о притче, что рассказал мой отец собеседнику, который утверждал, будто только сила принуждает подчиняться сильным.

— Ты говоришь так, — отозвался отец, — и не боишься оказаться неправым, ибо если сильный подчинился, значит, подчинивший сильнее. Но представь себе купца, сильного, спесивого и скупого. Он возит с собой целое богатство — зашитые в пояс бриллианты. И живет тщедушный горбун, нищий и опасливый. Он не знаком с купцом, они из разных миров, говорят на разных языках, и все же горбун задумал присвоить себе бриллианты. Скажи мне, на какую силу рассчитывает горбун?

— Понятия не имею, — ответил собеседник.

— Как-то тщедушный окликнул спесивого исполина, — продолжал рассказывать отец, — предложил чашечку зеленого чая, потому что на улице было уж очень жарко. Почему бы и не попить чаю с тщедушным горбуном, чем, собственно, ты рискуешь, если твои бриллианты

защиты в пояс?

— Ничем не рискуешь, — согласился собеседник.

— Однако, когда они расстались, горбун ушел с камнями, а купец задыхался от бешенства, но ничего не мог поделывать: он станцевал тот танец, который навязал ему тщедушный.

— Что еще за танец? — поинтересовался собеседник.

— Танец трех костяных кубиков, — ответил отец. И объяснил:

— Игра бывает сильнее того, что поставлено на кон. Ты — генерал, ты командуешь десятью тысячами солдат. У каждого солдата есть оружие. Все они крепко держатся друг за друга. И все-таки по твоему приказу одна часть солдат ведет в тюрьму другую часть. Ибо значима не вещь, а тот смысл, который ей придан. Когда бриллиант стал значим лишь как возможность продолжить игру в кости, он перекочевал в карман горбуна.

Генералы, окружив меня, возмущались:

— Как доберешься ты до этих горожан, если они не желают тебя слушать?!

— Как вы любите ветер слов, но гудит он без толку. Да, подчас люди отказываются думать, но слышать-то они могут!

— Тот, кого ты хочешь привлечь на свою сторону, может остаться глух к соблазну твоих посулов, если достаточно тверд душой.

— Конечно, если ты будешь откровенно его подкупать! Но если ему полюбится музыка, исполненная тобой, он услышит не тебя — музыку. И если он зашел в неразрешимый тупик, а ты показал ему выход, он примет его. Или ты думаешь, что из ненависти к тебе или пренебрежения он сделает вид, будто ничего не замечает, и продолжит биться головой о стенку? Если ты подсказал игроку спасительный ход, который он безуспешно ищет, ты повел его, а он тебе подчинился, пусть даже он настаивает, что знать о тебе не знает. Если тебе протянули то, что ты ищешь, ты берешь. Неважно, ищешь ты потерянное кольцо или разгадку ребуса. Я протянул тебе кольцо. Я подсказал разгадку. Конечно, ты можешь отказаться и от того, и от другого из ненависти. И все равно ты уже послушался меня, ты не мечешься, ты сидишь. Нужно быть сумасшедшим, чтобы вскочить и продолжать поиски...

Жители этого города чего-то хотят, ищут, жаждут, защищают, растят. Иначе вокруг чего воздвигли они свои стены? Если с помощью стен ты охраняешь скудный колодец, а я за стеной предложил тебе озеро, стены рухнут сами собой, так они смехотворны. Если ты оберегаешь свою тайну, а мои солдаты кричат о ней во всю глотку, стены рухнут сами собой, так они бессмысленны. Если ты воздвиг их, сторожа алмаз, а я усеял алмазами все вокруг, словно галькой, стены рухнут сами собой — не стоит охранять свою бедность. Если ты выстроил их, оберегая искусство танца, а я танцую лучше тебя, ты сломаешь свои стены сам, чтобы усовершенствовать свое искусство.

Для начала я хочу, чтобы город услышал, что я есть. Потом они станут меня слушать. Мне не потревожить их мирного покоя, огражденного укреплениями, военной трубой, — трубного гласа они не услышат. Слышишь то, в чем нуждаешься. Чем возвышаешься. Избавляешься от противоречий.

Они ощутят на себе мое воздействие, даже если меня не замечают. Самая великая истина заключается в том, что на свете ты не один. Ты не можешь пребывать неизменным в изменчивом, непостоянном мире. Я, и не прикасаясь к тебе, влияю на тебя, хочешь ты этого или нет. Я изменил твою суть, как ты можешь этого не заметить? Ты был хранителем тайны,

я открыл ее всем, смысл твоей жизни переменился. Ты танцуешь, читаешь стихи сам себе, я собрал насмешников и отдернул занавес, ты уже не танцуешь.

А если танцуешь, то, верно, ты сумасшедший.

Хочешь ты или нет, но смысл твоей жизни зависит от смысла жизни окружающих. Хочешь ты или нет, твой вкус зависит от вкуса окружающих. Твой поступок — очередной ход в игре. Шаг в танце. Я изменил игру или танец, ты изменил поступки, поступи.

Ты построил стены, играя в одну игру, ты их разрушишь, начав играть в другую.

Потому что жив не вещностью — смыслом, который ей придан.

Я накажу этих горожан за высокомерие, слишком уж они положились на свои стены.

Единственная твоя крепость — мощь связующих нитей, они создали тебя, ты им служишь. Мощь семечка оберегает кедр, он выстоит против бури, засухи, каменистой почвы. Потом ты сошлешься на прочность его коры, но и кора — порождение семечка. Корни, ветви, кора — так проявило себя семечко. Зато зернышко ячменя слабосильно, ему не выстоять против посягательств времени.

Но вот передо мной человек — глубоко укоренившийся, устойчивый, прочный, напряженный силовым полем, он приготовился расцвести, подчинившись незримым, но явственно ощущаемым силовым линиям. О нем я скажу: крепость его неуязвима, время не стирает ее — упрочивает. Время у него на службе. И что за важность, если на взгляд он гол.

Что оберегает панцирь, если кайман мертв?

Так, разглядывая город противника, заключенный в каменный панцирь, я размышлял о силе и слабости. «Кто из нас поведет танец? — думал я. — Опасно в пшеничное поле бросить хоть один плевел: плевел сильнее пшеницы, неважно, много ли он дает ростков и каковы они на вид. Твое множество в семени. Пусть время развернет тебя, тогда посчитаем».

CLVIII

Долго я размышлял о крепостных стенах. Настоящая крепость — ты. Вот почему мои солдаты скрестили перед тобой сабли. Ты не пройдешь. У льва нет панциря, но удар его лапы подобен удару молнии. Он прыгнул на твоего быка и распахнул его перед тобой, будто шкаф.

Ты согласен со мной и упомянул о слабости ребенка; в будущем он изменит мир, но в первые свои дни подобен дрожащему пламени свечи. И я вспомнил, как умирал малыш Ибрагим. Когда он был здоров, улыбка его была для всех подарком. «Иди к нам!» — звали его. И он подходил к старику. Улыбался. Старик светлел. Старик трепал его по щеке, не зная, что же ему сказать, — ребенок сродни зеркальной глади, от нее кружится голова. Сродни распахнутому окну. Перед ребенком всегда робеешь, словно он всезнающ. Так оно и есть, в нем дышит дух, который ты потом иссушишь. Из трех камешков он построит морской флот. Старику не увидеть в малыше адмирала, но властность его он чувствует. Сын Ибрагима — пчела, что повсюду собирала свой мед. Все для него становилось медом. Он улыбался тебе белозубой улыбкой, и ты приостанавливался, пытаясь понять, чем же тебя одарили. Словом этого не выразить. Несказанные эти дары ничьи, они сродни весеннему солнцу, что хлынуло вдруг, и в ответ засверкало море. Благоговением отозвалась душа моряка. Будто луч славы на миг осенил корабль. Ты скрестил на груди руки — ты вливаешь. Так улыбался и малыш Ибрагим, чудесная случайность на твоём пути, которую ты не умел, не знал, как удержать.

Будто сверкнуло тебе солнечное царство, но богатство его ты не рассмотрел. И сказать ничего не можешь. Опахала его ресниц поднимались и опускались, будто открывались и закрывались окна в иной мир. Он молчал и учил тебя. Учит не говорящий — направляющий. И тебя, старого коня, вел он, словно юный пастух, в заповедные луга, о которых ты ничего не мог сказать, но вдруг чувствовал, что напоен, сыт и утешен. И вот ты узнал: луч неведомого солнца меркнет. Весь город сделался сиделкой, бдящим ночником у изголовья. Все старухи пришли с травяными отварами и наговорами. Мужчины стояли у порога, следя, чтобы улица не шумела. Так его укутывали, баюкали, обмахивали. Так строили между ним и смертью стену, и она должна была стать неприступной, раз все горожане заделались солдатами и обороняли свою твердыню от смерти. Не говори мне, что болезнь ребенка — борьба хрупкой плоти, уязвимой оболочки. Если есть где-то далеко-далеко лекарство, за ним снаряжают всадников. И вот уже танец болезни танцуют всадники, мчась по пустыне галопом. Танцуют и тогда, когда остановились на короткий отдых. Когда напились из кувшина. Когда толчком каблука подгоняют лошадь, стремясь выиграть скачку у смерти. Да, конечно, ты видишь только отрешенное потное лицо ребенка. Но за него борются и шпоры, вонзающиеся в бока лошади.

Ребенок жалок? С чего ты взял? Жалок, как генерал во главе мощной армии.

Глядя на малыша, старух, стариков и на тех, кто был помоложе, на улей, сгрудившийся вокруг матки, золотоискателей вокруг золотой жилы, солдат вокруг капитана, я понял: они стали одно целое, они — мощь и сила; словно семечко, тянут они необходимое из дробного мира, желая вырастить дерево, башни и крепостные стены, сберечь улыбку, беглую, едва заметную и молчаливую, которая сплотила их всех для боя. И не было жалким уязвимое детское тельце, оно росло, питаясь заботами многих. Не подозревая об этом, оно стало призывным кличем, и на зов его сплотились все запасные полки. Целый город стал на службу ребенку. Так по зову семечка служат ему минеральные соли, оно упорядочивает их и превращает в кору — крепостную стену кедра. Как сказать о семени «слабое», если оно в силах сплотить друзей и подчинить врагов? Неужели ты поверил могуществу, кулакам и зычному голосу великана? Он силен лишь на этот короткий миг, правда его мгновенна. Ты позабыл о времени. Время укореняет тебя. А громила? Он уже обречен незримой целостностью, где он лишь крошечная частичка. Ребенок всегда во главе могучей армии, но ты не видишь этого. Сейчас великан может уничтожить ребенка. Но не станет. Что за опасность — ребенок? Но ты увидишь, как ребенок поставит ногу на голову великана, сокрушив его.

CLIX

Всегда ты видишь одно и то же: слабость побеждает силу. Но для короткого мига, именуемого «сейчас», это неправда, и ты закрепил в своем языке кажимость. Как всегда, ты позабыл о времени. Конечно, если ребенок разозлит великана, великан уничтожит ребенка. Но ребенок играет в другие игры, не его дело злить великанов, ему это неинтересно. Он занят тем, чтобы жить незаметно. А еще чаще тем, чтобы его любили. Став подростком, он помогает великану, и тот начинает нуждаться в нем. Потом наступает время творчества, и ребенок изобретает пращу. Или становится больше и сильнее великана. Или совсем уже просто: ребенок начинает говорить, к нему стекаются люди, они для него надежный щит, он поведет их на великана. Попробуй теперь его ударить, до него и не дотянуться!

Если в поле пшеницы я увижу один плевел, знаю: поле побеждено. Знаю: побежден деспот, войско его и жандармы, если где-нибудь в его царстве подрастает ребенок, похожий на сына Ибрагима, а вместе с ним возникает новая картина, которая по-иному упорядочит мир, взяв его будто в тугую, будто в железную раму (я вижу, силовые линии уже готовы), знаю, что эта

картина, это царство развалились и лежат в руинах, — храм разрушило крошечное семечко, потому что семечко оказалось мощным деревом, что тянуло свои корни с неспешностью просыпающегося: он потягивается, напрягая мускулы рук и ног. Один корень пошатнул контрфорс, другой — краеугольный камень. Ствол снес купол, вышибив ключ свода. Здесь отныне над обращенной в прах вещностью царит дерево, вытягивая из нее соки, питая свой дальнейший рост.

Но я знаю: придет час — и рассыплется в прах древесный гигант. Храм преобразился в дерево, но, возможно, и в лиану. Достаточно крылатого семечка и прихоти ветра.

Чем ты станешь, когда время развернет тебя? Я не знаю, каков город, укрытый стенами. Но меня научили читать. Город сосредоточился на накопленном, а значит, готов к смерти. Я боюсь только тех, кто ходит голым, кто бродит по северу своей пустыни, где нет крепостей. Бродит безоружным. Семя это еще не посажено в землю, оно не знает своей силы. Глубинные воды Эль Ксур возродили мое войско. Мы — семя, спасенное Господом. Кто сможет противостоять нам на нашем пути? Нам достаточно щербинки в стене, и храм развалится, потому что в семени очнулась мощь дерева. Нам достаточно станцевать танец, и ты — крепость — сдашься на волю мужчины и станешь преданной женой, хранительницей домашнего очага. Ты уже моя, похожая на медовую коврижку крепость, — крепость, слишком гордящаяся собой. Я уверен, дозорные твои спят. Ибо сердце в тебе одрябло.

CLX

— Стало быть, — думал я, — дело совсем не в крепостных стенах. Если я выстроил их и они служат моей власти, — значит, я незыблем. Но панцирь мертвого каймана уже не назовешь крепостью.

Если пастырь клеймит Неверов за неверие, можно только посмеяться. Не человек должен прийти в церковь. Церковь должна притянуть к себе человека. Ты же не клеймишь землю за то, что она родила кедр.

Видя, как странствуют по миру проповедники новых религий, увлекаая за собой людей, неужели ты думаешь, что новая религия обязана жизнью ветру слов, хорошо подвешенному языку, ловкости зазывалы? Я слишком долго слушал людей и понял: смысл языка совсем не в самих словах. Он передает тебе от другого новую точку зрения, таящую в себе силу, она сама отыщет в тебе, чем ей напитаться и как прорасти. Есть слова, подобные семенам, они способны втягивать землю и растить кедр. Но ты можешь посадить и оливу, у тебя вырастет оливковое дерево. Кедр, олива разрастутся, питаясь самостоятельно. Чем выше кедр, тем мощнее гудение ветра в смолистых ветвях. Чем больше стая гиен, тем громче их хохот ночами. Но не станешь же ты утверждать, что гудение ветра в ветвях кедра притягивает земные соки, что магией хохота газель превращается в гиену? Гиена съедает газель, кедр тянет из земли соки. Новая вера обращает Неверов. Но что могут слова, если не служат языку, способному вместить?

Вмещаешь, сумев выразить. Если я выразил тебя, ты — мой. С моей помощью ты будешь сбываться. Отныне я для тебя — язык. Потому я и называю кедр языком каменистой земли — благодаря кедру она становится гуденьем ветра.

И кто, кроме меня, сравнит тебя с деревом, заботясь, чтобы ты сбылся?

Всякий раз, когда я вижу, что усилия человека действительны, я не воздаю хвалу громоханию его фанфар: с таким же успехом их можно возненавидеть, можно не слушать; не хвалю его

жандармерию — жандармы могут следить, чтобы стоял на ногах мертвый народ, но не могут родить живой. Я как-то сказал, что сильное царство казнит уснувших дозорных, а ты совершенно ошибочно решил, что суровость питает силу. В слабом царстве спят все, и если король его примется казнить сонных, окажется кровавым шутком — и только. Сильное царство наполняет всех своей силой, всем отвратительны сони. Действенность усилий я не стану объяснять зажигательной речью, побуждениями людей или доводами рассудка, я буду искать, где таится непреодолимая мощь новой, плодотворной целостности, где оно, лицо чудесной мраморной статуи, — ты смотришь на него и становишься иным.

CLXI

Ночь. Я поднялся на самый высокий холм округи взглянуть на молчаливую крепость, на гаснущие в сгустившейся мгле костры моих бивуаков среди песков пустыни. Я хотел понять суть того, что происходит; войско мое — мощь пустившегося в путь семечка, город — мощь накрепко закрытой пороховницы, войско, притянутое магнитом крепости, таит в себе новую картину, она только нарождается, пускает корни, безразлично связывает в будущую целостность извечно существующее, я ничего не знаю о ней и в потемках ищу признаки таинственного возрастания — не для того, чтобы предусмотреть, для того, чтобы направить, ибо все вокруг, даже дозорные, погружены в сон. Спит оружие. Но ты, ты — корабль, плывущий по реке времени. Мирным кровом был тебе свет утра, полдня, вечера, он подтолкнул вперед все вокруг. После рабочих ладоней солнца ты ощутил дуновение молчаливой ночи. Шелковистой ночи, отданной снам, продолжающей лишь те труды, которым в помощь одиночество; ночи, затягивающей раны, помогающей подниматься сокам, привычно шагать дозорному; ночи, отданной в распоряжение слуг, потому что хозяин лег отдыхать. Ночи, сглаживающей ошибки, ибо последствия ложного шага отложены до следующего дня. И я — победитель — откладываю до завтра свои победы.

Ночь гроздей, ожидающих сбора, ночь отложенной жатвы. Ночь взятых в кольцо врагов, что сделаются только завтра моими. Ночь поставленных на кон ставок, но игроки отдались на милость сна. Спит купец, сделав главным сторожа, что ходит вокруг амбаров. Спит генерал, сделав главным дозорного. Спит капитан, сделав главным рулевого, и рулевой ставит на место Орион, что запутался между мачт и снастей. Ночь переданной в надежные руки власти и приостановленных дел.

И вместе с тем время обманов. Мародеры ночью нагружаются добычей. Риги вспыхивают огнем. Предатели завладевают крепостью. Ночь криков, что будят эхо. Ночь подводных камней для корабля. Ночь видений и чудес. Ночь пробуждения Господа — Господа-татя, ибо любящий всегда дожидается, когда любимая откроет глаза.

Ночь, когда слышится хруст суставов. По ночам я всегда слышу хруст суставов, словно потягивается незримый ангел, заключенный в плоть моего народа, и придет день, когда он освободится...

Ночь, обогащающая поля семенем.

Ночь терпения Господа.

CLXII

Ты говоришь мне о скромной, непритязательной жизни в мирном семейном кругу, с мирными радостями и добродетелями, домашними праздниками и заботливым пестованием детей, — ты строишь воздушные замки, мой друг.

— Я рад за тебя, — отвечу я. — Но скажи, что ты будешь считать добродетелью? Чему радоваться? Какие чтить божества? Живя по-твоему, каждый живет в особицу, это дерево питается соками не так, как другое. А подобных себе — где же ты их сыщешь?

Ты говоришь, все хотят одного — жить мирно... Согласен. Но посмотри, ведь вы уже ведете борьбу, охраняя незыблемость каждый своего уклада, желая избежать любой случайности, любой грозящей вам опасности. Разве дерево — не борьба семечка?

— Но когда наконец мы достигнем желаемого, душевные склонности наши обретут долговечность. Устоятся и нравственные правила...

— Согласен! Совершившись, история народа может пребывать неизменной. Ты знал эту девушку юной невестой, юной она умерла. Умерла с улыбкой. И будет улыбаться вечно, навек оставшись прекрасной, не узнав старости... Но твое мирное племя — оно или завоюет мир, поглотив всех своих врагов, или само растворится во враждебном мире. Пока оно живет, оно смертно.

Ты ошибаешься, считая, что можно жить и оставаться неизменным, что долговечность твоей картины сродни воспоминанию об умершей возлюбленной.

Ты возражаешь мне:

— Если картина эта полностью воплотилась, став традициями, верованиями, единым укладом, она обретет долговечность, передаваясь от одного поколения к другому. Она будет счастьем, что светится в глазах принадлежащих ей сыновей...

— Что ж, — согласился я, — если ты накопил запасы, то недолгое время можешь наслаждаться собранным медом. Вскарабкавшийся на вершину горы с полчаса радуется пейзажу упивается одержанной победой. В его памяти живы камни, по которым он карабкался вверх. Но воспоминание быстро меркнет. И пейзаж теряет интерес.

Торжества, конечно, помогают оживить воспоминания.

Празднуя, ты словно бы оживляешь вновь трудности и радости возникновения дома, деревни, веры, воскрешаешь в памяти затраченные усилия, принесенные жертвы. Но мало-помалу истирается власть торжества, праздник кажется тебе обветшалым, ненужным пережитком. Так случится, уверяю тебя, случится неизбежно. Твое счастливое племя станет племенем оседлых и забудется в безжизненном сне. Если ты понадеялся на магию пейзажа, сел и стал любоваться, то рано или поздно соскучишься и почувствуешь, что не живешь.

Откровение веры наполнило тебя жизнью. Ты решил: это тебе подарок. Но что делать с подарком? Рано или поздно ты убираешь его в кладовку. Когда радость погасла, сама вещь оказывается бесполезной.

— Неужели мне никогда не отдохнуть?

— Отдохнешь там, где в помощь все тобой накопленное. В мирном покое смерти, когда Господь соберет свою жатву.

Неизбежно сменяются для человека времена жизни. Друзья твои непременно от тебя устанут. И пойдут к другим, чтобы пожаловаться на тебя. Пройдет усталость, и они вернуться, простят тебя, и будут снова тебя любить, и снова будут готовы рисковать своей жизнью ради твоего спасения.

Если о вероломстве твоих друзей тебе расскажет посторонний, что пришел к тебе не ко времени и передал то, что тебе совсем не предназначалось, что было тоской по тебе, ты разгневаешься, выйдешь из себя, и, когда твои друзья, вновь тебя полюбив, вернуться к тебе, ты их прогонишь.

Но если ты и сам то любил, то не любил своих друзей, ты обрадуешься возвращению, обрадуешься, что тебе возвращена благосклонность, и поможешь их благосклонности, устроив праздник.

А почему тебе, собственно, не нравится, что в человеческой жизни сменяется весна — летом, лето — осенью? Ведь и в тебе в течение одного только дня столько сменится зим и весен, и все, что питает тебя, завися от аппетита, то желанно, любимо, то безразлично, то отвратительно, разве не так?

Нет, не в человеческих силах всегда быть сытым одним и тем же пейзажем.

CLXIV

Вот и настало время поведать тебе, что же такое человек. В Ледовитом океане кочуют льдины величиной с огромную гору, но на поверхности воды — лишь крошечный гребешок, играющий на солнце. Все остальное дремлет в глубинах. Слова высвечивают в человеке лишь крошечный гребешок. Веками ковала мудрость ключи, подступаясь к человеку. Нарabatывала понятия, чтобы его объяснить. Время от времени приходит новый мудрец и с помощью нового ключа открывает тебе доступ к еще неведомому. Он говорит «ревность» — и обозначает разом целый пучок взаимозависимостей; ревностная страсть к женщине помогает тебе ощутить и томление по воде в пустыне, и множество иных жажд. И я становлюсь для тебя яснее, яснее мой путь, мои заботы, хоть ты, возможно, и не сможешь объяснить словесно, почему жажда заботит меня больше, чем, например, чума. Имей в виду, сильнее всего воздействует не то слово, что обращено к твоей обжитой светлице, — то, что вспышкой света озарит еще неведомое, выхватив его из немотствующей тьмы. Ты сделал ощутимым дотоле незнаемое, и твой народ устремился к нему. Мы ведь не ведаем, чего с такой настоятельностью алчем. Но я принес тебе что-то, и ты насытился. А логик смотрит на нас с тобой как на безумцев, логика вчерашнего дня помешала ему нас понять.

Упорядочить подземное, проторить для него пути к сознанию — вот в чем я вижу силу, цель, смысл своей крепости. Ибо нужды твои и желания бессвязны и противоречивы. Тебе нужен мир и нужна война, правила игры, чтобы радоваться игре, и свобода, чтобы, играя, наслаждаться самим собой. Изобилие, чтобы почувствовать удовлетворение, и жертвенность, чтобы обрести в ней себя. Ты завоевываешь добычу ради завоевания и наслаждаешься запасами ради запасов. Любишь здоровье ради ясности разума и любишь одолевая жаждущую плоть, совершенствуя дух и душу. Есть в тебе страсть к домашнему очагу и страсть к побегу на волю. Сочувствие к ранам и стремление ранить самолюбивого из сочувствия к человеческому. Желание растить любовь, оградив ее незыблемой верностью, и знание, что любовь существует, несмотря на неверность. Ты хочешь равенства в справедливости и неравенства для восхождения вверх. Из хаоса своих нужд и желаний, из

этой земли, усеянной камнями, какое ты вырастишь дерево, чтобы оно вобрало их, упорядочило и вызволило из тебя воистину человека? Какую часовню станешь ты строить из своих камней?

Мощь моей крепости — вот то, что я протягиваю тебе, как семечко. Вот эту высоту ствола, вот это расположение ветвей. Дерево тем долговечнее, чем плодотворнее распоряжается соками земли. Тем долговечнее царство, чем лучше усваивает то, что ты из себя нарабатываешь. Но для чего крепость из камня, если она панцирь мертвого каймана?

CLXV

— Они охотятся за вещами, как свинья за трюфелем, — говорил отец. — Вещи созданы для охоты. Но сами вещи тебе не в помощь, потому что живешь ты смыслом, которым их наделили.

Смысла вещей не найдешь, не добудешь охотой, его нужно наработать.

Вот мы и нарабатываем его нашими беседами.

... — Что кроется за этими событиями? — спросили моего отца.

— Картина, которую я творю, — ответил отец.

Ты всегда забываешь о времени. За то время, пока ты доверял фальшивой сенсации, она уже в чем-то определила тебя, трудилась, как зерно, пустила корни. Ты разуверился в ней, но расти уже будешь по-другому. Вот я убедил тебя в чем-то, и сколько ты нашел подтверждений моей правоты, совпадающих фактов, красноречивых подробностей. Я предупредил: жена тебе неверна. И ты увидел: она кокетлива, и это правда. Уходит из дома, когда вздумается, что тоже правда, хотя до сих пор ты всего этого не замечал. Затем я скажу, что все выдумал, но моя выдумка «пошла тебе на пользу: она была новой точкой зрения и открыла тебе глаза на реально существующие факты.

Я сказал: горбуны переносят чуму. Ты ужаснулся, сколько вокруг горбатых. Раньше ты не замечал их. И чем дольше ты мне будешь верить, тем чаще будешь замечать горбунов. В конце концов ты узнаешь, сколько увечных живет у нас в городе. Ничего другого я не хотел.

CLXVI

— Я в ответе за каждый шаг каждого человека, — говорил отец.

— Но у тебя есть предатели и трусы, — возразили ему. — Что же, ты трусишь и предаешь?

— Да, моей трусостью трусит трус. И моим предательством предает предатель.

— Как ты можешь предать сам себя?

— Факты я представил некой картиной, они не согласились с ней, картина моя, я за нее в ответе, я сделал ее явью, а она убедила их в правоте моего врага. Значит, я сослужил службу своему врагу.

— А каким образом ты оказался трусом?

— Трусит тот, — отвечал отец, — кто отказывается идти вперед, чувствуя, что беззащитен. Трус кричит: «Река уносит меня!» Смелый чувствует свои мускулы и плывет.

Я называю трусом и предателем того, — заключил отец, — кто винит других за ошибки и жалуется, что враг слишком силен.

Никто не понял его.

— Как-никак, есть множество обстоятельств, и за них мы никак отвечать не можем... — сказали ему.

— Нет, таких не существует, — сказал отец.

Отец взял одного из гостей за руку и подвел к окну:

— Скажи, что тебе напоминает это облако? Гость долго присматривался.

— Спящего льва, — наконец сказал тот.

— Покажи его своим друзьям.

Друзья гостя полюбовались в окно на спящего льва, которого тот показал им.

Потом отец отвел их всех в сторону и позвал к окну совсем другого человека.

— На что похоже это облако? — спросил он. Гость долго всматривался в него.

— На улыбающееся лицо, — наконец сказал он.

— Покажи его своим друзьям.

И друзья увидели улыбающееся лицо, на которое показали им пальцем.

Затем отец собрал всех гостей вместе и предложил:

— Поговорите-ка об облаке, что висит за окном. И гости ожесточенно заспорили: так очевидно для одних было улыбающееся лицо, а для других — спящий лев.

— Факты, — сказал отец гостям, — бесформенны, словно облако; вожатый, ваятель, мыслитель придает им форму. Формы все одинаково достоверны.

— Относительно облака мы с тобой согласны, — отвечали ему, — но относительно жизни... Утром на поле боя ты видишь, что войско твое ничтожно по сравнению с армией противника. Разве в твоей власти изменить ход битвы?

— В моей, — отвечал отец. — Облако занимает пространство; события, факты — время. Если я озабочен, чтобы моя картина мира восторжествовала, я должен печься, чтобы время ей шло на пользу. Я не изменю того, что свершится к вечеру, но завтрашнее дерево вырастет из моего семечка. А оно есть уже и сегодня. Создавать не означает тотчас воспользоваться уловкой, которую тебе подбросил случай и благодаря которой ты победишь. У твоей победы не будет будущего. Созидание не морфий, что избавляет от боли, но не излечивает болезнь. Создать — значит сделать победу или выздоровление неизбежностью, как неизбежно тянется вверх дерево.

Но гости не понимали его.

— Логика событий... Отец мой разъярился.

— Тупицы! — рявкнул он. — Холощенный скот! Историки! Логики! Критики! Вы похожи на трупных червей, вам никогда не понять, что такое жизнь!

Он повернулся к премьер-министру:

— Король, наш сосед, надумал объявить нам войну. Мы не готовы к ней. Создать, сотворить — вовсе не значит за один день собрать войско, которого нет. Надеяться на это — ребячество. Нужно создать в короле-соседе того, кто захотел бы нашей любви.

— Не в моей власти сделать это.

— Я знаю одну певицу, — продолжал отец. — Когда я устаю от тебя, я всегда думаю о ней. Как-то вечером она пела нам об отчаянии преданного и нищего влюбленного, что не смеет признаться в своей любви. Я видел: наш главнокомандующий плакал. Хотя он богат, спесив и насилует девиц без счета. На десять минут она превратила его в робкого ангела, и он пережил все муки застенчивости.

— Я не умею петь, — ответил премьер-министр.

CLXVII

Затевая спор, ты невольно огрубляешь человека.

Например, народ сплочен вокруг своего короля. Король ведет свой народ к цели, но тебе кажется, что она недостойна человека. И ты вступаешь в спор с королем.

Многих ты убедил в своей правоте, но они кормятся службой королю. И пока не появился ты со своей точкой зрения, у них была своя, и, с их точки зрения, можно было любить короля или терпеть. Ты поднял их на самих себя, против хлеба для их детей.

Большинство из них последует за тобой, но с усилием, не чувствуя себя вправе посягать на короля, поскольку есть основания и любить его, и терпеть: ведь и в самом деле, долг этих людей — кормить свое потомство, а когда колеблешься между одним долгом и другим, на сердце неспокойно. Когда человека одолевают сомнения, руки у него опускаются.

Разъедаемый противоречиями, он садится и сидит, дожидаясь, когда же они минуют, так и умирает среди тех же противоречий. А если ты еще и прибавишь противоречий своим согражданам, они с тоской будут ложиться вечером в свою постель и с отвращением вставать. (Воодушевляет освобождение от пут. Освободить человека

— значит помочь ему себя выразить и принять. Значит научить его языку, который будет сродни замковому камню свода и откроет ему единую суть во всех его разноречивых устремлениях.) Кое-кто не последует за тобой вовсе. И будут вынуждены оправдаться в собственных глазах, ибо обличаешь ты короля отнюдь не без оснований. Ты принудишь их найти другие основания, которые будут способны потягаться с твоими. Такие всегда найдутся, ибо рассудок ведешь ты — и ведешь, куда захочешь. Тебя ведет только дух. И вот они все определили, сформулировали и создали себе прочную броню из доводов, тебе теперь к ним не подобраться.

И короля, что и думать о тебе не думал, ты подвиг на действия. Он призвал сказителей, историков, логиков, учителей, казуистов и толкователей со всех концов своего царства. Тебя перетолковали, исказили и превратили в отвратительное чудовище, ибо что-что, а это всегда

возможно. Обнародовали твою низость, потому что всегда возможно и это. И возникла еще одна категория людей — прочитав о тебе, они не знали, что и думать, но, будучи людьми добросовестными, порядочными, они поверили портрету, созданному логиками, портрету, на который ты напротился. Их затошнило от отвращения, и они сплотились вокруг короля. Король вновь обрел для них достоинство истины.

Вот почему никогда не нужно бороться «против», бороться нужно «за». Человек ведь не так прост, как тебе кажется. Даже король — и тот отчасти на твоей стороне.

CLXVIII

Ты говоришь: «Он — мой сторонник, мы с ним можем сотрудничать. А этот всегда возражает мне, естественно, что он — мой противник, с ним я могу только воевать».

Поступая так, ты растишь и укрепляешь своих врагов.

А я говорю тебе «враг» и «друг» — слова, и ничего больше. Что-то они, конечно, определяют и помогут тебе разобраться, если встретитесь вы на поле боя, но невозможно уместить человека в слово, у меня есть враги, которые мне ближе друзей, враги, которые мне всех нужнее, враги, которые меня чтят больше друзей. Я влияю на человека независимо от того, что он говорит. Я бы даже сказал, что влияние мое ощутимее для врага, чем для друга: идя в одну сторону, мы реже сталкиваемся, реже говорим, тогда как враг — он идет против меня и не упустит ни одного моего движения, ни одного слова — он от них зависит.

Разумеется, слышит меня каждый по-своему ибо каждый несет унаследованный груз прошлого, который никому не под силу изменить. Например, на моей земле течет река и рядом высится холм, обороняя мою землю, я не горю, что есть холм и река течет на юг. Не станет горевать об этом и завоеватель, если он в трезвом рассудке. Есть холм — я им пользуюсь, есть река — я пользуюсь рекой. Хотя, может быть, было бы куда лучше, если бы холм располагался в другом месте, и мощный союзник был бы выгоднее мне, чем сильный противник. Но что сожалеть попусту? Сожалея, что не родился в другое время, в другом месте, — ты даже не мечтаешь, ты набиваешь себя гнилью. Есть только то, что есть, и только с существующим я должен считаться — и вот я влияю на друга и на врага. Влияние мое на друга более или менее положительно, влияние на врага более или менее отрицательно. Делом или силой я стараюсь уравновесить весы, убирая груз с одной чаши, добавляя к другой.

Но ты принялся разбирать и судить всех с точки зрения нравственности; для дела, которым ты занят, нравственность ни при чем — однако ты отстранил обидчика, оскорбителя, предателя, вынуждая их и завтра обижать тебя, оскорблять и предавать. А я — я поручу предательство тому, кто меня предал, роль его в шахматной партии определилась, и я могу опереться на него, готовясь победить. Разве знание, каков он, мой противник, плохое оружие? И если победа моя неоспорима, разве не будет у меня времени его вздернуть?

CLXIX

Ты упрекнул жену:

— Как это так? Я ждал тебя, а тебя не было?!

— Не было, потому что я зашла к соседке, — отвечает жена. И правда, она зашла к соседке. Ты упрекнул врача:

— Как это так? Тебя не было, когда спасали захлебнувшегося ребенка?!

— Не было, потому что я сидел у больного старика, — ответит тебе врач.

И правда, он лечил старика. Ты упрекнул одного из своих сограждан:

— Как это так? Ты не служишь нуждам своего царства?!

— Я служу другим его нуждам, — ответит он тебе.

И правда, он служит ему по-своему.

Но имей в виду: за людскими поступками и делами ты не видишь, как растет дерево. Брошенное в землю семечко задало работы и твоей жене, и врачу, и слуге царства. С их помощью уже создается то, что ты намеревался создать. Для кузнеца, чей символ веры — ковка гвоздей, неважно, какие ковать гвозди. Может он ковать гвозди и для корабля. А ты отойди чуть в сторону, чтобы лучше рассмотреть, и увидишь не беспорядок, а растущий корабль.

Нет в жизни правоты, нет неправоты, каждый, кто живет жизнь, ее не знает, ибо нет языка, который бы ее вместил. Каждый судит о ней с помощью своего обособленного наречия.

Жизнь не упускает возможностей. Всюду находит себе пищу, распространяется, завоевывает. Живя логикой своей ступеньки, можно позабыть, что живешь. (Дом для женщины — трата времени, а не осуществление себя.) Но где в жизни утечка жизни? Любое дело в ней оправданно. Оно может быть и благородным, и низким, смотря как на него взглянуть. Может быть утечка жизни в человеке, человек может выпасть из жизни. У него могут появиться благородные основания не следовать общему течению жизни. Благородные и логичные. Но значит это одно: жизнь слабо тянет его за собой. Или, например, кузнец бросил ковать гвозди и отправился ломать камень. Он предал корабль.

Что мне в твоих доводах, если у нас нет больше общего языка? Князь теперь говорит одним языком, строители — другим, прорабы — третьим, кузнецы — четвертым, рабочие — пятым.

Ты оплатил ваятелю статую. Заплатил ему дорого, и он почувствовал благодарность, не за воздаяние — за признание его заслуг. Статуе нет цены, как нет цены жизни, которой рисковали, — сколько бы ни заплатить, не переплатишь. Статуя стоит того, чтобы быть купленной.

Заплатив деньги, ты купил не только статую — душу скульптора.

Хорошо, если почтенным кажется тебе занятие, которым ты живешь. Твоя работа — хлеб для твоих детей. Как оно может быть низким, раз превращается в детский смех? Посмотри, он служит деспоту, но деспот служит детям. Поступки человека двоятся, не можешь и ты однозначно судить о нем.

Ты можешь осудить лишь того, кто предал жизнь, она позвала его за собой, но он среди множества шагов не выбрал того шага, что ведет к ней.

Под палящим солнцем человек кладет на камень камень. Такая у него работа. Столько ему за нее платят... Ох, как он от нее устает... Усталость

— вот все, что он получает, укладывая камни, он принял свою усталость и не ропщет. Не в чем его упрекнуть, если только он строит не храм.

Ты возвращал любовь к храму, чтобы она взрастила любовь к укладыванию камней.

Ибо жизни нужны питающие соки, чтобы расти и облагораживаться.

Чтобы узнать, что такое жизнь, нужно перевидать немало людей. Самых разных. Ты словно бы узнаешь, что же такое корабль, при помощи гвоздей, парусов и досок.

Разуму жизнь недоступна. Суть ее в том, чтобы длиться и распространяться. Превращаясь в действия и поступки, она сопрягается с разумом. Но не сразу, а постепенно. Иначе как выжить ребенку? Он так слаб перед лицом мира! Кедр не выстоять против пустыни. Кедр рождается вопреки пустыне и живет, ее поглощая.

Никогда не руководит тобой рассудок. С помощью рассудка ты оправдываешь свое поведение. Не ищи разума и в поведении своего противника, он ничуть не разумнее тебя. Не благодаря логике твое творение распространяется в пространстве, длится во времени. Почему распространяется оно так, а не иначе? Почему вожатым стало одно, а не другое? Случайность? Но почему случайности не расточили дерева в прах — укрепили его против весомой тяжести мира?

Обдумыванием ты порождаешь то, чего еще не было. Ты определил и, значит, помог родиться. Порожденное тобой ищет пищи, стремясь утвердиться и вырасти. Оно трудится, чтобы сделать собой чужеродное.

Тебя восхитили сокровища этого человека. И он почувствовал себя богатым, хотя до этого не ощущал своих богатств, занятый накапливанием своего сокровища. Зато теперь оно стало для него определением. Не переkreщивай человека в иного, чем он есть сейчас. Видно, есть настоящая необходимость, против которой тебе ничего не поделать, быть ему таким, а не другим. Но ты можешь изменить направление его витальной силы, ибо человек переполнен жизнью, в нем есть все. Твое дело — найти в нем то, что тебе по нраву и прорисовывать, не спеша, пока твой рисунок не станет очевидным для всех — и для этого человека тоже. Увидев его, он согласится с ним, потому что соглашался и вчера, но равнодушно, никак ему не помогая. Теперь портрет обозначился, получил имя и заживет жизнью любого живого существа, ища пищи, стремясь утвердиться и вырасти.

Хозяин задает рабам и работу, и неработу. Жизнь тоже вынуждает тебя работать то больше, то меньше. И если тебе понадобилось, чтобы работа вытеснила досуг, скажи человеку: «Как ты мудр, взваливая на себя работу, несмотря на тяжесть ее и горечь, только благодаря работе обретишь ты собственное достоинство, ибо она — возможность творчества. Как ты прав, пользуясь любой возможностью творить. И что за беда, если начальник у тебя такой, а не этакий. Не горюешь же ты, что родился теперь или что родился среди холмов...»

Ты не потребовал от него, чтобы он работал больше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нем тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой ты был заинтересован. Истина приживется, разрастется, и человек потянется к работе.

Или ты хочешь, чтобы было отдано предпочтение досугу. Ты скажешь:

— Ведь ты из тех, кто вопреки принуждению и тирании куска хлеба отдает работе лишь ту необходимую крупицу времени, без которой бы умер. Как мужественно ты поступаешь! Как ты мудр, ведь, если хочешь избавиться от деспотизма начальника, ты заранее должен чувствовать себя победителем. Отказываясь от соглашательства, ты спасаешь душу. Не житейской логике распоряжаться творчеством!

Ты не потребовал, чтобы человек работал меньше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нем тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение

той, в которой ты был заинтересован. Истина приживется, разрастется, и человек потянется к бунту.

Поэтому нет у меня врагов. Во враге я выискиваю друга. И враг становится моим другом.

Я беру все лоскуты разом. Не заменяю одни другими — сливаю с помощью нового языка. И та же самая жизнь движется по-иному.

Что бы ты ни принес мне из нажитого, я сочту его добротным и подлинным. Печалит картина, которую ты сложил из него. Если моя уложит его лучше, — моя картина, которую я создал своим творческим произволом, — ты будешь моим.

Потому я и говорю: ты прав, построив стены вокруг своего колодца. Но оглянись: есть и еще колодцы, которые ты не защитил. Теперь ты живешь тем, что разрушаешь свою стену, чтобы построить новую. Новую ты строишь вокруг меня, я стал семечком внутри твоей крепости.

CLXX

Я осуждаю в тебе тщеславие, но не гордость. Если ты танцуешь, то для чего тебе принижать и хулить себя, равняясь на дурного танцора? Гордость — это любовь к совершенному танцу.

Любовь к танцу — это совсем не любовь к себе, танцору. Ты набираешься смысла, танцуя изо дня в день, но то, что ты стал танцором, ничего, совсем ничего тебе не прибавило. Твое дело танцевать, пока жив, — сбываются только в смерти. Тщеславица исполняется довольства и останавливается посреди дороги; залюбовавшись собой, она замерла, обожая себя. От тебя ей нужны только овалы. Мы презираем только самодовольство, мы — вечные номады на пути к Господу, ничто в нас самих нас не насытит.

Тщеславица остановила сама себя, решив, что сбылась раньше часа смерти. Ей больше нечего получить, нечего отдать, она — труп.

Смирение сердца требует от тебя не приниженности, а открытости. В ней ключ к взаимообмену. Иначе как сможешь ты отдавать и получать? «Отдавать», «получать» — я не умею отделить одно от другого, то и другое — единый путь. Смириться — значит быть послушным людям, значит слушаться божества. Камень подчиняется не камням — храму. Служа, служишь созиданию. Мать смиренна перед ребенком, садовник — перед розой.

Я, король, не стыдись, послушаюсь работника. В работе на дворе он смыслит больше короля. Я благодарен ему за науку, моя благодарность не роняет меня в его глазах. Ибо естественно, что умение трудиться приходит от работника к королю. Но я ненавижу тщеславие. И запрещаю ему себя славословить. Ибо естественно, что суждение, что хорошо и что плохо, приходит от короля к работнику.

Ты встречал в жизни женщин, что сотворили из себя кумира. Чего ждет эта женщина от любви? Всего. Твоя радость видеть ее — для нее почестей. Но дорожке почестей жертва: твое отчаяние будет для нее куда слаще.

Она пожирает, не насыщаясь. Прибирает к рукам, чтобы сжечь в свою честь. Она словно печь крематория. Жадна и всегда готова захватить добычу, не сомневаясь, что грабежами добывают счастье. Она наживает лишь прах и пепел. Воистину, воспользоваться отпущенными тебе дарами — значит проторить с их помощью дорогу к другому, а не заманить ими в плен.

Твои чувства для нее — заклад, своих она на тебя не потратит. Лишив тебя воздуха, обделив пламенным горением, она тщится тебя уверить, что лишения и есть знак твоей причастности к высокой любви. Но это знак ее неспособности любить, а вовсе не высота чувства. Если ваятель пренебрегает глиной, под руками у него ветер. Если любовь обходится без проявлений любви, под предлогом полноты, она — слово из словаря. Нет, если ты полюбил, я хочу от тебя и клятв, и даров. Что значит — ты любишь свою землю, если как от ненужного избавляешься от мельницы, отары, дома? Как различить лицо любви, что мелькает за полотном жизни, если нет полотна и нечем его прорисовать?

Откуда взяться храму, если нет зримого уклада для камней?

Что значит любовь, если нет осязаемого уклада любви? Душу, дерево я обрету постепенно, медленно, упорядочивая землю при помощи того уклада, которому ее подчиняют корни, ствол, ветви. И вот оно, дерево. Это дерево, а не другое.

Тщеславица пренебрегла ответными дарами, пренебрегла собственным рождением. В любви она искала добычи, которую можно захватить. И любовь перестала быть любовью.

Ей кажется, что любовь — подарок, который можно припрятать. Что если ты любишь ее — значит, она заполучила тебя в свое распоряжение. Она запирает тебя в себе, и ей кажется: она обогатилась. Но любовь не алмаз, которым можно завладеть, любовь — обязательства друг перед другом. Плод взаимно принятого для исполнения уклада. Добротность дороги, по которой ездят туда и обратно груженые повозки.

Тщеславице никогда не родиться. Корни рождения в связующих нитях. Она пребудет бесплодным, бессильным зерном, иссыхая душой и сердцем. Она состарится, и мрачна будет ее старость среди тщеты ее добычи.

Потому что ты ничего не в силах присвоить. Потому что ты не сундук. Ты

— узел, связавший воедино собственную разноречивость. Ты — подобие храма, придающего смысл камням.

Отвернись от нее. У тебя нет надежды сделать ее красивее или богаче. Твой алмаз станет украшением ее скипетра, короны, знаком ее власти. Чтобы залюбоваться алмазом, мало одного алмаза, нужно еще смиренное, благодарное сердце. Эта не любит, она завидует. Восхищение приуготовляет любовь, зависть приуготовляет пренебрежение. Во имя того алмаза, которым она наконец-то завладела, она будет пренебрегать всеми остальными алмазами земли. И ты еще ненамного отдалишь ее от мира.

Не приблизится она и к тебе, твой алмаз вовсе не дорога от тебя к ней и от нее к тебе, он — дань твоего рабства.

Вот почему каждый дар, каждая жертва делают ее еще более жестокой и одинокой.

Скажи ей:

«Да, я спешил к тебе и радовался встрече. Исполнял твои прихоти. Одаривал подарками. Сладостью любви был для меня твой произвол, во власть которого я себя отдал. Я дал тебе право на все, чтобы почувствовать себя связанным. Мне нужна связь, корни и ветви. Я позволил тебе распоряжаться собой, чтобы быть тебе в помощь. Так распоряжаются мной розы, которые я выращиваю. Я в подчинении у моих роз. В служении моем нет ничего оскорбительного для моего достоинства. Им я обязан моей любви.

Я не боюсь обязательств, напротив — прошу их для себя. По своей воле выбрал я эту дорогу, ибо ничто в мире не понуждало меня. Но ты ошиблась, когда сочла мое служение

зависимостью, зависим я не был. Я был великодушен.

Ты считала, сколько я сделал шагов, идя к тебе. Питала тебя не моя любовь, а благоговение моей любви. Ты пренебрегла корнем, питавшим мою щедрость. И я от тебя уйду. Любовь моя послужит смиреннице, озарив светом ее жизнь. Я в помощь только той, что в помощь моей любви. Ухаживая за хромцом, я не подольщаюсь к нему, я служу его здоровью. Мне нужен путь — не стена.

Ты требуешь не любви, а обожествления. Ты перегородила мне дорогу. Ты встала на ней как кумирня. Мне нечего делать с ней. Я пойду по другой тропе.

Я не божок, которому нужно кадить, и не раб, которому нужен хозяин. Кто бы ни притязал на меня, я отстраню его. Я не вещь в закладе, и ни у кого нет закладной на меня. Нет и у меня ни на кого подобных притязаний. Та, что любит меня, дарит не считая.

У кого ты купила меня, чтобы считать собственностью? Я не твой осел. Может, Господь и обязывает меня хранить тебе верность. Но перед тобой у меня нет обязательств».

Если долг солдата — отдать жизнь за царство, долг у него перед Господом, а не перед царством. Господь распорядился, чтобы человек наживал суть и смысл. Суть и смысл этого человека в том, что он — воин царства.

Долг дозорных — отдавать мне честь. Мне ли они служат? Я — предлог, чтобы у дозорных существовал долг. Я — узел, связавший обязанностями моих дозорных.

И любовь — если долг, то перед Господом.

Я увидел скромницу, она краснеет и запинается; чтобы научить ее смеяться, нужно радовать ее подарками, они для нее — ласковый морской ветер, а не вожденная добыча. Я проторю к ней дорогу и выведу ее на волю.

Мне не надо ни унижаться в любви, ни унижать любовью. Я окружу ее, словно простор, втеку в нее, словно время. Я скажу ей: «Не торопись узнавать меня, во мне ничего не поймаешь. Я — пространство и время, где ты можешь сбыться».

И если я необходим ей, словно земля семечку для того, чтобы стать деревом, я не пресыщу ее своим изобилием.

Я воздаю ей почести не ради нее самой. Цепко ухватятся за нее когти моей любви. Любовь моя станет для нее орлом с могучими крыльями. И не меня она будет открывать, но с моей помощью — долины, горы, звезды, богов.

Не во мне дело. Я только тот, кто несет вперед и вперед. Дело не в тебе, ты — тропинка к лугам на заре. Дело не в нас обоих, мы оба — путь к Господу, Ему однажды понадобится наше поколение, и Он возьмет его.

CLXXI

Не стоит ненавидеть несправедливость: все в пути, она еще станет справедливостью.

Не стоит ненавидеть неравенство, ибо оно — зримая или незримая иерархия.

Не стоит ненавидеть пренебрежение жизнью, ибо, если ты жертвуешь жизнью большему, чем

ты сам, жертва твоя становится взаимодействием.

Ненавидь нескончаемый произвол, который уничтожает смысл любой жизни, ибо смысл жизни в том, чтобы потратить себя на ту вещь, которая сделает тебя долговечнее.

CLXXII

Нащупай в настоящем животворное семя, что пребудет и завтра. Обозначь его. Благодаря ему люди ощутят себя значимыми, их труды осмыслятся. В настоящем тебе не нужно от них ничего сверх того, что они дают и так, что отдавали вчера. Не нужно ни большего мужества, ни меньшего; ни больше жертвенности, ни меньше. Не нужно учить их, и не нужно клеймить то, что сейчас им присуще. Не нужно ничего в них менять. Нужно только выразить их как можно лучше. Из уже существующих камешков ты можешь сложить желанную мозаику. Люди тоже хотят складывать мозаику, они не знают, что им делать с насыпанными в них камешками.

Выразив человека, ты сделался ему хозяином. Ибо направил того, кто искал для себя пути, искал решения и не мог найти. Дух торит дороги.

Не будь им судьей, будь божеством, что направляет. Отыщи каждому место и помоги сбыться. Все остальное сложится само собой. Так ты заложишь жизненную основу. А она будет питаться, расти и понемногу изменит весь мир.

CLXXIII

Всего-то и есть что лодка, затерянная в мирном морском просторе. Но, конечно, есть, Господи, и иная мера, благодаря ей рыбак в своей лодке покажется мне костром усердия, добывающим из вод хлеб любви ради жены и детей, или сгустком гнева из-за обреченности платить дань голоду. Или муками смертельной болезни, что сделала его комком боли. Малость человека? Как увидел ты, что он мал? Не мерь его цепью землемера. Достаточно лодки, и все станет огромным.

Достаточно, Господи, погрузить в меня якорь боли, чтобы я узнал себя. Ты дернешь за веревку, и я очнусь.

А может, человек в лодке терпит от несправедливостей? Но картина все та же. Та же лодка. Та же мирная гладь. Дневная лень.

Что смогу я принять от человека, если не смирю перед ним свое сердце?

Господи! Приживи меня к дереву, от которого я плоть от плоти. Утекает смысл, если я в одиночестве. Пусть опираются на меня. И я обопрюсь на них. Напряги меня своими неравенствами. Иначе я раздражен и преходящ.

А мне необходимо сбыться.

CLXXIV

Я говорил тебе о пекаре. Он месит тесто для хлеба, и, пока оно податливо липнет к рукам, теста нет. Но вот, как принято говорить, тесто схватилось. В бесформенной массе появилась упругость силовых линий. Мускулы корней разветвились в тесте. Хлеб нарождается в нем, словно дерево в почве.

Ты пережевываешь свои сложности, но без всякого толку. Перебираешь решения, но ни одно не подходит. Ты несчастен, потому что топчешься на месте, а радость приходит только вместе с движением. И вот, переполнившись отвращением к собственной развинченности и дробности, ты поворачиваешься ко мне, прося избавить тебя от противоречий. Я могу разрешить их, предложив тебе решение. Предположим, ты страдаешь, оказавшись пленником победителя, и тогда я скажу тебе так ты упростил себя до выбора «за» или «против», ты готов осуществить выбор, но душевный покой, который ты обретишь, будет покоем или фанатика, или муравья, или труса. Мужество состоит не в том, чтобы погибнуть, побивая носителей чуждой тебе истины.

Да, ты страдаешь и пытаешься избавиться себя от страдания. Но ты должен принять его, и тогда ты поднимешься на ступеньку вверх. Сравни свою боль с болью от раны. Ты ищешь средства, чтобы избавиться от нагноения.

Но того, кто предпочел ампутацию лечению, я не назову мужественным, скорее — сумасшедшим или трусом. Я не за ампутацию, я за исцеление.

Поэтому с горы, с которой я смотрел на город, я обратил к Господу такую молитву:

«Вот они здесь, Господи, они просят меня сделать их значимыми. Они ждут для себя истины, от меня ждут, Господи, но она еще не вызрела. Помогите мне! Я только начал месить тесто, оно еще не схватилось. Еще не проросли корни, и я узнал тяжесть бессонных ночей. Но знакома мне и тяжесть зреющего плода. Ибо всякое созидание поначалу крупница в реке времени, но мало-помалу разрастается и обретает форму.

Они несут мне вперемешку свои стремления, желания, нужды. Они загромождали ими мою строительную площадку, их я должен соединить воедино, их должен вобрать в себя храм или корабль.

Но я не пожертвую нуждами одних ради нужд других, величием одних ради величия других. Покоем этих ради покоя тех. Я соподчиню их всех друг другу, чтобы они стали кораблем или храмом.

Я понял, что соподчинить означает принять и отвести место. Я подчиняю камень — храму, и он уже не валяется в куче на строительной площадке. Не будет ни одного гвоздя, которым бы я не воспользовался для корабля.

Я не придаю значения большинству голосов; большинство людей не видит корабль, он слишком далек от них. Окажись в большинстве кузнецы, они взяли бы верх над плотниками, и кораблю не появиться на свет.

Мне не нужен порядок, царящий в муравейнике. Я могу навести порядок с помощью палачей и тюрем, но человек, взращенный в муравейнике, будет муравьем. Я не вижу смысла оберегать особь, если она не копит опыт и не передает наследства. Конечно, сосуд необходим, но драгоценен в нем душистый бальзам.

Не хочу я и всеобщего примирения. Примирить — значит удовольствоваться теплой бурдой, где ледяной оранжад смешался с кипящим кофе. Я хочу сберечь особый аромат каждого. Ибо желания каждого достойны, истины истинны. Я должен создать такую картину мира, где

каждому отыщется место. Ибо общая мера истины и для кузнеца, и для плотника — корабль.

Но настанет час, Господи, и Тебе станет жаль меня за царящий во мне разлад, хотя я принимаю его. Домогаюсь я безмятежности, что воссияла бы над преодоленными противоречиями, мне не нужно перемирия между соратниками — перемирия, сложенного наполовину из любви, наполовину из ненависти. Если я обижаюсь, Господи, то из-за того только, что не все еще уразумел. Если сажаю в тюрьмы и казнь, то из-за того только, что не умею приютить. Владелец непрочной истины, утверждающий, что свобода лучше принуждения или, наоборот, принуждение лучше свободы, кипит от гнева, считая, что ему противоречат, но он в плену неуклюжего языка, где слова то и дело дразнят друг друга. Громко кричишь, потому что язык твой неубедителен и ты хочешь перекрыть голоса других. Но на что мне обижаться, Господи, если я добрался до Твоей горы и увидел сквозь пелену слов, какая идет работа. Того, кто идет ко мне, я приму. Того, кто взбунтуется против меня, пойму. Пойму, почему он заблудился, и ласково заговорю с ним, постаравшись, чтобы он вернулся. Ласково не потому, что уступаю ему, подольщаюсь или хочу понравиться, — потому, что явственно увидел настоятельность его жажды. Она стала и моей тоже, потому что и заблудшего я вобрал в себя. Не гнев ослепляет — гнев порожден слепотой. Как обижает тебя эта сварливая женщина! Но она расстегнула платье, ты увидел: у нее рак кожи — и простил ее. Разве можно обидеть отчаяние?

Мир, к которому я стремлюсь, добывается муками. Я согласен на жестокость бессонных ночей, ибо шаг за шагом иду к Тебе, в Ком разрешились все вопросы, Кто все выразил, Кто есть тишина. Я — медленно растущее дерево, но я — дерево. Благодаря Тебе я вбираю в себя земные соки.

Как явственно я ощущаю, Господи, что дух преобладает над разумом. Ибо разум ощупывает вещное, дух прозревает корабль. И если я зачал корабль, они одолжат мне свой разум, чтобы выявить, вылепить, облечь, укрепить желанное мной творение.

С чего им отталкивать меня? Я ничем не отяготил их, наоборот, дал возможность каждому любить любимое.

Разве плотнику тяжелее будет строгать доски, если это будут доски для корабля?

Даже равнодушные, что до сих пор оставались без места, повернутся в сторону моря. Ибо живая жизнь всегда притягивает к себе и перерабатывает в себя все окружающее.

Если не будет зрим корабль, как узнать, куда направится человек? По вечности никак не определишь пути. Человеку не родиться, если вокруг не зародить жизни. Но когда уложены камни, душа человеческая погружается в море тишины. Когда семя кедра втягивает в себя землю, я могу предвидеть, как будет вести себя земля. Если знаю строительный материал, знаю строителя и знаю, к чему он стремится, то могу сказать: они пристанут к дальнему острову».

CLXXV

Я хочу видеть тебя устойчивым и основательным. Хочу, чтобы ты был верным. Основа верности — верность самому себе. Чего достигнешь изменами? Медленно наращиваются узлы, что будут питать тебя жизнью, определяют направление, станут смыслом и светом. Будто камни, складывающие храм. Разве рассыпаю я каждый день камни, чтобы выстроить храм еще краше? Если ты продаешь свое царство ради другого, на взгляд, может быть, лучшего, ты неотвратимо утрачиваешь что-то в самом себе, то, чего не найдешь никогда.

Почему тебе так тоскливо в твоём новом доме? Куда более удобном, лучше обустроенном — доме, о каком ты мечтал в нищете былого? Колодец так утомлял тебя, и ты мечтал о водопроводе. Вот он — водопровод. Но теперь тебе не хватает скрипа ворот, воды, добытой из чрева земли, что вдруг отражала твоё лицо, когда в колодец ныряло солнце.

Не подумай, будто я не хочу, чтобы ты взбирался на гору все выше и выше, шел все дальше и дальше. Но пойми, одно дело — ощутимая победа твоих усилий: водоем, которым ты украсил свой сад, — и совсем другое — переселение в чужую раковину. Одно дело: непрерывное совершенствование одного и того же, изукрашивание храма, например, или все новая и новая листва растущего вольно дерева, другое — равнодушная перемена места обитания.

Я перестану доверять тебе, ибо ты оборвал связь, утратил самое драгоценное своё достояние: оно не в вещах — в осмысленности мира.

Я знал эмигрантов, они всегда тосковали.

Прошу тебя, прислушивайся к собственной душе, иначе обманешься словами. Этот сделал смыслом своей жизни странствия. Он меняет пространства и измерения, но я не скажу, что он духовно нищает. Его постоянство — странствие. Другой любит свой дом. Постоянство его — дом. И если ему придется, что ни день, переселяться, он почувствует себя несчастным. Когда я говорю «оседлый», я не имею в виду тех, кто больше всего на свете любит свой дом. Я говорю о тех, кто больше не любит дома, перестал замечать его. Твой дом — тоже ведь неуклонное сдерживание побед, лучше всего о них знает твоя жена, она обновляет его на заре.

Я хочу рассказать тебе, что такое измена. Что ты, как не узел всевозможных связей и привязанностей? Ты существуешь благодаря сопряженности, связанности. Сопряженность существует благодаря тебе. Храм существует благодаря каждому из камней. Убери вот этот — храм обвалится. Ты привязан к земле, храму, царству. И благодаря тебе существуют земля, царство, храм. Не твоё дело судить о них, как судит посторонний, что не привязан к ним. А если судишь — судишь самого себя. Здесь твоя боль, но и жизнестояние. Я отступаю от того, кто отрекается от согрешившего сына. Сын его — это он сам. Пусть разберит его, осудит, казня вместе с сыном самого себя, если любит его, пусть бьется с его истинами, но не ходит из дома в дом с жалобами на него. Если отец отступился от сына, он перестал быть отцом, покой, которого он добился, сузил поле его жизни, покой его — покой мертвых. Я всегда считал обделенными тех, кто не знает, с кем они заодно. Я видел, как лихорадочно эти люди искали религию, общину, круг, куда бы их приняли. Их принимали, но единение было иллюзорным. Подлинную общность дают только общие корни. Ты ведь ищешь жизни надежной, укорененной, отягощенной правами, обязанностями, ответственностью. Ношу жизни не получишь, будто носилки с камнями от прораба на стройке. А когда бросаешь свою ношу — опустошаешься.

Мне по нраву отец, который бесчестье греховного сына принимает за своё, посыпает голову пеплом и кается. Сын — это он сам. Он привязан к сыну и, ведомый им, ведет его. Я не знаю дороги, что вела бы в одну только сторону. Если ты отказался отвечать за падения, окажешься ни при чем при победах.

Если любишь ту, что принадлежит твоему дому, ту, что зовешь своей женой, а она согрешила, никогда не смешайся ты с толпой осуждающих. Она твоя, и суди сперва самого себя, ты за нее в ответе. Твоя страна в разоре? Я настаиваю: суди себя, ты — твоя страна.

Конечно, окружают тебя любопытствующие чужаки, и тебе придется краснеть перед ними. Чтобы освободиться от стыда, ты отмежуешься от грехов своей страны. Но тебе, как каждому человеку, нужно быть с кем — то и заодно, с теми, кто оплевал твой дом? «Они правы», —

скажешь ты. Очень может быть. Но я хочу, чтобы ты чувствовал, что принадлежишь своему дому. Отойди от тех, кто оплевывает. Негоже плевать самому. Вернись домой и помолись. Скажи: «Стыдно мне. Почему лицо мое так изуродовали соотечественники?» Если их позор ты воспринимаешь как свой собственный, стыдишься его и терпишь стыд, ты сможешь повлиять на что-то, улучшить, облагородить. Себя ты облагородишь в первую очередь.

Нежелание плевать не означает сговора с пороком. Ты разделяешь позор, чтобы очиститься. Отстранившийся разжигает посторонних: «Вы только посмотрите на эту смердящую гниль, но я к ней не имею отношения...» С чем тут стать заодно? Чужаки ответят, что они заодно с человеком, или с добродетелями, или с Господом. А ты — ты говоришь слова, слова опустели, не обозначая больше связующих нитей; чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиранный, что затеплил свечу, знает: свеча его — молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди — не слово из словаря, люди — это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать: Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди, — я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, — знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, — знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. И тот, кто желает преобразиться, не перерождаясь, — суеслов с пустым сердцем. Они не умрут и не воскреснут, ибо и умерщвляют, и живут не слова.

Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, кто вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену. Его заботит, как он выглядит, а не то, что он любит. Он перестал быть связующей нитью — стал вещью, на которую смотрят. Но в вещах нет никакого смысла.

Если, стыдясь своих домашних или сограждан, ты утверждаешь, будто сам ты чист, и говоришь, будто обеляешь себя ради их чистоты, ибо вы из одного дома, — ты лжешь. Ты сбежал из дома, как только появился недоброжелательный чужак, ты обеляешь себя — и только себя. И чужаки вправе спросить тебя: «Раз твои такие же, как ты, где они и почему не плюются вместе с нами?» Нет, ты топишь своих в позоре и позор их пытаешься обернуть себе на пользу.

Бывает, конечно, и так, что человек не в силах переносить низость, пороки, позор своего дома, земли, царства, и он пускается в путь в поисках благородства. Человек этот — свидетельство, что среди сродных ему благородство еще существует. Значит, жива среди них честь, раз отправила его в путь. Он — свидетельство, что и другие жаждут пробиться к свету. Но опасна и ненадежна его попытка, душевной высоты ему понадобится больше, чем перед лицом смерти. Он повстречает любопытствующих, и они ему скажут: «Ты и сам такая же грязь». Если он чтит себя, то ответит: «Такая же, но я из нее выбрался». Судьи скажут: «Смотрите, чистые избавляются от грязи! А те, кто остался в ней, сами — грязь». И ему воздадут почести, ему лично, а не его родовому дереву. Он присвоит одному себе славу своих предков. И будет одинок, как бывает одинок тщеславец или смертник.

Уходя, ты вступаешь на сомнительный путь. Ибо твои муки совести — свидетельство о живой еще в твоих согражданах чести. Но ты их всех отсекаешь от себя.

...Ты обретешь верность, лишь расставшись с тщеславным желанием выглядеть в чужих глазах лучше. Ты скажешь: «Я ничем не отличаюсь от них, я думаю, как они». Да, и тебя наградят презрением.

Но что тебе до чужого презрения, если ты частичка большого тела? Если можешь влиять на него? Если передашь ему присущие тебе устремления и склонности? Если оно придаст тебе чести, удостоившись почестей? Чего лучшего можно желать?

Если у тебя есть основания стыдиться, не показывай своего стыда. Не говори о нем. Грызи

его сам. Несварение проходит, если лежишься от него дома. И понимаешь, что оно в твоей власти. Но вот у человека болят и руки, и ноги. Он ампутировал их. Он сумасшедший. Ты можешь пойти на смерть, чтобы ради тебя стали уважать твоих сограждан, но не смей отчуждать их, ты отчуждаешься от самого себя.

Хорошо и дурно твое дерево. Не все его плоды тебе по вкусу. Но есть среди них и прекрасные. Слишком просто было бы лстить себе хорошими и отвергать все остальные. Не упрощай, и хорошее, и дурное от одного корня. Несложно выбрать пышные ветки. Отрубить худосочные. Гордись тем, что прекрасно. Но если уродства больше, молчи. Твое дело повернуться к корням и спросить: «Что я должен сделать, чтобы вылечить ствол и ветки?»

Чужедальнего сердцем народ отчуждает от себя, и сам он отчуждается от народа. Так оно бывает, и бывает всегда. Ты признал правоту чужака. И хорошо бы стать тебе одним из этих чужих. Но ты не родился на их земле, она для тебя — смерть.

Суть твоя причиняет тебе боль. Ты ошибся, пытаешься отделить себя от нее. Что из себя ты можешь выбросить? Болит у тебя здесь, но болеешь-то ты.

Я отступаю от того, кто отступает от жены, города или страны. Ты недоволен ими? Ты их часть. Ты в них часть, тяготеющая к благу. Твое дело — увлечь за собой остальное. А не судить, глядя со стороны.

Судить возможно двояко. Судить можешь ты, со своей стороны, судить, как судья. Но и тебя можно судить.

Кому нужен муравейник? Ты отрекся от своего дома и, значит, отрекся от дома вообще. Отрекся от жены и, значит, отрекся от любви. Ты оставил женщину

— тогда откуда возьмется любовь?

CLXXVI

— Пусть будет так, — говоришь ты мне, — ты кричишь во весь голос против вещности, но есть вещьность, которая меня облагораживает. Ты возражаешь против стремления к почестям, но есть почести, которые меня возвышают. А бывает, что и унижают тоже.

— Пойми, дело не в вещах и не в почестях. Значимость их зависит от духа твоего царства. Прежде всего они части целостности. Разнообразящие ее части. И если этой целостности служишь и ты, обогащая ее, — ты обогащаешься сам. Можно подтвердить это на примере спортивной команды, если только она настоящая. Вот один из команды завоевал приз, вся команда гордится, обогатившись сердечной радостью. Горд за свою команду и чемпион, он возвращается с кубком под мышкой и пылающими щеками. Но если нет команды, а есть группа чуждых друг другу людей, приз значим только для чемпиона. Он презрительно поглядит на тех, кто не получил его. А они позавидуют ему и возненавидят. Чужая удача будет каждый раз ударом в сердце. Теперь ты видишь: один и тот же кубок для одних — возможность стать благороднее, для других — хуже. Служит тебе только тот, кто торит дороги взаимообменов.

И еще пример: мои юные лейтенанты — они мечтают умереть за царство, и вот я сделал их капитанами. Они в ореоле славы, но разве стали от нее хуже? Я помог им стать еще деятельнее, еще преданнее. Облагородив их, я облагородил большее, чем они, — царство. Лучше будет служить моему царству и флагман. В день, когда я сделаю его флагманом,

своим воодушевлением он воодушевит и капитанов. И еще пример: счастливая своей красотой женщина — счастливая потому, что одарила счастьем мужчину. Как украшает ее бриллиант! Как украшает она любовь!

Человек любит свой дом. Дом его так скромен. Но он трудится ради него днем и ночью. В доме не хватает пушистого ковра или серебряного кувшина, из которого наливают воду в чайник, когда пьют чай вместе с возлюбленной перед часом любви. И вот настает вечер, когда, наработавшись, он входит в лавку и после многих бессонных ночей, тяжелых работ выбирает самый красивый ковер, самый красивый кувшин, как выбирают драгоценную реликвию. Он возвращается домой, порозовев от гордости: с сегодняшнего дня его дом будет воистину домом. Он созывает всех друзей отпраздновать новый серебряный кувшин. Молчаливый, застенчивый, он разговорился во время своего торжества, и меня трогает его радость. Человек этот вырос в собственных глазах и еще преданней будет служить своего дому, потому что дом стал еще прекраснее.

Но царства, которому ты служишь, нет, если почести, знаки отличия или богатства ты забираешь себе, и только себе, их словно бросают в бездонный колодец. Ты поглощаешь их. В тебе просыпается жадность, и ты все ненасытнее пестуешь в себе алчность. Ты не понимаешь, откуда горечь, что приходит к тебе вечерами, когда ты оглядываешь свои сокровища, которых так неукротимо жаждал. «Тщеты земные блага, — твердишь ты, — тщеты!..»

Тот, кто кричит о тщете вешного, служит одному себе. И конечно, ничего не найдет.

CLXXVII

Я заговорю с тобой, и с моей помощью тебе откроется очевидное. Я верну тебе твои божества. Кто-то верит в ангелов, кто-то в демонов, кто-то в духов. Достаточно, чтобы они народились, и вот они уже трудятся. С мига, когда ты постиг, что же такое милосердие, оно начинает привлекать к себе человеческие сердца. У тебя есть родник. Но не каменный обод чаши, истертый многими поколениями, не журчание и не запас воды, собранный в эту чашу, словно урожай в корзину (твои волны приходят к ней на водопой и пьют), нет, не сама по себе вода, журчанье, молчаливая чаша, не прохлада воды в ладонях

— прохлада не только ночью, когда в воде дрожат звезды, такие освежительные на вкус, — значима божественность твоего родника, она осеняет и этот камень, и тот, и лоснящийся обод чаши, и медленное шествие волон, и утоление жажды, ее ты и чувствуешь, ее не теряешь среди дробности вешного. Ибо драгоценнее всего радование роднику.

Я сделаю так, что ты будешь слышать его журчанье в ночной тишине. Неважно, что останется он где-то далеко-далеко: мне достаточно будет разбудить тебя. Подарок мой будет драгоценнее золотого обода, кольца с бриллиантом, потому что дорого нам не то, что мы используем, — дорого предвосхищение праздника или воспоминание о нем. Вот и хозяин царства идет полевым проселком (чем ему царство сейчас в помощь?), и все-таки он — хозяин, а не слуга, на сердце у него забота и о стадах, и о хлеве, и о спящих пока фермерах, и о зацветающем миндале, и о будущих тяготах жатвы; никого, ничего он сейчас не видит, но за все ощущает себя в ответе. Вот она, власть Божественного узла, что связал воедино разноликую дробность мира, превратил ее в божество царства, смеющееся над стенами и стенаниями бездн. В твоей ночи я хочу видеть и тебя хозяином, пусть ты умираешь в пустыне от жажды, пусть влагу твоей жизни иссушила скупость засыпанного песком колодца, но тебя не оставит божество твоего родника. И если я говорю тебе, что журчанье родника — это стук сердца яблонь, кедра, оливы, ибо он питает их жизнью (ты увидишь, как умирают деревья,

стоит замолчать воде), то говорю это, чтобы передать тебе сокровище, чтобы ты уподобился моему воину: он спокоен и уверен в себе в той пустыне, куда я пришел на заре рассеивать свои зерна, спокоен, потому что где-то далеко-далеко находится его любимая, которой словно бы нет на свете, оттого что она крепко спит, но голос ее, ее дыхание — живительный ток для его сердца.

Больше всего на свете не хочу я, чтобы ты убивал своих хрупких богов, они умрут беззвучно, словно голубки, не оставив ни перышка. Ты и не заметишь, что погубил их. Останется обод чаши, и вода, и ее журчанье, и оловянный водосток, и каменная мозаика, и ты, что перебираешь все это, желая понять и не понимая, что же ты все-таки потерял. Ты не поймешь, потому что не потерял ничего вещного, кроме жизни этой вещи.

Порукой моей правоты — слово в поэме, ставшее для тебя откровением. Я могу присоединить и его к тем божествам, что наживаются так постепенно. Медленно перевоплощается в божество и твоя деревня, сейчас она задремала, припрятав в запас зерно и солому, прибрав лопаты, цепи и мотыги; дремлет вместе с невеликим грузом желаний, соблазнов, гнева и жалости; с древней старухой, что, будто перезревшее яблоко, готова скатиться с этого дерева; с новорожденным, что вот-вот готов появиться на свет; с преступлением, что всколыхнуло ее, будто вспышка болезни; с прошлогодним пожаром, о котором ты вспомнил, залечивая оставленные им раны; с ратушей, с именитыми гражданами

— они так горды, что ведут свой корабль по потоку времени, хотя этот корабль всего лишь рыбацья лодка с малозаметной под звездами судьбой. Но вот я сказал тебе: «Родник твоей деревни», — и сердце в тебе встрепенулось, ты сделал шаг вперед, и еще, и мало-помалу твой путь откроет тебе лик Господа, Который только и может насытить тебя и удовлетворить; от одной вежи к другой пойдешь ты к Тому, Чье присутствие так ощутимо сквозь полотно жизни, к Тому, Кто суть и смысл той книги, откуда я беру отдельные слова, к Нему — Мудрости, к Нему — Бытию и Жизни, к Нему, Который возвращает тебе все востребованное, Кто, ведя со ступени на ступень, связует воедино вещную дробность мира, чтобы в ней появился смысл, — к Господу, Который обожествил и родники, и деревни.

Народ мой возлюбленный, ты растерял свой мед, он не в вещиности — в осмысленности всех вещей на свете, теперь тебе так не терпится жить, но дороги сыскать ты не умеешь. Я знал садовника, он умирал, не успев обиходить свой сад. Он спрашивал: «Кто обрежет мои деревья?.. Кто посадит цветы?..» И просил продлить ему дни, чтобы навести в саду порядок. У него были прекрасные цветы, затаившиеся в кладовке семена, лежали в сарае лопаты и грабли, способные разбудить силу земли, острый нож на поясе, умеющий омолаживать усталые деревья, но без него все это было инструментами, предметами, вещами, а не священной утварью, необходимой для обряда богослужения. Вот и с тобой, мой народ, случилось то же, что с утварью садовника, с тобой и с твоими хранилищами — с твоей соломой, зерном, устремлениями, милосердием, тяжбами, спорами, умирающими старухами, ободом колодца, мозаикой, журчанием воды. Ты не можешь стать единым целым со своей деревней, со своим родником: развязался магический Божественный узел, а алчущее сердце сыто лишь пищей духа.

CLXXVIII

Перестав слушать людей, я услышал их. Одни мудры, другие — нет. И вот передо мной женщины, что творят зло ради зла. Нет у них другой радости, как чувствовать разгорающиеся огнем щеки и в душе смуту, — черный комок, подобравшаяся пантера. Она уже сжалась иссиня-черной молнией, сейчас ударит.

Они похожи на вулканы с безудержной и бесполезной мощью. Но таков же и огонь солнца, а благодаря солнцу цветут цветы. Ты улыбнулся с утра любимой, потянулся к ней с поцелуем, и одно за другим все происходящее исполнилось смысла. Нужен магнит, чтобы собрать тебя воедино и породить заново.

Рождение — всегда открытая рана.

Это видно по дереву, на взгляд оно — дремотная размеренность и неспешность, окружившая себя, будто царством, душистым ароматом, но в один миг его мощь может стать пищей пламенеющего пожара. Знаешь, из тебя, из твоих вспышек гнева, ровностей, хитростей, тревожной лихорадки, что делает тебя таким трудным к вечеру, я хочу вырастить умиротворенное дерево. Не отсекая от тебя лишнее, потому что так я растоплю ледник и превращу тебя в гниющее болото, но собрав воедино, как семечко, которое, став деревом, хранит солнце. Я сею духовность, и она взрастит тебя, будто зерно, ничего в тебе не отвергая, не отсекая, не кастрируя, но преобразив тысячу твоих капризов и прихотей в цельность.

Я не говорю: «Приди ко мне, и я обрежу лишние ветки, вылеплю тебя, придам форму»; я говорю: «Приди ко мне, и ты родишь сам себя». Ты протянешь мне свою разноликую дробность — и я верну тебе тебя целостностью. Не я буду идти посредством тебя. Ты сампустишься в путь. Я помог, внеся в тебя соразмерность. Так вот, женщина эта горяча и озлоблена. О, как озлобляет душу жестокость душных ночей, когда без толку поворачиваешься с боку на бок, разбитый, оставленный, несчастный! Бестолковый дозорный разоренного города. Я знаю, ей не управиться со своим разладом. Она зовет сказителя и приказывает: «Пой!» Он поет. «Не то! — говорит она. — Убирайся!» И зовет другого, потом третьего. Она изнуряет их и мучает. В изнеможении будит подругу: «Тоска смертная! Сказками ее не развеять...»

И любовь — один, другой, третий... она обирает одного за другим. Она ищет в каждом себя цельной и сбывшейся, но как найдешь себя? Ты же не вещица, что затерялась среди множества других.

Но в тишине приду я. Я — незримый сшиватель. Я ничего не перемену в материи, даже не поменяю лоскуты местами, но верну каждому лоскуту значимость и смысл, я — незримый любовник, помогающий сбываться.

CLXXIX

Скрипка без скрипача, счастливая возможностью издавать звуки. Я видел: рад ребенок, трогая струны и удивляясь своим пальцам. Что мне до случайного звука струны: я хочу, чтобы ты обжил сам себя. Но что тебе обживать? Тебя нет, ты пренебрег становлением. Ты бредешь и пробуешь наугад то одну струну в себе, то другую, надеясь на необычайный звук. Тебя будоражит надежда набрести дорогой на стихотворение (как будто оно яблоко, которое можно подобрать) и, ухватив его, вернуться поэтом.

Но я хочу прочно укорененного семени, пусть трудится, вытягивая соки, питая свои стихи. Хочу прочной души, готовой расцвести любовью. Что искать в вечернем ветре лицо, которое пленит тебя? Есть ли в тебе душа, которую можно взять в плен?

Ты сказал, что чтишь любовь.

Говоришь, что чтишь справедливость. (Справедливость вообще, а не справедливые

поступки.) И во имя справедливости легко идешь на несправедливости. Чтишь милосердие — и без труда становишься жестоким, служа ему.

Чтишь свободу, но сажаешь в тюрьмы несогласных с тобой.

А я? Я знаю справедливых людей, но не справедливость. Свободных людей, но не свободу. Влюбленных, но не любовь. Точно так же, как не знаю ни красоты, ни счастья, а только счастливых людей и прекрасные творения.

Все начинается с дела — созидай, постигай, твори. Рано или поздно придет воздаяние.

Но те, что любят возлежать в парадной постели, желают заполучить в свое распоряжение главное, не преодолев дробности. Так курильщик гашиша за несколько су опьяняется творчеством.

Кто они, как не гулящие, отданные на волю всех ветров? Как снабдишь их любовью?

CLXXX

Я не люблю толстосумов, но принимаю их как ступеньку более высокую по сравнению с вонючей, грубой помойкой, как обещание, что мой город станет красивее. Помню, что противостояний нет, что от совершенства веет смертью. Принимаю плохих скульпторов, надеясь на появление хороших, дурной вкус как путь к хорошему, внутренние запреты как путь к свободе и толстосумов как путь к дальнейшему облагораживанию, но не ради них самих, не во имя их — принимаю ради тех, кого они способны кормить. Толстосум платит ваятелю за статую, он — житница насущного, где хороший поэт поклует зерна, необходимого для поддержания жизни. Зерно украдено у земледельца, украдено, потому что в обмен предложены стихи, но крестьянин посмеется над стихами; или статуя: ее он, возможно, не увидит, но, не будь грабителей-толстосумов, у меня не было бы и ваятелей. Что мне за дело, если житница приобрела обличье человека? Человек — путь, кладь, повозка.

Но ты продолжаешь упрекать меня, говоря, что дурно, если склад зерна станет складом стихов и статуй, закрытым для взгляда простых людей. Я отвечу: опасаясь ты напрасно, тщеславие склонит толстосумов выставлять напоказ свои сокровища, а что касается их дворцов, то они и так у всех на виду; но запомни и другое — облагораживает душу не использование готового, а творческое горение: я ведь рассказывал тебе о царстве, что прославилось умением танцевать, хотя ни толстосуму в серванте, ни простолюдину в музее не сохранить станцованный танец, танец не превратишь в запас.

Ты возмущаешься, что у девяти из десяти меценатов нет никакого вкуса, что они поощряют слякучих поэтов и бездарных скульпторов! Я отвечу: до их вкуса мне мало дела, но, если я хочу, чтобы дерево мое расцвело, я принимаю все дерево целиком — пусть стараются десять тысяч бездарных скульпторов, тогда появится и один стоящий. Значит, мне и нужно десять тысяч житниц с дурным вкусом и только одна, которая знает толк в вещах.

Но противостояний нет, а значит, нет и однозначности, море вызывает к жизни корабли и топит их. Толстосум может и не быть путем, повозкой и кладью, он может пожирать свой народ из одного-единственного наслаждения переваривать пищу. Желательно, чтобы море не топило корабли, принуждение не сковывало свободу, бездарность не уничтожала даровитости, толстосум не пожирал царство.

Тут ты интересуешься, каким образом я намереваюсь избавить нас от грозящей опасности.

Нет у меня мер. Ты не спрашиваешь, как управлять камнями, чтобы они сложились в храм. Храм рожают не камни — архитектор: он заронил зерно, оно — притянуло камни. Я должен жить, творить, проторить стихами дорогу к Господу, она поведет мой народ, сделает его усердным и заставит зерно в житницах и толстосумов служить Господней славе.

Не подумай, что я озабочусь спасением житницы только потому, что она обрела обличье человека. Не буду спасать и вонь, хоть она и присуща золотарю. Золотарь — путь, кладь, повозка. Не подумай, что мне интересно, за что люди возненавидели несхожее с ними. Люди — путь, кладь, повозка. Мне нет дела до славословия и лести одних, до ненависти или восторгов других, в каждом из людей я служу Господу. Я стою на склоне моей горы, я один, будто вебрь, недвижим, словно дерево, что в бегущей реке времени перерабатывает каменистое дно в пригоршню цветов с семенами и бросает их в ладони ветра, — с ними улетает в свет слепой пережной, — я вне призрачных противоречий в своем бессрочном изгнании, ни «за», ни «против», не с этими и не с теми, я над кровными узами, партиями, заговорщиками, я сражаюсь за дерево один против всего того, из чего составлено дерево, ради всего того, из чего составлено дерево, я-во имя дерева, и кто возразит мне?

CLXXXI

Вот и еще одна сложность: привести мой народ к свету истины я могу лишь при помощи дела, никак не слов. Жизнь должно строить, как храм, тогда и увидишь ее в лицо. Но что сделать из череды одинаковых дней, похожих на уложенные в ряд камни? Однако, состарившись, ты скажешь: «Я праздновал праздники моих отцов, выучил моих сыновей, потом женил их, и нескольких из них, взрослых и крепких, Господь взял к Себе, чтобы они и дальше трудились ради Его славы, и я похоронил их».

Дни твои — чудесные семена, что преобразуют землю в песнопение и протягивают его солнцу. Ты и зерно преображаешь в свет, светящийся в глазах любимой, когда она улыбается тебе, а потом молится. И когда я рассеваю семена, они сродни вечерней молитве. Я тот, кто идет, не спеша, и разбрасывает семена под взглядами звезд, но если я окажусь слеп или заносчив, как мне узнать свое предназначение? Из зерна вырастет колос. Колос преобразится в человеческое тело, из человека родится храм во славу Господа. И тогда я могу сказать об этом зерне, что в его силах собирать камни.

Для того чтобы земля стала храмом, достаточно одного крылатого семечка в ладони ветра.

CLXXXII

Я не начну с того, что все знаю и понимаю, я просто пойду и оставлю за собой след... Я принадлежу царству, оно мне, нас не разделить. Если я жду чего-то, то только от того, что заложил собственными руками, я — отец своих сыновей, они — плоть от моей плоти. Я не великодушен и не скуп, не жертвую собой и не подвигаю на жертвы — и если погибну на стенах города, то погибну за самого себя, ибо и я — часть моего города. Ибо естественно умереть из-за того, чем жил. Но ты пытаешься найти, словно товар в лавке, живую радость, которая дается только в вознаграждение. Ведь и город среди песков становится для тебя алым гранатом, потому что он — вознаграждение, и ты не устаешь наслаждаться его ароматной мякотью и с наслаждением приникаешь к нему. Ты бродишь по его рынкам, наслаждаясь пестрым развалом овощей, душистыми пирамидами мандаринов, что

тщательно выстроены, словно столицы посреди провинций; но притягательнее всего для тебя пряности, магической силой они равны бриллианту, раз щепотки сладкого перца довольно, чтобы привлечь издали вереницу парусных судов, каждый под своим флагом, чтобы заставить тебя вспомнить и морскую соль, и гудрон портов, и запах кожаных ремней, что оведал твои караваны посреди нескончаемого безводья, когда ты вел их к неведомому чуду — к морю. Поэтому я и говорю, что поэзию рынка пряностей ты создал сам, своими мозолями, ссадинами, мучениями собственной плоти.

Но что ты найдешь, если нет у тебя победы, которую ты празднуешь, если сжигаешь ты избыточные запасы масла?

Боже мой, да испив однажды воды из колодца Эль Ксур...

Да! Мне нужно праздничное торжество для того, чтобы вода сделалась песнопением...

Так вот я и буду идти. Я пускаюсь в путь без большой охоты, но моя житница — перевалочный пункт для зерна, и я уже не могу различить, для накопления она или для траты. Я хотел посидеть и насладиться покоем. Но оказалось, что нет покоя. Теперь я знаю, что ошиблись те, что надеялись на возможность почивать на лаврах прошлых побед, воображая, будто можно запереть и сделать запас из победы, тогда как победа с тобой, будто ветер: попробуй запереть его — ветра нет.

Безумец, любя журчанье воды, запирает ее в бутылку. Ах, Господи! Я стараюсь быть путем и повозкой. Езжу туда и обратно. Тржусь, как осел или лошадь, с упрямым терпением. Я не вижу ничего, кроме земли, которую перекапываю, а потом, завязав фартук, вижу только зерно, золотящееся у меня под руками, зерно, предназначенное для сева. Тебе, Господи, выдумывать весну и проращивать зерна во имя Твоей славы.

И вот я иду против течения. Я обрек себя на печальное хождение по кругу, словно дозорный, которому хочется спать, который мечтает о супе, но один раз в год бог дозорных шепчет ему: «Как прекрасен этот край... сколько верности в дозорном... как он зорек в своем бдении!» Тебе воздается за твои сто тысяч шагов по кругу. Я приду тебя навестить. Мои руки возьмут твоё оружие. Но вместе с твоими, как поддержка твоим. И ты ощутишь себя щитом, укрывающим все царство. И моими глазами с высоты стен ты увидишь красоту города. Ты, я, город станем единым целым. И любовь откроется тебе, как жгучая рана. И если костер обещает быть прекрасным, если красота его — достойная плата за твою жизнь, которую ты собирал полешко к полешку и сложил поленницу, я позволю тебе умереть.

CLXXXIII

Семя кедра может посмотреть на себя и сказать: «Как я прекрасно, полно сил и жизненной мощи! Я — уже кедр. Лучше кедра, ибо я его суть».

Но я, я говорю, что оно пока еще пустое место. Оно — повозка, кладь, путь. Оно — переключатель. Так пусть совершит переключение. Пусть, не торопясь, подведет землю к дереву. Пусть выстроит кедр во славу Господа. Я буду судить, каково оно, по его кроне.

И точно так же смотрят на себя люди: «Я такой или этакый...» Они кажутся себе сокровищницей. В сокровищницу, где сложены необыкновенные богатства, непременно ведет дверь. Достаточно найти ее на ощупь. Случай поможет, и хлынут потоком стихи. А ты, застыв в неподвижности, будешь слушать их голос.

Так поступает негритянский колдун. С видом знатока рвет он случайные травки, собирает что ни попадя. Складывает все в большой котел и варит безлунной ночью. Приговаривая слова, слова и снова слова. Он ждет, что от его котла изойдет незримая сила и опрокинет войско, что движется к его хижине. Но нет силы. Он вновь принимается за дело. Изменяет слова. Меняет травы. И желание его не пропадает втуне. Видел и я, как древесное тесто и черный отвар опрокидывали царство. Я имею в виду мою грамоту с объявлением войны. Я видел котлы, из которых вылетала победа. В них изготавливали порох. Видел, как слабое дрожанье воздуха, вышедшее из одной груди, поджигало мой народ, словно пожар. Так призывали к бунту. Видел я и расположенные особым порядком камни, благодаря им плыл корабль тишины.

Но я никогда не видел, чтобы что-то получилось из случайно собранных предметов, если бы не было объединившей их воедино человеческой души. Если от стихов я могу заплакать, то куча детских кубиков с буквами не выжала ни из кого ни одной слезы. Непроросшее семя — пустое место, сколько бы ни восхваляло себя за то дерево, на которое пока себя не потратило.

Конечно, ты стремишься к Господу. Но из того, кем ты можешь стать, совсем не следует, что сейчас ты уже таков. Всплески твоих желаний бесплодны. В знойный полдень семечко, даже если оно семя кедра, не даст мне тени.

Жестокие времена пробуждают спящего ангела. Пронзаясь сквозь нас, разрывает он свои пелены и слепит глаза светом! Ох уж эти наши тесные, скудные языки, пусть ангел вместит всех нас и сольет воедино! Пусть ангел возопит вместо нас. Возопит, призывая то, чего нет. Возопит, ненавидя бунты и мятежи. Возопит, требуя хлеба. Пусть преисполнит значимости жнецов, или жатву, или ветер, что гладит ниву, или любовь, или еще что-нибудь, нуждающееся в постепенности и неспешности.

Но ты, грабитель, отправляешься в веселый квартал и затеваешь сложную игру, надеясь заманить любовь и заставить ее отозваться, — любовь откликнется на простое прикосновение твоей жены к твоему плечу.

Согласен, лишь магия веками установленного уклада ведет тебя к поимке добычи — добычи, что ничем не похожа на ловушку, добычи вроде трепещущего счастьем сердца; северяне ловят ее раз в году, с помощью запаха смолы, украшенной елки и горящих свечек. Но я назову ложной магией, ленью и непоследовательностью помешивание в твоём котле случайных травок в надежде на чудо, которого ты не приготовил. Забыв сбыться, ты пытаешься назначить встречу с самим собой. Не надейся. Бронзовые двери затворились перед тобой.

CLXXXIV

Мне было грустно, печалили меня люди. Каждый занят собой и не знает, чего хотеть. Никакое добро тебе не в помощь, ибо ты попираешь его, желая возвыситься. Да, дерево ищет в земле соков, чтобы питаться ими и преобразовать в себя. Ты тоже питаешься. Но, кроме пищи, что может быть тебе в помощь? Гордость питается невещественным, и ты нанимаешь людей, чтобы они прославляли тебя. И они прославляют. Но хвала их тебе не в радость. Пушистые ковры украшают дом, и ты отправляешься за коврами в город. Ты набил коврами свой дом. Но и ковры тебе не в радость. Ты завидуешь соседу, у него не дом

— королевский дворец. И ты отнимаешь у соседа дворец. Ты в него вселился. Но того, что искал, не нашлось и во дворце. Есть должность, которой ты домогаешься. Ты пустился в

интриги. И вот она твоя. Но и должность похожа на необжитой дом. Для того чтобы дом стал счастливым, мало роскоши, удобства, безделушек, которые ты можешь разложить в нем, считая его своим. Да и что значит «своим»? Ничего, коль скоро ты однажды умрешь. Важно вовсе не то, чтобы был он твоим, этот дом, лучше был или хуже, важно, чтобы ты был из этого дома, только тогда он покажет тебе дорогу, и твоему дому будет принадлежать твоя династия, твой род. Радует не вещь — дорога, которую она тебе приоткрыла. Иначе как было бы просто хмурому бродяге-себялюбцу порадовать себя изобильной, роскошной жизнью, ходи себе туда и сюда перед королевским дворцом и тверди: «Я — король. Вот он, мой дворец». Но и для хозяина дворца дворец со всей его роскошью в эту минуту мало что значит. Он занимает сейчас одну только комнату. И бывает, прикрыл глаза, зачитался или заговорился, а значит, не видит и этой комнаты. Гулял по саду, он поворачивается к дворцу спиной и не видит ни колонн, ни арок. И все-таки он

— хозяин дворца, он гордится им и, возможно, чувствует себя облагороженным, он хранит его в своем сердце, весь целиком: и тишину оставленной залы совета, и мансарды, и погреба. Да, конечно, нищий может поиграть в замок — что, кроме внутреннего мира, отличает его от короля? Нищий может вообразить себя хозяином, важно расхаживать взад и вперед, словно бы облачив душу в мантию. Но что толку в таких играх? Выдуманные чувства подточат, истреплют мечту. Испугай я нищего кровавой резней, он забудет про игры, мантия упадет, вмиг развеется и туманное счастье, навеянное песней.

Вещное ты в самом деле можешь присвоить, телесное переварить. Но напрасно ты стараешься присвоить и переварить духовное. Честно говоря, невелики радости от пищеварения. Да и не можешь ты переварить ни дворца, ни серебряного кувшина, ни дружбы друга. Дворец останется дворцом, кувшин кувшином. А друзья будут продолжать свою жизнь.

Так вот я, я — механик: из нищего, что пытается походить на короля, приглядываясь к дворцу или к чему-то лучшему, чем дворец, к морю или лучшему, чем море, — к Млечному Пути, но ничего не в силах присвоить, окидывая мрачным взором пространство, — из него я высвобождаю подлинного короля, хотя на взгляд нищий остался нищим. Но ничего и не нужно менять на взгляд, потому что одинаковы между собой и король, и нищий, одинаковы, когда сидят у порога своего жилища мирным вечером, когда любят и когда оплакивают утраченную любовь. Но один из них, и возможно, тот, что здоровее, богаче, у кого больше и ума, и сердца, пойдет сегодня вечером топиться в море, и нужно удержать его. Так вот, чтобы из тебя вот такого, каков ты есть, высвободить иного, не нужно снабжать тебя чем-то зримым, вещным или как бы то ни было тебя изменять. Нужно обучить тебя языку, благодаря которому ты увидишь и в окружающем, и в себе самой такую нежданную, такую берущую за душу картину, что она завладеет тобой и поведет, — представь, ты мрачно сидишь перед кучей деревянных финтифлюшек, не зная, что с ними делать, и вдруг прихожу я и обучаю тебя игре в шахматы, — каким сложным, стройным, увлекательным языком начинаешь ты говорить.

Потому я и смотрю на людей в молчании моей любви, потому и не упрекаю их за тоску и скудность, они не виноваты, виновен скудный язык, который каждый из них освоил. Я знаю, победителя-короля, что вдыхает знойный ветер пустыни, отличает от нищего, что дышит тем же зноем, только язык, но я буду несправедлив, если, не обучив нищего новому языку, стану упрекать его за то, что он не дышит, как король, победой.

Я хочу дать тебе ключ, отпирающий пространство.

CLXXXV

И один, и другой, я вижу, толкуются возле житницы мира, возле собранного меда. Они похожи на чужаков в некрополе, для них все мертво — но город этот жив и чудесен, только огорожен высокими стенами, — а они похожи на иноземцев, что слушают стихи на неведомом языке, на равнодушных, что глядят мимо красавицы, за которую другой отдал бы жизнь, а этим и влюбиться лень...

Я научу вас укладу любви. Для любви необходимо божество. Я видел, как в схватке из-за колодца воин, что мог бы выжить, позволил ночной темноте задернуть свет жизни, потеряв лисенка, что долго жил его нежностью и сбежал, повинувшись голосу природы. Воины, мои воины, однообразен ваш роздых, однообразны тяготы. Чтобы отогреть вас, нужно, чтобы ночь стала ночью возвращения, пригорок таил надежду, сосед оказался долгожданным другом, барашек на углях — торжеством в честь дня рождения, слова — словами песнопений. Нужен красивый город, или музыка, или победа, чтобы вы преисполнились собственной значимости, нужно, чтобы я научил вас, словно детей, складывать из ваших камешков победоносный флот, нужна игра, чтобы ветер радости встрепенул вас, словно листву деревьев. Но вы в разладе с собой, в отсутствии. Пытаясь найти себя, вы обречены находить пустоту. Что вы, как не узел связей, привязанностей? Вот они истаяли, и вы смотрите на пустынный перекресток. Не на что надеяться, если любишь лишь самого себя. Я рассказывал тебе о храме. Камень служит не себе и не другим камням — они все вместе служат взлету души, что возвышает их и служит им. Может быть, ты сможешь жить любовной преданностью королю, если станешь королевским солдатом, ты и твои товарищи.

«Господи! — молил я. — Дай мне силу любить! Любовь — узловатый посох, что так в помощь при подъеме в гору. Помоги стать пастухом, чтобы смочь их вести».

Я расскажу тебе, каков смысл сокровища. Он незрим и ничего не имеет общего с вечностью. Видел и ты проходящего ввечеру странника. Он вошел себе в харчевню, поставил палку в угол и улыбнулся. Его окружили завсегдатаи: «Откуда путь держишь?» Ты понял, как могущественна улыбка?

Не пускайся в путь, ища поющую лагуну дальнего острова — готового тебе подарка от моря, подарка, обшитого пенным кружевом, ты не найдешь ее, если не превзошел морского уклада. Пусть даже я поставлю тебя на золото ее песчаной короны. Бездумно проснувшись на груди возлюбленной, ты обретешь одну возможность — позабыть любовь. Получая подарки, ты пойдешь от забвения к забвению, от смерти к смерти... О поющей лагуне ты мне скажешь: «Что в ней такого, чтобы стоило в ней поселиться и жить?» Но во имя любви к ней экипаж целого корабля готов пойти на смерть.

Спасти тебя не означает обогатить или облагодетельствовать тем, чем ты сможешь воспользоваться. Нет, спасти — значит подчинить тебя, словно любимой жене, правилам игры.

Как ощутимо мне одиночество, когда пустыне нечем меня занять. К чему песок, если не манит вдали недостижимый оазис, напоив все вокруг благоуханьем? На что безграничная даль горизонта, если со всех сторон не теснят племена варваров? На что ветер, если не шушукуются вдали враги? На что дробная вечность, если нет больше картины? Но мы сядем с тобой на песок. Я заговорю с тобой о пустыне, и ты увидишь такую вот картину, а не иную. Изменится все вокруг, и ты изменишься, ибо каждый зависим от своей Вселенной. Разве ты останешься прежним, если, сидя дома, узнаешь от меня, что дом твой тлеет? Или услышишь вдруг шаги возлюбленной? Или поймешь, что идет она не к тебе? Не говори мне, что я питаюсь иллюзиями, я не призываю тебя поверить, призываю увидеть. Что такое часть без целого? Камень вне храма? Оазис без пустыни? Если ты живешь в сердцевине острова и хочешь узнать, что он из себя представляет, нужен я, который бы рассказал тебе о море. И если живешь посреди наших песков, нужен я, чтобы рассказать тебе о далекой свадьбе, необычайном приключении, освобожденной пленнице, приближении врагов. Не говори мне,

что счастливая свадьба в дальнем шатре не бросила блик торжества и на твои пески, ибо кому известен предел ее могущества?

Я буду говорить с тобой, следуя принятым у тебя обычаям, сообразуясь со склонностями твоего сердца. Моим даром станет значимость окружающего тебя мира, зримая сквозь него дорога и желание пойти по ней. Я — король, я дарю тебе розовый куст, только он и может тебя облагородить, ибо я потребую от тебя розу. С этого мига ступень за ступенью строится лестница к твоей свободе. Ты начнешь копать землю, рыхлить ее, будешь вставать на заре, чтобы ее поливать. Ты будешь заинтересованно следить за тем, что рождается от твоих трудов, оберегать свой куст от тли и гусениц. Как взволнует тебя появившийся бутон, каким праздником станет раскрывшаяся роза. Ты сорвешь ее и протянешь мне. Я приму ее из твоих рук, ты застынешь в молчании. Что тебе делать с розой? Ты обменял ее на мою улыбку... Ты идешь домой, счастливый и просветленный улыбкой своего короля.

CLXXXVI

Они не чувствуют, в чем смысл времени. Хотят рвать цветы, которые еще не раскрылись, которые еще и не цветы вовсе. Или берут расцветший где-то вдалеке, роза эта для них не венец долгого, кропотливого обряда — а просто вещь, пригодная для купли-продажи. Спрашивается, много ли будет от нее радости?

А я? Я иду к далекому саду. В воздухе зыблется шлейф корабля, груженного спелыми лимонами, каравана с ношей мандаринов, благоуханного острова, что еще там, за морем.

Я не получаю готовое, мне дано лишь обещание. Сад, словно страна, что предстоит завоевать, юная жена, что впервые в твоих объятьях. Сад открывается мне. Там, за невысокой оградой, земля, родящая мандарины и лимоны, земля, по которой буду ходить я. Но ничто на земле не вечно, исчезает аромат мандаринов, лимонов, улыбка. Но я — знающий, для меня все исполнено значимости. Я жду часа сада, как дожидаются часа свадьбы.

А они не умеют ждать, вот почему у них нет доступа к поэзии, время для них враг, а оно омолаживает желания, украшает цветок, вынашивает яблоко. Они думают насладиться вещностью, но радуется только дорога, что увиделась сквозь нее. Я иду, иду и иду. И если попадаю в сад — на родину благоуханья, — присаживаюсь на скамейку. Смотрю. Вот листья, они опадают, вот цветы, они вянут. Я вижу: одно умирает, другое нарождается. Я ничего не оплакиваю. Я — само бдение посреди открытого моря. Нет, на терпение это не похоже, потому что у меня нет цели, — скорее, это радость ощущать себя в пути. Мы идем с моим садом от цветов к плодам. От плодов к семенам. От семян к цветам будущего года. Меня не вводит в заблуждение вещность. Ей не дано быть божеством. Я беру лопату и грабли, творя обряд сада, и чувствую: я священнодействую. Но те, что не принимают время в расчет, вечно сражаются с ним. Ребенок для них вещь, они не ощущают, что он совершенствуется (он — путь к Господу, и поставить предел этому пути невозможно). А им хотелось бы малыша навек сохранить малышом, будто в нем скоплено про запас детство. Я, повстречавшись с ребенком, вижу, как силится он улыбнуться, краснеет, как хочется ему убежать. Я знаю, что пробивается в нем. И кладу ему руку на лоб, словно бы умиротворяя волнение моря.

Они говорят: «Я вот такой. Такой и этакий. Есть у меня то и это». Они никогда не скажут: «Я — плотник, торю дорогу дереву, что обручилось с морем. Я иду от праздника к празднику. Я — отец, я родил детей и рожу еще, жена моя не бесплодна. Я — садовник, служу весне, ей в помощь мои лопата и грабли. Я стремлюсь к...» Но они стоят на месте. Нет корабля, нет и смерти как мирной гавани.

В голод они скажут тебе: «Мне нечего есть. У меня подвело живот. Подвело животы и у моих соседей. Какая там душа! У меня сосет под ложечкой». Они знать не знают, что страдание сопутствует выздоровлению, или выяснению отношений со смертью, или перерождению, или необходимости преодолеть неразрешимое противоречие. Страдание для них не перерождение, не преодоление, не будущее выздоровление, не смертная скорбь. Оно для них неуют, неудобство, и только. И радость у них — скудная, минутная радость сытости, они набили живот, удовлетворили желание, другой они не знают, им неизвестна просторная радость странника, узнавшего вдруг, что он — путь, кладь, повозка для вожатого всех вожатых.

Шаг за шагом движется караван, но не в монотонности пути его суть. Ведь, подтягивая веревки, закрепляя готовый развязаться узел, подгоняя ленивых, раскидывая для ночевки лагерь, добывая воду для верблюдов, ты творишь обряд любви, приуготовляя себя к осененному зеленью пальм оазису, что увенчает твое странствие, приуготовляя себя к сладостному знакомству с городом, что начнется для тебя с лачужек бедной окраины, но и они осияны светом, ибо город — твое божество.

Нет предела, за которым иссякла бы мощь твоего божества. Существовать оно для тебя начинает с камней и колючек. Камни, колючки — священная утварь, первые ступени ведущей вверх лестницы. Лестницы в спальню любимой жены. Строчки стихотворения. Травы волшебного зелья. Ибо потом своим и ободранными коленями ты добываешь город. И видишь: камни, колючки — уже город, как яблоко — это солнце, вмятины в глине — толчки сердца ваятеля. Ты знаешь, пройдет месяц, и дорожный кремень обратится в мрамор, колючки — в розы, сушь — в родники. Как остановиться в творении, если каждый шаг твой созидает город? Я всегда говорю моим погонщикам, когда мне кажется, что они устали: «Вы — камневозы, вы строите город с голубыми прудами, вы — садовники, сажаете мандариновые деревья, они уже оранжевые от мандаринов». Я говорю им: «Вы творите обряд. Потихоньку будите к жизни несуществующий город. Из песка, что у вас под руками, лепите нежных, стройных девушек. Прислушайтесь, ваши камни и колючки благоухают амброй, как возлюбленная».

Но эти замечают только насущное. Близорукие скудоумцы, они видят гвоздь в доске — не корабль. В караване, идущем по пустыне, видят шаг, шаг и еще шаг. Любая женщина для них шлюха, потому что их минутная прихоть хочет заполучить ее на дармовщинку, но к возлюбленной ты идешь по камням, продираясь сквозь колючки, ее обещают тебе пальмы, тихо-тихо стучишь ты к ней в дверь. И тебя, что пришел из такого трудного далека, встречают как чудо, ты похож на воскресшего из мертвых.

Твой долгий путь преображает женщину в расцветшую розу, пыль дней оборачивается каплями росы, каждая одинокая ночь прибавляет ей по лепестку, и вот она переполнена благоуханием, и ты открываешь в ней всю юность мира. Только так возникает любовь. Благодарность газелей получают только те, что набрались терпения их приручить.

Я ненавижу в них разумность, она пригодна для счетоводов. Они только и делают, что считают ту мелочь, которую забрала у них пролетевшая секунда. Можно жить, бесконечно идя вдоль крепостной стены, и видеть один камень, второй, третий. Но если ты ощутил существо времени, ты не упрешься ни в этот камень, ни в другой, не будешь стараться получить причитающееся тебе от камня — ты выйдешь в город.

CLXXXVII

Я — обживающий. Вы голы на ледяной земле. Скорбный народ мой, затерянный в ночи,

цвель на трещиноватой коре склона, что задержал каплю влаги, спускаясь в пустыню.

Я сказал тебе: «Вот Орион, вот Большая Медведица, Полярная звезда». И ты запомнил свои звезды, между собой вы говорили друг другу: «Вот Большая Медведица, Орион, Полярная звезда», говорили: «Неделю вела меня Большая Медведица», и понимали друг друга, а значит, жили в обжитом пространстве.

Обжитым был и замок моего отца. «Сбегай в подвал за инжиром», — приказывал он мне, мальчишке. И я сразу ощущал сладкий запах спелого инжира и мчался со всех ног.

Вот я сказал тебе «Полярная звезда», и внутри у тебя словно бы повернулась стрелка компаса, ты различил бряцанье сабель северного племени.

И если я предназначил восточное плоскогорье для празднеств, южные солончаки для казней, а отвоеванную пальмовую рощу для отдыха караванов — то ты уже живешь у себя в доме.

Ты хочешь иметь колодец, чтобы он служил твоим нуждам, — тебе нужна вода. Но присутствие воды куда менее значимо, чем ее отсутствие. Кто не умирал от жажды, не родился к жизни.

Лучшим жителем будет тот, кто иссыхал от пустынного безводья, мечтая о знакомом колодце, слыша в горячечном бреду скрип ворота, а не тот, кто всегда пил вдоволь из водопровода и не подозревает, как сладка колодезная вода, к которой ведут звезды.

Я чту жажду не потому, что она открыла тебе телесную необходимость воды, а потому, что принудила тебя читать звездную карту, ловить ветер, присматриваться к следам врага на песке.

Пойми главное. Речь не о том, чтобы лишениями и надругательством над жизнью заставить тебя ценить жизнь дороже. Просто, лишив тебя воды, я делаю главным в тебе желудок. Но я хочу, чтобы жажда и возможность утолить ее приобщили тебя к священнодействию: ты идешь при свете звезд, скрипит ржавый ворот, и его песня преображает твою дорогу в молитвословие: вода — необходимость для желудка, но она питает и душу.

Ты не вол в хлеву. Этот хлев можно переменить на другой, та же кормушка, та же подстилка из соломы. Волу в нем не лучше, но и не хуже. Но твоя пища должна питать не только тело, но и душу. И если ты умираешь с голоду, а друг распахнул перед тобой дверь, подтолкнул к столу, налил в кувшин молока и разломил хлеб, ты впиваешь его улыбку, еда становится для тебя священнодействием. Конечно же ты насытился, но еще и расцвел благодарностью за человеческое добросердечие.

Я хочу, чтобы хлеб был дружеством, а молоко дышало теплом родственности. Хочу, чтобы ячменная мука пахла празднеством жатвы. Вода наполнилась пением ворота или светом звезд.

Я люблю своих воинов, и мне нравится, когда они, будто намагниченная стрелка компаса, тянутся к дому. Не из стремления обделить их теплом в походе я дорожу их привязанностью к жене, не потому, что стою за непорочность, — мне дорога обжитость пространства, они знают сердцем, где север, где юг, где восток, где запад, они знают, по крайней мере, хоть одну звезду — звезду, что ведет к любимой.

Но если вся земля словно веселый квартал, где, захотев утолить любовную жажду, можно стукнуть в любую дверь, где любая женщина тебе по вкусу и хороши подряд все дороги, ты побредешь на авось по земной пустыне и для жизни тебе не сыщется места.

Мой отец ведь кормил, поил и не отказывал в девушках берберам, но они превратились в несчастных волов.

Но я — обживающий пространства, и ты не коснешься своей невесты раньше чем будет отпразднована свадьба, чтобы постель была победой. Да, случается от любви умирают, если нет возможности соединиться, но смерть во имя любви

— та же любовь, и если из сочувствия к влюбленным я избавляю их от препятствия, крепостных стен и установленного уклада, благодаря которым вытаскивается лицо любви, я не помогаю им любить, я даю им право позабыть о любви.

Убирать на пути препятствия такое же безумство, как уничтожать бриллианты, пожалев тех, у кого их не будет; жестокость желания не требует состраданий. Если им нужно, чтобы женщина была любимой, я должен спасти их любовь.

Я — обживающий. Я — намагниченный полюс. Семечко дерева — молчаливо направляющее вверх ствол, протягивающее корни и ветки, растящее цветы и плоды, такие, а не другие, такое царство, а не другое, такую любовь, а не другую. Я ращу любовь так не из желания кого-то обделить или кем-то пренебречь, а потому, что она не случайная находка, словно вещь среди прочих вещей, она — венец священнодействия, плод уклада, суть ее сродни сути дерева, что вбирает в себя и преодолевает дробность. Я — осмысленность каждой вещи. Я — часовня, я — суть камней.

CLXXXVIII

На что понадеяться, если тебе не видно света, излучаемого не вещью, а смыслом? Я вижу, ты грустно застыл у двери.

— Что с тобой?

Ты не знаешь и принимаешься жаловаться на жизнь.

— Жизнь меня больше не радует. Спит жена, отдыхает осел, зреет зерно. Тупое ожидание мне в тягость, тоскливо мне жить и скучно.

Ребенок, растерявший игрушки, не умеющий видеть незримое. Я сажусь возле тебя и учу. Печалит тебя утраченное время, снедает тебя тоска собственной неосуществленности.

Часто говорят: «Нужна цель». Хорошо, что ты плывешь, ты нарабатываешь себе берег. скрипучий ворот нарабатывает тебе воду для питья. Копая землю, нарабатываешь золото нивы. Любя дом, жену, нарабатываешь детские улыбки. Медленно расшивается золотой ниткой наряд, нарабатывая праздник. Но что нарабатается, если ворот ты крутанул ради скрипа, сшил одежду, чтобы сносить, и любовью занимался, чтобы позаниматься любовью? Что бы ты ни делал, все изнашивается очень быстро, ничего не вернув тебе взамен.

Ты как будто попал на каторгу, куда я отправляю нелюдь. Там, на каторге, долбят землю только для того, чтобы долбить. Один удар заступом, еще один, и еще, и еще. От долбежки в людях ничего не меняется. Они плывут и не видят берега, очерчивая круг за кругом. Они ничего не нарабатывают, они не путь, не кладь, не повозка, увлекаемая к неведомому свету. Но пусть будет над тобой то же палящее солнце, перед тобой — та же тяжкая дорога, на лбу

— тот же пот, но раз в году ты будешь находить чистой воды алмаз, все изменилось, сияющий свет стал твоим божеством. Алмаз придал смысл твоей тяжелой работе заступом. И ты уже умиротворен, словно дерево, тебе открыт доступ к смыслу жизни, который состоит в том, чтобы подниматься тебе со ступени на ступень все ближе к Господней славе.

Ты перекапываешь землю ради зерна, шьешь ради праздника и долбишь камень ради алмаза, а те, что кажутся тебе счастливыми, богаче тебя только знанием о Божественном узле, что связует все воедино.

Тебе никогда не узнать покоя, если ты ничего не преобразишь на свой лад. Если не станешь путем, кладью, повозкой. Только так бежит кровь по жилам царства. Но ты захотел, чтобы чтили тебя самого. Ты стараешься урвать у мира частичку, которая тебе послужила бы. Но что ты найдешь, если нет и тебя? Добытые тобой вещи ты бросаешь беспорядочной кучей в помойную яму.

Ты ждешь, чтобы пришло к тебе что-то со стороны, чтобы явился ангел и оказался тобой. Но что даст тебе этот двойник? К тебе словно бы заглянет сосед, и только. Однако я вижу, не похожи между собой спешащий к больному ребенку, торопящийся к любимой и тот, кто идет в пустой, холодный дом, хотя никак их не отличишь на взгляд; поэтому я и назначаю встречу с собой, вижу гавань за пределом вещности, значимой только для взгляда, и тогда все меняется. Я стараюсь быть семенем, вырастающим из работы, человеком, вырастающим из ребенка, водой, добытой из пустыни, алмазом, преодолевшим капли пота.

Я понуждаю тебя строить в себе свой дом. Когда дом будет готов, в нем появится житель, что оживит твое сердце.

CLXXXIX

Народ мой возлюбленный — вот она, мука, что вошла мне в сердце, когда я отдыхал на горе, похожей на каменную мантию. Пожар вдалеке, но я вижу пламя, чувствую запах гари.

«Куда идут они? И куда я должен направить их, Господи? Если я буду распоряжаться ими, они останутся такими, какие есть. Распоряжаясь, растишь упрямство в том, кем распоряжаешься, — другого я не видел, Господи! Но как поступить мне с семечком, если из него не растет дерево? Как сладить с рекой, если не течет она к морю? С улыбкой, Господи, если ею не начинается любовь?»

Что мне делать с моим народом?

Ах, Господи! Из поколения в поколение жили они в любви. Складывали сказания. Строили дома, украшали их пушистыми коврами. Продлевали свой род. Растили детей, а сработавшиеся поколения укладывали в корзины, что ты приготовил для своей жатвы, Господи. Они собирались вместе в дни праздников. Молились. Пели. Бежали. И отдыхали, добжевав. Ладони их твердели от мозолей. Глаза смотрели, радовались, а потом наполнялись тьмой. Знали они и ненависть. Считались друг с другом. Ссорились. Изгоняли, забросав камнями, князей, рожденных их же племенем. Занимали их место, изгоняли друг друга. Ах, Господи! Как похожа была их ненависть, приговоры и пытки на страшный и мрачный обряд. Он не страшил меня, Господи, с моей вершины он похож был на стоны и скрип корабельных досок. Или на родовые муки. Господи! И деревья, когда растут, теснят и душат друг друга, прорываясь к солнцу. А солнце, оно вытягивает из земли весну и хвалу себе создает деревьями. Лес состоит из деревьев, хотя они враждуют друг с другом. И ветер играет на лесной арфе. Ах, Господи, близорукому скудоумцу ничего не открыт в этих распрях. Сейчас они легли отдыхать. Отложены до будущего лживые речи, притязания, счеты. Задремала ревность. Господи! Я оглядываю невозделанные ими земли и охвачен смятением, словно в преддверии истины, она еще не открылась мне, но, чтобы она была, я должен ее постичь.

Господи, вот художник, он пишет, но что знают его пальцы, его уши, волосы? Щиколотка,

бедро, рука? Ничего. Творение, что сбывается, понуждает их двигаться и пламенеет, рождаясь от противоречивых усилий; близорукий скудоумец видит неслаженные движения, размахивание кистью, пятна краски. Что знают кузнец, плотник, о корабле? Ничего не знает и мой народ, если я начну расспрашивать каждого по отдельности. Что знает богатый скупец толстосум, министр, палач и пастух? Но если и есть кто-то среди них, кто видит дальше других, кто ведет все стадо на водопой, — то, верно, та, что рожает, или тот, что приготовился к смерти, но никак не книжник, не крюкотвор с испачканными чернилами пальцами, им неведома медлительность вызревания. Главное происходит в стороне от них, однако плотник, обстругавший доски, видит:

доски стали палубой — и вырастает в собственных глазах.

Отведя пелену низких страстей, я вижу: скупец нажил богатство и родовое гнездо. Министр — взяточник, ничтожество, обирала, — нажившийся на чужом добре, стал меценатом, все отдает золотых дел мастерам и резчикам по кости, и они режут слоновую кость, чеканят золотые украшения. Тот, кто несправедливо казнил, породил горькую страсть к истине и справедливости. Тот, кто разбросал камни храма, разбередил мечту непременно построить храм.

Я видел, как, попирая людские страсти, воздымало храмы презрение к насущному. Видел, как рабов-камневозов хлестали бичи надсмотрщиков. Видел, как старший над рабами крал причитающуюся им мзду. Ах, Господи, будь я близорукий скудоумец, я бы не увидел ничего, кроме подлости, глупости и алчности. Но с моей горы я вижу: поднимается храм и осиян лучами».

СХС Я узнал, что рисковать своей жизнью и согласиться на смерть — не одно и то же. Я встречал юнцов, которые с презрительным высокомерием относились к смерти. И всегда находились женщины, что восхищались ими. Ты вернулся с войны, тебе по вкусу восторженное сияние женских глаз. Принимая испытание железом, ты ставишь на кон собственное мужество, мужество — единственное, чем ты располагаешь и чем рискуешь. Так играют в кости, рискуя всем своим достоянием, — оно где-то далеко, но сделало маленькие игральные кубики драгоценными; ты зажал их в руке и с восторгом безумия швырнул на стол, будто раскинул равнины, пастбища и пашни твоего поместья.

Человеку приятно вернуться вспять и погреться в лучах своей победы, плечи ему отягощает завоеванное оружие, и, возможно, расцвел на нем кровавый цветок раны. Несколько минут он излучает свет. Да, несколько минут, ибо жить победой невозможно.

И стало быть, смертельный риск не что иное, как страсть к жизни. Любовь к опасности — любовь жить. А победа — это риск потерпеть поражение, который ты преодолел своей творческой силой, ведь рискует и тот, кто управляет норовистой лошадкой и заставляет себя оказаться укротителем.

Но я хочу от тебя большего, солдат призван питать царство, и одно дело

— пойти на смертельный риск, другое — согласиться на смерть.

Я хочу, чтобы ты стал веткой дерева и был у него в подчинении. Хочу, чтобы ты гордился своим деревом.

Смертельный риск — подарок, который ты даришь только себе. Тебе нравится дышать полной грудью, слепить девушек блеском своей победы. Согласившись рисковать собой, ты непременно расскажешь, как это было, — риск для тебя товар, и ты хочешь обменять его. Так бахвалятся мои капралы. Восхваляют они только самих себя.

Одно дело — поставить на кон свое достояние, взять его все целиком и зажать в руке,

ощутимое, вещественное, такое в эту секунду зримое — с копнами соломы, убранном в амбары зерном, волами на пастбище и деревьями, выдыхающими горьковатый дым, свидетельство живой жизни, и совсем другое — ощутить как ненужные и отказаться от тех же амбаров, волов, деревень и продолжать жить дальше. Одно дело, рискуя своим достоинством, придать ему весу и ощутить всю его драгоценность, другое — устранить его, как устраняет одежду купальщик, не глядя, скинул он сандалии и торопится слиться с морем.

Ты, чтобы слиться с морем, должен умереть.

Ткать и ткать полотно своей жизни подобно тем древним старухам, что ослепли, расшивая церковные пелены, которыми они одели своего Господа. Они сами — одеяние Господа. И чудом их рук льняная нить преобразилась в молитву.

Ты — путь, кладь, повозка, ты жив только тем, что преображаешь. Дерево преображает землю в ветви. Пчела — цветы в мед. Твои труды — черную землю в золотое зарево зерен.

Мне важно, чтобы твой Бог стал для тебя явственной хлеба, который ты кладешь себе в рот, чтобы, чувствуя Его рядом, ты томился желанием слиться с ним целиком, чтобы брак ваш был браком по любви.

Но ты все порушил, разметал, растратил, ты забыл, что значит сотворить праздник, и решил, что сделался богаче, день за днем истребляя готовое. И случилось это, потому что ты не понял, что же такое время. Набежали историки, логики, критики. Они ощупали, перетрогали вещи, предметы, факты и, не умея видеть сквозь них, посоветовали тебе наслаждаться ими. И ты отказался от поста, без которого нет праздничного пиршества. Отказался пожертвовать частью зерна, но только жертва, сожженная в день празднества, окружает его сияющим ореолом.

Ты погряз в выгадывании по мелочи и не догадываешься, что миг может вместить в себя целую жизнь.

СХСІ

И вот я стал размышлять о согласии принять смерть. Логики, историки, критики отдали первенство материалу, из которого будет строиться часовня (ты поверил, хотя красивый серебряный кувшин больше скажет уму и сердцу, чем из чистого золота некрасивый). Не ведая, что утолит тебя, ты вообразил, будто счастье в обладании, и теперь изнемогаешь, стаскивая в кучу камни, что могли бы стать прекрасной часовней и одарить тебя счастьем. Ибо достаточно и одного-единственного камня, чтобы согреть душу и сердце, но на камне должен быть лик твоего божества.

Ты похож на человека, что, не умея играть в шахматы, копит золотые и слоновой кости фигурки, смотрит на них и скучает, зато другой, кому божественные правила открыли тонкость игры, наслаждается ее блеском, двигая грубые чурочки. Пристрастие к счету не позволяет тебе оторваться от вещей, ты не видишь картины, которая из них составлена и значима прежде всего. Потому ты и привязан к жизни как к накапливаемой толще дней, а будь твой храм строен и чист линиями, неужели ты сокрушался бы, что на него пошло так мало камней?

Не стремись удивить меня количеством, не говори, сколько камней потрачено на твой дом, сколько пастбищ и голов скота в твоём поместье, сколько драгоценностей у твоей жены, сколько у тебя любовниц. Сколько — меня не интересует. Я хочу знать, какой ты выстроил

дом, усердны ли работники твоего поместья и радостен ли их ужин после дневных трудов. Я хочу знать, какую любовь ты пестуешь и на что, более долговечное, чем ты сам, тратишь свою жизнь. Я хочу, чтобы ты сбылся. Хочу судить о тебе по делам твоих рук, а не по ненужной делу вещности, которая так возвышает тебя в собственных глазах.

Заговорив о смерти, ты вспомнил об инстинкте самосохранения. Мы инстинктивно боимся смерти, и ты неоднократно наблюдал, как любое животное стремится выжить во что бы то ни стало. «Стремление выжить, — твердишь ты мне, — берет верх над любым другим стремлением. Дар жизни бесценен, и мы спасем его любыми средствами». Если так, то для тебя естественно стать героем, защищая свою жизнь. Ты будешь мужественным в осаде, завоевании, грабеже. Тебе вскружит голову хмель силы в тот миг, когда поставят на кон твою жизнь. Но ты никогда не согласишься умереть незаметно, безмолвно, унеся с собой тайну, полученную как дар.

Однако посмотри, отец бросился в морскую бездну, потому что в ней тонет его сын, личико его мелькает время от времени на поверхности, бледное, словно луна в просвете облаков. Я спрошу тебя: «Что же, над этим человеком инстинкт самосохранения не властен?»

— Властен, — ответишь ты. — Но инстинкт — вещь сложная. Действует он и в отце, и в сыне. И в военном отряде, который посылают на смерть. Но отец привязан к сыну...

Ответ твой путан, изобилует словами. Но вот что скажу тебе я:

— Конечно, инстинкт самосохранения существует. Но он только часть инстинкта более могущественного. Главное в нас — инстинктивное желание жить вечно. Тот, кто живет телесной жизнью, печется о теле. Тот, кто жив любовью к ребенку, печется о ребенке, продлевая им свою жизнь. Тот, кто жив любовью к Богу, ищет вечности, поднимаясь к Нему. Жаждешь ты не неведомого

— жаждешь обрести то, что значимей, прочнее и долговечнее тебя, и для каждого самым значимым становится что-то свое. Каждый любит что-то свое и по-своему. И я могу обменять твою жизнь на то, что для тебя любимей и значимей, ни в чем тебя не обездолив.

СХСII

Ибо что ты знаешь о счастье, полагая, будто дерево живет ради самого себя — дерева в плотном кольце коры? Нет, дерево — источник крылатых семян, от поколения к поколению оно преобразуется и становится все краше. Оно двигается, но не так, как ты, — как пожар по воле ветра. Ты сажаешь кедр на вершине горы, и вот твой кедровый лес век за веком разбредается в разные стороны.

Чем считает себя дерево? Корнями, стволом, листвой. Ему кажется, ради себя ветвит оно свои корни, но оно — путь и повозка. С его помощью земля приникает к солнечному меду, пускает почки, раскрывает цветы, растит семена, а семя переносит жизнь, словно огонь, незримый до поры до времени.

Если я засеваю ветер, я пускаю по земле пожар. Но ты медленно переводишь взгляд. Видишь неподвижную листву, мощь крепких веток, и дерево кажется тебе оседлым, живущим самим собой, созревающим внутри себя. Близорукий скудоумец, ты видишь все наоборот. Отойди на несколько шагов и прибавь скорости маятнику дней, ты увидишь, как семечко вспыхивает языком пламени, от него загорается другое, и бежит огонь, высвобождая из шелухи будущий лес, ибо лес в тишине пламенеет. Ты уже не видишь дерева — этого, того. Ты понимаешь,

что корни не служат ни тому, ни этому, а только пожирающему и созидающему огню, понимаешь, что густая сень листвы, одевшая твою гору, — сама земля, оплодотворенная солнцем. И селятся зайцы на лужайках, и гнездятся птицы на ветках. И ты уже не знаешь, кому из них служат корни. Они — ступенька и переход. Почему же ты считаешь дерево тем, чем не считаешь листву? Ты никогда не скажешь: «Семя живет собой. Оно завершено. Стебель живет собой. Он завершен. Цветок, в который он преобразуется, живет собой, он завершен. Семечко, которое он выносил, живет собой, оно завершено». И еще раз ты повторишь все то же о новой поросли, что упрямо пробивается сквозь камни. На чем ты остановишься? Где завершение? Я вижу только, как земля тянется и тянется к солнцу.

Незавершен и человек, незавершен мой народ, и я не знаю, куда он идет. Закрываются амбары, запираются двери с приходом ночи. Спят дети, спят старики, старухи, что я знаю об их пути? Так трудно нащупать его и обозначить в переходе от лета к осени, — прибавилась еще одна морщинка у старухи, несколько слов у ребенка, чуть-чуть изменилась улыбка. Совершенство и несовершенство человека осталось неизменным. И все-таки я вижу, оглядывая поколения, что ты, мой народ, — мало-помалу пробуждаешься и узнаешь сам себя.

Разумеется, каждый думает о своем. Так оно и должно быть. Важно, чтобы чеканщик сосредоточился на кувшине. Геометр на геометрии. Король на управлении. Ибо каждый — это возможность двигаться дальше. У кузнецов свой ритм, своя песня, у плотников своя, хотя те и другие трудятся, строя корабль. Но корабль с надутыми парусами им должна подарить поэзия. Они не разлюбят ни гвоздей, ни досок, напротив, оценят их еще дороже, если поймут, что сбудутся и завершатся в крылатом лебеде, питаемом морским ветром.

Самая высокая твоя цель не мешает тебе подметать поутру комнату, бросить в землю еще одну горсть ячменя после стольких уже посеянных, учить сына еще одному слову, еще одной молитве, делать еще и эту насущную работу, вот и воздушный корабль поможет тебе не пренебрегать привычными досками и гвоздями, а любить их. Я хочу, чтобы ты ощутил: еда, работа, молитва, ребенок, праздник в домашнем кругу, вещи, которыми украшаешь дом, — только путь, только повозка. Настаивая на том, что они — возможность, средство, я поощряю в тебе не пренебрежение к ним, а любовь: повороты дороги, запах шиповника, камни и спуски дороже тебе и роднее, если они не загадочный лабиринт, неведомый, неуютный, а знакомая, радостная дорога к морю.

Я запрещаю тебе ворчать: «На что мне подметать, тащить эту тяжесть, кормить ребенка, читать книгу?» Как нет плохого в мечтах моего дозорного об ужине, а не о царстве, так нет плохого и в постоянном приуготовлении себя к озарению — визиту, о котором не предупреждают заранее, но на миг оно обостряет твой взор и слух, преобразив скучное подметание в служение высокому, смысл которого не уместится в слове.

Каждое биение твоего сердца, страдание, желание, вечерняя печаль, еда и работа, улыбка и усталость в чередѣ дней, пробуждение и сладкое погружение в сон имеют смысл только благодаря божеству, что мерцает тебе за ними.

Вы ничего не найдете, если превратитесь в оседлых, веря, будто сбылись и завершены, сами запас среди накопленных запасов. Нет на земле запаса — тот, кто перестал расти, умирает.

СХСIII

Равенство губительно. Ты говоришь: «Разделите эту жемчужину Каждый из ловцов мог найти ее».

И море перестало быть чудом, сокровищницей тайн, предуготовленных судьбой. Погружение в воду уже не магический обряд сродни священному паломничеству, не поиски таинственной черной жемчужины, что посылается раз в столетие.

Да, я требую: урезай себя на протяжении года, экономь, собирая и копя припас к празднику, но дело совсем не в том, что праздник — главное, праздник длится считанные секунды, праздник — взрыв, победа, улыбка князя; дело в том, чтобы, готовясь к нему, предвкушая, вспоминая о предыдущем, ты оживил, одухотворил каждый день. Хороша только та дорога, что вывела к морю. Опасаясь взрыва, ты роешь убежище, но смысл не в убежище, бьются не ради битвы — ради победы, и целый год ты готовишь дом к посещению князя. Я не хочу, чтобы ты равнял себя с тем или с другим во имя умозрительной справедливости, тебе не стать равным ни старику, ни подростку, равенство всегда прихрамывает. Дележка жемчужины никого ничем не одарит. Прошу откажись от причитающейся тебе ничтожной доли, и пусть тот, кому достанется жемчужина целиком, вернется домой, сияя улыбкой, ответит на вопрос жены: «Догадайся!» — томя ее любопытством и наслаждаясь тем счастьем, которым одарит ее, едва только разожмет кулак...

Погляди, все стали богаче. Поверь, в ловцы жемчуга идут не только из желания заработать. Легенды о любви, что рассказывают тебе мои сказители, приучают тебя любить любовь. Легенды прославляют красоту и в каждой женщине появляется что-то от красавицы. Ибо если существует на свете хоть одна женщина, ради любви которой стоит умереть, облагорожены и окутаны прелестью все женщины на свете, в каждой может таиться необычайное сокровище, будто черная жемчужина в море.

К каждой ты будешь подходить с бьющимся сердцем, будто ловец жемчуга к коралловой лагуне, в которую предстоит погрузиться.

Конечно, будни кажутся тебе несправедливостью по сравнению с праздником, ожиданием которого ты живешь. Но поверь, будущий праздник окутывает будние дни особым ароматом, и ты становишься богаче. Конечно, ты несправедлив к себе, отказавшись от доли в жемчужине соседа, но его находка наделяет волшебной притягательностью твои будущие поиски — так озаряет пустыню серебро родника, далекого оазиса, о котором я тебе говорил.

Ах! Твоя справедливость хочет, чтобы один день походил на другой, один человек на другого. Если твоя жена кричит слишком громко, ты можешь развестись с ней, чтобы взять другую, которая не будет кричать. Ибо ты — шкаф для подарков и пока еще не получил своего. Но я хочу длить и длить любовь. Любовь существует только там, где выбор бесповоротен, ибо для воплощения нужны границы. Радость засады, охоты, ловли иная, чем радость любви. Ты осуществился как охотник. Женщина для тебя добыча. Вот почему попав тебе в руки, она больше ничего для тебя не значит, — ты ее уже поймал. Что для поэта написанное стихотворение? Значимо для него еще ненаписанное. Но если я запер двери дома за новобрачными, им придется искать свой путь. Твое назначение теперь — быть мужем. Назначение твоей возлюбленной — быть женой. Я наполняю это слово весомым смыслом, и ты говоришь: «Моя жена...» — чувствуя всем сердцем его значимость. Ты откроешь для себя иные радости. И иные страдания тоже — как без этого? Твои страдания — залог твоих радостей. Ради своей жены ты можешь умереть, потому что она — это ты, так же как ты — это она. Из-за добычи ты умирать не станешь. И верность твоя — верность верующего, а не усталость охотника. От верности из усталости веет скукой — в ней нет света.

Конечно, есть ловцы, которые так никогда и не выловили жемчужины. Есть мужья, которые обретут только горечь в постели, которую для себя выбрали. Но и нищета неудачников — залог волшебного свечения моря. Оно драгоценно для всех, и для тех, кто ничего не нашел, тоже. Несчастье несчастливых в браке

— необходимое условие волшебного свечения любви, а оно драгоценно для всех, и для тех,

кто несчастлив, тоже. Ибо вдохновение, горечь и тоска живущих в любви драгоценной тупости вола, для которого любви не существует. Разве, мучаясь от жажды в пустыне, ты хочешь забыть о воде? Нет, ты хочешь представлять ее и сожалеть о ней.

Вот она, тайна, которую мне открыли. Есть и другая: всегда получаешь то, ради чего старался. Ты можешь бороться «за», можешь — «против». Но если воюешь из ненависти к божествам своего врага, то будешь стремиться уничтожить врага и сберечь себя. Себя ты сбережешь, войну проиграешь. Сражаются беззаветно и принимают смерть только из любви к своему божеству. Облагораживает, питает, воодушевляет то, что пленило и держит в плену, ибо ты жаждешь этого, добиваешься, плачешь.

Состарившись и перестрадав свое горе в улыбку, мать жива памятью о любви к умершему ребенку.

Если я, желая избавить тебя от страданий, уничтожу условности, помогающие существовать любви, что я тебе подарю? Пустыня без колодца — лучше ли она для тех, кто сбился с тропы и умирает от жажды?

Поверь, родниковая вода, ставшая стихами и зазвеневшая в твоём сердце, утешит тебя и тогда, когда ты, обручившись с пустыней, приготовишься сбросить брэнную свою оболочку, она прольет на тебя мирный свет, источаемый не вечностью, а ее смыслом; ты улыбнешься мне, если я тебе напомню о сладостном журчании воды.

Как же тебе не последовать за мной? Я — тот, кто придает тебе значимость. Жаждой я одухотворяю для тебя песок. Открываю любовь. Из благоухания строю царство.

CXCIV

Я хочу открыть тебе глаза — ты не видишь, в чем значение обряда. Несущественное дополнение, красивая оболочка — так ты его воспринимаешь. Тебе кажется: правила сковали влюбленного, правила, что установил какой-то взбалмошный бог, тут он поощрил тебя, тут урезал, будто глядя из своей вечной жизни, для которой не нужны твои чувства, но нет, становление по правилам формирует тебя, понуждая быть таким или этаким; препятствуя тебе, тебя творят, ибо только обретя границы, ты начинаешь существовать. Ведь и дерево задано силовыми линиями семечка.

И картина, если она пленила тебя, тоже принуждение. Она становится новой точкой зрения, той точкой, откуда ты увидел все по-новому, она всему задала иной тон. И теперь ты по-иному воспринимаешь пищу, отдых, молитву, игру, любовь. Нет отдельностей, ты не сумма различных частиц, ты неделимая их взаимосвязь. Я пожелал изменить нос в лице, которое изваял мой ваятель, но должен был изменить и ухо, точнее, я изменил впечатление от носа и впечатление от уха тоже. Так вот, если я принуждаю тебя раз в год совершить паломничество и поклониться пустыне, воздав честь журчащему водой оазису, что спрятался среди складок ее барханов, ты ощутишь таинственное воздействие своего странствия и на свою жену, и на работу, и на дом. Распахнув перед тобой звездное небо, я изменю тебя, и ты будешь совсем по-другому относиться к своему рабу, королю и к смерти. Ты корень, рождающий листву, и если возникают изменения в корне, меняется и листва. Я ни разу не видел человека, которого изменили бы логические доводы, не видел, чтобы его изменил пафос косоглазых пророков. Но, прикоснувшись к самой сути человека с помощью условностей обряда, я обнажаю ее для лучей моего света.

Во имя любви ты отмечаешь запреты, которые ее сковывают. Но эти запреты и помогли

родиться любви. Жажда любить, что возникла в тебе по милости запретов, уже любовь.

Жажда любви и есть любовь. Желать того, чего в тебе нет, ты не можешь. Если нет уклада, нет семейной иерархии, поощряющей братскую любовь (любовь не рождается от тесноты за обеденным столом), никому и не жаль, что он мало любит своих братьев. Ты можешь мучаться прошлой любовью, страдать из-за женщины, что от тебя ушла, но никогда не впадешь в отчаяние, поглядев на случайную прохожую и подумав: «Как я был бы счастлив, если бы полюбил ее...»

Если ты плачешь о любви — любовь в тебе родилась. А правила, запреты, созидающие любовь, помогают понять, что плачешь ты именно о ней. Но тебе кажется, что любовь воспламенила тебя сама собой, хотя воплотилась любовь в запретах и правилах, ставших для тебя ее муками и радостями, — так родник в пальмовой роще сделал для тебя невыносимой жестокость бесплодных песков; отсутствие родника — сестра его присутствия. Ты не оплакиваешь того, чего не можешь себе представить. Создав родник, я создал и пустыню. Подарив тебе бриллиант, создал и нищету Черная жемчужина, которую находят раз в год, толкнула тебя на бесплодные поиски. И вот чужая находка кажется тебе несправедливостью, грабежом, обидой, и ты хочешь уничтожить черные жемчужины, желая избавиться от их власти. Но пойми, ты стал богаче, узнав, что они существуют, и что тебе за дело, в чьих они руках? Подумай, с каким чувством ты смотрел бы в бесформенную пустоту моря?

Они обнищали, возжелав равенства у кормушки в хлеве. Пожелав, чтобы им служили. Если твой идеал — толпа, в каждом из людей ты укореняешь присущее толпе. Но если ты чтишь в каждом человека, то человека ты и укореняешь, и вот уже люди следуют дорогой божеств.

Мне больно, что люди извратили в себе истину, ослепли и не видят очевидности, а она в том, что море рождает корабль, и то же море — деспот для корабля; принуждения и запреты — оковы для любви, но они же рождают любовь и ее поддерживают, оковы, мешающие тебе стремиться вверх, стремят тебя вверх. Ибо нет взлета без преодоления сил тяготения.

Но те, что двинулись в путь, говорят: «Мы идем вверх, но нас теснят, нам мешают!» Они разрушают препятствия, и пространство лишается перепадов. Разрушив замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла, они бестолково топчутся на ярмарочной площади.

...Потому и стали они толковать о духовной пище, которую необходимо включить в рацион, чтобы оживить душу, облагородить сердце. Кормя людей из кормушки, они превратили их в волов на привязи и развеяли человека в прах. Поступили они так из любви к человеку, стремясь освободить его, снять с него оковы, возвеличить, исполнить света и благородства, и, увидев коросту, одевшую душу и сердце, ужаснулись. Но что другое извлечешь из разброда, который ты создал? Желая встряхнуть бездушных, ты запоешь песню галерника, бледные призраки былого забрезжат в них, и они пригнутся, опасаясь удара. Смутным эхом отзовутся в них и твои стихи, звуча все глуше и глуше, пока не замрут. Пройдет еще время, и песню галерника они не услышат, позабыв о давних ударах бича; покой в хлеве пребудет нерушимым, потому что ты отнял у моря его власть. Глядя на стадо, тупо жующее свою жвачку, ты затоскуешь об осмысленной жизни, о смерти — вечной тайне, пробуждающей дух. Ты станешь искать потерю, словно вещь среди прочих вещей. Напишешь несколько гимнов во славу пищи и будешь надсаживаться, повторяя: «Я ем, вот я ем...» — но вкус хлеба останется тот же. Откуда тебе знать, что твою потерю не найти, словно вещь среди прочих вещей, что не возместить ее воспеванием самой добротной вечности, ибо нет в дереве места, где помещалась бы его суть; тот, кто ищет суть в чистом виде, имеет дело с пустотой.

Неудивительно, что ты изнемог, отыскивая страсть к совершенствованию у оседлых, — ее нет.

«Заронить желание совершенствоваться, — говорил мой отец, — значит разбудить жажду. Остальное придет само собой». Но ты снабжаешь готовым пойлом сытые животы.

Любовь — это взывание к любви. Совершенствование — тоже. Основа его и есть жажда. Но как поддерживать жажду?

Мы хотим одного: пьяница тянется к водке. Не из-за пользы: водка несет ему смерть. Возвращенный определенным укладом будет тянуться к нему. В нас заложено инстинктивное стремление к постоянству, оно сильнее инстинкта выживания.

Я не раз видел, как умирали крестьяне, оторвавшись от своей деревни. Видел газелей и птиц, умиравших, попав к людям.

И если оторвать тебя от жены, от детей, от твоих привычек, погасить огонек, которым ты жил — он светил тебе даже сквозь стены, — может случиться так, что ты не захочешь жить.

И тогда, желая спасти тебя, мне придется позаботиться о царстве духа, в нем возлюбленная будет ждать тебя, подобно зерну, спрятанному в житнице. И вот ты живешь и живешь, ибо нет предела терпению.

Дом, которому ты принадлежишь, в помощь тебе и в пустыне. Возлюбленная всегда тебе в помощь, пусть далекая, пусть спящая.

Непереносим для тебя развязавшийся узел, распавшийся мир. Ты умираешь, если умерло твое божество. Оно питает тебя жизнью. И жив ты только тем, из-за чего готов умереть.

Если я одушевил тебя высокой страстью, ты будешь передавать ее из поколения в поколение. Научишь своих детей распознавать любимое лицо в рутине вещности, царство — в подробности гор, домов и стад, ибо только царство и возможно любить.

Невозможно умереть во имя вещности. Долг смертью платится не тебе — ты путь, кладь, повозка, — а царству Ты тоже в подчинении у царства. И если царство воплощено, ты готов умереть, защищая его целостность.

Ты готов умереть ради смысла книги, но не за чернила и бумагу.

Ты и сам связующий узел, значимо не твое лицо, тело, достояние, улыбка

— то, что возвращается тобой, та картина, что возникла благодаря тебе и благодаря которой ты сбываешься. Ты творишь ее целостность, она — и есть ты сам.

Редко когда говорят о своей картине: нет таких слов, чтобы, обозначив, передать ее другому. Трудно говорить и о возлюбленной. Ты назвал мне ее имя, но именем не пробудить во мне любви. Я должен ее увидеть. Обозначить, выявить твое царство могут только твои труды. Не слова.

Но ты видел кедр. Я говорю: «Кедр», — и передаю тебе ощущение его величия. Я окликнул кедр в тебе, и он вострепнулся смолистой хвоей.

Заставляя тебя служить любви, я окликаю в тебе любовь — иного средства я не знаю. Но когда кормежку приносят в стойло, какому богу ты захочешь служить?

Бога знают и мои старухи, тратя глаза на снование иголки. Ты велел им беречь глаза. Глаза им больше не в помощь. Ты остановил преображение.

Но во что преобразятся те, кого ты так старательно кормишь?

Ты можешь пробудить в них жажду обладания, но иметь — не значит преобразиться. Можешь пробудить страсть к вышитым пеленам. И они сделаются сундуком, хранящим пелены. Как пробудить в них жажду к снованию иголки? Только такая жажда — жажда по-настоящему жить.

В молчании моей любви я пристально наблюдал за моими садовниками, за пряжами. Я заметил: дают им мало, спрашивают с них много.

Будто на них, и только на них, возложены судьбы мира.

Я хочу, чтобы каждый дозорный был в ответе за все царство. Дозорный и тот, кто обирает гусениц у себя в саду. И та, что вышивает золотой ниткой, свет нитки едва мерцает, но вышивальщица украшает своего Господа, и Господь в расшитых одеждах бдит над ней и оделяет ее Своим светом.

Я знаю один только способ взрастить человека: нужно научить его сквозь вещество вечности различать целостную картину. Длитель жизнь богов. В чем прелесть игры в шахматы? В подчинении правилам. Но ты хочешь снабдить игроков рабами, которые бы выигрывали за них.

Ты хочешь подарить каждому по любовному письму, потому что видел: получая их, люди плачут или смеются, — но ты удивлен, почему к твоим письмам люди так равнодушны.

Мало дать. Нужно сотворить того, кто получит. Чтобы шахматы радовали, нужно вырастить игрока. Чтобы любили, должна существовать жажда любви. Богу нужен алтарь. Принуждая моих дозорных ходить сто шагов туда и сто обратно по крепостной стене, я строю в них царство.

CXCV

Прекрасна та поэзия, что преобразится в поступки, воодушевив в тебе все, даже мускулы. Поэзия — мое священнодействие.

Но соблюдение правил, обычаев, обязательств, возведение храма и торжественное шествие по дням года — тоже поступки, только другого рода.

Я писал для того, чтобы обратить тебя в свою веру, дав тебе почувствовать, пусть едва ощутимо, благо преображения и позволив на него надеяться.

Конечно, ты мог читать меня рассеянно и ничего не почувствовать, ничего не почерпнуть. Конечно, можно исполнить обряд и не очнуться, не пуститься в рост. Душевная скудость легко отстранится от благородства, таящегося в обряде.

Я совсем не рассчитываю, что в каждый свой час ты будешь мне послушен, как не рассчитываю, что мой дозорный в каждый свой час будет исполнен усердия к царству. Мне достаточно, если среди многих часов один будет моим. И может случиться, что дозорного, от которого я не требую неустанного усердия, в час, когда он мечтает об ужине, посетит озарение, ибо дух не бдит неусыпно, иначе ты ослепнешь, но морю придает смысл черная жемчужина, неведомо кем и когда найденная, году придает смысл праздник, а жизни — смерть.

Что мне за дело, если мой обряд искажается теми, у кого искажено сердце? Во время военных походов я видел, как черный колдун, обуянный жадностью, заставлял свое племя

приносить дары деревянной палке, выкрашенной в зеленый цвет.

Что мне за дело, если колдун роняет свой сан? Скульптор, смяв глину, сотворил жизнь.

CXCVI

Человек этот требует благодарности: он сделал им то, сделал это... Но можно ли от дарения ждать урожая, снять его и сложить про запас? Одаряя вновь и вновь, ты одушевляешь и лишь привязанность. Если ты не даришь больше, ты уже как будто и не дарил никогда. Ты говоришь: «Я дарил вчера, и со мной благодарность за эту заслугу». Я отвечаю: «Заслуга эта была бы твоей, если б вчера ты умер. Но ты жив. Весомо лишь то, с чем уходишь в смерть. Из благородного человека, каким ты был вчера, ты сделался сегодня скупердяем. Сегодня умрет скупердяй».

Ты — корень, питающий дерево, оно живет благодаря тебе. Ты связан с этим деревом, оно сделалось твоим долгом. Но вот ты, корень, говоришь: «Больно много я потратил соков!» А дерево засохло. Так ли уж лестна корню благодарность от смерти?

Если дозорный устанет всматриваться в горизонт и заснет, умрет город. Не может дозорный ходить по стене про запас. Не складывает в запас биения твое сердце. Житница не запас — перевалка. Ты удобряешь землю и вместе с тем ее обираешь. И ошибаешься относительно всего на свете. Отдохновение от трудов созидания представляется тебе музейным залом, полным творений. В тот же зал ты хочешь поместить и свой народ. Но нет вещей, нет творений самих по себе. Вещь зависит от языка того, кто о ней говорит. Для ловца жемчуга, куртизанки и торговца черная жемчужина — три разные, не похожие друг на друга вещи. Алмаз — драгоценность, когда ты его нашел, когда продал, подарил, потерял, отыскал, когда он сияет в диадеме, украшая праздник В череде будних дней алмаз — та же галька. Об этом прекрасно знает владелица алмаза. Она запирает его в шкатулку и прячет далеко-далеко — пусть спит. В день рождения короля она достанет его. Он будет олицетворением его гордости. Она получила его в день свадьбы. Он был олицетворением любви. Когда-то он был олицетворенным чудом для старателя, старатель разбил породу и увидел алмаз. Цветы радуют глаз. Но самые прекрасные цветы я бросил в море, поминая погибших. Их не увидел никто.

Этот человек стал говорить со мной от имени своего прошлого. Он сказал: «Я тот самый, кто...» Будь он мертв, я согласился бы почтить его. Никогда мой друг, единственный подлинный геометр, не перечислял своих заслуг. Он был служителем при треугольниках, садовником в саду символов. Однажды вечером я сказал ему: «Ты должен гордиться своими трудами, ты столько дал людям...» Помолчав, он ответил: «Разве дело в том, чтобы давать? Дающие, получающие — что мне до них? Разве восхищает ненасытность князя, который требует и требует себе жертв? Восхищают те, кто согласен стать жертвой? Получается, что величие князя попирает величие подданных. Получается, что нужно выбирать между одним величием и другим. Но если князь меня унижает, я презираю его. Тогда как, если я принадлежу дому князя, его долг возвышать меня. Величие моего государя в моем величии.

Что я мог дать людям? Я такой же, как они. Малая их частичка, что размышляет о треугольниках. С моей помощью люди думают о геометрии. А я с их помощью ем каждый день хлеб. Пью молоко их коз. Обуваюсь в кожу их волов.

Я отдаю что-то людям, но все, что имею, получил от них. Как распознать, чего больше: отданного или полученного? Чем больше я отдаю, тем больше получаю. И царство мое становится все благороднее. Грубый торгаш и тот не минует дарения. И он не в силах

замкнуть свою жизнь собой. Он находит себе куртизанку, дарит ей бесценные изумруды. Куртизанка блистает. И он чувствует себя в ореоле ее блеска. Ему приятен светящийся ореол. Но он мало чем обогатился, став слугой куртизанки. Другой отдал себя королю. «Чей ты?» — «Королевский». И воистину просиял».

CXCVII

Я знал человека, который жил только собой, не снисходя и до куртизанок. Я говорил тебе уже о дородном министре с пухлыми веками, том самом, что предал меня и под пытками отрекался и клятвопреступничал, предавая и самого себя тоже. Да и как ему было не предать и себя, и меня? Если ты принадлежишь дому, царству, Богу, ценой собственной жизни ты спасешь собственную суть. Скупец так принадлежит своим сокровищам. Редкостный бриллиант стал для него божеством. Он умрет, защищая его от грабителей. Но не таков обширный чревом. Как божество он чтит самого себя. Бриллианты принадлежат ему и ему прибавляют чести, но он им не принадлежит. Он — черта, стена, тупик. И если ты грозишь ему смертью, во имя какого из богов может он умереть? У него только и есть что живот.

Любовь, выставяющая себя напоказ, — низменная любовь. Любящий молча созерцает свое божество и говорит с ним безмолвно. Ветка нашла свой корень. Губы — грудь. Сердце — слова молитвы. Что мне до чужих мнений и оценок? Скупец тоже прячет от всех свое сокровище.

Любовь молчит. Толстая мошна бьет в литавры. Да и что такое избыток, если не выставить его напоказ? Что за кумир, если нет поклонников? Расписная доска, прикрытая тряпкой на стене хранилища.

Мой дородный министр с пухлыми веками всегда говорил: «Мое царство, мои стада, мои дворцы, мои золотые шандалы, мои женщины». Он всем был необходим. Обогащал обожателей, что простирались перед ним ниц. И бестелесный ветер чувствует, что существует, клоня колосья. «Я есть, — думает он, — потому что клоню». Но мой министр не довольствовался благоговением — наслаждался он и ненавистью. Вдыхал, будто аромат, ибо и она твердила: «Ты есть. Ты существуешь, раз заставляешь страдать». И он катился по телу народа, словно карета.

Он был бурдюком, раздутым от низкопробного словесного ветра. Чтобы быть, нужно растить дерево, в котором сбудешься. Ты — путь, кладь, повозка. Чтобы поверить в тебя, я должен увидеть твое божество. Мой министр был ямой для накапливания запасов.

И я сказал ему:

— Долго слышал я от тебя: «Мой... мой... мой...» — и по доброте своей обернулся на бой твоего барабана, подозвал и смотрю. Вижу склад всевозможных товаров. Что принесло тебе твое богатство? Ты — кладовка, сундук и в той же мере, как они, полезен и существуешь. Тебе приятно слышать: «Сундуки ломаются», — но сам ты что, собственно, такое?

Если я прикажу отрубить тебе голову из удовольствия посмотреть на выражение твоего лица, что переменится в царстве? Сундуки твои останутся на месте. Что прибавляешь ты к своим богатствам? Чего они без тебя лишатся?

Толстяк не понял вопроса, обеспокоился и засопел. А я продолжал:

— Не подумай, что я пекусь о справедливости, которая всегда относительна. Сокровища,

скопленные в твоих подвалах, великолепны, но не они меня заботят. Да, ты ограбил мое царство. Любое семечко грабит землю, силясь вырастить дерево. Покажи мне дерево, которое ты вырастил.

Меня не тревожит, что шерстяной плащ и хлеб, пропитанные потом пастуха и пахаря, достались ваятелю. Пот их преобразился в каменное лицо статуи, и неважно, увидят они эту статую или не увидят. Грабит житницы и поэт, он ест хлеб, но не жнет и не сеет. Он питает собой поэзию. Ради своих побед я отнимаю жизни у сыновей моего царства. Но я сотворил царство, а в нем они — сыновья. Покажи мне, чему ты служишь — статуе, дереву, поэзии, царству. Ибо ты — путь, кладь, повозка...

Тверди хоть тысячу лет «мое... мое... мое...» — что узнаю я о твоей дороге? Как послужил ты своим поместьям, драгоценным камням и золоту? Не подумай, что я растапливаю ледник, забота о болоте. Никогда я не попрекну зерно жадностью, с какой втягивает оно в себя соки. Оно будоражит почву, оно не помнит себя, и дерево, которое оно высвободит, ограбит его. Ты нагрбил, но что проросло и ограбило тебя?

Прекрасна королева далекого царства. Алмазы, выстраданные ее народом, украсили ее корону. Бродяги и нищие ее царства, забредя в чужую сторону, издеваются над тамошними бродягами: «Ваша королева — ободранка, — говорят они. — А вот наша сияет, будто лунный свет и яркие звезды...» Но ты сложил в одну кучу жемчуга, бриллианты, поместья только для того, чтобы прославить свое толстое брюхо. Ты воздвиг кумирню, но она жалка, ей не облагородить пошедшего на нее материала. Ты совместил все в одно, но не возвысил, а принизил. Жемчужина на пальце беднее манящего обещания моря. Я уничтожу твой узел, он возмущает меня, твою кумирню я превращу в унавоженную землю для растущих деревьев. Но что мне делать с тобой? Что делать с семечком от дерева, которое обезобразило землю, как обезображивает тело язва?

...И все же мне не хотелось бы, чтобы тощую справедливость путали с той высокой, которой служу я. Я говорю: «Случилось так, что взяточничество, воровство, всяческая низость собрали сокровища, которые иначе были бы рассеяны и ничему не служили. Сокровище возвышает своего обладателя, но гораздо важнее, чтобы обладатель возвышал свое сокровище. Я могу его отобрать, разделить и превратить в хлеб для моего народа, но народ мой многочислен, и мало чему поможет один сытый день. Если дерево выросло и оно добротное, я превращу его в мачту моего корабля, но не пушу на дрова ради часа тепла. Что он даст, этот час? Зато спуск корабля на воду будет для всех великим праздником.

Вот и это сокровище я хочу превратить в чудо, что радовало бы сердце многих. Я хочу вернуть людям вкус к чудесам. Благо, если нищий ловец жемчуга, — не так-то просто достаются эти жемчужины со дна моря, — поверит в чудодейственность жемчужного зерна. Все ловцы станут куда богаче от той единственной жемчужины, что мягко светится в чьих-то руках раз в году; скудная прибавка к трапезе по справедливом разделе всех жемчужин мало их обрадует. Манит в морскую зыбь чужая жемчужина.

CXCVIII

Я ищу высокой справедливости, ищу высокого применения низостью скопленному сокровищу, ибо всегда стою за храм, а не за отдельный камень. Не хочу вместо ледника — лужи, вместо храма — кучи камней, не хочу разграбления сокровища. Единственное ограбление, которое я чту, — ограбление земли семенем, семя ограбит и себя и умрет ради дерева. Я не стремлюсь обогатить каждого на кроху, прибавив одну жемчужину — куртизанке, меру зерна — пахарю, козу — пастуху, золотую монету — скупцу. Ничтожно это обогащение. Я хочу, чтобы уцелела

полной сокровищница. Все вокруг тогда засветится ее отблеском, словно море, манящее жемчужиной. Сотворив божество, не делишь его, каждому оно достается целиком.

Но ты оскорблен в своей жажде справедливости.

— Бедны и пастух, и пахарь, — говоришь ты. — По какому праву лишаешь ты их достояния? Во имя каких выгод должны они отказаться от него? Во имя какого бесполезного для них божества? Я должен распоряжаться плодами моих трудов. Захочу — накормлю сказителя. Захочу — отложу излишек для праздника. Но по какому праву, вопреки моему желанию, на моем поту и крови ты собираешься построить часовню?

— Твоя справедливость, — отвечу я ему, — призрачна и недолговечна, она пригодна лишь для этой ступеньки. Разве спрашиваешь ты у земли, хочет ли она растить зерно? Земля не знает, что такое зерно. Она — земля, и только. Ты тоже не можешь хотеть тебе неведомого. Ты равнодушно смотришь на проходящую женщину. С чего тебе в нее влюбляться? Хотя, возможно, она и есть твое счастье.

Кто сожалеет о том, что ему неинтересны треугольники? Не сожалеет никто и о своем несожалении. И справедливо, потому что сожаление это было бы нелепо. Дело зерна прибавить значимости земле. Она становится землей, рождающей пшеницу. Не собирается и зерно преобразиться в стремительность мысли, сияние глаз. Оно — зерно, и только. Дело человека питаться хлебом, претворяя его усердие и вечернюю молитву. Вот и мой пахарь не собирается поливать своим потом землю, возвращая поэзию, геометрию, архитектуру, он ничего не смыслит в них, они для него чужие. Свой труд он захочет потратить на усовершенствование плуга, и это естественно: он — пахарь.

Но я оберегаю не камни, а храм, не землю, а дерево, не плуг пахаря, а постижение. Я чту творческое начало, пусть на первый взгляд оно — сама несправедливость, ибо притеснило камень во имя храма. Но вот храм построен, теперь ты видишь, что он — смысл камней и возданная им справедливость? Видишь, что дерево — это облагороженная земля? Видишь, что от геометрии перепало что-то и работяге, ведь и он человек, хоть и не задумывается об этом?

Я пекусь о человеке не с помощью обесмыслившихся припасов и не при помощи равенства, что чревато ненавистью. Солдат и капитан равны у меня перед царством. Бездарный ваятель трудится наравне с даровитым ради прекрасного шедевра гения, плохие работы — ступеньки лестницы, ведущей к хорошим.

Но тебя все же мучает ограбление пахаря, который ничего не получает взамен. Ты мечтаешь о царстве, где каменотес, грузчик, кочегар вдохновлены поэзией, геометрией, ваянием и добровольно отдают тебе излишки, чтобы ты кормил своих поэтов, геометров, ваятелей.

Мечтая, ты спутал цель с путем ее достижения. Да, конечно, я хочу облагородить грубого, необразованного работягу. Да, будет прекрасно, если он взволнуется геометрией. Но, близорукий скудоумец, ты захотел все успеть за короткую человеческую жизнь, ты не понял, что должен проложить дорогу, чтобы задуманное тобой осуществилось, шагая по ступенькам поколений. Вот оно, главное твое заблуждение.

Теперь ничего не остается, как воспевать погибших в борьбе с морем, — хрупок был парусник, на котором они отправились искать для своих сыновей царство островов. Ты сделал главным бескорыстие погибших, вместо того чтобы продолжать искать пути и понемногу завершить начатое. Нет, ты воспевашь и воспевашь солдат, погибших на крепостной стене и ничего не получивших взамен своей отданной жизни. Воспевашь старца, что сажает кедр, хотя ему самому никогда не посидеть в его тени.

Да, и пахари, и пастухи другого поколения утешатся твоей песней. Медленно пускает корни в

сердце поэзия, тень от кедра предназначена сыновьям. Я рад, если жертвы окупаются, но не требую, чтобы воздаяние стало правилом. Жертвенность всегда путь к благородству и признак его. Вот уже третий год я строю и оснащаю мой корабль. Запах древесины, стук молотков — не великое воздаяние. Торжество настанет еще не скоро. Есть корабли, которых быстро не оснастишь. И если ты перестал поощрять в людях жертвенность — значит, доволен построенными кораблями, усвоенными познаниями, посаженными деревьями, созданными статуями, значит, ты счел, что настало время обжить чужую раковину, осесть в ней и потреблять наготовленное.

А я тогда поднимусь на самую высокую из своих башен и пристально всмотрюсь в горизонт: близок час приближения варваров.

Я уже говорил тебе: нет сделанного, нет запаса. Есть устремление, путь, подъем... Пахари когда-нибудь догонят геометров — и возместят себе пролитый пот, — тогда, когда геометры перестанут творить. Если ты догоняешь друга, а идете вы с одинаковой скоростью, другу нужно остановиться, если он хочет, чтобы ты его догнал. Но я уже говорил тебе: равенство, остановка — все наступит в час смерти, дальше идти бесполезно, и накопленное послужит тебе, ибо Господь убирает зерно в житницу.

Потому мне и кажется справедливым не делить сокровище.

Есть только одна справедливость: спасти то, чем ты жив. Справедливость к твоим божествам. Но не к отдельным людям. Бог в тебе, и я спасу тебя, если твое спасение послужит Его величию. Но я не могу спасти тебя, пожертвовав ради тебя божеством. Ибо ты и есть твое божество.

Если будет нужно, я спасу ребенка, пожертвовав матерью, ибо поначалу он был частью ее, теперь она его часть. Спасу сияние царства, пожертвовав пахарем, спасу зерно, жертвуя землей. Буду спасать черную жемчужину, — досталась она не тебе, но благодаря ей для тебя замерцало все море, — спасти от тебя, вопреки твоему желанию разделить ее, потому что богатство твое окажется смехотворным. Буду спасать смысл любви, чтобы ты мог приобщиться ей, вопреки твоему пониманию любви, — она для тебя что-то вроде приобретения или покупки товара, — такая любовь оставит тебя нищим.

Буду спасать источник, который тебя поит, а не тебя, жаждущего, телесно или духовно, даже если ты умираешь.

Что мне до слов? Они дразнятся и показывают друг другу язык. Они создают впечатление, будто я пытаюсь одарить тебя любовью, отнимая ее, приобщить тебя жизни, навязывая смерть, это неправда, словесное противопоставление запутывает суть, тщась ее выразить. (Приходит время великих несправедливостей, когда от человека под страхом смерти требуют быть «за» или «против».) Так вот, мне не кажется справедливым обратить сокровище в прах и вернуть каждому украденное у него: жемчужину — куртизанке, козу — пастуху, меру зерна — пахарю, золотой — скупцу; справедливым мне кажется возместить душе то, что было отнято у плоти. Это возмещение ты получаешь, когда, весь в поту, напрягая мускулы, режешь камень, и вот наконец совладал с ним, одержал победу — ты отряхиваешь руки, отходишь, наклоняешь голову, прищуриваешься, смотришь, и тебя обжигает улыбка Бога.

Конечно, грубую и простую дележку можно облагородить. Жемчужину, козу, меру зерна, золотую монету, что сами по себе не великая радость, ты мог бы получить в день праздника как дары, увеличивающие торжественный ритуал. Малоинтересные вещи стали бы даром короля, даром любви. Я знал владельца розовых плантаций, который пожертвовал бы всеми своими розами ради одной увядшей, которую носил у сердца в полотняном мешочке. Но кто-то из моих подданных может обмануться, простодушно поверив, будто радуется само по себе зерно, коза, золотой и увядшая роза в мешочке. И мне хочется все расставить по

местам. Могу и я заменить сокровище воздаянием. Вот я пожаловал дворянство: генералу — за победу, садовнику — за новую розу, врачу — за лекарство, строителю — за корабль. По сути, мы все тут заняты куплей-продажей, оправданной, справедливой, внятной для разума, но ничего не дающей сердцу. Если в конце каждого месяца я выплачиваю тебе зарплату, излучает ли она свет? Поэтому мне и кажется, что возмещением несправедливостей ничего особого не дождешься. Ты вознаградил преданность, почтил гения, смотришь и говоришь: «Теперь все правильно». Ты привел все в порядок и снова вернулся к своим делам. Никто не получил и лучика света, потому что так оно и должно быть: несправедливость исправлена, преданность вознаграждена, гений почтен. И если жена спрашивает тебя вечером у порога: «Ну, что нового в городе?» — ты, обо всем позабыв, отвечаешь: «Ничего». Не сообщать же ей, что солнце освещает дома, река впадает в море...

Я отклонил предложение моего министра юстиции, он настоятельно предлагал одаривать моим сокровищем добродетель. Отклонил отчасти потому, что, одаривая, ты и разрушаешь то, что намеревался поощрить, отчасти потому, что министр мой относился к добродетели, словно к редкому фрукту, и подыскивал для него достойный футляр, — порочность его не была чрезмерной, в ней была доля изысканности, всегда и во всем мой министр ценил прежде всего качество.

— Я буду преследовать за добродетель, — ответил я. Он застыл, недоумевая, и я разъяснил:

— Я упоминал о своих капитанах в пустыне. Их жертвенность среди песков вознаграждена любовью к этим пескам, мало-помалу она освещает их сердца. Я обрек их на нищету, но она превратилась в роскошь.

Если твоим добродетельным девам будут в радость короны из позолоченного картона, восхищение зрителей и свалившееся вдруг богатство, в чем их добродетель? Девочке веселого квартала ты платишь за более щедрый дар.

Отклонил я и предложение архитекторов. «Послушай, — сказали они, — свое бесполезное сокровище ты можешь потратить на возведение чудесного храма, который прославит царство. На поклон к нему века и века будут стекаться караваны паломников».

Да, действительно, я не люблю насущного, которое ничем не обогащает. Чту дары пространства и тишины. Куда нужнее лишнего амбара мне кажется близость звездного неба и моря — хотя не выскажешь словами, что же именно дали они душе. Но из темного городского квартала, где ты задыхаешься, ты рвешься к ним. К чудесному странствию. Неважно, что оно невозможно. Тоска о любви — уже любовь. Ты уже спасен, если попытался пуститься в путь по направлению к любви.

Я не верю в раздобывание. Тебе не раздобыть ни радости, ни здоровья, ни подлинной любви. Не раздобыть звезд. Не раздобыть храма. Я верю в храм, который грабит тебя. Верю в храм, который растет, выжимая из людей пот. По городам и весям рассылет он своих апостолов, и они хранят тебя во имя Бога. Верю в храм жестокого короля, который вмуровывает в камни свою гордыню. Он забирает всех мужчин к себе на стройку. И надсмотрщики с бичами превращают их в повозки для камней. Верю в храм, который пьет твой пот и пожирает плоть. Но взамен он обращает тебя в свою веру. Только вера может стать тебе истинной платой. Ибо камневоз жестокого короля тоже получает право на гордыню. Он стоит, горделиво скрестив руки, у форштевня каменного корабля, который стал грозной преградой пескам в неспешной реке времен. Величие храма служит и камневозу тоже. Ибо Бог, единожды явленный, открыт каждому, и открыт целиком. Я верю в храм, рожденный радостным ощущением победы. Ты оснащаешь корабль для вечности. И каждый, кто строит этот храм, поет. Храм тоже будет петь.

Я верю в любовь, что приняла обличье храма. Верю в гордыню, что сделалась храмом. Поверил бы, если б ты смог его построить, в гневный храм. Ибо видел деревья, чьи корни питались любовью, гордыней, хмелем победы и яростью. Они вытягивали из тебя сок, питались и росли. Но ты предлагаешь жаждущим корням скудную пищу — ты предлагаешь им золото. Золотом умеет насыщаться лишь склад с товарами. Пройдет век, ветренный, дождливый, и склад исчезнет.

Так отверг я сокровище как возможность обогащения, отверг как возможность воздаяния, отверг как возможность построить каменный корабль, но так и не нашел лучезарной картины, в которой оно могло бы преобразиться, облагородив людей, и задумался в тишине.

«Оно что-то вроде навоза и удобрения, — решил я. — Глупо было бы искать в нем чего-то другого».

СХСІХ

Я просил Господа научить меня и вернуть мне, по своей неизреченной милости, воспоминание о караванах, что шли к святому городу, хоть и не понимал, чем поможет мне лицезрение верблюдов под палящим солнцем в разрешении неразрешимого.

Я увидел тебя, мой народ, — по моему приказу ты готовился к паломничеству. И будто неизреченной сладости мед была мне хлопотливость последнего вечера. Ибо есть странствия, которые готовишь будто корабль, — построив, ты его оснащаешь, — они сродни статуе или храму и нуждаются в инструментах, в твоей изобретательности, в расчетах и силе рук, ибо снаряжаешь ты его для летящего ветра. Так готовишь ты свою дочь, сперва ты растил ее, учил, журил за пристрастие к безделушкам, но пришел час отдать ее супругу, и ради того, чтобы в этот час она была прекраснее всех, ты разоряешься для нее на льняную ткань и золотые браслеты, потому что отправляешь свой корабль в море.

Так, уложив припасы, заколотив ящики, завязав мешки, ты по-королевски идешь среди верблюдов, погладишь одного, сунешь лакомый кусочек другому, нажмешь коленом, помогая потуже завязать ремень, взгромоздишь на верблюда кладь и с гордостью увидишь, что она не съезжает ни вправо, ни влево, зная, что верблюды будут долго раскачивать ее в пути, спотыкаться о камни, опускаться, отдыхая, на колени, но твоя кладь будет сохранять равновесие, — так дерево раскачивается на ветру, не опасаясь растерять груз зреющих апельсинов.

Я смакую твое рвение, мой народ, ты готовишь для себя кокон сорокадневного пути по пустыне; я не вслушиваюсь в ветер слов, зная, что не обманываюсь в своем знании о тебе. Ибо накануне похода я иду в молчании моей любви и слышу скрип ремней, сопение верблюдов, жаркие споры о дороге, по которой нужно идти, о проводниках и о том, как распределить обязанности. Я не удивляюсь, что вы не восхищаетесь будущим паломничеством, нет, напротив, в самых черных красках описываете вы прошлогоднее: высохшие колодцы, знойный ветер, змей, что таятся в песке, будто незримые нервы, засады грабителей, болезни, смерть; я знаю — говорит в вас стыдливость любви.

И хорошо, что ты скрываешь свой трепет перед Твоим Господом, мой народ, восхищаясь золотыми куполами святого города, ибо Господь для тебя не готовый подарок и не припрятанный впрок припас, Он — торжество, венчающее долгое шествие твоих бед и несчастий.

И если люди заранее рассуждают о том, что должно их облагородить, как иной раз

рассуждают корабелы о парусах, ветре и море, — я не доверяю им, опасаясь, что они недосмотрят за досками и гвоздями, словно отец, что начал слишком рано молиться о красоте для своей дочери. Я люблю песни кузнецов и плотников — они славят не запас, что сам по себе ничто, но путь, ведущий к кораблю. Вот корабль оснащен, паруса наполнены ветром, и пусть мои моряки поют не о волшебном острове — о морских опасностях, — тогда я поверю: они победят.

Они узнают, каковы они, при помощи страданий, пути, повозок, клады. А ты окажешься слепцом, если, доверившись жалобам и проклятиям, которые тешат их сердце, встревожишься и пошлешь им сказителей с медовыми устами, которые не будут петь о смерти в пустыне, а только о красоте заката. Что мне до счастья? Оно бесформенно. Ведет меня откровение любви.

Караван отправился в путь. Вот оно, таинственное переваривание пищи, тишина, крошечная тьма кокона, отвращение, сомнения, боль, ибо любое преображение — боль. В этот час не пристало тебе воодушевление — только верность, хотя ты, ничего не понимая, потерял в себе опору и ни на что в себе не полагаешься, — тот, каким ты был вчера, обречен на смерть.

Как мучительно ощутима тебе прохлада твоего дома, сладость воды для чаепития в серебряном кувшине перед часом любви. Мучительно воспоминание о ветке под окном, о кукареканье петуха во дворе. Ты шепнул себе: «Я из своего дома», — потому что в пустыне оказался бездомен. Вспомнил ты и своего осла, которого будил поутру, лошадь, собаку, таинство общения с ними — они тебе отвечали. И вместе с тем были словно бы замурованы в чем-то своем, и ты не знал, дорожат ли они своим кровом или тобой? Из далекой дали твоего отлучения тебе так необходимо потрепать своего осла по холке, погладить по храпу, может быть, для того, чтобы приободрить его, будто слепца в глубинах его ночи. И конечно, в день, когда иссякший колодец предложит тебе лишь зловонную грязь, сердце твое сожмется, ты вспомнишь доверчивое лепетанье родника возле дома.

Так запеленает тебя кокон пустыни. На третий день шаги твои увязнут в смоле ее нескончаемости. Соперник всегда возбуждает, и на удар ты отвечаешь ударом. Но пустыня берет один твой шаг за другим, будто затянувшаяся аудиенция — твои любезности, до тех пор, пока ты в конце концов не замолчишь. Ты шагаешь по пескам с самой зари, но меловое плоскогорье, что слева от тебя на горизонте, осталось там и к вечеру. Ты изнуряешь, изнашиваешь себя, ты как ребенок, что перебрасывает лопаткой землю, задумав переместить гору. Но гора и не подозревает, как старательно он трудится. Ты словно бы заблудился в свободе без границ, и усердие твое при последнем издыхании. В этих паломничествах я предлагал своему народу вместо хлеба камень, насыщал колючками. Мой народ, я обрекал тебя на дрожь от ночного холода. Отдавал огнедышащей песчаной буре, и ты ложился на землю, прикрывал одеждой голову, чувствовал на зубах скрип песка и отдавал солнцу свою телесную влагу. Но опыт научил меня: слова утешения здесь излишни.

«Наступит вечер, — мог бы сказать я, — похожий на синеву моря. Задремлют песчаные дюны, будто стога. Ты будешь идти в прохладе по твердому влажному песку...»

Но на губах у меня останется привкус лжи, своими выдумками я призову к существованию в тебе кого-то не похожего на тебя. Поэтому в молчании моей любви я без обиды слушаю твои проклятья.

— Возможно, ты прав, Господи! Возможно, завтра, Господи, выживших ты преобразишь в толпу блаженных. Но что нам до этих незнакомцев! Сейчас мы словно пригоршня скорпионов, обведенных огненным кругом! Такими они и должны быть во славу Твою, Господи! Вдруг, будто взмахом сабли сметя облака с неба, налетел свирепый северный ветер. Выдул с голых песков все тепло до капли. Ледяные лучи звезд пронзили плоть до костей, пригвоздив людей

к земле. Что мне сказать им?

— Разгорится заря, хлынет свет. Тепло солнца, будто кровь, разогреет замерзшее тело. Вы закроете глаза, чувствуя, как оно растекается по жилам...

Но они ответят мне:

— Вместо нас Господь, может, и посадит тут завтра сад со счастливыми цветами и по Своей доброте будет питать их. Но этой ночью мы — несжатая полоска ячменя, которую треплет ветер.

И они должны быть такими во славу Твою, Господи!

Я отошел в сторону от страдальцев и так стал молиться:

— Господи, благо, что они отказались пить мою ложь. Они плачут и жалуются, но не это главное, я — хирург, почию тело, оно издает крик. Я знаю, в них вмурованы и запасы радости, но не мне отвалить камень. Для радости не подошло еще время. Плод должен созреть, тогда он станет сладок. Мы проходим неизбежный час горечи. В нас нет ничего, кроме разъедающей кислоты. Только время вылечит нас и преобразует в радость во славу Твою!

И я повел свой народ дальше, питая его камнями, насыщая колючками. И наконец мы сделали, поначалу ничем не отличимый от других бесчисленных шагов, отданных пространству, волшебный шаг. Торжественный шаг, увенчавший священнодействие пути. Благословенный шаг среди всех прочих шагов: распался кокон и отдал крылатое свое сокровище царству света.

Так веду я своих воинов ужасами войны к победе, ночным мраком к свету, тяжестью камней к храму, пустыней грамматики к певучему стиху, отвесными склонами и пропастями к пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Мы в пути, и мне нет дела до твоего отчаяния и тревог, не доверяю я и сентиментальным гусеницам, которым мнится, что они влюблены в полет. Мне нужно, чтобы гусеница пожрала самое себя в пекле пересотворения. Нужно, чтобы ты пересек свою пустыню.

У тебя нет доступа к источнику радости, спрятанному в тебе, прежде — чем ты проторишь к нему дорогу. Ты оказался изобретательнее и выиграл партию в шахматы, как ты радостен, но не в моей власти подарить тебе радость за так, обойдя священнодействие игры.

Поэтому я и хочу, чтобы на ступеньке, где священнодействие —ковка гвоздей и обстругивание досок, пелись песни кузнецов и плотников, а не песня корабля. Я предлагаю тебе невеликую победу — гладкую доску, выкованный гвоздь, — но она обрадует твое сердце, если ты стремился и желал их. Ты ни на что не променяешь бревно, если жаждешь построить корабль.

Но я видел: человек, играя в шахматы, тайком позевывал и отвечал на ход противника так безразлично-снисходительно, словно его, давно зачерствевшего сердцем, принудили возиться с детьми.

— Гляди, какой у меня флот! — говорит семилетний капитан, показывая на белые камешки.

— Прекрасный флот, — соглашается зачерствелый сердцем, тупо глядя на камешки.

Самолюбивому тщеславцу, что не пожелал всерьез вжиться в священнодействие шахматной игры, не дастся и вкус победы. Если из тщеславия ты не возведешь в божество доски и гвозди, тебе не построить корабль.

Книжный червь, который не знает, что значит строить, предпочитает, в силу утонченности, песню корабля песне плотников и кузнецов, а когда корабль оснащен, спущен на воду и летит вперед с толстощековыми парусами, он, не желая замечать неустанное борение с морем, поет о волшебных островах, — да, конечно, острова — главное и в ковке гвоздей, и в обстругивании досок, и в борении с морем, но только если ты не пренебрег ни одной из ступенек, ведущих тебя к преображению. Когда ты преобразишься, ты увидишь, как из морской пены поднимается остров. Но тот, кто, едва взглянув на первый гвоздь, зашлепает по теплой жиже мечты, воспевая разноцветных колибри и сумерки на коралловом атолле, вызовет у меня только отвращение к этим птичкам, потому что мне по вкусу ноздреватый ломоть хлеба, а не сладкий компот, я в него не верю, я-с островов дождя, где живут серые птицы, и, чтобы поманить меня иным райским островом, нужна песня, что всколыхнет во мне бесцветное небо и серых птиц.

Но я, который не строил храма без камней, который добирался до сути, только преодолев разброд и разноголосицу, я, который не говорил о цветах вообще, а только вот об этом одном — с пятью лепестками алого цвета, я, который ковал гвозди, стругал доски и принимал на себя напор мускулистого моря, только я могу спеть для тебя об острове, плотном и весомом: я своими руками извлек его из морских глубин.

То же скажу я и о любви. Книжный червь славит ее вселенскую полноту. Его гимны не помогли мне никого полюбить. Чья-то отдельная, частная привязанность проторила мне дорогу к любви. У нее свой собственный голос. Особенная улыбка. Нет ей подобий. А вечером, облокотившись на подоконник, я окунулся не в свое отдельное озерцо, а словно бы узрел лик Господа. Потому что каждому из нас нужна подлинная тропинка, она сворачивает здесь и здесь, она белая от пыли, с шиповником на обочине. По такой тропинке ты непременно куда-нибудь придешь. Умиравший от жажды идет в мечтах к роднику. И умирает.

То же скажу я и о жалости. Ты говоришь мне о страдании детей и вдруг видишь: я зеваю. Ты никуда меня не привез. Ты сообщил: «При кораблекрушении утонуло десять детей...» Что мне арифметика? Я не заплачу в десять раз сильнее, если число погибших удвоится. Вдобавок со дня основания царства погибли десятки тысяч детей, а мы все-таки рады жизни и порой чувствуем себя счастливыми.

Я заплачу о том ребенке, к которому ты приведешь меня настоящей тропкой. Благодаря моей розе я увидел все остальные, благодаря твоему ребенку я почувствую всех остальных и заплачу, но не обо всех на свете детях

— обо всех на свете людях.

Однажды ты рассказал мне о мальчишке, весноватом хромоножке — козле отпущения всей деревни, — достойные жители ненавидели безродного попрошайку, что пришел к ним неведомо откуда.

— Чума и позор нашей прекрасной деревни! — кричали ему. — Поганка на нашей благодородной земле!

Повстречав его, рассказчик спрашивал:

— Эй ты, весноватый, у тебя что, нет отца? Тот молчал.

В друзьях у него были только козы, бараны, деревья, и рассказчик, бывало, задавал ему и такой вопрос:

— Чего не играешь со сверстниками?

Тот молча пожимал плечами. Сверстники швыряли в него камнями:

урод хромонога, пришел из уродской страны, где все плохо и все не так!

Иногда он отваживался подойти к играющим; красивые, складные мальчишки вставали враждебной стенкой:

— Вали отсюда, краб ползучий! Твоя деревня от тебя отказалась, так ты вздумал уродовать нашу? У нас добротная деревня, в ней все прочно стоят на ногах!

И ты видел, как молча поворачивался и отходил хромоножка, припадая на больную ногу.

Повстречав его опять, ты спрашивал:

— Эй ты, весноватый, у тебя что, нет матери?

Он молчал. Быстро взглядывал на тебя исподлобья и краснел.

Тебе казалось, что он должен быть озлоблен, полон горечи, ты не мог понять, откуда в нем спокойная кротость. Но он был кроток. Да, он был таким вот, а не иным.

Пришел день, когда крестьяне взялись за палки, решив прогнать его прочь:

— Хромое отродье! Пусть ищет себе места, где хочет, нечего ему делать в нашей деревне!

Ты защитил его и спросил:

— Эй ты, весноватый, неужели у тебя и брата нет?

Лицо его осветилось, и он посмотрел тебе прямо в глаза:

— Да! У меня есть брат!

Вспыхнув от гордости, он стал рассказывать тебе о своем старшем брате, родном брате, а не чужом.

Он — капитан и где-то в далеком далеко несет службу царства. У него замечательный конь, гнедой, а не какой-то еще, и на этого гнедого коня брат посадил его позади себя — его, хромоножку, его, весноватого, в день, когда праздновали победу В победный день, а не какой-то другой. И когда-нибудь он придет, его старший брат. Он посадит его на коня, его, хромоножку, его, весноватого, и пусть тогда на него посмотрит вся деревня. «Но на этот раз,

— сказал мальчишка, — я попрошу его посадить меня впереди, и он посадит! И все будут на меня смотреть. А я буду командовать: «Направо! Налево! Быстрее!..» Брат не откажет мне. Он любит, когда мне весело! И мы будем с ним вдвоем!»

Он уже не был ненавистным хромоножкой, весноватым уродцем. Он был любимым младшим братом. Он ехал на коне, настоящем боевом коне, в день победного торжества.

И снова настало утро. Ты опять увидел мальчишку, он сидел на низкой ограде, свесив ноги, а другие мальчишки швырялись в него камнями:

— Бегать и то не умеешь, хромонога!

Он посмотрел на тебя и улыбнулся. Вы теперь были заодно. Ты тоже знал, как обделены его враги, они видят в нем только хромого, только урода, а на самом деле он — любимец старшего брата, который ездит на боевом коне.

На сегодня брат отмоет его от плевков, своей славой загородит, как крепостная стена, от камней. Ветер мчащегося галопом коня облагородит тщедушного уродца. Никто больше не увидит его некрасивым, потому что красив его брат. На сегодня он будет избавлен от унижения, потому что брат его радостен и исполнен славы. И он, хромой, будет греться в его лучах. С этих пор его будут принимать во все игры: «Бегай с нами, раз у тебя такой брат...» И он попросит брата, чтобы тот и их посадил на коня впереди себя, всех по очереди, чтобы и они могли отведать быстрого ветра. Он не будет с ними суров из-за их невежества. Он будет любить их и скажет; «Всякий раз, когда брат будет приезжать, я буду звать вас послушать о его битвах...» Он приник к тебе, потому что ты —

знаешь . Для тебя он уже не пустое место, не ничтожество, за ним ты видишь его старшего брата.

Но ты взял и сказал ему то, что лишило его рая, воздаяния за все беды, теплого солнца. Взял и лишил щита, который прибавлял ему мужества под градом летящих камней. Втоптал в неизбывную грязь. Ты взял и сказал ему: «Малыш, ищи себе другую опору потому что не приходится надеяться на поездку на боевом коне». Как расскажешь ему, что его брата выгнали из армии, что, покрытый позором, ковыляет он к деревне, хромая и приволакивая ногу, и вслед ему швыряют камни?

Рассказчик добавил:

— Я же его и похоронил, он утопился в грязной луже, он не мог жить в мире без солнца...

И тогда я заплакал над человеческим горем. И благодаря этому веснушчатому лицу, этому, а не иному, благодаря боевому коню, этому, а не иному, благодаря прогулке на коне в день торжества победы, в этот день, а не иной, благодаря унижению в этой деревне, а не иной, благодаря этой луже, в которой, как ты сказал мне, плавали утки и на берегу было разложено выстиранное тряпье, я увидел Господа — вот как далеко зашла моя жалость, — потому что вел ты меня тропой подлинности и говорил вот об этом мальчишке, а не о другом.

Не ищи света, как вещи среди вещей, ищи камни, строй храм, и он озарит тебя светом.

Старательно смазывая ружье, воздавая должное и ружью и смазке, считая шаги, когда ходишь по кругу, отдавая честь своему капралу, отдавая должное и капралу, и своей чести, ты приуговляешь в себе озарение, мой дозорный! Передвигая шахматные фигуры, принимая всерьез правила шахматной игры, краснея от гнева, если противник их нарушает, ты приуговляешь в себе восторг победителя. В кровь стирая ноги своих верблюдов, проклиная жажду и ветер песков, спотыкаясь, дрожа от холода, изнывая от зноя, ты, — если только пребывал верным необходимости каждой минуты, а не восторженному предвкушению крыльев — этой лживой поэзии сентиментальной гусеницы, — ты можешь рассчитывать на озарение паломника, который вдруг, по внезапному биению сердца, поймет: предыдущий шаг его был шагом к чуду.

Как бы ты ни воспевал радость, не в моей власти открыть скрытые в тебе запасы счастья. Но я могу быть тебе в помощь на ступеньке вещности. Я расскажу тебе, как поддерживать колодцы, как лечить на ладонях водяные мозоли, о геометрии звезд и как завязать узлом веревку, если кладь твоя съехала набок.

Чтобы искусство завязывать узлы стало для тебя песней, я познакомлю тебя с погонщиком верблюдов, который в юности был матросом, — поэзия узлов для него вдохновенней поэзии составления букетов, изготовления украшений для танцовщиц. Есть узлы, которые удержат на месте корабль, но развяжет их даже ребенок, едва прикоснувшись пальцем. Есть другие, они кажутся проще поворота лебединой шеи, и ты можешь держать пари с приятелем, что он развяжет его без труда. И если он примет пари, ты можешь сесть в сторонке и спокойно смеяться: этот узелок из тех, что доводят до бешенства. Не забыл мой учитель, в

совершенстве владея своим искусством, и легких петель, которыми ты перевьешь подарок для своей любимой, хотя сам учитель был хром, кривонос и косил на один глаз. Хитрость завязанной ленты была в том, что развязать ее было можно одним движением, словно сорвать цветок. «И она увидела твой подарок, — сказал он, — и восхищенно вскрикнула». Он тоже вскрикнул, а ты опустил глаза, так он был несуразен.

Почему я должен пренебрегать мелочами, которые кажутся тебе — и совершенно напрасно — ничтожными? Матрос отдаст должное искусству, благодаря которому простая веревка может стать канатом для буксира или спасением. Раз игра подчас становится условием, благодаря которому мы поднимаемся выше, я придаю игре значимость молитвы. Но, разумеется, мало-помалу, по мере течения дней, твой караван изнашивается, и тебе уже не хватает таких простых молитв, как завязывание узлов на веревках или кожаных ремнях, как вытаскивание песка из сухих колодцев, как чтение по звездам. Тогда вокруг каждого сгущается мертвая тишина, каждый становится дерзок на язык, туг на ухо и черств сердцем.

Не тревожься. Это разрывается кокон. Ты обогнул еще одно препятствие и поднялся на холм; камни и колючки пустыни, от которых ты мучился, ничем не отличаются от вчерашних, но ты кричишь с неистово бьющимся сердцем: «Вот оно!» И твои сотоварищи по каравану бегут к тебе. Все изменилось в ваших душах, будто с приходом зари. Ваша жажда, мозоли на руках и ногах, изнурение зноя, ночной холод, пустынный ветер, что слепит и скрипит на зубах песком, все погибшие верблюды, все болезни и все дорогие друзья, которых вам пришлось похоронить, вдруг возмещены вам сторицей, но не хмельным пиром, не прохладной тенью, не красотой юных девушек, что стирают белье в голубой воде, ни даже величию куполов, что венчают святой город, — чем-то неуловимым, малой звездочкой, — солнце благословило ее, и она сверкает превыше всех куполов, — и так она еще далека! Тебя может разлучить с ней треск ломающегося кокона, осыпающаяся тропа может обвалиться в пропасть, впереди еще скалы, с которых можно упасть, и пески, и пески, и опустелые бурдюки, и больные, и мертвые — последняя пища солнца. И все-таки вы выносили в себе радость, она выпорхнула бабочкой среди песков и колючек, под которыми прячутся чуткие змеи, как нервы под кожей, вас обрадовала незримая звезда, она бледнее, чем Сириус в ночь самума, такая дальняя, что те из вас, у кого нет зоркости орла, не видят ее, настолько непрочная, что стоит солнцу чуть повернуться, как она исчезнет, так вот, мигание этой звезды и даже не мигание, а для тех, у кого нет орлиной зоркости, отблеск в глазах тех, кто видел это мигание, отблеск отблеска, и вот этот отблеск в одно мгновение изменил вас. Сбылись все обещания, за все воздано вам сторицей, потому что один из вас, взглядевшись вдаль с орлиной зоркостью, неожиданно остановился и, указывая рукой в пространство, закричал: «Вот оно!»

Свершилось. На взгляд, ты ничего не получил. Но ты получил все. Теперь ты напоен, накормлен, исцелен от ран. Ты говоришь: «Я могу умереть, я видел святой город и умру счастливым».

Я веду речь не о контрасте, благодаря которому после нищенства кажется драгоценностью тощее благополучие и счастьем — утоление жажды после того, как жаждал. Я же сказал, что они еще в пути и путь опасен. Разве кто-то сказал тебе, что пустыня выпустила их из объятий? Не веду речь и о каких-то переменах в их судьбе, потому что нажитую радость не отнимет и смерть от жажды. Подчинившись, они добросовестно творили священнодействие пути по пустыне, и этот путь сотворил их и позволил войти в праздник — праздник, замерцавший вдали золотой пчелкой.

Не подумай, будто я что-то преувеличил. Однажды я заблудился среди девственных песков и вдруг заметил человеческий след и понял: сладостна смерть среди соплеменников. Все вокруг осталось прежним, новым был полустертый след на песке. Он все переменял.

Что же увидел я, о народ мой, сострадав тебе в молчании моей любви? Увидел, как кровоточили ноги твоих верблюдов, как, потеряв сам себя, ты брел по пескам под знойным

солнцем, как выплевывал песок, бранил соседа и, браня его, страшился сгустившейся тишины, где тонули один за другим твои одинаковые шаги. Я не дал тебе ничего, кроме скудной пищи, постоянной жажды, укусов солнца и мозолей на руках. Питал камнями, поил колючками. А затем показал тебе отблеск отблеска золотой пчелки, и ты преисполнился благодарности и любви.

Дары мои невесомы. Но чем так уж хороши величина и тяжесть? Мне достаточно раскрыть ладонь, чтобы двинулась в путь армия кедров, которая оденет могучую гору. Мне достаточно одного семечка!

СС Если я подарю тебе состояние, будто нежданное наследство от дядюшки, чем я тебя облагорожу? Если подарю тебе черную жемчужину из глубин моря, миновав священнодействие погружения на дно, чем я тебя облагорожу? Облагораживает тебя только то, что преображает, ибо ты — семя. Нет для тебя подарков. И поэтому я хочу утешить тебя — тебя, что так горюет из-за потерянных возможностей. Нет потерянных возможностей. Резчик режет кость, вытачивая лицо богини или царевны, и оно западет тебе в душу. Ювелир работает с чистым золотом, и, возможно, его украшения меньше говорят человеческому сердцу. Но ни золотой браслет, ни статуэтка из кости не достались им как подарок. И ювелир, и резчик только путь, кладь, повозка. И тебе даются только камни для будущей часовни, которую ты должен построить. И камней всегда хватает, как всегда хватает земли кедру. Вот земле может не хватать кедров, и она может остаться каменной пустошью. На что тебе жаловаться? Нет потерянных возможностей, ибо дело твое быть семенем. Если у тебя нет золота, режь кость. Если нет кости, режь дерево. Нет дерева, собирай камни.

Для дородного министра с пухлыми веками, которого я отсек от моего народа, не нашлось ни единой возможности ни в его поместьях, ни в тачках с золотом, ни в погребах, набитых алмазами. Но для того, кто шел и споткнулся о камень, приоткрылась необыкновенная возможность. А ты? Горюя, ты просишь подарков, а не возможностей.

Тот, кто жалуется, что люди его обделили, сам отстранился от людей. Тот, кто жалуется, что ему недодали любви, ошибается в понимании любви, — любовь никогда не была подарком, который получают.

Никто и никогда не лишал тебя возможности любить. Ты в любой миг можешь стать солдатом королевы. И королеве совсем не обязательно знать о тебе для того, чтобы ты был счастлив. Мой геометр был влюблен в звезды. Светящуюся нить он ошупывал разумом и превращал в закон. Он был путем, кладью, повозкой. Пчелой расцветшей звезды. Он добывал свой мед. Я видел: он умирал счастливым, благодарный тем нескольким фигурам и формулам, на которые обменял свою жизнь. Счастлив был садовник моего сада, когда у него раскрывалась новая роза. Звездам может не хватать геометра. Саду — садовника. Но тебе не может не хватить звезд, садов, гальки, выброшенной из пенных губ моря. Не говори мне, что ты нищ.

И вот что я понял, глядя на отдыхающих моих дозорных. Они с аппетитом ужинают. Шутят, подначивают друг друга. Сейчас они противники нескончаемого хождения по кругу, враги долгих часов бдения. Они рады, что избавились от ярма. Ярмо их недруг. И это так естественно. Недруг — и в то же время неизбежный, необходимый, насущный для них удел. И война такой же удел, и любовь. Я уже говорил тебе о войне, что светится светом любви. Говорил о влюбленном, который становится достойным воином. Разве умирающий среди песков закован в броню бесчувствия? Он молит: «Позаботься о моей любимой или позаботься о моем доме, детях...» И поэтому тебе драгоценна его жертвенность.

Я наблюдал за беженцами-берберами, они не шутили, не подтрунивали друг над другом. Не подумай, что я веду речь о противодействии, об облегчении, что наступит неизбежно, если удалить больной зуб.

Противодействия, контраста хватает ненадолго. Да, если вода станет безвкусной, запретив ее пить, можно вернуть ей вкус. Она станет вкуснее. Вкуснее рту, горлу, желудку, и ничему больше. Так вкусен ужин для моих дозорных после тяжелой и неприятной работы. Разыгравшийся аппетит — причина их удовольствия. Можно, конечно, оживить жизнь и для моих берберов, кормя их только по праздникам...

Но дозорного возвращают часы бдения. Хотя и дозорные тоже едят. Однако совместный ужин дозорных нечто иное, нежели воловье стремление к кормушке и обожествление желудка. Ужин их — причащение хлебом, собравшим на вечерю дозорных. Пусть они не догадываются об этом. Однако с их помощью хлебное зерно становится бдением и взглядом, обнимающим город, и может случиться так, что бдение и обнимающий город взгляд благодаря им возвеличат хлеб. Хлеб, он ведь тоже разный, есть один хлеб и есть другой. Если ты хочешь проникнуть в тайну дозорных, о которой они не подозревают, посмотри, как обольщает кто-то из них в веселом квартале женщин, рассказывая им: «Стою я как-то на крепостной стене, и вдруг у меня прямо над головой одна за другой три пули, я и ухом не повел, не шевельнулся». И с гордостью откусывает большой кусок хлеба. А ты, глупец, услышав эти слова, счел стыдливость любви похвальбой бахвала. Знай: дозорный, рассказывая байки о своем стоянии на посту озабочен не возвеличиванием себя — ему хочется согреться тем чувством, в каком он не признается и сам себе. Он никогда не признается, что любит город. Он умрет ради своего божества, но оставит его безымянным. Он служит ему, но не хочет сознаваться в этом. И того же молчания требует и от тебя. Патетика его унижает. Не умея назвать свое божество, он инстинктивно защищает его от твоих насмешек. И своих собственных тоже. Вот и разыгрывают мои дозорные бахвалов и фанфаронов, без натуги вводя в заблуждение ради того, чтобы где-то, в глубинах самих себя, прикоснуться к затаившемуся там роднику любви.

И если красotka скажет: «Вот незадача, мало вас уцелеет после войны!»

— ты услышишь, как охотно они с ней согласятся. Согласятся, изрыгая ругательства и проклятья. Но втайне слова красотки им приятны, словно признание. Ибо умрут они ради своей любви.

Но попробуй скажи им, что они любят, они расхохочутся тебе в лицо! За дураков ты их, что ли, принимаешь, собираясь расплатиться цветистыми фразами за их кровь?! Хотя храбрости им не занимать, ясное дело! Так тщеславятся они. Из любовной стыдливости разыгрывают бахвалов. И правы, потому что иной раз ты обманываешь их. Пользуясь их любовью к городу, отправляешь спасать свои амбары. Презирая тебя, они постараются тебя уверить, что идут на смерть из фанфаронства. Сам-то ты не любишь город. Они чувствуют в тебе сытого. Но с любовью, без лишних слов, спасут твой город и с наглой усмешкой, будто кость собаке, бросят тебе твои спасенные амбары, потому что и они часть города.

ССІ

Ты мне в помощь, когда меня обличаешь. Да, я ошибся, описывая увиденный мною край. Не там поместил реку, позабыл эту деревню. Ты торжествуешь, указывая на мои ошибки. Твоя работа мне по нраву. Есть ли у меня время все измерить, все перечислить! Мне важно, чтобы ты увидел мир с той горы, которую я выбрал. Ты увлекся моей работой, пошел дальше меня. Ты поддержал меня там, где я дал слабину. Я рад.

Тебе кажется: раз ты разбил меня в пух и прах, то и я немедля ополчусь на тебя, — ты ошибся. Ты из породы логиков, историков, критиков, — они обсуждают форму носа и уха, но не видят лица целиком. Что мне за дело до формулировки закона, до конкретики

определения? Разработать их — твое дело. Если я хочу заразить тебя страстью к морю, я рассказываю тебе о плывущем корабле, о звездной ночи и волшебном царстве ароматов, рожденном дальним островом. «Наступает утро, — говорю я тебе, — и ты, пусть ничего вокруг на взгляд не изменилось, попадаешь в обитаемый мир. По морю плывет не видимый еще остров, похожий на корзинку, полную пряностей». И ты видишь, что твои матросы, патлатые грубияны, томятся неведомым им томлением нежности. Образ колокола возник прежде, чем ты услышал его звон, неповоротливому сознанию нужно весомое гуденье, но тонкая струна в душе уже все уловила. И я уже счастлив, потому что иду к саду, сулящему розы... И на море, в зависимости от ветра, тыловишь благоуханье любви, отдыха или смерти».

Но ты останавливаешь меня. Корабль, который я описал, не выдержит бури, нужно перестроить его вот так, а можно вот этак. Я соглашаюсь. Измени! Я ничего не понимаю в гвоздях, в досках. Потом ты отвергаешь пряности, которые я тебе пообещал. Твои научные познания доказывают, что пряности должны быть совершенно иные. Я соглашаюсь. Я ничего не смыслю в ботанике. Главное для меня, чтобы ты построил корабль и собирал для меня далекие острова. Пусть даже тыпустишься в путь ради того, чтобы меня опровергнуть. И опровергнешь меня. Я первый поздравлю тебя с триумфом. А потом, в молчании моей любви, пойду и навещу портовые улочки. Какими они стали после твоего возвращения?

Преображенный священнодействием поставленных парусов, звездной книги и палубы, которую необходимо драить, ты, вернувшись, поешь своим сыновьям об островах, что странствуют по морю, ты хочешь, чтобы и они пустились в путь. А я? Я стою в тени, я слышу твою песню и, довольный, тихо ступая, ухожу.

Ты не можешь всерьез уличить меня в ошибке, не можешь опровергнуть, уничтожить меня. Я — питающая среда, а не вывод умозаключения. Разве возможно убедить в ошибке скульптора, доказать, что вместо воина он должен был вылепить женское лицо? На тебя будет смотреть женское лицо или воин... Они просто будут перед тобой. Если я увлекся звездами, я уже не тоскую о море. Я занят звездами. И когда я творю, что мне до твоих возражений? Ты — тоже мой материал, а я леплю невиданное еще лицо. Поначалу ты будешь протестовать. «Да это лоб, — скажешь ты мне, — а вовсе не плечо». — «Возможно», — отвечу я. «А это нос, а не ухо». — «Возможно», — отвечу я. «Глаза», — скажешь ты, не соглашаясь со мной, отойдешь, приблизишься, посмотришь справа, потом слева, чтобы раскритиковать то, что я делаю. Но рано или поздно придет минута, и перед тобой предстанет мое творение: такое вот лицо, а не иное. И ты замолчишь.

Что мне до ошибок, в которых ты меня уличил? Истина запрятана куда глубже. Слова для истины — дурная одежда, любое из слов можно опровергнуть. Язык мой неуклюж, и я часто противоречу сам себе. Но это не значит, что я ошибся. Я всегда отличаю ловушку от добычи. О пригодности. ловушки я сужу по добыче. Не логика связывает дробный мир воедино — Бог, которому равно служит каждая частичка. Слова мои неловки на первый взгляд, несвязны, но внутри них я сам. Я просто есть, и все тут. Если женщина наряжена в платье, я же не раздумываю: настоящие или нет на платье складки. Вот она идет, она красива, плавно двигаются складки на ее платье, собираются, распрямляются и все-таки сохраняют гармонию.

Я не знаю, есть ли логика в складках платьях. Но они заставляют забиться сердце сильнее, вызывая соблазн желаний.

Я заговорю с тобой о Млечном Пути, что протянулся над городом, и подарю тебе его. Подарки мои просты. Я сказал: «И на устроенную так усадьбу смотрят звезды». И сказал правду, ибо и твоя усадьба устроена точно так же. Слева сарай, в нем осел. Справа дом, в нем жена и дети. Перед домом сад с оливами. За твоим домом дом соседа. Вот и все твои дороги в обыденной скудости мирных дней. Если тебе по нраву прибавлять к своим неурядицам чужие — ведь и в своих тогда больше смысла, — ты постучишься к другу. Выздоровление его ребенка сулит выздоровление твоему. Украденные у него ночью грабли наполняют ночь неслышно крадущимися ворами. И бессонница твоя становится бдением. Смерть твоего друга для тебя смертельна. Но если тебе по душе любовь, ты поворачиваешься к собственному дому, улыбаясь, приносишь в подарок переливчатую парчу, или новый кувшин, или благовония, или еще что-то, что обращается в радостный смех, так веселее вспыхивает зимой огонь от молчаливого кусочка дерева. И если с наступлением утра тебе нужно приниматься за дела, ты поднимаешься и сонный идешь в сарай будить осла в стойле, ты поглаживаешь его, похлопываешь по холке и, подтолкнув вперед, выводешь на дорогу.

И если теперь ты только дышишь, то вокруг тебя поля и холмы — пейзаж, насыщенный силовыми линиями, перепадами, призывами, соблазнами, отказами, пусть ты не воспользуешься ни одним из них, пусть ни за одним не последуешь, но каждый твой шаг отмечен особым настроением. В твоём владении — целая страна, полная лесов, пустынь, садов, даже если сейчас ты о ней и думать не думаешь, но все-таки ты принадлежишь такому вот укладу, а не другому.

Но я проложил еще одну дорогу в твоём царстве, и у тебя появилась еще одна возможность смотреть и вперед, и назад, и вправо, и влево: я попросил тебя поднять глаза к небесному своду, распростертому над твоим тесным кварталом, где ты задыхаешься от недостатка воздуха, и душа твоя омылась морской синевой. Вот я медленно развернул перед тобой ковер времени, куда более пространственный, чем тот крошечный кусочек, на котором вызревает твой колосок, и ты почувствовал себя древнее на тысячу лет или, напротив, новорожденным младенцем, и это еще одна дорога, которую я проторил для тебя, о, мой человеческий колосок под светом звезд. И если сердце твое потянется к любви, ты подойдешь к распахнутому окну, чтобы окунуться в синеву неба, и скажешь своей жене в тесном своем квартале, где задыхался от недостатка воздуха: «Вот мы с тобой одни, ты и я, под взглядами звезд». И по мере того как будет прибывать воздух, ты будешь дышать все глубже и очищаться. Станешь живым и похожим на траву, что пробилась среди каменистой пустоши и, раздвинув камни, тянется к небу, похожим на пробуждение — и, несмотря на хрупкость, на уязвимость, в тебе очнется сила, способная повлиять на ход веков. Ты станешь звеном в цепи. И если присядешь у очага соседа, чтобы послушать, как шумит мир (скорее, шуршит, потому что тебе расскажут, что делается в соседнем доме: вернулся с войны сосед и выходит замуж соседка), то окажется, что я расширил в тебе душу, и она стала чутче слышать. Свадьба, ночь, возвращение солдата, тишина, звезды сложатся для тебя в небывалую мелодию.

ССIII

Ты сказал: «Эти широкопалые жилистые руки из камня безобразны». Не согласен. Я должен увидеть статую, прежде чем судить о руках. Если это юная девушка в слезах, прав ты. Старый кузнец? Руки его прекрасны. И точно так же я не сужу того, кого не знаю. Ты говоришь: «Он низок, солгал, бросил, ограбил, предал...»

У меня есть жандармы, чтобы определить, каков поступок, у них есть книга, где все поступки

разделены: этот белый, а этот черный. Но жандармы обязаны поддерживать порядок, а не судить. Точно знает капрал, что добродетель — это умение держать строй, но и капрал никому не судья. Да, мне нужны и капралы, и жандармы, но уклад для меня важнее справедливости, потому что именно он создает человека, которого будет опекать справедливость. Если я уничтожу уклад во имя справедливости, я уничтожу человека и моя справедливость лишится подопечного. Справедливым нужно быть к божествам, которым ты служишь. Но вот ты пришел ко мне и спрашиваешь, но не о наказании и не о награждении неизвестного мне человека, — тогда бы я попросил моего жандарма перелистать его учебник, — ты спрашиваешь, презирать тебе этого человека или уважать. Мне случилось уважать того, кого я казню, и казнить того, кого уважаю. И не я ли тысячу раз вел моих солдат против моего возлюбленного врага?

Точно так же, как я знаю счастливых людей, но не знаю, что такое счастье, я не знаю, что такое воровство, убийство, развод, измена, если это не конкретный поступок конкретного человека. Но немощен ветер слов и не вмещает глубинную суть человека, как не вмещает и главного в статуе.

Да, этот человек восстановил тебя против себя, возмутил, оскорбил (возможно, подспудными импульсами, какие, бывает, таятся в музыке, и ты тогда затыкаешь уши). Свое неодобрение ты поместил в оболочку его поступка и протягиваешь мне, чтобы мы стали заодно. Так мой поэт, желая передать мне ощущение славной судьбы, клонящейся к закату, и сопутствующую закату печаль, говорит «октябрьское солнце». Хотя дело совсем не в солнце, не в этом конкретном месяце среди прочих других. И если я захочу передать тебе ощущение от моей ночной победы, когда, бесшумно подкравшись, я обратил сон недруга в вечный, я сцеплю одно слово с другим и скажу, например, «прикосновение снежной сабли», чтобы поймать в плен ту неуловимую нежность, что сопутствовала свершившемуся, хотя дело, конечно, не в сабле и не в снеге. Вот и в человеке ты выбрал поступок, который станет для меня сродни образу в произведении.

Твоя обида должна стать когтем. Должна обрести лицо. Никому невтерпеж жить обиталищем призраков. Что нужно твоей жене сегодня вечером? Разделить свою обиду с приятельницей. Раздать эту обиду всем вокруг. Так уж мы устроены, не можем жить одни. Вооружившись своими творениями, рвемся в атаку. Твоя жена не устает пересказывать твои низости. И если приятельница ее пожмет плечами, найдя, что упреки ничего не стоят, она не успокоится. Она будет искать другие. Она просто ошиблась в повозке. Плохо подобрала картинки. Ведь обида ее не может ошибаться, она же есть.

Точно так же ты обсуждаешь с врачом свои болезни. Ты предлагаешь одну болезнь, другую. У тебя есть соображения, чем ты болен. Он доказывает тебе, что ты ошибся. Что ж, возможно. Он говорит, что ты здоров. Вот тут ты возражаешь. Ты мог плохо изобразить свою болезнь, но подвергать сомнению то, что она существует?! Никогда! Врач — да он просто осел! И от описания к описанию ты будешь прорываться к свету определенности. И сколько бы ни отрицал, ни отбрасывал твои описания врач, он не сможет убедить тебя отбросить твою болезнь, потому что ты чувствуешь: она есть. Твоя жена будет чернить и чернить твое настоящее и твое прошлое, твои желания и твои верования. Не имеет смысла бороться против когтей. Подари ей изумрудный браслет. Или высеки ее.

Но мне жаль тебя, когда ты то ссоришься, то миришься: ты стоишь совсем не на ступеньке любви.

Любовь — это встреча в тиши. Любить — значит созерцать. Наступает час, и мой дозорный преображается в город. Приходит час, и ты получаешь от своей возлюбленной нечто, что не связано ни с этим ее движением, ни с другим, ни с этой черточкой, ни с другой, ни с этим ее словом, ни с другим, ты получаешь нечто исходящее от Нее.

Наступает час, и одного ее имени тебе достаточно, словно молитвы, к которой нечего прибавить. Приходит час, когда ты ничего не просишь. Ни губ, ни улыбки, ни ласковых рук, ни ощущения ее присутствия. Тебе достаточно, что Она

есть .

Наступает час, и тебе не нужно спрашивать себя, задумываться, стараясь понять это ее движение, слово, решение, отказ, молчание. Ибо Она есть.

Но вот жена требует, чтоб ты оправдался. Она устроила суд над твоими поступками. Она спутала любовь и собственность. Зачем отвечать? Чем поможет тебе судебное решение? Тебе нужно, чтобы приняли тебя молчаливо, не благодаря этому движению и не другому, не за эту добродетель и не за другую, не за это слово и не за другое, но во всей твоей недостаточности, таким, каков ты есть.

ССIV

Мне пришлось раскаяться, что я тратил себя без меры, сочтя таланты, дарованные мне свыше, самоценными, тогда как они всего лишь предудказание пути, и вот оказался пустым в пустоте. Меру я принял за скарედность сердца и тела и не желал ее знать. Я поджигал лес, чтобы на час согреться, ибо пожар полыхал так царственно. Я скакал галопом, слышал свист над ухом и не хотел беречь свои дни. Весь целиком принадлежал каждой из минут своей жизни, но плод рождается только тогда, когда не пропущена ни одна минута.

Я посмеялся над книжным червем, он отказался выйти на крепостную стену, когда город его осадили, из презрения, как он выразился, к физиологическому мужеству. Мне было смешно, он говорил так, будто считал себя чем-то вечным, а не преходящим. Будто есть цель, а не цепь перемен — свидетельство текущей жизни.

Презирал я и измененность аппетита, жизнь ради пищеварения, какой живут в своих домах обыватели. Обывателей я заставлял служить сиянию своего клинка, а своим клинком служил незыблемости царства.

В сражениях я рубился отчаянно, безудержно, не слушаясь усталости, скулежки страха, но мне совсем не понравится, если историографы моего царства представят меня ветряной мельницей с саблей, — никогда я не был только клинком. И если я обходил стороной брезгливцев, что едят, зажав нос, будто глотают микстуру, мне не понравится, если историографы моего царства изобразят меня всеядным обжорой, — никогда я не был только желудком. Я — дерево, у меня мощные корни, я не пренебрегаю ничем из того, что может послужить мне на пользу. Все мне в помощь, все выше я тяну мои ветки.

Но я понял, что был не прав в своем отношении к женщинам. Пришла ночь моего раскаяния, и я понял, что не умел обходиться с ними. Я походил на грабителя: ничего не смысля в священнодействии игры, он с жадной торопливостью сгребает шахматные фигурки и, соскучившись глядеть на беспорядок, отшвыривает их прочь.

В ночь моего раскаяния, Господи, я поднялся с постели в гневе, я понял, что был волком у кормушки. Но разве я бабник, Господи?!

Одно дело самому вскарабкаться на гору, другое — странствовать по горам в паланкине, выбирая самый красивый из пейзажей. Вот обозначились очертания голубой равнины, и тебе уже стало скучно, но ты приказываешь нести тебя дальше.

Я искал в женщине подарка, которым она мне может стать. Я хотел эту, потому что она напоминала мне серебристый колокольчик, по которому я тосковал. Но что делать с колокольчиком, что одинаково звенит день и ночь? Ты отправляешь колокольчик в кладовку, он тебе больше не нужен. Другую я пожелал за трепетность, с какой она говорила: «Ты, господин мой», — но слова быстро прискучивают, и хочется иной песни.

Дай я тебе десяток тысяч женщин, одну за другой, и ты очень быстро истратишь особую черточку каждой, и тебе их будет мало, и снова ты ощутишь голод, ибо сам ты изменчив, меняешься от весны к осени, от утра к вечеру и от перемены ветра.

Но разве не знал я, что не исчерпать души человеческой, сколько из нее ни черпай, что в таинственных глубинах каждого дремлет невиданный пейзаж с нетронутыми лугами, тихими заводьями, островерхими горами, потаенными вертоградами, что о каждом повороте его и изгибе мы можем, не уставая, проговорить всю жизнь, и я удивлялся, Господи, скудости запаса, с которым приходила ко мне и та, и другая женщина, мне едва хватало ее запаса на ужин.

Я не считал их, Господи, пахотной землей, где я должен трудиться круглый год с зари до зари, обувшись в тяжелые башмаки, взяв плуг, лошадь, борону и лукошко с зернами, помня о сорняках и вооружившись верностью, чтобы получить от них то, что будет служить мне, — нет, я низвел их на роль кукол, которых выставляют старейшины захудалых деревушек, чтобы встречать тебя, именитого гостя, когда ты объезжаешь свое царство, — ясноглазая куколка читает приветственный стишок и преподносит в корзинке местные яблоки. Подарок тебе, разумеется, приятен, потому что хороши свежие улыбающиеся губки, певучи движения рук, протягивающих яблоки, простодушны слова и голосок, но ты вмиг исчерпаешь эти дары, выскребешь до дна мед, потрепав румяную, свежую щечку, усладившись бархатом застенчивости. Но и эта куколка — пахотная земля, раскинувшаяся до неведомых горизонтов, где ты, возможно, потерялся бы на всю жизнь, если б знал, как до нее добраться.

Но я хотел собирать от улья к улью готовый мед, я не искал необозримого пространства, которому поначалу нечего тебе предложить, которое требует от тебя одного: идти и идти, ибо долго нужно следовать молча за хозяином владений, если хочешь сродниться с ними.

У меня был друг, единственный подлинный геометр, он был мне учителем, к нему приходил я со своими неразрешимыми противоречиями не для того, чтобы он разрешил их, — для того, чтобы взглянул, и от одного его взгляда они смотрелись по-другому — потому что и он был другим, чем я. Он слышал другие звуки, видел другое солнце, по-другому чувствовал вкус пищи; из подвластной ему вечности он извлекал такой вот плод, а не иной, не расчетами, не взвешиванием — присущей ему особенностью движений, заданным в нем направлением в пространстве, — я ощущал в нем пространство, искал его, как ищут морской ветер или одиночество. Но что получил бы я от него, если бы стремился не к человеку, а к готовому запасу, не к дереву, а к плодам, думая насытить душу и сердце геометрическими выкладками?

Господи! Ту, что я ввожу в свой дом, ты дал мне как землю для возделывания, дал, чтобы я шел с ней рядом и открывал ее.

Господи, сказал я, только для того, кто вскапывает свою землю, сажает оливы, сеет ячмень, наступает час преобразования, которого не дожидаться, если ходишь за хлебом в лавочку. Приходит час, и ты празднуешь собранный урожай. Торжество наполненных закровов, когда ты толкаешь тихонько скрипучую дверь к запасам солнца. Ибо настал час, и ты убрал в амбар силу, что воспламенит твои черные квадраты земли, убрал холм семян, окруженный еще ореолом золотой пыли, будто славой, что не успела смолкнуть.

Ах, Господи, сказал я, я ошибся дорогой, я блуждал среди женщин, словно шатун-бродяга.

Мучился возле них, словно в бескрайней пустыне, ища оазис, который был не любовью, который был вне любви.

Я искал скрытое в них сокровище, будто вещь среди прочих вещей. Прислушивался к их короткому, будто у гребцов, дыханию. Я стоял на месте и не двигался. Глазами я оценивал их совершенство и пытался утолить жажду красотой тонких щиколоток и округлых локтей. Во мне жила тоска, она направляла меня. Меня томили жаждой, обещая исцеление. Но я ошибся дорогой: смотрел Твоей истине в лицо и не узнавал ее.

Я походил на безумца, что крадется ночью к развалинам, прихватив долото и заступ. Он простукивает стены, выворачивает камни, прикладывает ухо к тяжелым плитам. Он дрожит, охваченный болезненной лихорадкой, но он ошибся, о, Господи, ища сокровище, как готовый запас, что положили век назад в потайную нишу, будто жемчужину в раковину; старик так ищет юность, скупец — богатство, влюбленный — залог любви, гордец — залог гордыни, честолюбец — славы, и все они — праха и суеты сует, ибо не рождается плод без дерева, не рождается радость без трудного труда созидания. Бесполезно искать среди камней камень, который стал бы тебе дороже других. Из чрева руин не извлечешь ни славы, ни богатства, ни любви.

Как безумец, что бесплодно копает землю ночь за ночью, ничего не обрел и я в своем сластолюбии, ином, чем сластолюбие скряги, но столь же тщетном. Опять и опять я оставался с самим собой. Мне тоскливо с самим собой, Господи, и наслаждения мои омрачают и утомляют меня.

Я хочу творить священнодействие любви, праздник ее приведет меня на иную ступень. Ибо все, чего я ищу и жду, чего ищут все на свете люди, — не на ступени вечногo, которое у них под руками. Вне священнодействия ты начинаешь ждать от камней того, что они дать не могут, хотя ты можешь из этих камней построить часовню; радость не в том, чтобы среди камней отыскать нужный камень, радость в священнодействии, благодаря которому камни преобразятся в храм. Вот и женщина только хаос, если я не провижу сквозь нее иное.

Господи! Я смотрю на свою жену, обнаженную, спящую, красивую, тонкую в щиколотках, с теплой нежной грудью, и почему же мне не решить, что дана она мне в подарок?

Но я понял Твою истину. Та, что спит, та, что вскоре я разбужу, едва дотронувшись упавшей от меня тенью, не должна быть стеной, о которую я буду биться, — дверью, ведущей в иное; я не должен расточить ее на хаос черт, черточек, хорошее, дурное, ища немислимое сокровище, я должен трудиться над ее целостностью, над прочностью связующих нитей в молчании моей любви.

Что сможет тогда огорчить меня? Огорчается красавица, получив в подарок украшение: изумруд куда красивее, чем полученный опал, бриллиант красивее изумруда, бриллиант короля — самый прекрасный на свете. Но я сам должен одарить совершенством любимую, пусть даже она далека от совершенства. Ибо я не живу вещами, я живу смыслом вещей.

Грубое кольцо, увядшая роза в полотняном мешочке, кувшин, может быть латунный, для чаепития перед часом любви, — как заменишь их, если они — часть священнодействия? Совершенно только божество, и если грубый кусок дерева причастен служению божеству, то и он приобщен совершенству.

И в точности то же самое я могу сказать и о спящей моей жене. Вот я оценил все ее достоинства, устал и отправился искать другую. Есть другие — красивее, или у них куда лучше характер, или голос звенит, как колокольчик, по которому я тоскую, а вот эта так трогательно произносит: «Ты, мой господин...» — в ее устах слова эти звучат музыкой для души и сердца...

Но спите спокойно, несмотря на все свое несовершенство, несовершенные жены. Я не хочу биться о стенку. Вы не цель, не подарок, не драгоценность, значимая сама по себе, которой я, налюбовавшись, вскоре наскучу, вы — путь, кладь, повозка. И я не устану сбываться.

CCV

Понял я и что такое праздник. Он миг твоего перехода с одной ступеньки на другую после долгого священнодействия, которое подготовило твое перерождение. Вот священнодействие строительства корабля.

На протяжении долгих дней он — дом, который строится из гвоздей и досок, но однажды в пене белоснежных парусов он преображается в невесту моря. Ты обручаешь их. Это и есть праздник. Но ты не можешь вечно спускать корабль на воду.

То же и твой ребенок. И праздник его рождения. Ты же не можешь каждый день хлопать в ладоши, оттого что он родился. Ты будешь ждать преображения, и оно наступит, когда плод твоего дерева станет корнем и продолжит твой род, это и будет праздник. Праздник и собранная жатва. Праздник закровов. Праздник семян. Но потом приходит праздник весны, когда твои семена превращаются в нежные ростки, в зелень, похожую на прохладное озеро. И снова ты ждешь, и опять наступает праздник жатвы, а потом опять праздник закровов. И так без конца, от праздника к празднику, до самой смерти, потому что нет наготовленного запаса. Но всегда есть то, что приводит тебя к празднику, а потом ты идешь дальше, других праздников я не знаю. Ты шел долго-долго. Дверь открылась. Это и есть праздник. Но в комнате, куда ты вошел, ты не проживешь дольше, чем в другой. И я очень хочу, чтобы ты радовался, переступая через порог, что ведет куда-то, чтобы сохранял свою радость до того мига, когда высвободишься из кокона. Ты — едва теплящийся очаг, не каждый час посещает озарение дозорного. Озарение я приберегаю для дня, когда слава трубит в трубы и бьет в барабаны. С помощью праздников обновляется в тебе вещество, возбуждающее желание, но и сон тебе тоже нужен.

А я? Я не спеша иду по моему дворцу, медленно переступая с золотой плитки на черную. В полдень мой дворец прохладнее озера из-за скопленной в нем прохлады. Зыбь моих шагов, я — пловец, неутомимо плывущий туда, куда плыву. Моя родина не здесь.

Медленно проплывают мимо меня стены приемной, и, если я подниму глаза к своду потолка, мне покажется, будто он тихо покачивается, будто надо мною мост. Шаг на золотую плитку, шаг на черную, я тружусь не спеша, будто колодезник, что, копая колодец, вытаскивает грунт. Сильными руками помогает он натянутой веревке. Я знаю, куда я иду, моя родина уже не здесь.

Из одной приемной в другую продолжаю я свое странствие. Стены в них вот такие. И украшены таким вот орнаментом. Я огибаю серебряный столик с шандалами. Касаюсь рукой мраморной колонны. Она холодная. Всегда. Но вот я вхожу в жилые покои. Самые разные звуки доносятся до меня, будто сквозь сон, ибо я уже не принадлежу этой родине.

И все же домашняя суета мне сладка. Доверчивое биение сердца всегда трогает. Нет ничего, что уснуло бы до конца. Собака спит и взлаивает во сне, она перебирает лапами, что-то вспомнив. Так же спит мой дворец, убаюканный полднем. Хлопнула где-то дверь в тиши. Я вспомнил о трудах служанок и женщин. Наверняка это в их покоях. Они уложили свежее белье в корзины. И теперь, держась вдвоем за корзину, несут его. Укладывают в высокий шкаф, запирают. Какое-то дело сделалось там, за хлопнувшей дверью. Почтили какую-то обязанность. Что-то завершено. Теперь, наверное, и там заслужен отдых. Впрочем, что я

знаю об этом? Моя родина уже не здесь.

Из приемной в приемную, золотая плитка, черная плитка, огибаю я царство кухонь. Слышу тонкий звон фарфора. Звон серебряных кувшинов, он мне небезразличен. Тихий скрип двери где-то в глубине. Тишина. Потом торопливые шаги. Что-то забытое потребовало от тебя немедленного присутствия — вскипающее молоко, а может, ребенок, что вскрикнул, а может, желание помириться после короткой ссоры. Или что-то заело в насосе, в валу, в мельнице, что мелет муку. И вот ты бежишь, чтобы длилась и длилась смиренная молитва...

Шаги смолкли, молоко спасено, ребенок успокоен, насос, вал, мельница вновь бормочут под нос молитву. Опасность отражена. Рана вылечена. Забывчивость исправлена. Какая? Откуда мне знать? Моя родина уже не здесь.

Вот я попал в обиталище запахов. Мой дворец похож на обширный подвал, что не спеша копит мед своих плодов, аромат вин. Я плыву будто между застывших колоний, провинций. Здесь у нас спелая айва. Я закрываю глаза и погружаюсь в ее запах. Дальше сандал сундуков. А тут просто свежeweымытые плитки. Каждый запах на протяжении поколений создавал собственное царство, узнать его может и слепой. Наверное, и мой отец владел теми же царствами. Но я иду и не думаю о них. Мое царство уже не здесь.

Раб, согласно священнодействию встречи, вжимается при моем приближении в стену. И я милостиво спрашиваю: «Покажи, что у тебя в корзине», — ибо и он должен чувствовать важность своего места в мире. Треугольники шоколадных рук снимают с головы корзину. Опустив глаза, он воздаст мне честь финиками, фигами, мандаринами. Я вдыхаю аромат. Потом улыбаюсь. Ширится и его улыбка, и он смотрит мне прямо в глаза вопреки ритуалу встречи. Треугольники шоколадных рук вновь ставят на голову корзину, а он смотрит и смотрит мне прямо в глаза. «Что горит в этой озаренной светом лампе? — думаю я. — Как пожар, разгораются и бунт, и любовь. Какой из этих огней затаился в глубинах моего дворца? За его стенами?» Я смотрю на своего раба, его все еще носит по волнам бушующего моря. «Да-а, — думаю я, — велика загадка человека!» И продолжаю свой путь, не разрешив загадки, ибо родина моя уже не здесь.

Я прошел покои, где отдыхают. Прошел зал совета, где шаги мои умножало эхо. Медленным шагом, ступенька за ступенькой, спустился в последнюю приемную. Когда я, не торопясь, шел по ней, я услышал глухой шум и звяканье сабель. Я улыбнулся, преисполнившись снисхождения: дозорные мои, без сомнения, спали, в полдень мой дворец, будто улей, наполненный сном: все замерло в нем, и сон его не тревожит и капризница, что не желает заснуть, не тревожит забывчивая, что бежит поправить оплошность, не тревожит недовольный брызга, что не устает поучать, поправлять и что-то ломать в этом доме. В стаде коз всегда есть одна, что не устает блеять, из уснувшего города всегда несется неведомый зов, на самом тихом из кладбищ всегда есть ночной бродяга. Медленным шагом продолжал я свой путь, склонив голову, чтобы не видеть моих дозорных, наскоро приводящих себя в порядок, ибо что мне до них? Моя родина уже не здесь.

Вот они привели себя в порядок, выпрямились, поклонились, подошли ко мне с опахалом, а я прикрыл глаза и замер на миг у порога: так ослепительно и жестоко сияло солнце. Здесь начинаются поля. Круглые холмы, что греют на своих спинах мои виноградники. Нарезанные полоски моих жатв. Меловой запах земли. Здесь совсем иные мелодии: гуденье пчел, стрекотанье цикад, кузнечиков. Из одного мира я перешел в другой. Ибо я захотел вкусить полдень моего царства.

Ибо я только что родился на свет.

О том, как я навещал моего друга — единственного подлинного геометра.

Как трогало меня тщание, с каким он разжигал огонь в очаге, насыпал чай в чайник, прислушивался к пению воды в нем, пробовал на вкус первый глоток... Как терпеливо ждал, ибо чай не спешит отдавать свой аромат. Мне нравилось, что, ожидая чая, он был занят чаем, а не задачами по геометрии.

— Ты из знающих, но не пренебрегаешь ничтожными делами дня... Геометр не отвечал мне. И когда наконец нашел, что чай готов, и с удовлетворением наполнил наши пиалы, сказал:

— Из знающих... что это значит? Неужели гитарист не пьет чаю, потому что знает, как сочетаются ноты? Я знаю кое-что о сочетании линий в треугольнике. Почему мне не должно нравиться пение воды и священнодействие чаепития, воздающее честь моему другу королю...

Он помолчал, подумал.

— Что я знаю?... Мои треугольники мало что открыли мне в удовольствии пить чай. Зато наслаждение чаем немало открыло мне в моих треугольниках...

— Что ты такое говоришь, геометр?!

— Если я люблю, мне хочется описать свою любовь. Я говорю о волосах, ресницах, губах моей возлюбленной, о ее движениях, что кажутся музыкой моему сердцу. Но как говорить о движениях, губах, ресницах, волосах, если не видеть перед собой лица возлюбленной? Я объясняю, отчего так сладостна ее улыбка. Но сначала она улыбнулась...

Я не стану переворачивать груды камней, чтобы отыскать среди них секрет молитвенного созерцания. На ступеньке, где живут камни, молитва — пустой звук. Не стану размышлять и о добродетели, изучая каменную кладку.

Не стану искать в солях земли объяснения, что такое апельсиновое дерево. Ибо апельсиновое дерево — пустой звук для солей земли. Но, глядя, как растет дерево, с его помощью я объясню, как поднимаются вверх из земли соли.

Сначала я должен полюбить. Охватить цельность. Потом я пойму и ту вещь, из которой она состоит, пойму, каким образом она сложилась. Но откуда взяться вещи, если нет во мне того, что ее превосходит и к чему я устремлен. Поначалу я разглядываю треугольник. Потом ищу в треугольнике необходимость, которая подчинила себе его линии. Ты тоже сначала полюбил некий образ человека с таким вот внутренним усердием. Исходя из своей любви, ты и создаешь свой уклад, заботясь, чтобы усердие было поймано им, как добыча в ловушку, чтобы оно не оскудевало в царстве. Какому ваятелю интересны сами по себе нос, глаз или борода? Какой обряд ты сделаешь обязательным ради самого обряда? Что я выведу из линий, если они не составили треугольник?

Прежде всего я подчиняюсь созерцанию. И если могу, потом рассказываю о постигнутом. Я никогда не отказывался любить, отказ от любви — глупая претензия гордыни. Я восхищался и той, и этой, хотя они ничего не смыслили в треугольниках. Но они куда больше моего смыслили в улыбках. Ты видел улыбки?

— Конечно, видел, геометр...

— Одним движением лица, ресниц, губ, что до этого ничего не значили, она создала шедевр, который невозможно повторить. Глядя на ее улыбку, ты постигаешь покой вещей, вечность любви. И тут же она разрушает свой шедевр и другим неуловимым движением погружает в

иную стихию, тебе кажется, что полыхает пожар, хочется вынести ее из огня, ты уже ее спаситель, — так много в ней вдруг тревоги, смятения. Оттого, что ее творения исчезают бесследно, оттого, что ими невозможно обогатить музеи, должен ли я пренебрегать ими? Я сумею объяснить, как построен этот храм, но она мне поможет выстроить другие...

— Что же она открыла тебе о соотношении линий?

— Важны не линии, важны связующие нити, их я и должен прежде всего научиться нащупывать. Я стар, я видел многое. Видел, как те, кого я любил, умирали, видел, как выздоравливали. Приходит вечер, и твоя любимая, склонив голову к плечу, отводит чашку с молоком, будто новорожденный, что отворачивается от груди, потому что уже расстался с миром и молоко ему кажется горьким. Она виновато улыбается, потому что делает тебе больно, не нуждаясь больше в твоей пище. Ты ей больше не нужен. И ты отходишь к окну, пряча слезы. А за окном — просторы полей. И, будто пуповину, ты чувствуешь свою связь с этой весомой вещностью. Ячменные поля, пшеничные, цветущие апельсины — все они готовятся питать твое тело; трудится и солнце, что с начала веков вертело, будто мельница, воду. Ты слышишь скрип повозок на строительстве акведука, благодаря которому город утолит свою жажду, строят новый вместо старого, старый износило время. Ты услышишь скрип двуколки и цоканье ослика, нагруженного мешками. Ты ощутишь ток жизни, что питает собой все вокруг и длит во времени. И медленно вернешься к кровати. Оботрешь блестящее от пота лицо любимой. Она здесь еще, возле тебя, но так отвлечена смертью. Поля не поют ей песни строящегося акведука, двуколки, копытцев ослика. Запах цветущих апельсинов не нужен ей, и твоя любовь тоже.

И тогда тебе приходят на память друзья, что так любили друг друга.

Бывало, один приходил к другому ночью, соскучившись без его шутки, нуждаясь в совете и просто в нем самом. И если один уезжал куда-то, другой тосковал. Но их развело досадное недоразумение. И они стали делать вид, что не видят друг друга, когда случай сводил их вместе. Удивительнее всего было то, что они ни о чем не сожалели. Сожаление о любви — уже любовь. То, что они получали друг от друга, им не получить нигде в мире. Ибо каждый шутит, советует и просто дышит по-своему, не так, как кто-то другой. Теперь они стали калеками, уменьшились, но не замечают этого. Напротив, преисполнившись гордостью, они считают, что обогатились свободным временем. Вон они прогуливаются вдоль лавчонок каждый сам по себе. Они больше не теряют времени даром из-за друга. Они не хотят потратить себя на малейшее усилие, которое вернет их к житнице, что насыщала их пищей. Та часть, что питалась этой пищей, мертва, и как ей потребовать чего-то, если ее больше нет?

Но ты, ты проходишь как садовник. Ты видишь, чего не хватает дереву. Не с точки зрения дерева, — с его точки зрения, ему всего хватает: оно совершенно. Но с твоей, с точки зрения бога дерев, который срезает ветки там, где необходимо. И ты связываешь разорвавшуюся нить, приживляешь пуповину. Ты миришь. И вот они вновь пылают взаимным усердием.

И для меня настало утро примирения, прохладное утро, когда моя любимая попросила козьего молока и свежего хлеба. И вот я наклонился к ней и, одной рукой поддерживая голову, поднес другой к бескровным губам чашку с молоком. Я смотрел, как она пьет. Я — путь, кладь, повозка. Мне не казалось, что я кормлю ее или исцеляю, — нет, я словно бы пришивал на живую нитку ее к тому, чем она была, — к полям, колосющимся хлебам, к родникам, к солнцу. Теперь и для нее солнечная мельница поворачивала журчащую воду. Теперь немного и для нее строился акведук. Для нее теперь заскрипела двуколка. А поскольку этим утром она стала ребенком, не желающим глубин мудрости, а лишь домашних новостей, игрушек, друзей, я сказал ей: «Послушай...» И она узнала копытца ослика. Она засмеялась, и ко мне повернулись лучи ее солнца, ибо ей захотелось любви.

Я — геометр, теперь я старик, но геометром я был и в школе, ибо есть на свете только те связи, о которых ты думал, которые постиг. Ты говоришь: «Вот и здесь точно так же, как...» И проблема решилась. Я разбудил в человеке жажду дружбы и вылечил его. Я вернул любимой жажду молока и любви. Я сказал: «И тут точно так же, как...» И вылечил ее. Я постарался сделать понятным, что и падающий камень, и звезды — одно и то же, больше я ничего не сделал. Я постарался сделать понятным соотношение линий и сказал: «В треугольнике это так, и тут то же самое...» От решения одних проблем к решению других я иду к Господу, который решает все вопросы.

Я шел не спеша, возвращаясь от моего друга, я больше не сердился, не гневался — гора, на которую я поднялся, позволила мне увидеть подлинный мир, подлинный покой, не требующий соглашательства, отказов, ущемлений, дележки. Я вижу — то, что считается неразрешимым противоречием, лишь необходимое условие для перехода на другую ступеньку. В принуждении для меня

— залог свободы, в обуздывании любви — залог любви, в моем возлюбленном враге — залог существования подлинного меня, ибо форму кораблю придает только море.

От замиренного врага к замиренному врагу — и от нового врага к следующему, иду я вверх, в гору, к Господу, к Его тишине, и знаю: не забота моря быть ласковым к кораблю, иначе не будет моря, а корабль станет плотиком для прачек; знаю, что важно только одно: не сгибаться и не мириться ради подделки под любовь, проживая эту беспощадную войну, которая и есть залог мира, оставлять по пути мертвых, которые и есть залог жизни живых, принимать лишения, которые и есть залог праздника, терпеть боль лопающегося кокона, которая и есть залог появления крыльев. Ибо случилось так, Господи, что Ты поместил свой узел много выше моего роста и по Твоей воле я не знаю ни мира, ни любви вне Тебя, ибо только в Тебе примиримся мы с возлюбленным моим врагом, что царствовал на севере от меня, примиримся, потому что достигнем завершения; ибо только в Тебе примирюсь я с тем, кого я казнил, внутренне почитая, примирюсь, потому что мы достигнем завершения, ибо только в Тебе, Господи, сливаются воедино и не противоречат друг другу любовь и условия, что живут любовь.

ССVII

Да, конечно: иерархия, что связывает тебя и мешает сбыться, несправедлива. Но если ты будешь бороться против этой несправедливости, разрушая одну структуру за другой, растечется большая лужа там, где когда-то сиял ледник.

Ты желаешь их видеть похожими друг на друга и путаешь равенство с одинаковостью. А я вижу их равенство в равной преданности царству, а не в их похожести.

Возьми игру в шахматы: в ней есть победитель и побежденный. Случается, что победитель нацепляет насмешливую улыбку, чтобы унижить побежденного. Что делать, таковы люди. Но приходишь ты со своей справедливостью и запрещаешь побеждать в шахматной игре. Ты говоришь: «Какова заслуга победителя? Он сообразительнее или искуснее в умении игры. Его победа — только знак того, что он таков. Стоит ли кого-то прославлять за то, что он более краснощек, более гибок, более волосат, менее лохмат?...»

Но я видел побежденных, которые день за днем, год за годом упражнялись в игре в шахматы, надеясь на торжество победы. Ибо ты становился богаче оттого, что существует победа, пусть даже ты никогда не окажешься победителем. Она как лежащая в море жемчужина.

Не ошибись насчет зависти, и она — силовая линия. Этот камешек я сделал высшей наградой. Награжденный уходит, красуясь, неся на груди подаренный мной камешек. Ты завидуешь награде. Ты приходишь со своей справедливостью, которая есть не что иное, как стремление уравнивать. И решаешь: «Пусть все носят камешки на груди». Кто, спрашивается теперь, захочет так себя разукрасить? Ты живешь не ради камешка, а ради того, что он обозначает награду.

«Ну и пусть, — скажешь ты. — Зато я уменьшил человеческое страдание. Я излечил их от зависти к камешку, получить который многие и мечтать не могли». Ты судишь, считая главной зависть, она болезненна. И стало быть, предмет зависти — зло. Ты уничтожаешь все, что может стать предметом завистливого ожидания. Ребенок тянется к звезде и с криком требует дать ее. Твоя справедливость вменит тебе в долг погасить звезду.

То же и с драгоценными камнями. Ты помещаешь их в музей. Ты говоришь: «Они принадлежат всем». И разумеется, твой народ пройдет вдоль витрин в дождливый день. И позевает над коллекцией изумрудов, которая отныне — не часть священнодействия, преисполнявшего каждый изумруд особым смыслом. Чем, собственно, теперь твои изумруды отличаются от бутылочного стекла?

Все камни, вплоть до бриллианта, ты избавил от присущих им особенностей. Они могли бы служить тебе, но ты обрезал у них ореол сияния, потому что он возбуждал желание и зависть. То же произойдет и с женщинами, если ты постарайся их обезопасить. Как бы ни были они красивы, они превратятся в восковых кукол. Я ни разу не видел, чтобы умирали ради картинки в журнале, ради барельефа на саркофаге, который дожил до нас, как бы прекрасен он ни был. От него исходит прелесть прошлого или его печаль, но он не уязвляет жестокостью желания.

Изменится и твой бриллиант, если им невозможно завладеть. Именно этой возможностью он и сиял так ярко. Своим блеском он тебя славил, воздавал тебе почести, возвышал. Но ты превратил его в оформление витрины. И теперь он славит витрину. Никому не хочется быть витриной, не хочется завладеть и бриллиантом.

И если теперь ты сожжешь один из них в день торжества, чтобы великолепной жертвой облагородить праздник, сделать его сияние ярче для души и сердца, ты не сожжешь равным счетом ничего. Не ты принесешь в жертву бриллиант. Его подарит витрина. Что толку от витрин? Ты не можешь вести с бриллиантом никакой игры, потому что его нельзя ни на что употребить. Вот ты обрек алмаз на смерть в ночи под сводами храма, ты посвятил его богам, но ты ничего не дал им. Твой храм — тот же склад, чуть более стыдливый, чем витрина, которая тоже обретает стыдливость, как только солнце пригласит твоих горожан пройтись по городу. Твой алмаз потерял ценность дара, потому что перестал быть тем, чем возможно одарить. Он — вещь, предмет с инвентарным номером, его можно убрать на склад. На тот или на другой. Его размагнитили. Он лишился своих божественных силовых линий. Что ты выиграл?

А я? Я запретил одеваться в красное всем, кроме потомков пророка. Чем особенным я ущемил других? Никто не одевался в красное. Оно не имело ни малейшей цены. Но теперь все стали мечтать о нем. Я создал могущество красного цвета, и ты стал богаче оттого, что оно появилось, пусть даже не для тебя. Твоя зависть — проявление новой силовой линии.

Но тебе царство кажется совершенным, если утомленный путник умрет посреди города от голода и от жажды, потому что не сможет понять, куда ему лучше пойти: направо или налево, вперед или назад. Ничто не отдаст ему приказа, и он ничему не захочет подчиниться. Ему не захочется алмаза, который недоступен, не захочется камешка на груди, красного одеяния. Ты увидишь, как он зеваает в лавочке с материями, дожидаясь, пока я придам им цену, проторив пути для его желаний. Оттого что я запретил красный цвет, он косится на фиолетовый... или,

поскольку он строптив, свободолюбив, пренебрегает почестями, презирает предрассудки, поскольку он плюет на смысл моих цветов как на полный произвол, он заставляет перевернуть все полки в магазине, заглянуть на склад, чтобы найти для себя цвет, который будет полной противоположностью красному, и находит ядовито-зеленый, но и им недоволен, потому что не так уж он зелен. И вот ты видишь, как горделиво он шествует по городу в своем ядовито-зеленом плаще, попирая твою иерархию цветов, И все-таки я занял его на целый день. А иначе он в красном платье зевал бы в музее, потому что на улице дождь.

... — Я, — говорил отец, — созидаю праздник. Не собственно праздник, а такую связующую нить, такую силовую линию, я уже слышу смех моих строптивцев, они готовят свой праздник вопреки моему. Но это все та же связующая нить. И они укрепляют ее и делят. Им на радость я продержу их несколько дней в тюрьме, потому что они всерьез относятся к своему священнодействию. И я к своему тоже.

CCVIII

И опять начинался день. Я стоял посреди него, словно моряк, сложив руки на груди, вдыхая запах моря. Море, которое бороздит мне, это море, а не другое. Я стоял, будто скульптор перед глиной. Этой глиной, а не другой. Так стоял я на своей горе и так молился Господу:

— Господи, над моим царством занимается день. Утро это свободно и готово для игры, словно эолова арфа. Господи! Таким, а не иным рождается на рассвете удел городов, пальмовых рощ, возделанных полей и апельсиновых деревьев. Вот справа от меня морской залив с кораблями. Вот слева от меня голубеет гора, чьи склоны благословлены тонкорунными овцами, гора, что нижними своими камнями вцепилась в пустыню. А вдали пурпуровые пески, где цветет одно только солнце.

Такое лицо у моего царства, а не другое. В моей власти повернуть немного русло рек, чтобы оросить пески, но не сейчас. В моей власти заложить здесь новый город, но не сейчас. В моей власти одним дуновением ветра на семена высвободить лес торжествующих кедров, но не сейчас. Сейчас я взволнован отошедшим прошлым, оно такое, а не иное. И эта арфа готова заиграть.

На что мне жаловаться, Господи, оглядывая с патриаршей мудростью мое царство, где все разложено по местам, будто румяные фрукты в корзинке? Из-за чего гневаться, горевать, ненавидеть, жаждать мести? Вот уток для моего полотна. Вот поле для моей пахоты. Вот арфа для моей песни.

Когда идет хозяин своего царства на заре по своей земле, ты видишь:

он отшвырнул с дороги камень, обломил колючку. Его не возмущают ни колючка, ни камень. Он украшает свою землю и чувствует только любовь.

Когда женщина распахивает поутру дверь своего дома и выметает мусор, она не возмущается пылью. Она украшает свой дом и чувствует только любовь.

Жаловаться ли мне, что гора стоит у этой границы, а не у другой? Здесь, будто играя в лапту, отражает она наскоки кочевников из пустыни. И это хорошо. А там — дальше, где царство мое не защищено, я воздвигну свои крепости.

Из-за чего жаловаться мне на людей? С этой зарей я получил их такими, каковы они есть. Да, есть среди них задумавшие преступление, вынашивающие измену, оттачивающие ложь, но

есть и другие, тратящие себя на труды, сострадание, справедливость. И конечно же я, украшая мою землю, отброшу и камень, и колючку, но без ненависти и к тому, и к другой, чувствуя только одно — любовь.

Я обрел мир, Господи, молясь Тебе. Я побывал у Тебя и вернулся. Я чувствую себя садовником, что медленными шагами идет к своим деревьям.

Да, все бывало в моей жизни: я и гневался, и горевал, и ненавидел, и жаждал мести. В сумерках проигранных битв или бунтов, всякий раз, когда я чувствовал свое бессилие и был словно заперт в самом себе из-за невозможности действовать по своей воле, глядя на мое беспорядочное войско, которое больше не слышало моего слова, на мятежных генералов, что находили себе новых властителей, на безумных пророков, что слепой рукой тащили за собой гроздь уверовавших, я испытывал искушение гневом.

А ты? Ты хочешь исправить прошлое? С опозданием изобретаешь счастливое решение? Мечтаешь отыскать дорогу, которая спасла бы тебя, но время ушло, и ты просто-напросто портишь то, что зовут мечтой. Конечно, он был, этот генерал, который, согласно своим расчетам, посоветовал тебе атаковать с запада. Ты перекраиваешь историю. Убираешь советчика. Атакуешь с севера. Так, тяжело дыша, ищут тропу среди горных скал. «Ах, — вздыхаешь ты в обнимку со своей мечтой-калекой, — если бы этот не сделал, тот не сказал, третий не спал, четвертый не верил или отказался верить, если бы этот был, а этого не было, то я бы победил!»

Но все они вместе смеются над тобой, потому что стереть их уже невозможно, как невозможно упреком смыть пятно крови. И тогда тебе хочется отдать их на растерзание палачу, чтобы все-таки избавиться от них. Но хоть размели их в муку на всех мельницах царства, ты не уничтожишь их, они все равно есть.

Ты слаб и вдобавок низок, если бегаешь по своей жизни в поисках виноватых и, надругавшись над тем, что зовут мечтой, выдумываешь по-иному сбывшееся прошлое. От чистки к чистке ты отдашь весь свой народ могильщику.

Вполне возможно, что этот способствовал поражению, но почему его не осилили те, что способствовали победе? Потому что их не поддерживал народ? А почему народ предпочел дурных пастухов? Потому что они лгали? Но лгут везде и всегда, потому что всегда выговаривается и ложь, и правда. Потому что они платили? Но платят всегда, и всегда есть подкупленные.

Если в соседнем царстве все благополучны, то что им мои подкупы? Болезнь, которую я им предлагаю, не для них. Но те, что живут в другом царстве, изношены сердцем, и болезнь, которую я им предлагаю, войдет к ним через того или через этого — того, кто соблазнится первым. Передаваясь от одного к другому, она заразит все царство, потому что моя болезнь была как раз по ним. Заболевшие первыми — в ответе ли они за порчу царства? Я не хочу сказать, что и в самом здоровом царстве нет покрытых язвами. Они есть, но они — что-то вроде напоминания о грядущем часе упадка. Только в этот час распространится болезнь, и не с их помощью. Она найдет себе других. Если болезнь, лоза за лозой, отравляет виноградник, я не виню первую лозу. Даже сожги я ее, нашлась бы другая, которая открыла бы двери порче.

Если гниет царство, все помогает ему гнить. Пусть большинство просто-напросто попустительствует — что же, считать их непричастными? Я сочту убийцей и равнодушного, который, видя, как ребенок тонет в луже, не пытается его спасти.

Но я буду питать собой бесплодие, если, попирая то, что зовется мечтой, примусь за лепку сбывшегося прошлого, казня взяточников как пособников коррупции, подлецов как пособников низости, предателей как пособников предательства, и, переходя от следствия к следствию,

уничтожу и самых лучших, потому что и они оказались бездейтельными, и я поставлю им в вину их лень, попустительство или глупость. В конце концов, я захочу уничтожить в человеке все, что может быть подвержено болезни, почву, на которой может расцвести ее посев. Но заболеть может все. И каждый — почва, плодородная для любого посева. Значит, мне придется уничтожить всех. Вот тогда мир станет совершенен, ибо будет очищен от зла. Ведь я и говорил, что совершенство — добродетель мертвых. Совершенствование, будто удобрением, пользуется бездарными скульпторами, дурным вкусом. Я вовсе не служу истине, уничтожая заблуждающихся, ибо истина выявляется от ошибки к ошибке. Я не помогаю творчеству, уничтожая бездарность, ибо творение создается провалами и неудачами. Я не утверждаю свою истину, уничтожая приверженца другой, ибо истина являет себя, как являет себя дерево. У меня под руками только земля для пахоты, она не растит еще моего дерева. Я пришел и живу сейчас. Прошрое моего царства я получил в наследство. Я садовник, что идет к своей земле. Я не стану упрекать ее за то, что она растит колючки и кактусы. Если я семя кедра, что мне до колючек?

Я избегаю ненависти не от снисходительности, но потому, Господи, что принадлежу Тебе, в Котором все, что есть, есть сейчас, и все, что есть, сущностно, — сущностно для меня в каждый миг существования и мое царство. И каждый миг для меня есть начало.

Я вспоминаю мудрые слова моего отца: «Смешно зерно, что жалуется на дурную землю, которая вырастила его салатом, а не кедром. Оно было зерном салата».

И еще он говорил: «Косой улыбнулся девушке. Но она смотрит на тех, кто не косит. И теперь он всем рассказывает, что некосые перепортили всех девушек».

Сколько тщеславия в праведниках, если они мнят, будто ничем не обязаны несправедности, заблуждениям, стыду, которые преображают. Смешон плод, презирающий дерево.

ССІХ

Смешон и тот, кто надеется отыскать свое счастье, собрав множество вещей, и не может его найти среди них, потому что оно там и не ночевало, а он все умножает свои богатства, складывает их в пирамиды, копается в своих подвалах, он похож на дикаря, что вцепился в кожу для барабана, веря, что ею поймает звук.

Смешон и тот, кто, увидев, что сопряжение слов в моем стихотворении покорило тебя мне, что и красота статуи покорила тебя скульптору, что мелодия, составленная из нот, покоряет тебя тоске гитариста, поверил, будто надо всем властвуют слова, мрамор и ноты, и вот он принимается вертеть их и так и сяк, но не может поймать эту власть, ибо не в них она таится, а он гроыхает все громче, лишь бы быть услышанным, и в тебе безусловно пробуждается чувство; но оно пришло бы к тебе, грохни возле тебя разом десять тарелок, чувство сомнительного качества, сомнительного достоинства — чувство, которое стало бы куда более активным и подвигло бы тебя на какое-то действие, если б извлек его из тебя мой жандарм, крепко наступив тебе на ногу.

Если я хочу повести тебя за собой, сказав «октябрьское солнце» или «прикосновение снежной сабли», я должен сперва смастерить ловушку, и она ничуть не похожа на добычу, которую я собираюсь поймать. Но вот я решил соблазнить тебя самым материалом ловушки; разумеется, я не возьму расхожего, рыночного товара, вроде поэтических слов «грусть», «сумерки», «любимая», — от него тебя сразу стошнит, вряд ли воспользуюсь я и словом «мертвец», конечно, оно непременно сделает свое дело и ты станешь менее радостным, но до глубины души оно тебя не проймет, так что волей-неволей для того, чтобы увести тебя от

твоей обыденности, мне придется описать какие-нибудь необычайные пытки. Чтобы слова все же выжали из тебя эмоцию: власть слов невелика, если одним из них удастся нажать кнопку воспоминаний, то у тебя разве что наполнится рот слюной, — так вот, выжимая из тебя словами эмоции, я принимаюсь лихорадочно множить пытки, подробности пыток, запах пыток, чтобы в конце концов достичь куда меньшего эффекта, чем мог бы достичь грубый сапог моего жандарма.

Стараясь захватить тебя врасплох легковесной силой неожиданности, я могу войти, пятаюсь, в зал приемов, где ты дожидаясь меня, могу воспользоваться разительным несоответствием, чтобы ошеломить тебя, но я поступлю, как грабитель: успех извлеку из разрушения, ибо, придя к тебе вот так же во второй раз, я тебя уже не удивлю, больше того, не удивит тебя и любая другая несуразность, приучив к вседозволенности в мире абсурда. Вот я и украл у тебя удивление. И вскоре ты безрадостно съежишься в тусклом, изношенном мире, где нет больше языка игры и нюансов. Единственной поэзией в безъязыком мире, еще способной извлечь из тебя стон жалобы, будет подбитый гвоздями сапог моего жандарма.

Нет на свете строптивцев. Нет одиночек. Нет человека, который бы всерьез отстранился ото всех. Претендующие на одиночество наивнее ремесленников, фабрикующих под видом поэзии компот из любовных вздохов, лунного света и ветерка.

«Я — тень, — говорит тебе твоя тень, — я обхожусь без света». Но она живет благодаря ему.

ССХ Я принимаю тебя таким, каков ты есть. Возможно, у тебя kleptomания, и ты суешь в карман золотые безделушки, что попадают тебе на глаза, но ты еще и поэт. Я приму тебя из любви к поэзии. А любя свои золотые безделушки, спрячу их.

Возможно, доверенные тебе тайны кажутся тебе украшением не менее прекрасным, чем для женщины бриллиантовое ожерелье. Она идет в нем на праздник. Редкостные камни оведают ее ореолом таинственной значимости. Но ты еще и танцовщик. Я приму тебя из почтения к танцам, но из почтения к тайнам о них перед тобой умолчу.

Возможно, ты просто мой друг. Я приму тебя просто из любви к тебе, такого, каков ты есть. Если ты хром, не попросу станцевать. Если не любишь того или другого, не позову их вместе с тобой в гости. Если голоден, накормлю.

Я не стану делить тебя на части, чтобы получше узнать. Ты не этот поступок, и не другой, и не сумма этих поступков. Я не стану судить о тебе ни по этим словам, ни по этим поступкам. О словах и поступках я буду судить по тебе.

Но и ты должен так же принять меня. Мне нечего делать с другом, который не знает меня и требует объяснений. Не в моей власти передать тебе себя с помощью хилого ветра слов. Я — гора. Гору можно созерцать, всматриваясь. Тачка вряд ли тебе в помощь.

Как же я объясню тебе то, что не было услышано твоей любовью? Как мне заговорить? Слова бывают недостойными, неблагоприятными. Я рассказывал тебе о моих воинах в пустыне. Молча смотрел я на них вечером, накануне сражения. На них покоилось царство. Ради царства они завтра умрут. Смерть для них станет преображением. Я знал подлинность их рвения и преданности. Чем мне был в помощь хилый ветер слов? Все их жалобы на колючки, на скудный ужин, ненависть к капралу, горечь от собственной жертвенности?.. Так ли они должны были говорить! Но я опасаюсь патетически глаголящих воинов. Если он готов умереть за своего капрала, то, скорее всего, умереть ему будет некогда, раз он так занят творением своего чувствительного повествования. Я не доверяю гусенице, влюбленной в крылья. Она не найдет времени запеленаться в кокон. Я глух к ветру слов, и в моем солдате вижу то, что он есть, а не то, что он говорит. В сражении он прикроет капрала собственной грудью. Мой друг — это точка зрения, с какой он смотрит. Я должен услышать, откуда он говорит, ибо он — особое царство и неистощимый запас. Он может молчать и переполнять

меня своим молчанием. Я могу смотреть его глазами, и мир для меня откроется иным. Но от моего друга я требую, чтобы он понимал, откуда говорю я. Только тогда он меня услышит. А слова все дразнятся и дразнятся, показывая друг другу язык...

ССХІ

Мне довелось встретиться с тем пророком, у него жесткий взгляд, дни и ночи он лелеет свой священный гнев и вдобавок еще косит.

— Нужно, — сказал он мне, — спасти праведников.

— Да, — сказал я, — ибо оснований для преследования их нет.

— Нужно отделить их от грешников.

— Да, — сказал я. — Самый совершенный должен быть возведен в образец. Лучшую статую лучшего из скульпторов ты ставишь на пьедестал. Ребенку читаешь лучшие стихи. В королевы выбираешь красивейшую из красивых. Ибо совершенство — стрелка, указывающая направление, направить необходимо, пусть не в твоих силах его достигнуть.

Но мой пророк воспламенился:

— Когда будет создано племя праведных, спасти нужно будет только его и раз и навсегда покончить с порчей.

— Пожалуй, ты перехватил, — остановил я пророка. — Каким образом ты хочешь отделить цветение от дерева? Облагородить жатву, уничтожив навоз? Спасти великих скульпторов, отрубив голову плохим? Я, например, знаю только более или менее несовершенных людей, устремление к цветению и неторопливый рост дерева. И говорю тебе: в основании совершенства царства — бесстыдство.

— Ты возвеличиваешь бесстыдство!

— И твою глупость тоже, ибо хорошо, если добродетель предстает нам как желанное и достижимое улучшение. Мы должны создать образ праведника, пусть в жизни такого быть не может, во-первых, потому, что человек немощен, а во-вторых, потому, что полнота совершенства, где бы она ни осуществилась, влечет за собой смерть. Но хорошо, если предуказанный путь предстает в виде цели. То есть ты отправляешься в путь за недостижимым. В пустыне мне приходилось тяжело. И поначалу казалось, что сладить с ней невозможно. И тогда дальний бархан я преображал в долгожданную гавань. Я добирался до нее, и она теряла свое могущество. Тогда я перемещал счастливую гавань к горбатым холмам, что виднелись на горизонте. Доходил до них, и они теряли свою магическую власть. А я выбирал следующую цель. И так от цели к цели преодолел пески.

Бесстыдство свойственно либо простодушной невинности, например газелям,

— просвети их-и получишь стыдливых скромниц, — либо тем, кто нарочито попирает стыд. Но и в бесстыдстве основа — стыд. Бесстыдство живет им и его утверждает. Когда идет пьяная солдатня, ты видишь: матери прячут дочерей и запрещают им выглядывать на улицу. Но если в твоём недостижимом царстве солдаты будут стыдливо опускать глаза, и их как будто не будет вовсе, и если девушки у тебя будут купаться в чем мать родила, ты не увидишь в этом ничего неподобающего. Но стыдливость моего царства вовсе не в отсутствии бесстыдства (целомудреннее всех покойники). Стыдливость в моем царстве — это

внутреннее усердие, сдержанность, почитание себя и мужество. Целомудрие

— сбережение собранного меда в предвкушении любви. И если по моим улицам шляется пьяная солдатня, она укрепляет стыдливость в моем царстве.

— Стало быть, ты поощряешь свою пьяную солдатню выкрикивать мерзкие непристойности?!

— Случается, что я наказываю своих солдат, желая внушить им необходимость целомудрия. Но чем жестче мое принуждение, тем притягательнее для них распутство. Преодоление отвесной скалы слаще подъема на пологий холм. Победить сильного соперника приятнее, чем рохлю, который и не думает защищаться. Там, где существует понятие «снасильничать», тебя так и тянет дерзко взглянуть женщине в лицо. Я сужу о напряженности силовых линий в царстве по суровости наказания, которое призвано умеривать аппетиты. Если я перегораживаю горный поток, мне придется воздвигнуть стену. Стена эта — свидетельство моего могущества. Но для пересыхающей лужицы мне хватит и картонной перегородки. На что мне кастрированные солдаты? Я хочу, чтобы они всей силой напирали на мою стену, чтобы были мощны и в грехе, и в добродетели, которая есть не что иное, как облагороженный грех.

— Так что же, тебе по нраву их пороки? — возмутился пророк.

— Нет. Ты опять ничего не понял, — ответил я ему.

ССХII

Мои тупые, очень тупые жандармы решили меня обмануть.

— Мы нашли причину порчи в царстве. Виной всему одна секта, нужно истребить ее.

— А как вы узнали, что эти люди принадлежат к одной секте? И жандармы рассказали мне: оказывается, эти люди поступают одинаково, они схожи между собой по таким-то и таким-то признакам, и они указали мне место их сборищ.

— А как вы догадались, что именно они причина порчи нашего царства?

И жандармы рассказали мне о совершенных ими преступлениях, о взяточничестве, о насилиях, подлой трусости и уродстве.

— Я знаю другую, еще более опасную секту, которую никому пока еще не удалось разоблачить.

— Какую секту?! — вскинулись мои жандармы. Ибо жандармы родились на свет, чтобы действовать кулаками, они сохнут, если у них недостаток деятельности.

— Секта меченых, у них на левом виске родимое пятно, — ответил я. Жандармы мои не поняли и заворчали. Жандарму, чтобы бить, понимать ведь необязательно. Он ведь бьет кулаком, а кулакам не положено мозгов.

Но один из них — в прошлом плотник — кашлянул разок, другой.

— Ничем эти меченые между собой не схожи, и нигде они не собираются.

— Да, не собираются, — согласился я. — Но это-то и опасно. Они незаметны. Однако стоит мне издать указ, который обнаружит их для общества, и общество осудит их, ты увидишь, они

будут держаться вместе, селиться рядом, возмущаться против справедливого народного гнева, и всем станет ясно, что они принадлежат к одной секте.

— Так оно и есть, — согласились мои жандармы. Но бывший плотник снова кашлянул:

— Я знаю одного такого. Он человек мягкий. Широкой души. Честный. Он получил три ранения, защищая царство.

— Очень может быть, — согласился я. — Если женщинам свойственна ветреность, неужели не найдется среди них ни одной рассудительной? Оттого что генералы громогласны, разве нет среди них ни одного застенчивого? Мало ли какие бывают исключения? Заметив пятно на виске, покопайся в прошлом этого человека. Ты увидишь: он — как все, а значит, как все меченые, виновен во всевозможных преступлениях: похищениях, насилиях, взяточничестве, предательстве, обжорстве, бесстыдстве. Ты же не станешь утверждать, что все остальные меченые не знают этих пороков?

— Знают! Знают! — закричали жандармы, и у них зачесались кулаки.

— Когда на дереве гниют апельсины, кого ты обвинишь — дерево или апельсины?

— Дерево! — закричали жандармы.

— А несколько здоровых плодов оправдывают дерево?

— Нет! — закричали жандармы, которые, слава богу, любили свое дело, а их делом было никого не прощать.

— Значит, мы будем только справедливы, если очистим наше царство от этих злодеев с родимым пятном на левом виске. Но бывший плотник опять кашлянул.

— Какие у тебя возражения? — спросил я, тогда как его сотоварищи с поистине профессиональным чутьем многозначительно поглядывали на его левый висок.

Один из них, ткнув в подозрительного пальцем, даже спросил:

— А тот, знакомый... может, твой брат... или отец... или еще кто из семейства?

И все жандармы недовольно заворчали. И тут я взъярился:

— А еще опаснее секта проходимцев с родимым пятном на правом виске! Потому что о них мы не подумали. Значит, они скрываются еще лучше. Я уж не говорю, как опасны лишенные родимых пятен! Как они ловко избегают опознавательных знаков, потому что наверняка составили заговор. От секты к секте, я уничтожу всю секту людей, потому что именно они — источник всех преступлений: похищений, насилий, взяточничества, обжорства и бесстыдства. А поскольку жандармы не только жандармы, но еще порой и люди, то с них-то я и начну необходимую нам чистку. Я приказываю жандарму сгноить таящегося в нем человека в потайном застенке моей крепости.

И мои жандармы засопели, задумавшись, но сопели они без видимых результатов, потому что размышляют они при помощи кулаков.

Жандармы ушли, я удержал плотника. Опустив глаза, он разыгрывал полнейшую невинность.

— Я разжаловал тебя из жандармов! — сказал я ему. — Истина для плотника сложна и противоречива, поскольку он имеет дело с деревом, которое ему противится; такая истина не для жандармов. Если приказ гласит, что черны те, у кого имеется родимое пятно, у моих жандармов при одном только упоминании о нем должны чесаться кулаки. Такие жандармы

мне нравятся. Мне нравится, что старшина судит о твоей добродетельности по умению держать строй. Если позволить старшине прощать тебе неповоротливость из-за того, что ты поэт, прощать твоего соседа, потому что он верующий, соседа соседа, потому что он невинный барашек, — восторгается справедливость. Но вот наступила война, и мои необученные солдаты бросились в бой беспорядочной кучей, и их уничтожили. То-то они благодарны старшине за уважение к ним! Так вот, я отправляю тебя к твоим доскам, боясь, что твоя любовь к справедливости там, где ей нечего делать, прольет однажды невинную кровь.

ССХІІІ

Ко мне пришел человек и спросил меня, что такое справедливость.

— Знаешь, — сказал я ему, — я кое-что знаю о справедливых поступках, но о справедливости я не знаю ничего. Справедливо, чтобы кормили тебя в соответствии с твоей работой. Справедливо, чтобы лечили, если ты болен. Справедливо, чтобы ты был свободен, если помыслы твои чисты. Но на этом очевидность кончается... Справедливо то, что соответствует укладу.

Я требую, чтобы врач шел и через пустыню, если надо перевязать раненого, пусть рана будет всего лишь царапиной на локте или коленке. А раненый — нечестивцем. Так я возвожу в закон уважение к человеку. Но если мое царство воюет с царством нечестивцев, я требую, чтобы мои воины пересекли пустыню и выпустили кишки исцеленному нечестивцу. Так я возвожу в закон уважение к царству.

— Государь... я не понимаю тебя.

— Мне нравится, если кузнецы, замороженные поэзией гвоздей, украдут молотки плотников, чтобы приспособить их дляковки. Мне нравится, если плотники станут сманивать кузнецов, желая, чтобы те служили доскам. Мне нравится, если зодчий, распоряжающийся и теми, и другими, окоротит плотников, защищая гвозди, и кузнецов, защищая доски. Все это напряженные силовые линии, они создадут корабль. Но чего мне ждать от равнодушных плотников, которые славят гвозди, от равнодушных кузнецов, которые хвалят доски?

— Стало быть, ты чтишь ненависть?

— Я перевариваю ее, очищаю и чту любовь. Однако бывает и так: для того чтобы люди столкнулись между собой, им нужно отвлечься и от гвоздей, и от досок и повстречаться на корабле.

И я отошел в сторону и обратил к Господу такую молитву:

— Противоречащие друг другу истины — истину врача и истину солдата — я принимаю как преходящие, Господи, и, думаю, не на моей ступеньке отыщется для них ключ, который станет ключом свода. Я не сливаю вместе, превращая в теплое пойло, ледяной напиток и кипящий. Я не хочу, чтобы кое-как наносили удары и лечили кое-как. Я наказываю врача, который ленится лечить, наказываю солдата, который ленится наносить удары. Что мне за дело, если дразнятся, показывая язык друг другу, слова? Ибо возможно, что только вот эта ловушка, части которой так не подходят друг другу, поймает желанную мне добычу — человека с такими достоинствами, а не другими.

Я ищу на ощупь Твои силовые линии, Господи! С моей ступеньки они не очевидны. Я могу

сказать, что правильно выбрал свои обряды и уклад, если случится вдруг так, что благодаря им я почувствую себя свободным и вздохну полной грудью. Я работаю подобно скульптору, он обрадовался, нажав левым пальцем на глину посильнее. Почему — он объяснить не может. Однако именно так он наделил глину властью.

Я тянусь к Тебе, Господи, словно дерево, повинуюсь силовым линиям, заложенным в семечке. Слепой, Господи, ничего не знает об огне. Но в огне есть силовые линии, и к ним чувствительны ладони. И вот он ищет огонь, спотыкаясь о камни и обдираясь о колючки, ибо любое преображение болезненно. Господи, по Твоему милосердию я карабкаюсь к Тебе по склону, чтобы сбыться.

Ты не снизойдешь до своего творения, Господи, я познаю на ощупь и тепло огня, и стремление к небу семечка. Ведь и гусеница ничего не знает о крыльях. Я не верю, что познание мне даст явившийся с неба ангел, как бывает это на представлении в кукольном театре. Что он может мне сказать? Бессмысленно говорить о крыльях — гусенице, о корабле — кузнецу. Достаточно, если зодчий воодушевлен творческим замыслом и создал силовые линии корабля. Зародыш — силовые линии крыльев. Семечко — силовые линии дерева. А ты, Господи, просто-напросто есть.

Одиночество мое, Господи, по временам, будто лед. И я прошу тебя о знамении в ледяной пустыне моего одиночества. Но ты послал мне сон, и я понял: любое знамение тщетно, ибо если ты на одной со мной ступеньке, то как Тебе заставить меня расти дальше? А с собой, Господи, таким, каков я есть, мне делать нечего.

Поэтому я иду, обращая к Тебе безответные молитвы, и поводырем мне, слепцу, только слабое тепло на старых моих ладонях. Я пою Тебе хвалу за безответность, Господи, ибо если найду то, что ищу, значит, я сбылся.

Если Ты снизойдешь вдруг к человеку легким ангельским шагом, значит, он уже сбылся. И не будет больше ни строгать, ни ковать, ни воевать, ни лечить. И не выметет свою комнату, не поцелует любимую. Если он увидит Тебя, Господи, то станет ли от Тебя удаляться и славить Тебя с помощью людей? Когда храм выстроен, я люблюсь храмом и не вижу камней.

...Господи, я стал стариком, во мне слабость дерева, чувствующего близость зимы. Я устал от моих врагов, моих друзей. Меня тяготит мысль, что я принужден и убивать, и исцелять разом, ибо ты, Господи, вменил мне в долг превозмочь все противоречия, что сделали столь жестокой мою судьбу. Принудил меня подниматься от одной бездны вопросов к другой ради того, чтобы приникнуть к Твоему молчанию, Господи!

Господи, прошу Тебя, пусть я догоню возлюбленного моего врага, что покоится на севере от моего царства, и геометра, моего единственного друга,

— я, который — увы! — уже перешел перевал и оставил за перевалом свое поколение, словно на противоположном склоне горы. Пусть мы станем едины, Господи, во славу Твою, заснув в раскрытой ладони песков, где я так неустанно трудился.

ССХIV

Удивительно мне твое пренебрежение к земле. Ты ценишь лишь произведения искусства:

— Как неотесан твой друг, как ты можешь дружить с ним? Как выносишь его недостатки? Терпишь запах? Я знаю только одного человека, который был бы достоин тебя...

И дереву ты сказал бы: «Для чего ты опускаешь корни в навоз? Читить можно только цветок и плод».

Но я живу только тем, что преображаю. Я — путь, кладь, повозка. А ты бесплоден и подобен смерти.

ССХV

Неподвижно стоите вы, ибо, уподобившись кораблю, что, причалив к пристани, расцвел причал привезенными грузами — золотой парчой, алым перцем, слоновой костью, — к нам причалило само солнце и заливает медом света пески, начиная день. Вы застыли в неподвижности, дивясь краскам зари, что играет над холмом, прячущим колодец. Неподвижны верблюды, неподвижны их тени-великаны. Ни один верблюд не шевельнется, они знают: скоро дадут пить. Но пока все застыло в ожидании. Воды еще не дают. Еще не принесли огромные кувшины. И, уперев в бока руки, ты вглядываешься вдаль и спрашиваешь: «Чего они там замешкались?»

Те, что спускались в нутро колодца и освобождали его от песка, отложили лопаты в сторону и скрестили на груди руки. Они улыбнулись, и ты понял: вода есть. Что такое человек в пустыне, как не слепой щенок, что, тычась, ищет материнский сосок? Успокоился и ты и улыбнулся. И погонщики улыбнулись, глядя на твою улыбку. Все вокруг улыбнулось — залитые солнцем пески, твое лицо, лица твоих помощников и, похоже, твои верблюды, там, внутри, под ворсистой корой, ибо ведомо и им, они скоро напьются, а пока, предвкушая наслаждение, они застыли в неподвижности. Пора рассвета сродни редкостному мигу в открытом море: прорвалась завеса туч и хлынуло солнце. Ты почувствовал вдруг, как близок Господь, и не ведаешь сам — почему, видно, от щедрот расточаемой вокруг благодати (благодать источает и живой колодец, в пустыне колодец всегда подарок, ожидаемый всегда и всегда неожиданный), видно, от блаженного предвкушения воды, ощущая его, вы и замерли пока в неподвижности. Ибо стоят неподвижно, скрестив на груди руки, те, что отбросили свои лопаты, они не двигаются. И ты, уперев в бока руки, стоишь неподвижно на холме и смотришь на ту же отдаленную точку на горизонте. Не пустились в путь верблюды с огромными тенями, что выстроились в цепочку на песчаном склоне. Нет еще тех, что несут водопойные желоба, откуда все будут пить, и ты продолжаешь спрашивать: «Чего они там замешкались?» Ничего еще не осуществлено, все только обещано.

И вы живете пока улыбкой. Да, скоро вы насладитесь водой, которая будет для вас удовольствием — любовью. А сейчас люди, пески, верблюды, солнце — одно целое, их слила воедино круглая дыра посреди камней, и если все они разнятся между собой, то не больше, чем разная утварь единого священнодействия, предметы ритуала, слова песнопения. А ты — верховный жрец, что будет главенствовать, ты — генерал, что будет распоряжаться, ты — будущий церемониймейстер, ты стоишь пока неподвижно, уперев в бока руки, удерживаясь от распоряжений и вопрошая горизонт, откуда должны принести водопойные желоба, чтобы все напились. Ибо недостало еще одной чаши для священнодействия, одного слова для стихотворения, одной пешки для победы, одной приправы для праздничной трапезы, генерала для свадьбы и камня для часовни, чтобы наконец все увидели ее и преклонились. Но где-то там идут те, что несут водопойные желоба, и, когда они наконец появятся, ты им крикнешь: «Эй, вы там, а ну, поторапливайтесь!» А они не ответят. Они взберутся на холм. Встанут на колени, чтобы приладить то, что принесли. И тогда ты взмахнешь рукой. Заскрипит веревка, что помогает земле рожать воду, и, качнувшись, медленно двинется в путь процессия верблюдов. А люди, заботясь о необходимом порядке, будут грозить им палками и гортанно командовать. Так начнется священнодействие утоления жажды при

неторопливо подымающемся солнце.

ССХVI

И опять пришли ко мне логики, историки, критики и принялись выводить, следуя от следствия к следствию, свои системы и подтверждать их доводами. Системы их были безукоризненно точны. И одна убедительнее другой показывали, какое царство поможет, освободит, напитает и обогатит человека.

Дав им наговориться вдоволь, я спросил их:

— Прежде чем стрекотать о человеке, сказали бы мне, что, по-вашему, важно для человека и что в человеке важно...

И они застрекотали опять, сладострастно забрасывая меня новыми схемами, ведь стоит предложить любителям слов новую возможность поговорить, они ухватят за гриву любимого конька и поскачут по неосторожно открытой тобой дороге, словно кавалерийский отряд, звеня и сияя саблями, вздымая облако пыли и буйный ветер бешеной скачки. Но никуда не прискачут.

— Так вот, — сказал я им, когда они спешили, ожидая похвалы (люди этого племени бегут не на помощь, а для того, чтобы их заметили, услышали их топот, залюбовались головокружительными трюками и кувырками, и поэтому, заранее предвкушая похвалу, принимают скромный вид), — так вот, как я понял, вы собираетесь позаботиться о самом важном в человеке и для человека. Но если я правильно понял, ваши системы поощряют в человеке как главное толщину его живота, — конечно, живот существенен, но он — средство, никак не цель, благополучием живота вы обеспечиваете надежность повозки, — вы печетесь о здоровье человека, и оно существенно, но и здоровье — средство, а не цель, состояние внутренних органов все равно что состояние колесиков в механизме. Стало быть, вы печетесь о количестве повозок. Конечно, и я хочу, чтобы царство было многолюдно, чтобы люди в нем были сыты и здоровы. Но очевидное — еще не главное, ибо ваши подопечные пока не более чем материал, дробная вещьность. Так как же поступать с ней? Куда вести? Что дать, чтобы она росла и облагораживалась? Ибо все — только путь, кладь, повозка...

Они говорили мне о человеке, как говорили бы о салате. И главное достоинство этого салата было в том, что он не переведется у меня в огороде.

Что им ответишь? Близорукие скудоумцы всегда заняты чернилами и бумагой, но никогда — смыслом стихотворения.

И я добавил:

— Я люблю подлинность, люблю основательность. Не терплю, когда калечат мечту. Волшебные острова я обживаю как весомую конкретность. Я не похож на деляг, чьи головы туманит мечтательный хмель, — ибо прежде всего я чту опыт. Умение танцевать я ставлю выше умения брать и давать взятки, скупать драгоценности, злоупотреблять служебным положением; от танцев куда больше удовольствия, и назначение их куда более очевидно. Накопленным тобою богатствам потом все равно придется искать применение, а поскольку танец трогает человеческое сердце, ты возьмешь на содержание какую-нибудь танцовщицу, но, ничего не смысля в танцах, ты выберешь бездарно и, таким образом, ничего не приобретешь. А я? Я смотрю, я вслушиваюсь, — но в молчании моей любви не слушаю слов, — и могу поклясться: нет для человека ничего драгоценней запаха воска в

один-единственный, необыкновенный вечер, золотой, светящейся на восходе или закате пчелки, черной жемчужины, ничьей, прячущейся пока в глубине моря. Да и сами деятели, — я видел это, — свое с трудом накопленное богатство, собранное взятками, злоупотреблениями по службе, скупкой, продажей, рабским трудом, бессонными ночами, потраченными на разработку финансовых операций и проверку счетов, так вот, свое богатство они вкладывали в орех величиной с ноготь, на вид он сродни граненой стекляшке, и зовется бриллиантом, — ценностью его наделило священнодействие поиска в темных глубинах земли, и то же священнодействие сделало драгоценным запах воска, мерцание золотой пчелки. Ценой собственной жизни спасают бриллиант от грабителей.

Главный дар был открыт мне — дар дороги, которую нужно преодолеть, чтобы настал праздник. Чтобы судить о твоём благородстве, я должен знать, что ты празднуешь и что твой праздник говорит сердцу, ибо каждый праздник — веха на твоём пути, преодоленный порог, оставленный позади кокон; он то, откуда ты идешь, и то, куда ты пришел. Только так я могу узнать, что ты за человек и стоит ли тратить усилия на благоденствие твоего живота, преуспеяние, преумножение и здоровье.

Но для того чтобы направить тебя вот по этой дороге, а не по другой, нужно, чтобы ты возжаждал вот этого, а не иного; твоя жажда и будет залогом твоего роста, она облагородит тебя, направит твои шаги, пробудит творческий дух. Достаточно страсти к морю, чтобы облагородить тебя и дожидаться от тебя кораблей. Я должен знать, чего заставляешь ты жаждать жителей своего царства. Ибо любовь — это жажда любви, благородство — стремление к благородству, радость от черной жемчужины — надежда, что однажды и ты добудешь ее из морских глубин.

ССХVII

Нет, не думай, что целое — это сумма отдельных частей. «От этих нам ждать нечего, — сказал ты, придя ко мне. — Они грубы, жадны, себялюбивы, подлы и вдобавок трусы». Ты и о камнях мог бы сказать мне, что они грубы, шероховаты, недвижимы, непробиваемы, а между тем именно из них творят нечто совершенно иное: статую или храм. Я убеждался не однажды, что целое ни в чем не подобно составляющим его частям. Поговори с каждым в любом из соседних племен и убедишься: каждый в отдельности ненавидит войну, не хочет отлучаться от семейного очага, любит жену, детей и домашние праздники, не желает проливать кровь, ибо добр, кормит свою собаку, гладит осла, не терпит воровства, занят собственным домом, до блеска полирует пол, красит стены, ухаживает за своим садом. Послушав его, ты скажешь: «Мирно их царство, они живут любовью к миру...» Однако царство их похоже на супницу, где, не утихая, кипят войны. И доброта, нежность, жалость к животным, восхищение цветами, присущие каждому из жителей, — необходимые компоненты колдовства, ведущего к скрежету клинков в точности так же, как снег, елка и горячий воск наколдывают взволнованное биение твоего сердца, но и там, и здесь добыча ничуть не похожа на ловушку.

А как судить о дереве по его частям? По составляющим его элементам? Разве, говоря об апельсиновом дереве, ты коришь его за черноту корней, горечь древесины, клейкость или шероховатость коры, за кривизну веток? Что тебе до того, из чего это дерево сложено? Об апельсиновом дереве ты судишь по апельсинам.

И в точности то же самое я скажу о тех, кого ты изгоняешь и преследуешь. Каждый по отдельности он вот такой — такой или вот этакый, но что мне за дело до того, каков по отдельности каждый в толпе. Дерево время от времени приносит мне души, похожие на

клинок, они отдадут тело пыткам, но не согнутся, вопреки трусости большинства; приносит оно изредка и столь прозорливый взгляд, что он сквозь тщету оболочек прозревает истину, будто сквозь кожуру — мякоть плода, прозорливые вопреки изменным вкусам большинства смотрят из окна своей мансарды на звезды и живут, питаясь лучом света, — и мне довольно этой малости. То, что ты видишь как противоречие, я считаю необходимым условием жизни. Дерево — условие существования плода, камень — храма, люди — условие существования той единственной души, что озарит светом все племя. И поэтому доброту, мечтательность, любовь к дому мне так легко переодеть в военные сапоги, ибо именно они необходимые компоненты для кипящей супницы войны, несмотря на свое с ней несходство, именно они, а вовсе не чума, не преступление и не голод. Я прощаю людям их недоброту, немечтательность, нелюбовь к дому (похоже, они слишком долго кочевали), прощаю, потому что, может быть, именно так нарождается в ком-то благородство. Так как мне предвидеть при помощи логики, что выводит одно следствие из другого? Логике в переходе с одной ступеньки на другую нет.

ССХVIII

Эти люди, приукрашивая себя, хотят тебя уверить, будто днем и ночью одушевлены страстью. Врут.

Соврет дозорный на крепостной стене, если вдруг начнет повествовать тебе о своей негасимой любви к городу. Он думает об ужине.

Соврет поэт, если будет твердить тебе день и ночь об опьянении поэзией. И у него временами болит живот, и тогда на стихи ему наплевать.

Соврет влюбленный, утверждая, что день и ночь молится на свою возлюбленную. Его отвлечет блоха, куснув его. Или обычная скука, и он зевнет.

Врет путешественник, рассказывая, что днем и ночью восхищался необыкновенными красотами. В сильную качку его тошнило.

Врет праведник, говоря, что днем и ночью созерцает Господа. И у Господа есть приливы и отливы, как у моря, Он оставляет иногда праведника, и Он тоже бывает сух, будто обнажившаяся галька.

Врут те, кто говорят, будто день и ночь оплакивают своих мертвых. Можно ли оплакивать их день и ночь, если и любить их день и ночь было невозможно? Если при жизни с ними ссорились, от них уставали, не чувствовали к ним любви? Конечно, мертвый всегда ближе живого, ибо он уже сбился и нет в нем больше противоречий. Но ты не верен и своим мертвым.

Врут все, кто не признается, что временами бывают опустошены и равнодушны. Врут, потому что не вникли в суть вещей. Слыша об их негасимом рвении, ты веришь в их преданность и начинаешь сомневаться в своей, краснеешь за собственное бесчувствие. Ты меняешь голос и выражение лица, если ты в трауре и на тебя смотрят.

Но я знаю, неизменной бывает только одолевающая тебя скука. Она — свидетельство немощи твоей души, что не в силах разглядеть за дробной вещностью — картину. Так скучает, глядя на деревянные фигурки, не знающий, что такое шахматы. Ему невдомек, сколько они таят в себе. Но если изредка за твою преданность кокону тебя, дозорного, поэта, верующего, влюбленного или путешественника, вознаградят озарением, не жалуйся, что не

видишь постоянно того, что так высоко вознесло тебя. Ибо озарение бывает столь пламенным, что может сжечь зрящего. И праздник не может длиться все дни подряд.

Так что ты не прав, коря и осуждая людей за бесчувственность, осуждая, ты похож на косоглазого пророка, что день и ночь раздувает в себе священный пламень гнева. Я знаю: священнодействие, утонув в обыденности, покажется мертвой рутинной. Стремление к добродетели обернется однажды жандармскими порядками. Высокие принципы станут ширмой для недостойных игр. Но почему я должен огорчаться? Я прекрасно знаю, что человеку случается и поспать. Стану ли я жаловаться, что он так бездеятелен? Я ведь знаю: дерево совсем не цветок — оно неистощимая возможность цветения.

ССХІ

Я хотел взрастить в тебе любовь к брату. Но с любовью взрастил и боль разлуки с ним. Хотел взрастить любовь к жене. И взрастил боль разлуки с нею. Хотел взрастить любовь к другу, взрастил боль разлуки с другом; стоит выкопать колодец, как рождается тоска по колодезной воде.

И я понял: разлука с женой, другом, братом для тебя больнее любых других бед, — и решил исцелить тебя, научив не разлучаться. Ибо далекий родник для умирающего в пустыне от жажды слаще, чем мир, где вообще нет родников. И даже если ты изгнан из своей земли навеки, услышав, что дом твой сгорел, ты заплачешь.

Близость дальнего благотворна: тебе кажется, дерево тянет к тебе издалека свои ветки и дарит тень. Я решил исцелить тебя, ибо я — обживающий и хочу показать тебе, где жить.

Помни сладость любви по прощальному поцелую — ты поцеловал жену, потому что утренний луч позолотил твои апельсины, уложенные пирамидой на спине осла, и, позолотив, позвал в дорогу, торопя не опоздать на рынок. Жена тебе улыбнулась. Она стоит на пороге, приготовившись, как и ты, приняться за свою работу, она подметет дом, вычистит кастрюли и примется за стряпню, думая о тебе, стряпая как сюрприз что-то вкусненькое. «Лишь бы он не вернулся слишком рано, — думает она, — а то мне не успеть, и не получится у меня никакого сюрприза». Вы неразлучны, хотя кажется на взгляд, что ты ушел далеко-далеко, а она не хочет, чтобы ты возвращался. Но куда ты ушел, раз твое странствие служит дому? Ты трудишься ради радости и веселья в нем. На свой заработок ты задумал купить ковер из пушистой шерсти и серебряный браслет жене. Поэтому ты и поешь дорогой, ты пребываешь в мире любви, хоть и кажется, будто ты удаляешься от дома. Ты строишь свой дом, подгоняя хворостиной осла, поправляя корзины и протирая глаза, потому что еще очень рано. Ты ближе к своей жене, чем в час досуга, когда сидишь на пороге и смотришь вдаль, не думая даже обернуться и порадоваться своему царству, мечтая, как повеселишься на свадьбе в дальнем селенье, думая о своем друге или завтрашних трудах.

Но вот ты проснулся окончательно, тебя разбудил твой ослик, ему вздумалось проявить усердие, и его копыта дробнее застучали по камням дороги, цоканье показалось тебе песенкой, и ты наслаждаешься начавшимся утром. Ты улыбаешься. Потому что уже выбрал лавочку, где купишь серебряный браслет. Знаешь ты и старика хозяина. Он обрадуется тебе, потому что вы с ним друзья. Расспросит о жене, о ее здоровье, потому что она у тебя изящная, хрупкая. Он наскажет о твоей жене столько хорошего, так проникновенно, так прочувствованно, что и самый неотесанный бродяга, наслушавшись его похвал, сочтет ее достойной золотого браслета. Но ты только вздохнешь. Ничего не поделать, такова жизнь. Ты не король. Ты торгуешь овощами. Вздохнет и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы отдадите дань почтения недостижимому золотому браслету, и тогда хозяин покажет тебе серебряные,

те, что ему больше всего по душе. «Браслет, — примется он объяснять тебе, — должен быть тяжелым. А золотые, они ведь легкие. Смысл браслета мистический. Он — звено в цепи, что привязывает вас друг к другу. И любя, сладко чувствовать тяжесть цепи. Вот жена твоя изящно приподняла руку и поправила покрывало, она почувствовала тяжесть браслета, и у нее стало легко на сердце». Из задней комнаты он вынесет тебе самые тяжелые браслеты, попросит убедиться в их тяжести, взвешивая их на ладони, полузакрыв глаза и прикидывая, будут ли они тебе в радость. И ты тоже взвесишь браслет на ладони и тоже прикроешь глаза. Ты похвалишь браслет и еще раз вздохнешь. Ничего не поделаться, такова жизнь. Ты не караванщик богатого каравана. У тебя один ослик. И ты покажешь на ослика, что ждет у порога, ослика, который не так-то силен, и скажешь: «Богатства мои так невелики, что сегодня поутру под их тяжестью он пустился рысью». Вздохнет и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы почтите тяжелый серебряный браслет, и хозяин разложит перед тобой легкие, потому что, в конце концов, самое главное в браслете чеканка, и чеканка должна быть тонкой. Он покажет тебе и тот браслет, который ты задумал купить. Ибо ты все решил заранее, как мудрый государственный муж. И отложил часть заработка на ковер из пушистой шерсти, на новые грабли, на пропитание...

Вот теперь вы танцуете сложный танец всерьез, старик ювелир знает людей и, если догадается, что ты у него на крючке, ни за что не выпустит из рук леску. И ты говоришь, что браслет для тебя слишком дорог, и уходишь. Он зовет тебя обратно. Он твой друг. А жена у тебя такая красивая, ради твоей красивой жены он сбавит цену. Он себе не простит, если такой чудесный браслет попадетсЯ неуклюжей дурнушке. Ты нехотя возвращаешься. Медленно-медленно, будто идешь себе и гуляешь. Недовольно поджимаешь губы. Взвешиваешь на ладони браслет. Они, в общем-то, мало чего стоят, если не тяжелы. И серебро, оно всегда такое тусклое. Ты еще не решил, купить ли тебе невзрачный браслет или чудесную пеструю ткань, которую ты заметил в одной из лавок. Но опасно выказать и слишком большое пренебрежение, если торговец потеряет надежду что-то тебе продать, он разочаруется и позволит тебе уйти. И тогда тебе придется краснеть, путаясь в неуклюжих причинах, по которым тебе пришлось к нему вернуться.

Конечно, тот, кто ни бельмеса не смыслит в людях, сочтет, что здесь танцует скупость, — нет, тут танцует любовь. Услышав разговоры об осле, овощах, философствование о серебре и золоте, добротности и тонкости его отделки, видя, как ты уходишь и возвращаешься, он сочтет, что сейчас ты далеко-далеко ушел от дома. Но именно сейчас ты и живешь в нем. Ты исполняешь ритуальный танец любви, танец дома, и, значит, как ты можешь быть вне дома или любви? Твое отсутствие не отделяет тебя, но связывает, не отъединяет — сближает. И можешь ли ты мне указать границу, за которой отсутствие становится отъединением? Если ритуальный танец насыщен и напряжен и ты въяве видишь божество, с которым сливаешься и которому служишь, если твое божество воодушевляет тебя, кто разлучит тебя с твоим домом или другом? Я знал сыновей, которые говорили мне: «Отец умер, не достроив левое крыло дома. Я достроил его. Не кончил сажать деревья. Я посадил их. Мой отец завещал мне свое дело. Я продолжаю его». Или: «Он завещал мне быть верным королю. Я верен ему». И я чувствую: отец в этом доме жив.

О друге и о тебе. Если не в нем и не в тебе — питающий вашу любовь корень, если один и тот же Божественный узел связывает для вас воедино дробный и разноликий мир, то нет расстояния, нет времени, которое могло бы вас разлучить, ибо от божества, которое вас объединило, не отторгнут вас ни мир, ни мор, ни смерть.

Я знал старика садовника, он рассказывал мне о своем друге. Долго-долго они жили, как братья, пили по вечерам чай, праздновали праздники, спрашивали друг у друга совета, делились тайнами. Со временем слова потеряли для них былую цену, и, когда окончив дневные труды, они вечерами прогуливались вместе, то шли молча, поглядывая на цветы, сады, небо, деревья. И если один кивал головой на розу, то другой наклонялся и, увидев проеденный гусеницей лист, тоже огорченно покачивал головой. И одинаково радовались они

раскрывающимся бутонам.

Но случилось так, что один купец нанял друга этого садовника на несколько недель погонщиком в свой караван. На караван напали разбойники, его занесло в другую страну, а дальше войны, бури, кораблекрушения, разорения, смерть и труды во имя куска хлеба качали его на своих волнах, будто море утлую лодку, переноса от одного сада к другому, пока не занесло на край света.

И вот уже на старости лет, после долгих лет молчания, мой садовник получил от своего друга письмо. Бог знает, сколько лет оно странствовало. Бог знает, сколько повозок, всадников, кораблей и караванов везли его с упорством морских волн, пока не принесли к нему в сад. И вот утром, сияя от счастья и желая им поделиться, мой садовник попросил меня прочитать полученное письмо, как просят прочитать любимое стихотворение. С жадностью ловил он на моем лице впечатление от чудесного письма. А в письме было всего несколько слов, потому что садовникам по руке лопаты и грабли, а не перья. «Этим утром я подрезал мои розы...» — прочитал я в письме и задумался о главном, которое не вместить в слова, и наклонил голову в точности так же, как мои садовники.

Мой садовник потерял теперь и сон, и покой. Каждого расспрашивал он о далеких странах, плывущих кораблях, караванах и воинах между царствами. Три года спустя случилось так, что мне пришлось снаряжать посольство на другой конец света. Я позвал своего садовника и сказал: «Ты можешь послать своему другу письмо». Пострадали мои деревья, пострадали овощи в огороде, зато настал праздник у гусениц, потому что садовник целыми днями сидел за столом, писал, зачеркивал и снова писал, прикусив язык от старательности, будто малый ребенок, — ему хотелось высказать самое главное, самое важное, передать своему другу себя целиком во всей своей явственной подлинности. Нужно было перекинуть мост через пропасть, воссоединиться с частичкой самого себя, преодолев время и пространство. Ему нужно было высказать свою любовь. И вот, краснея и смущаясь, он принес мне и попросил прочитать свой ответ, желая увидеть на моем лице слабый отблеск той радости, что озарит получателя, желая на мне проверить действенность своего откровения. И я прочитал (нет для тебя драгоценнее того, на что ты тратишь себя всю свою жизнь. Помнишь старух, что проглядели глаза, следя за танцем иглы, расшивая пелены для своего Бога?). Так вот, я прочитал то, что доверил своему другу мой садовник с помощью неуклюжих старательных букв, — молитву, исполненную горячей веры, высказанную в корявых словах: «Этим утром и я подрезал мои розы...» И я замолчал, потому что ощутил самое главное еще яснее: они славят Тебя, Господи, соединишь в Тебе над своими розовыми кустами, сами не подозревая об этом.

Ах, Господи, я молюсь за себя, ибо и у меня есть труд, я по мере своих сил просвещаю мой народ. Я получил от Тебя тяжкий труд, Господи, и нет у меня той небольшой и каждодневной работы, какую мне легко было бы любить, — я обживаю, я натягиваю связующие нити, но они неосвязаемы, хотя и даруют радости сердцу, ибо сладко возвращаться в свой дом, а не куда-то еще, слышать привычные голоса и утешать ту, что плачет о потерянном браслете, хотя плачет она о смерти, что разлучит ее со всеми браслетами. Но Ты обрек меня еще и на молчание, научив ценить не ветер слов, а глубинную суть; увидев ее, я склонился над тоскою людей и пытаюсь исцелить их.

Да, Ты пожелал сберечь мое время, которое я бы мог расточить на болтовню и словесную пыль из-за потерянного браслета (дело ведь не в браслете — в смерти), расточить на ловлю любви или дружбы. Но и любовь, и дружба завязывают свой узел только в Тебе, и только в Твоей власти позволить мне до них дотянуться через Твое молчанье.

Что мне в помощь, если знаю, что не в Твоих силах явить мне себя на моей ступеньке, если ничего не жду от ангела из балаганчика? Что? Если говорю и с пастухом, и с пахарем, отдавая им многое, но ничего не получая взамен? Если улыбкой воодушевляю дозорного, ибо

я — царь, узел, связавший воедино царство, на которое они тратят свою жизнь и которое вознаграждает их моей улыбкой. Но чего мне ждать от ответной улыбки дозорного, Господи? Я бужу любовь не к себе, Господи, мне не важно, равнодушны они ко мне, ненавидят ли, любят, они должны меня чтить, чтобы прийти к Тебе, ибо я бужу любовь только к Тебе, Господи, и они, и я питаемся этой любовью, и Тебе я передаю ее, как передаю преклонение колен дозорного своему царству, ибо я не стена, о которую бьются, я — семя, что вытягивает из земли листву.

Но по временам, — ибо нет для меня царя, который мог бы вознаградить меня улыбкой, и иду я одиноким до того часа, когда Ты снизойдешь принять меня и растворить в тех, кого я люблю, — я устаю от своего одиночества, и мне хочется стать одним из всех и затеряться среди людей моего народа, — я еще не очистился до конца.

Видя, как счастлив мой садовник дружбой со своим другом, мне хочется порой покориться божеству садовников и тоже сделаться садовником в моем царстве. Ведь и мне случается не спеша спуститься по ступеням моего замка в предрассветный сад и навестить свои розы. Я оглядываю их так внимательно, наклоняюсь к неловко изогнувшемуся стеблю, я, который в полдень будет решать: казнить или миловать, воевать или жить в мире. Быть или не быть царствам. И, с трудом разогнувшись, потому что я уже стар, я говорю в своем сердце слова, что слышны и понятны всем садовникам на свете, живым и мертвым: «Этим утром и я подрезал мои розы...» Что мне за дело, если это мое послание будет странствовать долгие годы? И мне даже не важно, найдет оно адресата или нет. Не в послании суть послания. Чтобы быть заодно с моими садовниками, я поклонился их божеству — розовым кустам на заре.

Господи, не то же ли и с возлюбленным моим врагом, с которым я становлюсь заодно, лишь возвысившись до следующей ступеньки? И поскольку он в точности такой же, как я, и идет ко мне навстречу, стремясь подняться на ступеньку более высокую. Исходя из нажитой мною мудрости, я сужу о справедливости. Он судит о справедливости, исходя из своей. На взгляд они противоречат друг другу, противостоят и служат источником войн между нами. Но и он, и я противоположными путями, протянув ладони, идем по силовым линиям к одному и тому же огню. И обретают наши ладони Тебя одного, Господи!

Я окончу свой труд, облагородив душу моего народа. Мой возлюбленный враг окончит свой и облагородит свой народ. Я думаю о нем, и он думает обо мне, хотя нет у нас общего языка, чтобы мы с ним встретились, ибо по-разному мы с ним и милуем, и казим, разные у нас уклады и разные суждения, но мы можем сказать, он мне, я — ему: «Этим утром и я подрезал мои розы...»

Ибо Ты, Господи, общая для нас мера. Ты — узел, что связал воедино несхожие деяния!